

# СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

## ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК

ЮРЬЕНЕН ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК

Franc-Tireur USA

FRANC-TIREUR  
USA

## *ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК*



СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК

*Роман*



**Franc-Tireur**  
USA

Vol'nyi strelok  
(The Marksman)  
by Serge Iourienen

First was published in French as *Le Franc-tireur*  
Acropole/Belfond, Paris 1980

Copyright © 2011 by Serge Iourienen

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise without the written permission of the Publisher.

ISBN 978-1-4357-2781-6

Printed in the United States of America

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ.....	11
I.....	15
II.....	59
III.....	87
IV.....	113
V.....	135
VI.....	155
VII.....	167
VIII.....	181
IX.....	257
X.....	349
XI.....	443
P.S.....	481



# **ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК**





**Внук тех героев,  
которые были изображены в картине, изображавшей  
русское семейство средневысшего культурного круга в  
течение трех поколений и в связи с историей русской, —  
этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен  
в современном типе своем иначе, как в несколько  
мизантропическом, уединенном и несомненно грустном  
виде. Даже должен явиться каким-нибудь чудаком,  
которого читатель с первого взгляда мог бы признать как  
за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось  
поле. Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп;  
явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но  
какие же лица? Если некрасивые, то невозможен  
дальнейший русский роман.  
Но увы! роман ли только окажется тогда невозможным?**

**Ф.М. Достоевский,  
*Подросток***



## Пролог

**Н**икто не приходит оттуда, чтобы рассказать, что с ними случилось, чтобы поведать об их существовании...

Эту строфу безымянного древнеегипетского автора, уже в двадцать втором веке до нашей эры заклинавшего небытие, ты предпослала, Sophie, эпитафией к твоему первому роману.

В Париже — вот где я оставил твоего первенца, родившегося (как наша с тобой дочь) в изгнании, на Западе, пролистал последний раз и забыл махровую антисоветчину в кресле зала ожидания Руасси перед тем как подняться на борт авиалайнера, вернувшего меня в Элизиум, он же Тартар — в страну теней...

Прости меня, Sophie.

София, мой художник...

Сонечка вечная! покуда у меня стоит...

В Элизиуме что делать? Перечитываю русскую литературу. Изыщную словесность нашу. Есть в этом нечто саднящее, мазохическое.

С душою прямо геттингенской,  
Красавец, в полном цвете лет,  
Поклонник Канта и поэт.  
Он из Германии туманной  
Привез учености плоды:  
Вольнолюбивые мечты,  
Дух пылкий и довольно странный...

Право, чем не я?

А помнишь, как зачитывались мы с тобой, лежа на полу в твоей комнате, тех двух подростков с непомерным самомнением — ты помнишь? Русского мальчишка, голь и безотцовщину, без памяти влюбившегося в «преждевременно созревшую» (как говорили они у тебя за спиной) девочку из хорошей еврейской семьи? Двух провинциалов, бредивших гениальным будущим, а на меньшее мы не были согласны, ни хера не ведающих о реальном — трижды ебаном мире? Мы читали до самозабвения, до самозабвения мы занимались любовью — и, быть может, поэтому сейчас, в 33, чувствую себя я только отзвуком, дальним эхом тех отрывков, цитат, тех давным-давно канувших в вечность русских разговоров. Не мне, сочинителю донесений, говорить о гениальности. Не мне, ничтожному функционеру нашего всемогущего Ведомства.

Прильни к саркофагу.

Слышишь шепот? Это мое молчание.

Октябрь, между тем, уж наступил. Сыро, зябко, во всех смыслах гнусно. Впавши в мизантропию, пребываю взаперти. Виски, шотландский плед. Собственноручно выжимаю себе импортные лимоны... Спустя всего ничего меня вновь зарядят в так называемый «свободный мир», где я, возможно, исчезну на этот раз без отзвука... кто знает? Так пропаду, что, может быть, со временем где-нибудь в том мире и мне придется отвечать на вопрос о возвращении коаном: «Столько лет не мог вернуться по причинам объективным, а теперь забыл дорогу, по которой пришел».

Чемодан заранее собран, а пока суд да дело, позволь, единственная моя confidentка, потревожить тебя монологом... С чего начать? Вчера я так настолько был хорош, что еле продрал глаза. С трудом приподнявшись над своим матрасом, вдруг, как в детстве, увидел мираж: в складках простыни, Sophie, проступило грядущее — ледовая белизна Гималайского хребта!

Я вскочил.

Ванна, куда чуть не сунул голову, была полна до краев — фотоотпечатками. Вода вытекла, и они облепили эмаль, эти

любопытские снимки, которые должны, по затее Шефа, опорочить проявленного мной героя: мужчину двадцати семи от роду лет, смертельно пьяного, нагого и в объятьях сразу двух девчушек. Золотая цепочка затянулась у него на горле. Не знай теперь я, что Иван очнется поутру, решил бы, что на снимке хладный труп... Я принялся отдирать, рвать в клочья высохшие снимки, добавил в кучу негатив, пленку моего «Минокса», после чего развел в своей ванной вонючий костер. Вернувшись в комнату, налил похмельную дозу виски, сел к старой доброй портативке (если решусь исчезнуть, только по ней буду страдать). Приподнял лист, перечитал свой рапорт. После чего руку к бутылке, обжег себе горло и достучал резюме:

***Оперативного интереса не представляет.***

Voilà.

С курьером им отправлю.

Теперь послание другого рода — так сказать, софийное. Перед убытием, которого ждать уже недолго, позволь тебе поведать одну историю или, скорее, сентиментальное путешествие, совершенное, однако, по казенной надобности, после которого я затворился в своей берлоге, зализывая раны и созерцая пистолетную пулю калибра 9 мм, которую таким одиночным игроком в кости раскатываю в золоченой кофейной чашечке: никто не приходит оттуда, чтобы рассказать, что с нами случилось...

Слушай, Sophie.



## I

Я и прежде жила в Европе, но тогда было время особенное, и никогда я не въезжал туда с такою безотрадною грустью и... с такою любовью, как в то время. Я расскажу тебе одно из первых тогдашних впечатлений моих, один мой тогдашний сон, действительный сон. Это — еще в Германии.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Все (помимо оговоренных) эпиграфы к главам этого совместного хождения по мукам взяты из нашего общего, *Sophie*, источника — Полного собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского. — К.К.К.





**П**ервое, что я увидел, открыв глаза, была мать, кормящая младенца моего пола.  
Кошмарный вид.

Немедленно притворился спящим.

Я люблю просыпаться в одиночестве. В канун реальности являются мне мысли необычайной и неотложной важности. Я не могу их схватить, но ощущение важности овладевает мной и заставляет медлить, длить паузу. Я хотел бы ежеутренне рождаться заново.

Невозможно, не спору, но спешу доложить, что именно благодаря этому зыбкому ощущению присутствия чего-то значительного во мне, малозначительном, ощущению смысла во мне, бессмысленном, я обретаю достаточно самоуверенности, чтобы проснуться наконец, раскрыть окно, выдохнуть перегар алкоголя, никотина, гудрона, канцерогенный перегар моей души, а затем вдохнуть и продолжать «все это», как говорит мой сослуживец капитан Блинов.

На сей раз процесс существования я возобновил в одном из купе экспресса «Янтарь». Было рано, и Москва отошла далеко на восток моего сознания, оживающего после служебной отходной. Свои координаты осознал не без труда. Топографическая амнезия. Что вы хотите от беспутного холостяка с перелетным образом жизни: нынче здесь, завтра — там... Первая мысль дня явилась, наконец. Четкая, строгая и безутешная: «Материнство — вот источник распада».

Соседка по купе была белокурой молодкой лет семнадцати. Курносая, и то ли в бледных от недосыпа веснушках, то ли пигмент беременности еще не сошел. Кормящая грудь была пестра — голубая, зеленая, жидкая. Лифчик, дешевый, сатиновый, потемнел от пота, в плоть плеча врезалась затертая бретелька: не первый день мадонна странствует. Откуда, интересно? И куда? Пошто оставила Святую Русь? Угрюмо давя пальцами правую грудь, как бы собственным мясом питала она новорожденного людоеда мужеского пола, чье плешивое темя имело выражение алчности. Обручального кольца при этом не имелось. Из глубины сибирских руд? С «ударной все-союзной комсомольской»? С БАМа? Мать-одиночка. Соблазненная и покинутая мать. В ожидании конца вдыхаю с осторожностью, ибо, развернув свои тряпки, богоспасаемая пара издает унижительный запах неопрятного отечественного материнства; чутье же мое с похмелья ободрано, как рана. Очнулся я, заметим, в той же позе, что и отключился, на прокрустовом ложе дальнего следования тело затекло, ему не терпится прийти в движение, но, дабы людоеда не спугнуть, от этого у них, по слухам, случается отрыжка, я принуждаю себя к роли спящего. Но вот он отнят от сосца, грудь вложена в мешочек, кофточка застегнута... причмокивая, я разыгрываю пробуждение. Вынимаю несессер, желаю утра доброго и вечной жизни, откатываю дверь.

Солнце в алом рассветном дыму летело за окнами коридора. Разжился кипятком у проводницы, заперся в сортире. До чего все же ленива эта страна, смывать собственное говно им лень! Я рывком опустил окно, ударил каблуком по педали спуска. Зе-

леня не по-русски, мимо неслись росистые луга. Я вставил новый «Gillette» в неизменный свой британский станок, обвесил пол-лица белоснежной пеной, ментоловой, еще парижской, и криво усмехнулся, глядя в зеркало. «Дитя безнаказанности».

Так, передали мне, меня называет мой Сальери... тот самый капитан Блинов, который, выкатывая для убедительности пустые свои глаза, уверяет всех подряд, что не может, верите ли, «физически не может с еврейкой».

Чует, чует душок подступающей эпохи...

Который (душок) даже не столько в возможности испражнения на людях, хотя бы и коллеги, сколько в том, что конфиденты его из страха и на всякий случай не могут скрыть сочувствия недееспособному с еврейками Блинову, хорошему, «нашему» парню, радеющему о Доме (недавно полученной трехкомнатной квартире в нашем общем Теплом Стане столицы), способному в любой изверившейся до полного цинизма компании сказать — этак с убедительной простецой — что, дескать, «не знаю, как вы, парни, а я лично, я эту вот руку, — и выкладывает могучую десницу, — дам себе отрубить за все это. За наше! Кровное, понимаешь... Завоеванное!» У которого, понимаешь ли, Sophie, не было, нет и никогда (ну, разве что по отношению к государству Израиль изменится политика) не будет еврейки: «Физическая, понимаешь, чисто физическая несовместимость!» Впрочем, и на расово-чистых бардаках он сказывается импотентом. На всякий случай. Предпочитает нажираться. Благонадежней. Верноподданней. Вчера его прорвало, вчера, бляя, Блинов мычал: «Продам, всех вас продам! Тебя, Кирюха, первого... Всех, кроме Ваньки моего. Даже ее, если что (супругу то есть). Но — не Ваньку. Это — нет. Не трожь! Сын есть святое!» Знаешь, это меня поразило. Не столько раскаленной ненавистью ко мне, «космополиту», сколько этой вот последней ставкой русской гибнущей души: на Ваньку. Сын как спасение, как возможность, так сказать, реабилитироваться посмертно... Меня чуть не стошнило от этих откровений, когда я укладывал товарища в дальней ком-

нате. Такой вот был междусобойчик. Который еще кончится междоусобицей, есть у меня такое нехорошее предчувствие. Нет, Sophie. Последний раз я пью с коллегами. Должен был им выставить, обмыть благополучное возвращение в холод за Железный Занавес — ну и эту местную командировочку. Не смог отвертеться. Не подумай: обычно я в своей компании, в своем кругу и на ином уровне. Где «Протоколы Сионских мудрецов», этот наш черносотенный подлог, свернувший набекрень мозги Адольфу Гитлеру, читательского вождения не вызовут. Иной самиздат ходит у нас по рукам. Скоро и ты пойдешь, Sophie, уж позабочусь...

Я обтер скулы кёльнской водой — подлинной, не из Восточной Германии. Восстановил линию пробора. Стригусь я коротко. Надо сказать, что похож я на Джона Ф. Кеннеди, еще больше на Роберта, также убиенного. Короче, наружность многообещающая.

Нет, кроме шуток: Шефу льстит мой американизированный вид. Являю образ недобитого врага. А врага мой Шеф понимающе и проникновенно любит. Я думаю, только лишь врага — единственно и исключительно. «О, как мучительно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей!» Немножко все мы извращенцы. Тютчев верно подметил.

В купе я не вернулся. Стоял в коридоре, прихлебывал спитой, но обжигающий чай и смотрел, как разворачивается под красным солнцем зябкая зелень заливных лугов. Изредка промелькивала отрадная взгляду островерхая черепица бог знает как уцелевшего, неведомо кем населенного хозяйства... Нет, не отчизна.

Фатерлянд.

Блинов, тот не преминул бы отметить, что при всем при этом чай — жидок.

\*

Моя локальная командировка началась в Восточной Пруссии. Московский скорый подходил к вокзалу древней тевтонской столицы и родины Канта — к Калининграду.

Перед убытием я заглянул в «Философскую энциклопедию», чтобы раз навсегда понять, почему именно Михаила Ивановича Калинина, «Всероссийского старосту», олицетворявшего при Сталине крестьянское смирение под диктатурой пролетариата, почему именно этот образ (смазные сапоги, под пиджачком толстовка, подпоясанная ремешком, седой клинышек бороды старейшины общины) вывалили на Кёнигсберг, лично для меня, как, надеюсь, и для всего еще мыслящего человечества пожизненно связанный с отцом классической немецкой философии. Две вещи несовместные — Кант и кремлевский псевдомужичок. Выяснил следующее: «видный деятель партии и государства, пропагандист марксистско-ленинской теории» почил как раз в 1946-м — в год начала переваривания трофейных территорий. Возникло новое имя для увековечивания — не мудрствуя лукаво, а может быть, напротив — особо извращенно, ибо Языковед не мог не слышать «кал», взял да и нанизал его на готический шпиль. Вместе с периферийным рангом Королевский город обрел трагикомизм — с тех пор неразрешимый. Дополнительная унижительность в том, что и Калинин был мыслителем немалым: *«Коммунистическое мировоззрение является тем же самым для борцов пролетарской революции, чем... для астронома является огромный телескоп, а для лабораторного исследователя — микроскоп».*

Я соскочил на перрон, и под гулким закопченным стеклянным и полуразбитым германским небом вокзала (столь похожего на берлинский) меня охватило чувство нереальности. Будто приступил я к исполнению роли под прицелом объектива, сейчас вскину длань в салюте «Хайль Гитлер!» и чеканно ударю по перрону, этакий столичный ферт, личный адьютант, гонец из Канцелярии. Этот вокзал, пожалуй, самая убе-

дительная на территории СССР натура для кинодействий «в тылу врага». Впрочем, теперь прямо в Германии снимают — в братской.

Пассажиры, по-русски неуклюже и громоздко вылезавшие на перрон, вернули меня к реальности, еще более невероятной, чем в кино: узлы, мешки, авоськи, раздувшиеся от московских продуктовых дефицитов, тяжеленные чемоданы с железными углами, перетянутые бельевыми веревками, вездесущие двугорбые старухи: за спиной мешок, на груди мешок, — короче, город дальний, да «нашенский», как припечатал Ленин по поводу противостоящего Владивостока, и — широка страна моя родная! — пускай себе кусают локти реваншисты: колесо истории им вспять не повернуть. Но привокзальная площадь встречает зябким солнцем, светло-серой рябью торцов, подогнанных на чужой, на аккуратный манер, на века, и я ухмыляюсь криво: *Gutten Morgen, Genosse Kant!*

Не город, словом, а фантазмагория. Кстати? Геноссе Гофман, Эрнст Теодор Амадей — не отсюда ли и он? Чисто по работе, впрочем, в данный момент мне, ближе Шамиссо — но да бог с ним, *с Адельбертом фон...*

По-западному узкая колея. Звеня, подкатывает нарядный гэдээровский трамвайчик.

— Что ж, поехали, милая, — говорю, усевшись в креслице. Вагоновожатая выглянула из кабины. Нарочно дверь открытой держит. Юная. Славная.

— Нетерпеливый какой, — заметила в громкоговоритель, и пассажиры стали любознательно оглядываться, но, нарываясь на мой взгляд, один за другим поспешно отвернулись.

— Такой я, да! Спешу и жить, и чувствовать.

— Потерпи, моряк, недолго уже осталось, — сказала она, смеясь и отпавляясь с веселым звоном. — Если она тебя, конечно, дождалась!

— Она у меня верная.

— Конечно... Как и все мы! — насмешничал девичий голос, но не вас, ветрениц, имел я в виду, а Ее, Единственную, Которая-Мне-Не-Изменит, и уж, конечно, меня дождетсЯ. Если не

в Самарре, на базарной площади, то в каком-нибудь столь же неожиданном месте, и пусть.

Я вышел в старой части Кёнигсберга, не тронутый ни дальнобойной артиллерией, ни новостройками. Вышел спонтанно, подчиняясь зову лиственных теней на плитах тротуара. Шел под древними отцветшими липами и слушал свои шаги. Я люблю камень.

«С добрым утром, с добрым утром! И с хор-р-рошим днем!» — доносился из распахнутых окон ликующий зачин Всесоюзного радио. Совсем уже забыл, что ежевоскресно в это время в стране пропагандируется хор-р-рошее настроение. Не знаю уж, почему, но положенное настроение у меня не возникало, а все более возникало настроение войти в Божий храм и смиренно побыть внутри. Где он, храм? Куда они ходили по воскресеньям, степенные обитатели этих особнячков? Которые, конечно, превратились в коммуналки. Я поравнялся с открытым окном, за которым обнаженный по пояс соотечественник держал на вытянутой руке чугунную гирю. Двухпудовую.

— Вы не скажете, — обратился я, — где бы тут можно помолиться Богу?

— К-к-кому? - выдавил он с усилием.

— Господу нашему. Я, видите ли, приезжий.

Он смотрел на меня, пульсируя лобовой веной, потом грохнул гирю к ногам, сложил на груди могучие татуированные руки и с достоинством ответил:

— А я — атеист.

Вот как?

Ну, значит, жареный петух еще не клюнул.

Другой особняк, другое окно. С утренней гимнастикой здесь уже покончено: наподнимавшись гирь, трудящийся в голубой майке мрачно похмеляется кефиром. Из горла. Он встретил мой взгляд такой органической, такой имманентной враждебностью к чужаку, что я, поражаясь себе, мгновенно вернулся в шкуру советского человека и послал ближнему своему такой *black eye*, как говорят американцы, что он поперхнулся своим кефиром или там ацидофилином, уж не знаю... Лично я



обыкновенно пью кофе по утрам. Когда обстоятельства лишают меня моего ежеутреннего кофе, я впадаю в нервозность и могу стать очень агрессивным. Никаких кафе, никакого кофе по пути не было, его в Союзе временно не было вообще: одни кофейные страны от нас отвернулись, других, как братскую Анголу, постиг неурожай, верная примета того, что встала она на единственно верный путь... Почему я не прихватил «Нескафе»? Дома, в Теплом Стане, есть НЗ. Но как-то не предусмотрел: холостяк. К тому же, когда пришла машина отвезти меня на вокзал, был я мертвецки пьян, хотя в отличие от Блинова, распознать степень моего опьянения невозможно. Жесты, правда, исполняются с особой, автоматической четкостью. Крепкая голова. Обладаю устойчивым вестибулярным аппаратом. Да, в моем случае абсурд бытия имеет под собой надежный фундамент.

Зыбкими аллеями старинного парка я вышел к кирхе — таки сыскал. Уселся на садовую скамейку перед храмом и выкурил натошак одну за другой три Gitanes. Камень был изъязвлен осколочными попаданиями весны 1944 года, вход — надежно забит занозистыми досками в стружьях бетонного раствора. Тупик! Окончательный тупик данной яви. Я почувствовал, что дальнейшее пребывание в Калининграде ничем не оправдано. Разве что поклониться напоследок единственной дорогой мне на этой земле могиле.

— *Cunt?* — угодно было пошутить встречному торговому морячку, свободно владеющему четырехбуквенным матом нам противостоящей сверхдержавы. — Их в этом городе навалом, друг!

По дыханию я понял, что друг хорошо похмелился.

— Я не о ебле, я о чистом разуме?

Он хлопнул меня по плечу:

— Друг, не кантуй с утра! Одно другое исключает!

Молодая мамаша, выгуливавшая близнецов, на тот же туристический вопрос отреагировала каким-то ошарашенным испугом (хотя я был чисто выбрит и мучительно тверез) и укачала вдалеке с коляской.

Потом я уличил в бескультурье невинного милиционера, и он долго смотрел мне вслед с обидой и нарастающим подозрением, так что я поспешил вскочить в трамвай, ведомый все той же славной девочкой, возвращающейся на круги своя. Я навис над ней, продавившись в проем двери. Немодная мини-юбочка на ней, съехав к бедрам, открывала манящую щелку чуть повыше полных колен. Она усмехнулась на меня в зеркало, но сжимать раздвоенность не стала.

— Ну, что, моряк, не дождалась?

— Увы!

— Слишком долго, значит, не был. Мой тебе совет: езжай на взморье. Там сходу замену отыщешь.

— Ой ли?

Она наделила меня заверяющим взглядом. — Свое, моряк, найдешь!

Вопрос, которым я уже стольким честным людям отравил воскресное утро, вызвал на лобике рябь затруднения, она оглянулась на непростого труженика моря, с похмелья ищущего какую-то могилу.

— Понятия не имею! Кто он был-то, этот твой Кант?

— Он был, — сказал я, — немец и очень целомудренный человек.

Не без игривости:

— В каком же это смысле?

Все так же нависая, я поведал ей легенду о том, как философ потерял невинность. В целом он прекрасно обходился и без женщин, но, когда студиозусы доставили ему на дом местную блудницу, артачиться не стал, возможно, убедив себя, что без этого представление о мире останется неполным. «Ну и как оно вам, герр профессор?» — полюбопытствовали после коварные ученики. Сперва профессор мялся: «Да как-то так, да вроде ничего... Вот только, — отчеканил наконец, — сопутствующие телодвижения столь бессмысленны, что остается только удивляться тому, что род людской еще не прекратился».

Смеялся я один. Вожатая сидела вся пунцовая. Возмущенная до глубины души. Остаток пути мы провели в напряженном молчании. На конечной рука ее резко дернула рычаг открывания дверей:

— У всех вас одно на уме!

Что ж, местное целомудрие имеет глубокие гносеологические корни.

*Одно на уме.*

Вагоновожатая, конечно же, права.

В пригородном поезде, однопутным путем везущем меня к взморью, я так и глазел на женщин, сравнивая. Не с парижанками, конечно, которые суть миф — с родными. Нашими. Говоря в масштабе всесоюзном, местные, пожалуй, не уступали ни литовкам, ни белорускам. Международный феминизм и ты, Sophie, мне не простят, но что тут будешь делать, если у рижанок в целом, на мой взгляд, посадка низковата, а ленинградок, при всей их трагической одухотворенности, подводят ноги в смысле стройности: гены Большого террора и блокады, бессолнечность, авитаминоз, младенческий рахит, увы, увы... Прекрасное поколение в центре Москвы! Улица Горького, проспект все того же Калинина (запретил бы фекальное имя): на каждом шагу дух перехватывает от встречной длинноногой прелести. Но тут все ясно, «образцовый коммунистический город мира», и чем ближе к центру, к Кремлю, тем образцовей — французские куры, финско-польские яйца, апельсины — конечно, из Марокко. Впрочем, будучи на собственном обеспечении, Белоруссия с Литвой питаются относительно сытно, не говоря уже о генофонде, заложенном нашествием Наполеона. Здесь же, в Восточной Пруссии, сам климат онемчил славянских переселенков, смягчил им лица, отуманил глаза, придал эпителию тонкую матовость. Хороши, хороши. Все еще чувствуя себя бесплотным, я наделял свои нескромные взгляды дымкой грусти, скорбя и гордясь своей способностью быть платоничным.

На платформе меня охватило сонное затишье.

То и дело, напрягая мне соски, набегал балтийский ветерок.

В стекляшке кофе не было. Принял сто грамм грузинского коньяку. Выдул стакан абрикосового сока — серая слизь, бесовестно разбавленная из-под крана. Но ледяная, из холодильника. Спасибо и за это.

Неторопливо, прислушиваясь к эху плит, прошел насквозь миниатюрный городок из сказок братьев Гримм (а по названию *Советск*) — и обеззвучился в песке.

Море имело неблагоприятный вид.

Я съехал с дюны и всей тяжестью прожитой без тебя, любовь моя, жизни опустился на песок. Лежал с сильно бьющимся сердцем и слушал прибой. Небо надо мной было прозрачно не по-нашему. Пальцы вкапывались все глубже в належанный влажный холод песчаной основы. Ветерок, залетая в штанины джинсов, шерстил голени, дергал под разлетающейся рубашкой соски — затвердевшие, изнывающие. Я приподнялся на локти, огляделся. Приезжие женщины обнажаться не спешили, зябко сводили плечи, обнимали укутанные юбками колени. Но по самой кромке государственной территории, обратясь задами к небу, брели на четвереньках две местные. Волосы их распущенные касались пузырястой пены прибоя, когда то одна, то другая, грушевидно приседая, пробовали что-то на ощупь, пальцами: «Ольгуша, глянь!» Они сходились, соприкасаясь грудями, рассматривали что-то на ладонях... *что?*

Янтарь!

Меня ведь выбросило на уникальный, на единственный берег Мирового океана — на янтароносный...

И снова разбредались груди, и снова обладательницы их присаживались на корточки, широкозадые, как у Пикассо, и вдруг, ладонью пооббив шары коленей, сбегались — не юные, но и не пожилые, производительного возраста русские женщины в бюстгальтерах, неуклюжих, как само слово, заимствованное не оттуда, откуда бы надо, в коробчатых и угловатых, как бы граненых, как на амазонках, в трусах, отслаивающихся простодушно, и, словно мне тринадцать, это узкое зияние,

этот край белизны и волос... Белье, как ни старалось, не могло обезобразить эту зрелую наготу, созерцание которой переместило мое сердцебиение в надлежащее место, стиснутое чертовой кожей джинсов. Вдавившись локтями в песок, я внимал, вбирал, влипал, я обнимал своим онтологическим взглядом наготу отечества. От перегрузок этой жизни плоть деформировалась, подколенки взбухли натруженной, варикозной синевой, изуродованные материнством груди обвисли под собственной тяжестью, нежный, рыхлый жир нищеты (картошка, макароны, каша) обложил животы, но спины искательниц янтаря еще несли в себе такую становую силу бытия, что дай-то бог! Ссыпав пригоршни вечной смолки в свои разношенные туфли, они, пересмеиваясь, стали подталкивать друг дружку к воде, пробуя балетно вытянутыми пальцами ног прибор, тормозя его ступнями, - и вдруг решительно вбежали в Балтийское море.

— Танчура-а!

— Давай-давай! плыви ко мне, Ольгуш!

Я распластался и закрыл глаза. И вспомнил свою последнюю — первую по возвращении в Союз. Не далее как в пятницу я заговорил на Манежной, возле старого университета, с зеленоглазой девушкой. Ее лицо было усыпано корицей веснушек. Крепконосая, скуластая, с широко расставленными глазами, она напоминала степного кота, стойкого бойца за выживание. Была из Керчи. Дед грек, потомственный контрабандист, а внучка, она поступала в МГУ, на искусствоведческий, и, как и мне, ей очень нравился Лукас Кранах-старший. Сдала уже два экзамена, оба на отлично. Мы поехали к ней, на Ленинские горы, в студенческий городок. Три ее соседки по комнате провалились на первом же экзамене и в общежитии не ночевали, впад в столичный разврат. Гладкая, литая в сочленениях, напитанная солнцем, да не таким, а крымским. Понтэвксинским, контрабандным! Она не уступила мне в остервенении, не ночь — литавры плоти! Самшитовая гладкость ее плеч. Девушка занималась спортивной греблей, так что мы не мудрствовали лукаво: я раскачивал всю пружинную сет-

ку студенческой койки (они называют ее «батутом»), она же — Женя — простодушно натирала меня живым и крепким влажным кулачком, который оказался в медном междуножке, под ситцевыми трусиками в застиранный цветочек. И так до рассвета, в пылу накопленной ностальгии, под запись Донны Саммерс, доносившуюся из раскрытых окон соседнего корпуса. Наутро она нашла во мне сходство с автопортретом Дюрера. Дай бог тебе, Женя, пройти конкурс и поступить в МГУ, и я тогда, пожалуй, сдержу обещание свозить тебя в Питер, где в Зимнем дворце обращу твое внимание на завораживающую гравюру Альбрехта: «Рыцарь, Смерть и Дьявол».

Я поднялся, расстегнул пуговку, на которой удерживалась разлетающаяся рубашка, снял джинсы, положил часы в ботинок — и пошел на Запад, как под выстрел, и шел, пока волна не ударила в лицо, а потом быстрым кролем взял курс на Стокгольм.

По пути к остановке автобуса я был задержан пограничным патрулем. Пилотка, бескозырочка, только летнего шлема не хватало для полноты выросших передо мной Вооруженных стихий, а так бы готов плакат. Пара АКМов, «Калашниковых модернизированных», оттягивала плечи молодцам.

— Отдыхаем?

— Никогда. При исполнении находимся.

— А документики имеем?

— Так ведь граница на замке, ребята?

Юные, выскобленные подбородки посуровели. Сержант с напором потребовал:

— Ваши документы, гражданин!

Очки мои, не иначе, вызвали приступ бдительности. Темные и раскосой формы — вызывающе антисоветской. «Макнамамами» называет фарца подобные очки — по имени бывшего министра обороны США, большого, слышал я, поклонника поэзии Евгения Евтушенко, этого Джеймса Бонда от соцреализма. Медлительно я завел руку назад, извлек служебное

удостоверение и, раскрыв его, снял за тоненькую дужку «макнамары», придавая своему лицу то же выражение беспрекословной готовности в любой момент исполнить любое задание, что смотрело на них, взявших навтытяжку, с фотокарточки.

Старенький автобус, из тех, что домучиваются на окраинах сверхдержавы, был полон песка, пассажиров и пыли. Перед шлагбаумом КПП автобус затормозил и разжал дверцы.

Лязгая сапогами, взошел краснолицый пограничник, измученно глянул на нас:

— Погранзона... Попрошу поднять паспорта!

Народ закопошился; отодранные от сосцов, захныкали младенцы, забурчали недовольно мужики; из сокровенных замызганных тряпиц, пропахших тельным потом, обнаружались затрепанные книжицы цвета прокисшей общепитовской горчицы. Подняв свои внутренние паспорта, автобус в полном составе проголосовал за дальнейшее развитие социалистической демократии; я воздержался. Но пограничник особо не всматривался:

— Давай!

Шлагбаум поднялся.

Мы въехали в заповедную зону.

При всей монотонности все же многолика наша Родина. Мало того, по природе своей склонна медленно, но верно расширяться, от чего становится все более и более многообразной: от Тихого до Балтики. При этом географические достижения свои не склонна рекламировать. Немногие знают поэтому, что запад, крайний наш, Советский, отхваченный у фрицев, являет собой райское местечко: косую полосу белейших дюн в девяносто восемь километров между Куршским заливом (справа) и Балтийским морем (слева). Заповедная зона так и называется — Коса. Томас Манн имел здесь дачу, а позже Геринг, шеф люфтваффе. За окнами автобуса Коса, вздымая дюны, то закрывала вскипающие барашки волн

одесную и ошуюю, то опускалась, показывая берега — натянутую дреколье рвань рыболовных сетей, штабеля выловленных бревен, просмоленные днища плоскодонок. И снова в окна смотрели белые откосы, нахлобучившие на себя мхи и карликовые сосенки, корневища которых, прорастая песок, торчали наружу. А потом Коса раскрылась плоско и широко, и я увидел мириады птиц. Территория была огорожена. Орнитологический гулаг. Птичий гомон еще долго преследовал нас, утихая.

Оба моря стали удалялись к горизонтам, за окном пошли леса. Низкорослые. Привыкшие выстаивать при ураганах. Коса все расширялась, вдалеке показались черепичные крыши.

— Совхоз «Красная сеть», — возвысил голос водитель. — Кому на биостанцию, так тут!

Нетерпеливый народ стал подниматься, не дожидаясь остановки.

Последним спрыгнул я.

Шоссе сворачивало налево в сосновый бор; я взял направо — за народом, перекошенным тяжестью городских гостинцев. Обогнал старуху в мужском пиджаке, навьюченную неуместным туристским рюкзаком.

Путь был обсажен фанерными щитами наглядной пропаганды: «РЫБУ — СТРАНЕ!» «ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СЪЕЗДА ПАРТИИ, ТРУЖЕНИКИ СОВХОЗА «КРАСНАЯ СЕТЬ» ЕДИНОДУШНО ПОСТАНОВИЛИ ПОВЫСИТЬ УЛОВ...» Простирал свою длань и тут, конечно, намалеванный по трафарету Ленин: «ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!»

Трехэтажный дощатый дом биостанции был выкрашен в безумный желтый цвет. При виде меня со ступенек крыльца поднялся борцовского вида детина в черном костюме, тугой нейлоновой рубашке и при галстукке.

— Никого нет, но скоро будут... Витя!

Я пожал Вите руку:



— Кирилл.

— Кури, Кирюша!

Угостился «Примой» и прикурил из поднесенных ладоней. С первой затяжки отечественная сигарета вызвала рвотный позыв. Распаренная физия по-доброму смотрела на меня.

— К птичкам?

— Отчасти.

— Издалека?

— Москва.

— Студент?

Не смог не усмехнуться:

— Давно уж кончил.

— А я вот только первый курс. Скажете, поздновато? А я отвечаю: бэттэ лэйт зен невер. Я ведь кем только в этой жизни не был. И десантником был, и у станка стоял, и в кране сидел портовом, но вдруг, понимаешь, птички увлекли.

— Призвание, — поддакнул я.

— Оно самое... — Вздохнул обреченно, процитировал: — Иди дорогою свободной, куда влечет тебя свободный ум... Вот и пришел я на этот бережок. Вы сами орнитолог?

— Не по профессии.

— Но птицу любите?

— Как не любить... Свобода!

— Они здесь отдыхают перед отлетом — перелетные. Знаете, сколько их за год пролетает? Сколько на войне погибло... Двадцать миллионов!

— А я остаюся с тобою, родная моя сторона...

— Вы что, писатель?

— С чего вдруг ты решил?

— Писатель тут у них живет, так то же самое всё распевает. «Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна». При чем с таким чувством, что даже я не понимаю... Чистый же сталинизм!

Небрежно я предположил:

— Наверное, старпёр какой-нибудь.

— Писатель? Ха!.. У нашей официантки ты спроси. В том-то и дело, что молодой и в целом прогрессивно мыслящий. Особенно под это дело, — щелкнул себя по шее. — Очень мы с ним совпали в смысле экологического кризиса.

Меня задело за живое:

— Какой там «кризис»... Не кризис, Витя. Самоистребление.

— То есть, возмущает?

— Не то слово.

— А птичек в мазуте видел?

— Огнемёт! — зашелся я от ненависти к истребителям родной природы. — Огнемёт мне!

— Разделяю, — протянул руку Витя. — Пять!..

Я скрепил единомыслие с бывшим десантником, ушедшим в глухую оборону сферы обитания.

Раздался шум мотора.

Он поднялся и поправил галстук.

К крыльцу подъехала запыленная брезентово-защитная машина с неуместной цифрой в названии — «ГАЗ-69». Первой вышла сексапильная, но мрачная блондинка, обдала благоуханием юного пота и скрылась в скрипучем нутре биостанции. Следом прошмыгнули двое юношей, унылых и безвольных, а заключительный человек, рыхловатый и взлохмаченный ученый, остановился перед нами.

— Так и быть! — сказал он Виктору. — Учитывая беззаветность, оформляю сегодняшним числом, завтра в пять утра сюда и чтоб как стеклышко. Не за что, не за что, держайте...

Потеряв голову, десантник убежал. Посмотрев ему вслед, начальник обратился ко мне коллегиально:

— Слабовзоров, из Академии?

— Нет-нет... — Не выпуская мягкую руку с грубым обручальным, я сказал, что по другому вопросу.

— Излагайте.

— У меня есть основания предполагать, что вы предоставили творческое убежище одному из моих коллег...

— Был грех, увы.

— Как бы его повидать?

— Тоже литератор? — С гримасой отвращения схватился за титьку под ковбойской рубашкой. — Вот вы где у меня, небожители! Блуждающие, понимаешь ли, носители хаоса! Г-г-головки самонаводящиеся! — Он подавил приступ ярости. — Нашу Олечку коллега охмурил ваш. Лучшего моего практиканта. Эдак, знаете ли, мимоездом. По-печорински. Венивиди-вици! А эти олухи прыщавые... — Задрал голову и проорал: — Евдоким!

Помедлив, с треском раскрылось окно, над нами возникло апатичное лицо.

— Вы не в курсе, Евдоша, куда слинял писатель?

— Олечка ваша в курсе, — последовал ядовитый ответ, окно захлопнулось.

— Да ладно, — восшептал начальник а part ... — да ладно вам! — вскричал он, привставая на цыпочки, ухватывая себя за груди, на безымянном пальце правой имея вовсе не обручальное, а грубо заклепанное алюминиевое кольцо, которым окольцовывают пернатых. — Любовники! — уничижающе выкрикнул он. — Заповедник мы или *nir во время чумы*? Вы там не прячьтесь, вы имейте мужество ответить!.. Декамерон мне тут разводят, нашли себе питательный бульон, онаны безутешные, — со жгучей ненавистью шептал и снова переходил на крик: — Ну, я попорчу вам характеристики, клянусь!.. Он отдышался и, введенный в заблуждение моим сострадательным видом, пожаловался было: — Ну, август выдался: одни эмоции, — но спохватился, осознав противника. — Нет, господа-аморалисты, нет! Со смертью Бога права небожителей остались разве что за птицами... Короче, укатил Печорин. На черной «Волге» на своей. Куда, не знаю. Кажется, в Литву.

Он посмотрел мне в глаза непримиримым взором, недобро усмехнулся и, крутя головой, бормоча про блуждающих носителей хаоса, взошел на крыльцо и захлопнулся с силой.

Всеми окнами отражая закат, желтый дом смотрел на меня с испепеляющей яростью.

Я закинул на плечо манатки.

\*

Общепит рыболовецкого хозяйства имел название, что само по себе говорило о близости к Западу; к тому же было оно изобретательным: «БЛЕСНА».

До пяти эта «Блесна» работала, как столовая, а после...

Дым стоял коромыслом. Только окунулся, как услышал зов:  
— Кирюша-а!

Протиснулся и сел напротив.

— Стаканчик!.. — Витя всплеснул руками и пропал. Голубенький пластик, изобретенный во Франции и называемый там «формика», был заставлен пивом. Сквозь клубы дыма, просвеченные *косыми лучами заходящего солнца*, я рассмотрел контекст. Помимо мужчин, присутствовал и местный слабый пол, который сидел столь же сурово, по-мужски подпирая мозолистыми пятками ладоней щеки с подбородками. Медная стойка, загигая тесный ряд клиентов, увела мой взгляд. Сидя и стоя за ней, народ, кружка за кружкой, целеустремленно убывал в незнаемое, порой хуля порядки, но главным образом в молчании. Обслуживали локальный парадиз две женщины, усатая еврейка могучего телосложения и относительно молодая, жестколицая славянка: созерцание ее рук, со звоном сводящих пивные кружки воедино, спровоцировали у меня эрекцию... — Вот! — поставил передо мной Витя неожиданный сосуд, — фужерчиком разжился... Денёк такой, можно сказать, знаменательный. — Соломенная струя наполнила фужер, взбивая пену. — Взяли меня, понимаешь! Взяли в свой заповедник. Вот за это бы? За *птичек*?

Отрадно холодным было пиво. Славянка из-за стойки смотрела, как я пью. Над краем фужера я подмигнул ей и вызвал в ответ улыбку.

— Жидкий хлеб... Наливай себе, наливай. Хлеб, да. Никуда от этой материи не денешься. У тебя как, все в порядке? С твоим *вопросом*.

— В полном, — сказал я, любуясь сиянием его физиономии.

— Ты не держал голубей? Никогда?

— Нет.

— Жаль. А впрочем, считай, что повезло. Ты не стесняйся, наливай! Жидкий хлеб. Мамаша моя вон чего творит. Из булочной, значит, приносит плакат. Выпросила. Знаешь, над кассами висят, бабища вся в снопах, *Родина-Мать* мирного времени, *не закупайте свыше потребляемой ежедневно нормы, черствый не выбрасывайте, изготавлийте сухари, ценный пищевой продукт, ибо достояние народа*. Инструктаж по случаю изобилия. И вот этот *агитпроп* пришилила в дому. Мне что, молчу. Ты пей, Кирюша, наливай. Всю жизнь на бесхлебье, исключая в девочках, ну и того... С приветом малость. Мы ж с голодухи в эту Неметчину сбежали: трое нас в сорок седьмом померло, а меня с сеструхой мать вывезла сюда, на *исконные земли*. Шарик, помню, слепишь из крошек: «У-у, нехристи, — она нам, — ничего святого». Корки горелой не оставь: «Жри, нехристь, жри, вся сила в том остаточке». А пацан, на лебедь выросший, сизарей, понимаешь ли, исподтишка подкармливает. Кому они во зло, сизарики, а? Не держал голубей, что, никогда? Считай, повезло. Уберег себя от человеческой ненависти. Да-а, друг... *История моей голубятни*. Сытый, грамотный, тот в сизарике видит разносчика туберкулеза, да? Крысы, мол, неба! Ну, а народ, тот ясно: «Ишь, падла, *квохчет*... Зоб набил, ворюга!» Птицу народ ненавидит нутром, кишками, чревом, — а как же? Не пашут, не сеют. Воинской повинности не несут, границы, что на замке, — открыты... Не говоря уж *про Китай*. Воробьишку держал в кулаке? Дрожит, ерошится, а сердечко у самого... а? А этим узкоглазым дали указание — и горы воробьиных трупов по всей марксистской Поднебесной... Взглянуть вот так на нас, на человечество... А? С птичьего полета?

— Ты прав, — признал я право на хмельную горечь.

— Сранья их недостойны, не то чтобы их *воли*... Эй, парни! — кричал кому-то.

Я весь, как кровью, пульсировал «жигулевским», жизнь уходила из-под контроля и, слабея, соловья, я отдавался *на самотек*. Эх, вы, советологи, укорял я, уносимый потоком,

мысленно уговаривая Збигнева Бжезинского спиться с нами за компанию, ради познания *тоталитарной модели бытия*, какая это, Збышек, благодать!.. Не знаешь. А вот *Петя* знает. И *ложит* на стол три воблы. *К пиву будут*. И *Паша* знает, вынимая из кармана газетный сверток, налитанный жиром, как натюрморт Оскара Рабина, потому что *рыбка посуху не ходит*.

Появление угря, этого ошеломительного дефицита трофейных *внешних* вод, угря толстого, как Витино предплечье, предусмотрительно нарезанного, исходящего жирком нежнейшим, сдвинуло застолье, как народ вокруг партии, превращая в единый монолит.

— Лично я после Атлантики, — сообщил Эдуард, открывая водку, извлеченную из карманов форменных клешей в количестве двух поллитр, и, оставив Пете с Пашей сливать ее водино с пивом для получения основного тоталитарного коктейля под названием *ёрш* (ибо выходит врастопырку), конспективно пояснял резоны своей тяги к небытию... — Значит, заявляюсь с утра. К своей, ну? Вместе учились, а перед моим уходом в Атлантику договорено меж нами было расписаться. А тут, значит, такие обстоятельства: заезжий старлей. Она мне скоростно изменяет, расписывается с ним и выезжает в направлении ГДР. Вот кореша: не уследили...

— Так мы ж тралили, ты нас пойми, разве ж допустили бы, если б не? Оно ж стране селедку надо? Не только «Атлантическую», но и нашу, «Балтийскую», сейчас бы ее с лучком... Ты, Эдик, позабудь, а мы тебе другую подберем, ну, а покаместь...

Всепрощающе Эдик отмахнул рукой и взялся за ерша.

— ...Три. Два. Один. *Ноль!*

И мы стартовали в иной мир. В лучший.

Двухсотграммовый ёрш является серьезной дозой, закон же небытия один, точнее один из законов небытия — *nihil admirari*, так что я не выказал ни малейшего удивления, заметив, что с несвойственной обычно мне распущенностью приобнимаю официантку, явившуюся по пустую тару, и даже норовлю прильнуть виском. Посмеиваясь, поочередно втыкая

пальцы в горлышки пивных бутылок, официантка с кокетливым укором сообщает мне, благодушному рыцарю, что это такое позволяет лишь проверенным клиентам, меня же видит в первый раз... Уж не писатель ли я? Бедро у нее каменное. Писатель, писатель, ласково соглашался я на все. Нанизав бутылки на все возможные пальцы и собрав их в звенящие кучи, официантка не торопилась уходить. Новый мужчина, конечно, вызывает интерес. Особенно в погранзоне.

Особенно писатель.

- Сегодня, между прочим, в клубе танцы.
- И щеки девушек горят?
- Насчет девушек не знаю, а лично я там буду.
- То есть, не исключено?
- Не исключено что?
- Что познакомимся поближе?
- Это зачем?
- А в целях проверки!

Усмехнулась, и к застолью, которое на внешний мир уже не реагировало:

— Смотрите, мужики, мне кавалера не спойте! Чтоб на ногах мне хоть стоял.

— Я танцор устойчивый, — заверил я, при этом возлагая руку ей на круп, немедленно напрягшийся.

— Поживем — увидим, — и уплыла в звоне стеклотары, а я снова с головой ушел под поверхность трезвости, на самое дно аквариума, где рыбаки уже превратились в говорливых мальков ломай леща-то сдирай с хребта там самый вкус а главное бей корректней понял не оставляй следов ты это брось разве поможешь мордобоем когда тут чувства нет тут все тут глухо мешать я не люблю люблю ее чистой а потом пивком пивком ты прав ты может сам не знаешь как ты прав а птичку жалко птичку невеличку птичку непиздичку да я прав дай я тебе скажу ну дайте мужики сказать ну говори вот значит как балдеешь да ну короче окопался занял позицию забурел что называется а начал сползать добавляй но понемногу грамм по тридцать по самоощущению подтягивай к брустверу но толь-

ко не превышая понял до отключки будешь держаться и держаться подобное я вам скажу и с бабой тут много аналогий с бабской сферой да чего-то лично у меня такого кайфа с бабой нет сравнил откуда с бабой я лично после как с похмелья но только хуже с утра подойдем к открытию думаешь даст не даст не знаю как тебе а мне Раиса всегда нальет по литру прием и как рукой а после бабы как-то оно да это да вроде ни тучки ни облачка а ты нутром предчувствуешь беда так это так мне после бабы и не спится и мне точно заснуть не могу на кухне сядешь и смолишь смолишь покуда пачку не добьешь так может думаешь о чем о чем не думаешь а маешься ну а чем так вроде нечем но вот как надавит на темя так хоть ты повесься тоска выходит после бабы да тоска а мне наоборот легчает но это Эдик пока ты молодой да вольный а мы-то с Пашкой с Петькой мы охомутились а этот все про сизарей давай-ка прием на душу еще

*Без меня.*

Помнишь ли, Sophie, уроки тотальной самообороны, которые давал нам в провинции подпольный наш гуру? Обрусевший японец, отсидевший свое солдат Квантунской армии — один из самых первых, наверное, в стране «паломников в страну Востока». *Болезнь и смерть*, учил он, *входят через рот*, и приглашал нас, цинично ухмыляющихся, непрерывно думать над коаном «*Dondo fuge*»: «*Это не может быть проглочено, это не может быть выплюнуто*».

Таки наглотался. Слишком интенсивно взяли меня здесь в оборот, но внутренний голос, который я слышал, предостерег: *удались!*

Беспрекословно подчинился своему демонию.

Свалил и удалился на пустынный берег внутренних (пресных) вод, вырыл в холодном песке миниатюрную могилу, нагнулся над и совершил одинокий обряд по изгнанию вышепроглоченного ерша. В соответствии со своей природой вышел он топорщась. Я похоронил его и, массируя горло, прилег



на сохлые водоросли. Залив стемнел, и на востоке моей души сгустился мрак. Берег был безлюден, пограничный наряд следовал сейчас по западному, внешнему краю Косы, мой внутренний мрак усиленно охранялся от вмешательства извне, и это его усугубляло, как ни странно. В настроении самоубийственном лежу за пазухой у родины, в непосредственной близости от лезвия государственной границы. Снова явилась Костлявая по мою душу.

Я человек аполитичный. Ситуацию свою принимаю постольку, поскольку дается мне возможность обитать то здесь, то там. При внутренней непринадлежности материал, согласись, собирается небезынтересный, особенно с точки зрения самопознания. Будь я действительно писателем, обреченным *здесь* на немоту, тогда, не знаю, может быть... но неписательское честолюбие в моем отдельно взятом случае соотносится исключительно и единственно с моим собственным непроницаемым внутренним миром. И я отказываюсь выбирать из двух зол меньшее. Оба внешних мира, тот и этот, занимают меня как целое, как сообщающиеся на уроке химии сосуды, как уродство, именуемое «сиамскими близнецами». Отказываюсь приносить на алтарь Запада свой Восток, что неизбежно, увы, при вашем писательском выборе, при чем не только географию, вот уже более десяти лет для тебя закрытую, я имею в виду. Впрочем, этот Восток, предоставив мне оперативное пространство за своими пределами, он требует куда более серьезных жертв... Помнишь ту сказку, где летящий Иванушка подкармливает птицу ломтями собственного мяса? Вот! Запад есть Запад, упивалась ты Кипплингом, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись... Скармливая себя прожорливой русской птице-людоедке, я, бесспорно, становлюсь все бесплотней, все призрачней, но покамест все еще лечу, пока еще внутри меня оба противостоящих мира сходятся воедино, и по-прежнему ложатся на плечи мне ладони соотечественниц, и поднимаются навстречу мне тяжелые колени... Ебу, Sophie. Что еще возможно «Здесь-и-Сейчас»? Еще алеет эта щелка в изнуряюще-серой, в железобетонной скуке: ебу — и

плачу, ебу, можно сказать, навзрыд. Мечтаю об одном: отдать Богу душу *не вынимая*, как один из моих безвременно ушедших товарищей, генерал ракетных войск, с которым свела нас некогда судьба в ветреном январе, в одном из крымских санаториев.

Протрезвел до знобящей ясности, до дрожи. Было совсем темно. Я вынул из сумки кожаный пиджак, разоривший меня, живущего на зарплату, на полторы тысячи новых французских франков (и мысль об этом каждый раз доставляет мне небольшое пошлое удовольствие...), распечатал очередную пачку *Gitanes*, закурил — и отправился бездумной походкой российского ходока в темень, дышащую хвоей, на отзвуки провинциальных танцев. По зову сердца.

Своей болью, *Sophie*, там наслаждался я вполне. Своей дощатой наготой клуб напоминал лагерный барак, а партнерши мои, столь усмешливые меж собой, немедленно каменели в моих джентльменских объятьях. Руки имели холодные, шершавые, трудовые, несмотря на предусмотрительно втертый крем; в промежутках между танцами я обтирал ладони о джинсовые свои бедра. Я осторожно вдыхал над их прическами, оберегая себя от запаха убогой и обильной косметики, а они бдительно следили за дистанцией, напрягая мускулатуру рук, и чуть не грохались в обморок, когда своей правой, ведущей ногой я раздваивал на повороте ноги их под платьем. Во всем этом было что-то невыносимо человеческое, *слишком человеческое* — и от барачности антуража, и от сознания госграницы.

Ушел с одной из них — с официанткой из «Блесны».

Увел *любить*.

Я вознесся над женщиной и, наконец, разрядился — вслепую, таращась в оплывающую разноцветными пятнами тьму, хватая горлом парной, горячий, тропический воздух, *мой генерал!*

Я кончил — приоткрылось зияние небытия. Оглохший, отвалился я на спину и уронил руку на дощатый пол. Это был еще тот марафон!.. В ушах гремело, локти саднило, я стер их о наждак простыни, крахмальной, торжественной, как скатерть, *где стол был яств, там гроб стоит*, но кончил хорошо и резко — как пружина парабеллума. Сердце быстро приходило в норму, надежное, до разрыва аорты еще играть мне да играть... Покинув тяжесть своей остывающей плоти, я растворялся, рассасывался: нет, это было еще не окончательное небытие, куда, не дотянув до последнего в жизни оргазма, с головкой ушел мой санаторный приятель-ракетчик, — омыв всего лишь, проба, краткое погружение в купель. Стихия вечного блаженства, подержавшая меня в себе и тут же вытолкнувшая обратно, в этот мир, дала мне понять, что, кроме счастья, будущее ничего ужасного мне не сулит. Поскольку СМЕРТИ НЕТ. Генерал, как глубоко русский человек, то есть кровно причастный к небытийности, об этом, я уверен, знал, пусть и не сознавая. Мне не хотелось возвращаться, ведь именно провалов этих ради и живу. Вся истинная жизнь моя — не восточного йога и не западного его антипода, но русско-го межеумка есть ни что иное, как дискретность небытия, моменты счастья, разорванные, тоскующие друг о друге. Когда взаимные силы небытийной тяги сольют их в экстазе, вот тогда меня не станет окончательно и невозвратно. Что ж! Я не бегу от смерти, как западный человек, не внедряю насильственно себя в нее, как нищий йог. У меня иное отношение к делу. Я русский, я — тоскую. Тоска — о, в этом все ключи! Это не сплин и не кафар: TASSKA — это, по сути и по преимуществу, наша национальная склонность к небытию, которая, видимо, и не смогла бы для глобального своего разрешения найти более подходящую форму организации, чем соборный наш режим. И вот, кстати сказать, насчет корней моей советскости, над верностью которым ты размышляешь там, на Западе, не находя разумного ответа. Тоска, *тоска!*.. Одно только удивляет меня, как это ключевое понятие, отмычка к русской Тайне, до сих пор не обогатило лексикон человечества, как это

сделали «Советы», «колхоз», «ГУЛаг», «спутник» и «Калашников» — дериваты тоски.

Щекочущая капля спермы вернула меня к реальности. Капля сползла с соседнего тела на мое бедро, и я посторонился, сопровождая улиточный ее след пошлым сожалением об избыточных потенциях бытия, данных, в частности, мне, за спиной которого сдвинулись, и как срослись, врата нирваны. Судя по вздохам, партнерша оживала. Она как бы еще не вполне поверила в имевший место взаимный пароксизм, синхронность которого, при ее бесчувственных данных, была, скажу без ложной скромности, делом чести, доблести и героизма. И это, заметим, безо всяких ухищрений, даже без рук, в ортодоксальной позиции и кромешной тьме (со светом мы смущались). Я поднял с пола пачку, утяжеленную зажигалкой, металлической, бензиновой, люблю аромат, высек пламя, в свете которого ее руки пугливо замерли на взмыленном, жемчужном, влажном животе, как бы пытаюсь скрыть от меня мою собственную квинтэссенцию. Руки были короткопалые, рабочие. Так-то, подруга. Стальным щелчком я загасил. А то аккуратистка эта мне вафельное полотенчико подстелила промеж своих ног — кончать.

— После своего мужика, законного, веришь ли, ни с кем, ни разу, столько лет! — заговорила она, как бы оправдываясь за оргазм. — Забыла даже, что вдвоем возможно. А тут, на одной неделе, на тебе!.. — Смешок одобрения. — Ну, вы пис-сатели...

Я молчал, давая недоговоренности разбухнуть. Волна благодарной словоохотливости накатывала на нее, но женщина сопротивлялась, уважая заслуженную мужскую прострацию. Вытащила из-под зада подушку, которую я по ходу дела вырвал из-под неуступчивой ее головы в целях выявления рельефа. Навалилась локтем, растворив надо мной мускусный дух подмышки.

— Правду сказал: устойчивый, — ласково признала. И с повинным самоосмеянием: — Я ведь, знаешь ли, долгоиграющая...

О Господи! молчи! Великий и могучий, правдивый и свободный, увы, всегда был безлюбовным языком. Как говорить на нем в постели? Бедная ты моя, бедная, ты, женщина России, и к феминизму придешь разве что в белом венчике из роз. Я раздавил окурочек в хрустальной пепельнице, вынутой из серванта ради меня.

Пугливая ладонь легла мне на грудь.

— Шерстяной какой... — Скользнула по мускулу шеи, с нежностью и, выявляя мою небритость, огладила квадратный подбородок. От руки ее приятно пахло спермой и кремом для смягчения кожи, продукцией московских косметологов, *укрывшихся под фирменной вывеской «Свобода»...*

Я усмехнулся, подумав о нашем оперативном объекте в Мюнхене.

Она почему-то тоже.

— Ну и писатели пошли. Атлеты какие-то.

С неумелой нежностью она массировала мне плечо.

— Такие мы, — признал я.

— Вы-то — да. А то я ваших видела по телевизору. Или старье, или бабье какое-то. В ладоши хлопают все, как один. Съезд был ихний, что ли? Целый зал одних писателей. Мягкие такие, сытенькие. Особенно начальник ваш, как его? На букву «мэ».

Не обязательно быть физиономистом из ЦРУ, чтобы составить себе верное представление о соцреализме: этот, на букву «мэ», востренький, брыластый, пухлый, как купчиха, конечно же, не Норман Мейлер.

— Мы другие, начальства над нами нет. — Я повернулся к ней, навалил ее ногу на свои неугомонные чресла.

— Да уж вижу...

— Курс наш — одиночество, движитель — любопытство, и вся наша жизнь есть отчаянная попытка сбежать от этой принудительной, этой телевизионной советской скуки... Спустить

в Мировой Океан углый челн своей судьбы — и будь что будет. Сам свой лоцман, сам свой боцман, сам свой капитан. Как поет под гитару замечательная поэтесса. Новелла Матвеева, слыхала?

— Когда б не территориальные воды, — возразила она с печалью и выдвигая колено, чтобы совпасть со мной. Надавила всей тяжестью лона, отчего возникло ощущение, что я пытаюсь протиснуться в потаенный ход, в сокровенную, тесную, живую норку, присущую этому гладкому малоподвижному валуну. Охнула. Палочкой динамита я надежно закрепился в камне, и моя ладонь снисходительно огладила самоуверенную ягодицу.

— Территориальные воды не помеха. — Я выдержал раздумчивую паузу. — Особенно в норд-ост.

Влагалище разом пересохло.

— Ветер может и перемениться.

— Неважно; был бы он, а там...

Я привел в движение свою интимную мускулатуру, как бы пытаюсь перевести общение в иное русло, но партнерша осталась равнодушной к подспудным толчкам.

— Решил соскочить?

Дыхание чистой страсти обдало меня. Ревность? Мечь? Поди разберись в этом сплаве, иссушившем *снутри* Артемиду погранзоны. Я длил паузу, я наслаждался оттягом стрелы, дрожью тетивы, азартным прицелом ее души, без промаха бьющей влет таких, как мы, Sophie. Окрыленных.

Сорокатрехлетняя официантка была опытным снайпером: ложе в зарубках.

Вместо ответа я вынырнул из-под нее, ловко провернулся на собственной (гудящей) оси...

Неожиданно для себя Артемиду оказалась *à quatre pattes*.

Ягодицы ее окаменели. Я притянул к себе эту вальяжную тяжесть, вталкивая свой запал до отказа, до шлепка: не-е-ет, минер ошибается только раз, и ошибается он, чего, может, ты не знала, *нарочно*, в приступе безудержной тоски по хаосу. Охотница навязала мне этот поединок, и в бестиальном упое-

нии (но с добросовестностью честного ремесленника) я отдался процессу шлифовки. Давай, богиня, нашлепывал разъятую громаду, давай, шевелись, ловчиха, давай-давай! Ягодицы неуверенно боднули меня, выждали, а потом с силой наддали, сотрясая пах. Я выдохнул. Нашел ее пятки, развел их, намечая развитие позитуры, похлопал по мозолистым ее ступням, после чего вдавил ладони в поясницу, пригибая ее, да, Артемида, так будет еще непристойней, еще разъятей, *ниже, еще ниже*, давай хоть на время утвердим с тобой, *сексотка*, краеугольный камень преткновения, вот так, во главу угла, и ты не охотница, и я не коварный медведь, побудем просто людьми, ебущимися людьми, прорвемся к доступной человечности, давай, секретная сотрудница, давай! Сжимая ее, я с закрытыми глазами отдался первобытному танцу, из толстых, мясных, сырых шлепков его поползло в меня, разнимая внутренний мрак, алое растение, оно заполнило, разрастаясь, все мое пространство, неповторимое, как розовый куст, выращенный совместно, и я, твердо зная, что это видение никогда и ни с кем не повторится, потому что каждый раз иное расцветает, отчаянно силился запечатлеть распирающий образ сетчаткой сознания, но таинство каждой отдельной ебли, увы, засвечивается в момент оргазма, от напора которого меня уже отделяла пленочка, истончающаяся, но еще упругая: ну! шлепнул я ее по щекам ягодиц — и попятился от зреющей вокруг, сжимающей меня спазмы. Выскользнул и собственноручно провалился наружу, необратимо засвечивая отснятый материал.

Я вытер ей поясницу простыней, пустил, она тяжело повалилась на бок. Розовое зарево угасало. Я поднялся, прошлепал к окну, открыл, вдохнул. Стоял и наполнял себя живительными толчками праны, отзывающейся в этих местах сосной, Атлантической, волей.

Мне было пятнадцать, когда я заказал в Публичке двухтомник индийской философии. Библиотекарша разорвала бланк заказа на моих потрясенных глазах, и так медлительно, с садистским наслаждением: «Изучи сначала марксистско-ленинскую, м-мальчик... «А что бы они предложили вместо

«Кама-сутры», взамен твоего, Сонь, самиздатовского экземпляра, помнишь? на котором моя мама оставила небрежный отпечаток своих губ, снимая излишек губной помады первым, что попало под руку...

Я лег под простыню, под жаркий бок существа, к которому не мог уже относиться нечеловечески, отыграв его дважды у системы. Ебля в этой стране — последняя возможность изменить что-то к лучшему. Последняя ненасильственная — имею в виду. Увы, возможность чисто субъективная. Женщина прильнула ко мне, меня затопил приторный запах польского лака для волос, которые от этого теряют жизнь.

— Никогда не было мне так...

— Соскочим вместе?

Она вздохнула. — Шутишь... Ты вон какой. Синяки останутся — как ты меня держал. Зачем тебе, *там-то*, со старухой...

— Ну-ну, — приобнял я ее.

— Как тебе было-то? Другую, наверное, в памяти имел.

— Тебя имел. А было хорошо.

— Ну и лады, останусь с синяками, а ты бы вот что...

— Пройдут.

— Еще подержатся. Ты где ее оставил, байдарку-то?

Я молчал.

— Лес ведь, знаешь, как прочесывают... Чего ж садиться зря, десятку ведь отвесят.

— Да-а, — сказал я, — было бы обидно.

— Не то ты место выбрал *нитку рвать*...

Ей можно было верить. Ее супруг, утонувший, согласно официальной версии, при исполнении рыбацких своих обязанностей, вот уже лет десять благополучно бороздит мировой океан. Правда, под чужими флагами. Рыба ищет, где глубже, рыбак — где лучше. Тем мы ее и взяли в оборот несвободы. Беглым мужем. Все очень симметрично. Вот только грусть в ее голосе была совсем неслужебной, и я понял, что своей игрой в человечность поставил сотрудницу под угрозу самораскрытия. В ней выявились потенции воли, я верил чистой эманации печали. Чего доброго станет уговаривать меня



попытать счастья в Черном море. Меня мутило от тошного стыда: щека на моей груди, грудь, расплющенная на моем животе, тяжесть бедра, эта ее льнущая, сиротская природа, истинная... неуклюжие пальцы, ласкающие мою шерсть. С отворачиванием к себе подул ей в волосы и, не меняя тона, называл агентурной кличкой:

— Четко сработано, Блесна... Высокий класс.

Все живое отхлынуло у нее из-под кожи. Она не сменила позу, не ухмыльнулась, даже не дрогнула. Все так же прильнув ко мне, она медленно каменела.

— Меня интересует мой предшественник, — сказал я с неуместной уже нежностью.

Приснилось мне, что я — женщина.

Мне было жутко, я *испытывала* чувство обреченной потерянности, я *сознавала* беспомощность своего блефа. Гомон ожившей стаи разбудил меня.

*Женщина*, она спала.

Настоящая, она была влажным жаром, крепкими гладкими плечами, приторным духом волос двойной природы, белесой над корнями, естественной, а потом искусственной, окрашенной хной и ломкой.

Я отслоился, отлепился от ее кожи. Сел, утвердился ступнями на щелястой тверди пола. Я был еще во власти кошмара и нарочно замутнялся, чтобы не прервать *сообщения*, этой тающей пуповины. Невесомо перемещаясь по комнате, собрал свою одежду и удалился в ванную. В тазу лежала ржавая заколка. Положил на эмалированный край свои вещи, омылся, стараясь не шуметь, и натянул свои несомненно мужские слипы парижской фирмы «НОМ». Несмотря на водную процедуру, кореш мой, несомненно, что мужской половой, был в состоянии полустоячем. Усмехаясь в зеркало, по привычке свернул его налево и упаковался.

Только что был теплый вечер 14 июля на Champs-Élysées – хлопки петард и взрывы хохота, акустическая вседозволенность машин. Спinoй к шумихе мы сидим в сумрачной глубине кафе, она в черном тюрбане, ретро, смотрю на нее над круглым мрамором, рот черен, резок, она меня встретила в аэропорту, мы только что познакомились, взгляд мой обычный, мужской, предвосхищающий: она мне предстоит. Примерно скоро, этой ночью, через час. Нам предстоит пройти через любовь, и я, притворяясь оживленным по иному поводу, гадаю о форме вульвы, о пубисе, неведомая бабочка labia minoris держит меня, как Набокова, в ознобе возбуждения. Какой ракурс этой особы выдающихся аннигиляционных способностей раскроется мне? Особа берет сигарету, спешу подобрать с мрамора тяжелое, ребристое, золотое тельце газовой зажигалки, подношу через столик томля, с воодушевлением закуриваю сам, хорошая сигарета, настоящая, made in USA, купил блок в самолете, в то время я предпочитал les blondes... Вынимаю сигарету из собственных губ, а на ней след губной помады. Поднимаю глаза на особу – столь же растерянным взглядом отвечает она. Сдвиг сознания. Зеркало являет заспанную даль: затылки, профили, суетливые тени, россыпь искр на тротуаре, угасающее зарево праздничной ночи. Я одна. На мраморе передо мной свилась воедино пара черных сетчатых перчаток. Мне страшно. Ноги ватные. Сознание, что я без трусов, парализует меня. я аннигилятор, подражая Мэрилин Монро, никогда не ношу трусов между регулами. Как же я поднимусь из-за столика?

С намыленным лицом я ухмыльнулся своему отражению. Горячей воды, конечно, не было, так что брился я холодной, как Джи-Ай. Ветерок собственной походки омывает неведомую наготу под платьем. Тюрбан, перчатки, каблук. Элегантная дама. Я. Иду по засранной птицами территории. К тебе, Sophie. Ты в джинсах, ковбойке, на корточках, тебе тридцать три, ты с печалью созерцаешь гнусную птицу. Я беру из твоих рук это существо за вялое крыло.

Птица покорна, она из покорности нарочно провисает, крыло вытягивается, истончается, как пластилиновое. Спешит выказать полное и безоговорочное послушание. С отвращением я отбрасываю рабыню, и она выворачивается, как драный зонтик, увязая в воздухе. Утро. Под мышки я поднимаю твое щуплое тело, поднимаю лицо. Поволока неузнавания во взгляде. Я, это я, припадаю я к твоему мягко расступающемуся рту. В этот момент все множество птиц снимается с территории, мы одни — в центре огромного пространства — обнесены колючей проволокой. Мы одни теперь зэки. Небо заполнено птицами, животрепещущей скверной черной ряби...

Хичкок — скажи?

Пять утра.

Дверь лязгает язычком городского замка.

Вышел я в Германию.

Поежился. Застегнул куртку. Укоротил ремешок, чтобы зафиксировать тяжесть сумки. Утренняя пробежка — одна из моих излюбленных одиноких утех. Формы Германии, проступившие в безлюдьи рассвета, образы Германии поплыли сквозь меня. Я бежал неторопливой трусцой. Кирпич. Спаянность кладки. Камень. Черепица. Кирха. Ратуша; у входа вяло свисает выцветший флаг Российской Федерации. Нарастало неминуемое *настоящее*. Желтым пятном подержалась в поле зрения биостанция. Приблизилось, отошло здание общепита со своей коварной вывеской *ловись, ловись, рыбка-бананка. И большая, и маленькая*. Фанерные щиты, врытые по обе стороны дороги, попеременно предъявили свою пропагандную изнанку, не отличимую от лица: «Рыбу — стране»... «Выполняя решения...» «Коммунизм победит...»

Вот скрылся из виду поселок Рыбачий:

*С-с-савецкая наша земля...*

Увеличивая обороты, я вырвался из настоящего, я вклинил свой пульсирующий, кровеносный, бухающий организм в пустынную шоссе, и Германия объяла меня своим древним сосновым бором. Балтийский *Шварцвальд*. Меня сопровождало эхо. Отзвук давно минувших времен. *До* — дототалитарных. Когда эта аскеза, эта знобкость, это море с хвоей вдохновляло Иммануила и Томаса. Беги, капитан, беги, Тонио Крёгера не догонишь. Плоскость шоссе, лоснясь от росы, плыла вспять. Я ощущал себя призраком на этой тверди. Легконогим фантомом. Но во мне еще бухала кровь. Парадокс. Я живу. *Под ногами не чуя страны*. Обезвреженно. Мин нет. Обездуховленно навсегда. Впрочем, особнячок их Нобелевского лауреата можно посетить. Я перешел на шаг. Из меня туго вырывались парные облачка. Музей германского духа. Что ж, наследник победителей, я несомненно выиграл от расширения страны. Могу утолить приступ германофильской похоти.

В качестве экскурсанта.

Сердце восстановилось. Я был до отказа налит жизненной силой. Теплокровный призрак. *Реваншист*. Падший Ангел, как ты мучаешь меня, меня изводит ностальгия, изъятые пустоты твоего духа ноют во мне, как ампутированная конечность, как 6-я армия... *Внутренний эмигрант*. Газетный термин. Все мы тут внутренние эмигранты. Блинов, тот эмигрировал в эпоху сталинского репрессанса. Алкаш примагазинный нашел свою форму экстраполяции в миры иные. Всех разметало по канувшим в небытие эпохам, по заказанным пространствам, по звездам, живем, где хочется, по склонности души, но только не *сейчас*, не *здесь*. Не ты, Sophie, отсутствуешь, а мы, и я, став призраком, я, 260-миллионная частичка, всего лишь в чистом виде воплотил формулу небытия. А ведь когда-то вместе с Пушкиным *предполагали жить*.

Я взошел на холм и повалился на палую сорную хвою.

Вдали — штилевое сияние залива, плоский белый берег, рыбацкие домишки, несчетные, розные, расположившиеся на самоуважительной дистанции друг от друга. Вокруг же были

привычные приметы отсутствия человека... Тронутая ржавью пивная крышечка. Обесцвеченная, сплюснутая пачка вездесущей «Примы». Осколки водочной бутылки были налиты темно-зеленым светом. Надо мной от порывов норд-веста взлетали пустые колготки, показывая темные, нахоженные ступни. Кто-то из соотечественников туго обвязал ими ствол сосны.

Я зарылся лбом в пылевую падь, потащил из нее упругие корешки, охота, как охота жить, жить на своей земле, жить *русским*... Хрустнув шейными позвонками, я рывком запрокинул голову — с силой ударил оземь лбом.

И еще!

И еще, и перекатился на спину, увидеть небо сорным взглядом, а со спины на грудь — и покатился под гору бескостным мычащим туго связанным мясным мешком. *Предполагали жить.*

Мясо въехало в какую-то рытвину, затормозилось.

Отключиться не удалось. На мне был чей-то пристальный взгляд. Физически, спиной испытывал нарастающее его давление. Я вскочил на ноги. Никого. Приступ ярости чадно отгорал. Убил бы. Вогнал бы переносье в серое вещество. Втоптал бы в мусорную землю. За все. Я утерся ладонями. Какой, однако, славный здесь прострел. Тут пулемет, вон там — и мы бы с тобой положили десант. Внезапно я увидел пляж, превращенный в лежище трупов. Жаль было оставлять позицию.

С изнуряющей тоской по врагу я поднялся на холм и лесом вышел к шоссе.

Лег на теплый асфальт. Затылком в мягкость сумки. Авось кто-нибудь переедет. Итог всей мощи. *Мужеский итог.* Я лежал, дожидаясь кого-нибудь, и думал о Боре Савицком, кумире отрочества, «Савейском Мужчине» (как за глаза зовут его мои циничные коллеги). *Б-боя.* Любимец публики, объект издевок, стрелок американских сигарет. *Огоньку бы еще...* Его мощь просительно нависает над столиком. *Стрелок без спичек, знаешь ли, Боря?.. что хуй без ячичек.* Он приходит в вос-

торг от начальственной остроты, и, конечно же, ему подносят позлащенные «ронсоны»... Борис Савицкий — Советский Союз!

Великого боксера впервые я встретил в душевой олимпийского бассейна. Кабинка напротив была пуста, я торопливо вскользя в нее, чтобы созерцать вживе эту грудку мышц, которая ворочалась в пару меж кафельных переборок. К тому времени я видел его только в кино. В эпизоде, ради которого я трижды посетил картину, Савицкий сыграл самого себя. Мужчину, потерявшего все. Демобилизованного солдата. Затхлая речушка, поникший «тигр» на берегу, враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда ж идти теперь солдату? *Кому нести* (и омофонно слышался трагический ответ, что *коммунистам*), кому нести печаль свою? И он аккуратно обнажает неожиданную белотелость, ныряет с остова взорванного моста. И плывет. И фыркает, и взбрасывает мокрую голову, и невыносимо видеть эту победу жизни и возвращение надежды.

С щемящей жалостью смотрел я, развитый подросток, первый юношеский по пятиборью, на живого героя, массирующего под беспощадным душем бицепсы, трицепсы, трапециевидную, ягодичную, икроножную, он занимался этим самоутробленно и серьезно, озабоченно разминал и тряс разогретой расслабленной плотью, чтобы остаться в форме, еще могучей, а я с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать от сознания, что *центр* утрачен этой мощи, созданной десятилетием тренажа. Судьба обрушилась на тяжеловеса, как неожиданный удар в полтонны: там казнил он ее за измену, свою женщину, или и впрямь то был несчастный, нелепый, трагический случай, недосчитанный патрончик калибра 22, *невеста откуда* вынырнувший под боек «Марголина» — кто знает? С улыбкой разрядил он пистолет в радостно набегающую стрельчиху, размахивающую мишенью с превзойденным, как выяснилось после, своим же собственным рекордом Союза. Вот так. *А на груди его светилась медаль за город Будапешт.*

После этого на ринге он не удержался, ушел навсегда из-под канатов, загудел по ресторанам, увязая все глубже и глубже в гнусном мире соцреализма. Был содержантом стареющих супруг различных деятелей искусств. Играл агентов ЦРУ на провинциальных киностудиях. Позировал скульпторам. Наконец был опознан в изъятном порнографическом фильме, изготовленном одним столичным любителем, доктором искусствоведения. Фильм был «мужской», боксер фигурировал там в роли всецело, увы, пассивной. Что непростительно, конечно. Шеф, несмотря на всю его оперативную терпимость, на просмотре ругался матом, обнаружив органическую гомофобию. Но и то сказать: не Кембриджа же Боря выпускник, не член скандинавского парламента. В итоге, так сказать, по совокупности, кумир мой кончил тем, что напутствует мордобоем свободомыслящих интеллектуалов, убывающих по израильской визе: но исключительно российских. В одном конспиративном полуподвале. Неподалеку от королевского посольства Нидерландов. Отрабатывает хуки, свинги, прямые, а заодно — насущный хлеб и, так сказать, свободу. Последнее время, напиваясь, рассказывает, что именно он, Борис Савицкий, послужил прототипом тому скульптурному атлету, который у подножия небоскреба ООН в Нью-Йорке перековывает Меч свой на Орало, символизируя добрую волю всего прогрессивного человечества. Что зря согласился он позировать: сглазили, дескать, перекуя. Публику смешит: я, дескать, жертва десанта, заслуженный инвалид политики мира и тридцати лет без войны. Все еще мощный торс, но весь он как бы из раскопок, как бы в язвах, выбоинах времени: неизменный клубный пиджачок, затертый, перхотный — но блейзер. Полуоттертый, полузалитый винищем герб на сердце, где нагрудный карман. Принадлежности — не опознать. А впрочем, и кооператив однокомнатный, как у меня, в Теплом Стане, и машина — заезженная, правда, из-под чьей-то правящей жопы по благу достанная, зато «Волга» — нет, не до конца пропал он в жизни, советский Геракл, которому очень завидовал я в бытность юниором.

\*

Попутка.

Поднимаюсь...

Их трое в кузове. Топорные прибалты. Пожилые, но крепкие моховики. Лесные братья.

Расставив ноги, наступив на горло собственным топорам, спеленутым мешковиной, мужики вцепились в дерево скамейки у изголовья кузова и глядят, что характерно, с ненавистью.

Мчимся и молчим.

Лежу перед ними, раскинув ноги и руки, сжимаю занозистую доску заднего борта. Лязг, громоуханье. Пыль выскакивает в щели днища. По правую руку за стволами несется солнце. Подозревают во мне русского. Я возвышаю голос против ветра:

— Kann ich Ihnen helfen?..

Дубленые лица отмякают. Трясущейся рукой я надеваю «макнамары», с километр они созерцают *немца* с нарастающей симпатией.

— Verstehen Sie mich, meine Herren?

Один, самый общительный, разжимает складку рта:

— Их ферштее аллес, абер... Запомним шпрехе, ферштеен? Киваю.

— Вифиль? Цвай... драй-драйциге йарен!

Формально советским людям, им бы скрутить меня и доставить на погранзаставу для выяснения личности, но по снисходительной усмешливости я понимаю, что *немцу* — даже не братскому — в этой компании ничего не грозит.

— Дойчланд, Дойчланд юбер аллес?..

Мы обмениваемся взаимопонимающими усмешками по поводу исторического прошлого. Дескать, ничего у вас не вышло — но ничего не вышло и у вас. Взаимно поверженные, мы теперь как бы друзья.

Из нагрудного кармана я извлекаю синюю пачку сигарет с танцующей цыганкой, перебрасываю:



— Bitte!

Мужики недоверчиво крутят в пальцах мои Gitanes, оценивают набивку. Любознательно закуривают, одобрительно кивают на первые затяжки. Внезапно шестиглазый взгляд слетает с моего лица, и, следуя за ними, я успеваю заметить граненый кол погранстолба с гербом. Литовская Советская Социалистическая Республика. *Летувос Тарибу Социалистиче...*

— Гренце! — говорит мне собеседник. — Литвин! — тычет себе в грудь большим и крепким пальцем. — Зинд драй литвинен, ферштеен? — И как бы изготовляясь к необъятному объятию распаивает руки. — Летува... *Литевска!*

— Ja, ja! Litauen!

Чтобы не ранить патриотические чувства, сквозь дымчатость стекол я послушно оглядываю с высоты всё ту же Косу, все тот же лес, то же пульсирующее солнце. Он взирает на меня с превосходством. — Фатерлянд! — говорит он, вкладывая в слово какую-то значительную силу.

Энтузиазм *литвинов* вызывает сострадание. Космополит я не только по профессии: в канун исчезновения рода человеческого с лица земли национальный вопрос мне как-то не представляется существенным. Космополит я в силу глобального масштаба заданной угрозы, а если уж быть откровенным до конца, то... Как это у Пушкина, *Sophie*? Мне целый мир — чужбина, родина же мне, *d'ou suis-je*, еще только предстоит, как неизбежность вечного кайфа. Ну а покамест я, в качестве иноземца, естественно, являю полный пиетет к их фатерлянду, миниатюрному, трехмиллионному, отчасти иллюзорному *Летувос Тарибу*, и нас, попутчиков, спаивает в кузове громыхающего грузовика молчаливая, но вполне комфортабельная аура.

С полчаса тряски мимо поселков Неринги — и взгляд вырывается из хвойных теснин.

Под нами — поперек — большая вода.

Устье Дане, темной литовской реки, впадающей здесь в мировой океан. Ромбик парома посреди.

Я сжимаю борт, мы начинаем спуск на тормозах.

Куршская коса, здесь уже *Куришо нери*, кончается, и с того берега — метрах в трехстах — посверкивает бесшумная Клайпеда, портовый город, вид которого вызывает в моей урбанистической душе прилив энергии, достойной, несомненно, лучшего применения... *товарищ капитан...*



## II

Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они сходятся... Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один черт, выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?



**В** Клайпеде был шестой час пополудни, когда, можно сказать, отчаявшись, я вошел в прохладу при вокзального заведения и обнаружил своего героя. Ресторан был пуст.

Но не тотально.

Я прошел мимо единственного занятого столика, сел поодаль и, закурив, раскрыл двуязычное меню.

Молодой человек наружности даже приятней, чем на фото из его досье, сидел перед высоким переплетчатым окном. Облокотясь, созерцал пустынные, знойные и безнадежные, как в вестерне, железнодорожные пути. Забыв про свое пиво, безотчетно крутил кончик новоотпущенных усов, рыжеватых и вислых (а на вложенной в его *Личное дело* «совписовской» книжке, прочитанной мной по долгу службы, но не без удовольствия, был он еще безус). Смотри-смотри, но от себя, друг мой, ни уехать, ни уйти. А от меня тем более. Из-под земли достану.

В общем, испытывал я, как говорит бровастый наш Геронтократ, *чувство хлубокого унутреннего...*

Появился официант, высоченный и легкий кудрявый блондин в старомодном, отточенно выутюженном костюме. Учтиво склонил свою голову херувима, развинчивая авторучку. Вряд ли ему было больше семнадцати; подкожный румянец нежно тлел на щеках. С сильным приятным акцентом он повторил мой заказ по-русски.

— И бутылку коньяка на тот вон столик, — добавил я. — Армянского, три звезды, московского желательно разлива.

— А если клиент откажется?

— Он не откажется.

Кивнул и удалился — исполненный отрадного мне чувства собственного достоинства — консервативно одетый акселерат. Мода на ретро даже Москвы еще не коснулась, разве что только в пределах Нового Арбата; тем более не ожидал я в этой провинциальной глуши столь убедительных Тридцатых годов. Темно-синий бостоновый костюм «в елочку», сшитый на деда во времена парламентской их демократии. Авторучка с золотым пером — с открытым. Мой Шеф пользуется исключительно такой же, медлительно развинчивая стило перед тем как утвердить золотым своим пером начало очередной беспричинной смуты в человечестве.

Конечно, клиент не отказался, а взял принесенный коньяк за горлышко и, улыбаясь мне, выбрался из-за стола. Он был в ношенных джинсах, в такой же тужурке, накинутой на плечи — крепкий такой парень.

С виду.

— Обратили внимание на официанта? — спросил он, садясь напротив меня. — Ему пошло бы имя Эрик.

— А еще лучше Эраст, — перехватил я инициативу.

Хорошо почувствовав друг друга, мы обменялись рукопожатиями и незатейливыми именами. По поводу моего Иван, впрочем, уточнил, что:

— Можно ведь и *Константин*? Как этот...

— Нет, — четко отрубил, хотя по-разному я назывался в этой жизни...

— Из белокаменной, Кирилл?

— Оттуда.

— А в этой дыре каким же образом?

— Сам не знаю, — сказал я. — Решил в этот отпуск кинуть кости на Запад. Не все же в Сочи ездить.

— Да уж, Запад...

— Все же, — возразил я. — Древний рыцарский город. Анно домини 1252. Вы были в краеведческом музее?

— *Анно домини*... Не поломайся моя тачка, гнал бы уже я по России.

— Ничего, — утешил я. — Россия от нас не уйдет.

Прервав ответный меланхолический вздох: «Россия-то не уйдет...», наш *Эраст* принес вторую бутылку коньяка — ответную.

— Вот ведь; все уже написано, — переключился Иван, разливая. — Помните «Лотту в Веймаре»? По Томасу Манну, вот такой же белокурый ангелочек в мимоезжей таверне пробудил в Гете — в Олимпийце! — преступное воображение.

— Страсть, она всегда преступна, — поддакнул я.

— О чем у нас, у страстных, на лбу, к счастью, не написано, — усмехнулся начитанный мой знакомец... — За дружбу?

Мы выпили и перешли на «ты», и в ускоренном порядке, с нарастающей симпатией друг к другу, пошли нарушать естественные в наших условиях границы самосохранения. Языки наши развязались, и мы выяснили, что мы не только москвичи, но еще из одного микрорайона, все того же Теплового Стана, что оба мы — такое совпадение — технократы, конвергенты, реформаторы — сахаровцы, в общем. Либералы. Свободомыслящий (по пьяни) авангард интеллигенции. Мы поговорили о новых «Мерседесах» с мигалками, которыми ФРГ экипировало столичную милицию, о микроэлектронной технике подслушивания, известно, в чей адрес поступающей из США, о прочих благах детанта. О низком уровне сознания и, ergo, производительности труда. О сюрреалистичности этой нашей



жизни, загнанной в тупик. И выпили за неделимость Свободы, которая, быть может...

Тем временем официанты завершили сервировку окраинных столиков, и появилась первая компания. Они разместились неподалеку — три дамы, одна корпулентная, другая мелкобуржуазная, а третья юная и рыжая, а с ними малопрятный парень. Что значит крепко принять натошак: я все уже воспринимал с дистанции хмеля. Мы кончили первую бутылку и, передыхая на путях взаимного сближения, раздумчиво курили, бродя глазами по залу. Рыжая поймала мой взгляд и что-то выразила по нашему с Иваном поводу, отчего ее спутницы обернулись. Парень тоже взглянул. Пустоватыми глазами навывкате и общей буратинностью лица он смахивал на одного нашего оперативного поэта, в канувшие времена Оттепели соблазнявшего своим либерализмом целые страны с той же легкостью, как девочек с сибирских строек. Сейчас этот глобальный Дон-Жуан утратил кредитоспособность; все же время от времени его еще достают из рукава...

Что я все время его поминаю, уж не завидую ли? — спросил я себя самокритически, наблюдая, как Эраст украшает групповой столик заказанными розами и отхлопывает шампанское.

Сострадаю, скорей: ведь в нем, как и во мне, поэт погиб.

— Эраста вижу в каком-нибудь нацистском хоре, — поделился я. — Поющего контртенором. Красив ведь, а?

Мы поговорили о гомосексуализме, как вообще, так и в непростых тоталитарных условиях, после чего, естественно, об армии, о спущенной с тормозов милитаризации всей нашей жизни и закрываемых тем самым, все непроглядней год от года, перспективах на будущее. О тех, кто нами правит... Событьник мой грудью встал на защиту института старейшин:

— Оно конечно, — горячился он, хотя мне было наплевать, — распад, маразм, руки в пигментных пятнах, в «цветочках смерти», как французы эти пятна называют, знаешь?.. А все-таки мне где-то жаль. А потому что с геронтократией уйдет то, что всему придавало некую стабильность. Цель неизменна,

цель — мир, весь, то есть, мир, но в осуществлении глобальной цели до сих пор, согласись, преобладало консервативное здравомыслие, такая основательная *постепенность* экспансии. В этом стиле была, и есть пока, разве не чувствуешь? некая оглядка. Словно бы, по их, по правящему самоощущению, мосты не сожжены, словно бы возможен и обратный ход. Конечно, маловероятно... Впрочем, возьми Никиту. Ведь протрезвел же, гуляючи по Архангельским тропкам, взяли же в нем верх разученные некогда азы. Церковно-приходские. Нет, не стариков, Кирюша, а, по-моему, рвущихся из-под них волчат имеет смысл бояться. Не нюхавших крови. Чем моложе, тем опрометчивей. Старцы-то, заметь, особенно кочергою не ворочают, где-то, видимо, сознавая, что раз уж волею судеб попали мы в самое пекло, так не стоит особенно суетиться. Пускай его тлеет потихоньку, авось да само потухнет. Этим же юнцам неймется раскочегарить на всю железку. Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем...

— Мировой пожар — в крови.

— Господи, благослови! Давай выпьем... Из всей этой игры я лично выхожу.

*Эб-ба...* чуть не сказал я по-французски.

— Вот как?

Глазомер подвел Ивана: коньяк едва не перелился через край. Мы оба замерли, истово заклиная вспухшую поверхность. Коньяк удержался, и, поддерживая роль технократа, я счел нужным пробормотать что-то про законы поверхностного натяжения, абсолютно излишнее, поскольку клиент мой не только не прикусил язык, но охотно продолжил скользкую тему:

— Да! Как это ни прискорбно, но... Пора, мой друг Кирилл! Пора: душа покоя просит.

— Абсолютно с тобой согласен, — поспешил я. — Но как? Родственников в Израиле у нас с тобой, как я понимаю, нет, так что единственный легальный выход из игры закрыт. Или у тебя супруга, как это говорится... еврейской национальности?

— Французской, — сказал Иван, поднимая как бы виноватые глаза. — Видишь ли, я на французженке женат.

— На *французженке*? — опешил я. — Н-ничего себе... Как же тебе это удалось?

— Да как-то так... нечаянно. Поехали?

Порывисто я поднял свой коньяк:

— Ваня! За детант!

Мы выпили. Признаться, испытывал я определенную растерянность. Он открылся с такой легкостью, что весь набор заготовленных отмычек оказался излишним.

— Впрочем, сама она считает себя бретонкой, — оговорился он, смущенный эффектом своего признания. — Странно, да? Жена-бретонка...

— Отчего же? — возразил я неуверенно. — Бывает. Любовь, она, как говорится, зла. Был бы, как говорится, человек хороший.

В чем, честно говоря, я очень и очень сомневался. Не без оснований. Уж поверь мне, Sophie.

— А мне вот странно, — гнул свое супруг.

— Там ведь, на краю Европы, в Бретани этой, — заметил я, выдержав паузу, — вроде бы действует подпольный фронт освобождения. В газетах даже было, что на Версальский дворец замахнулись. Не попадалось? Рванули! Представь себе. Частично, правда, но все же... Странно. Корсика, кстати, тоже ропщет. Под гнетом парижской тирании... Нет. Не понимаю!

— Вот я тоже! Ума не приложу, как это под конец века можно заложить себя делу национализма. Причем с такой непробиваемой, убийственной серьезностью... И где? Во Франции! Которая есть, не знаю... Наше все! Золотое сечение человечества... Откровенно говоря, Кирюша, предвижу я неразрешимый семейный конфликт. Потому что, на мой взгляд, спасать сейчас нужно только одно, и со всей неотложностью. Не Бретань, не Корсику, не Палестину, а душу, душу живу... Нет?

В этом смысле поезд, по-моему, ушел, так что от прямого ответа я уклонился:

— Раз так, не женись.

— Уже...

— Ах, да... Тогда не воссоединяйся! И вообще! Давай вспомним, что, пока суд да дело, мы с тобой еще свободные люди в стране, свободной от гуманитарных предрассудков... Как тебе та, рыженькая?

Он повернул кудрявую голову, выявляя сильные мускулы бронзовой шеи.

— Она трогательна.

— Прелестна, по-моему...

— Но, если я понимаю расклад, меня ты наводишь на одну из соседних с нею туш. Что ж, пусть.

— Отчего же «туш»? Тициановские дамы.

Он перепроверил впечатление.

— Да уж, тициановские... Не хочешь, а вспомнишь ту семипудовую купчиху, в которую мечтал воплотиться черт. Помнишь, в «Братьях Карамазовых»? Воплотиться и уверовать во все, во что вот этикие веруют.

— Можно и переиграть, — сказал я, ради него готовый отступить.

— Зачем? Пускай. Какой же русский не любит быстрой езды и таких вот бедняг. Которых хоть ставь, хоть клади и кати. Наше представление о счастье! Иногда, Кирилл, мне кажется, что все, что с нами случилось, то есть, как со страной Россией, — отвлекся он, — произошло из-за нашего жестокого сладострастия, о котором, помнишь, тот же Федор Михалыч... Ядовитый пузырек в крови. Ведь женщина, она нежна и деликатна, а мы, скоты... «Каку сиясту уебать» — как говорит один у нас. И кстати, сталинист. Из тех, что в Оттепель таились, подыгрывая Хрущеву, а теперь сорвали маски. «Как ни пытался я, слабый человек, — кается за рюмкой водки сей персонаж, гроза сиясытых, — но так и не сумел привить себе эту вашу жидомасонскую бациллу ненависти к Батьке. При Батьке над Россией ангел парил!» Ты слышишь, Кирилл?

Я дал указание Эрасту добавить шампанского на столик с розами и вернулся к Ивану:

— ...Даже так?

— Серафим — он сказал. Шестикрылый! Высший чин небесной иерархии. И ведь они во всеведении, уже после «Архипелага», после шаламовской Колымы! Нет, представляешь ты маразм? Бесы, бесы...

Он заговорил про национал-коммунизм. Я не очень представлял себе союзписательский микроклимат, но совпадение с атмосферой моего собственного Ведомства было знаменательным. За время моего отсутствия в этой стране маразм окреп, выходит, повсеместно. Выходит, не только у нас блиновы рвутся к власти.

Шампанское тем временем прибыло на указанный столик. Эраст сообщил обратный адрес, и на нас обратились благосклонные взгляды дам, а рыженькая помахала мне своей полураскрывшейся розочкой.

Все столики вокруг нас уже были заняты, и к Ивану прислушивались. Когда он во весь голос стал гадать о том, кто именно в правящих сферах поддерживает курс на реставрацию сталинизма, я сделал ему знак убавить тон, мы все же не в Центральном Доме литераторов, а среди реальности. Но он не удостоил — такой запальчивый.

Из-за столика с розами стал подниматься парень. Был он долговяз, но не силен. Оттолкнулся ладонями от края — и стал пробираться к нам. Он производил впечатление... ну, скажем, мастера с ткацкой фабрики или там с часового завода. Предводитель трудового коллектива девушек. Некоторая, знаешь ли, пресыщенность, свойственная также сельским киномеханикам и дамским мастерам.

— ...Генералы? — шумел Иван. — Но это — война! А кроме них, иной реальной силы нет.

— Есть! — Я накрыл ладонью его запястье и сжал подружески. — Есть, Иван, такая партия. Вполне либеральная и, можно сказать, прозападная.

— Да? И что это за партия?

— Об этом как-нибудь потом, напомни... — Я поднял глаза на дамского мастера. — Слушаю вас, гражданин?

— Я прошу прощения! Мои спутницы высоко оценили жест доброй воли и не прочь присоединиться к вашей компании. — Этакая корректная наглеца.

— В чем же дело, — сказал я. — Добро пожаловать!

— ...или *Посторонним вход запрещен*, — юмористически подхватил он, цитируя название фильма, прокатившегося по экранам страны в мое отсутствие. — Хотелось бы обговорить ряд деталей. Дело в том, что я, — он сделался сугубо деловитым, — в некотором роде представляю интересы... позволите подсесть?

Выдвинул стул, сел, придвинулся и обвел нас водянистым взглядом выпуклых глаз.

— Между нами: как было схожено, парни?

— Куда? — удивился Иван.

— Да брось, торговый флот! Говорят, в Гамбурге на берег выпускали? Не город — сладкий сон. На Реепербан удалось оторваться? В тамошнем «Эрос-Центре» не были случайно? Я к тому, что, помимо всего прочего, могу приобрести... что у вас там? Журнальчики, гаджеты? Плачу натурой!

Мы с Иваном переглянулись. Он усмехнулся понимающе.

— Позволите? — рука его нависла над пачкой моих французских. Он прикурил, небрежно выказывая навык в обращении с заморскими зажигалками, снисходительно повертел... — А почему не газовая? Данке шён... Ценю вашу сдержанность, парни, но только с утра уже весь город в курсе, что карантин на вашей посудине кончился. — Ресторан, и вправду, был набит переодетыми в штатское матросами. — Корешей кругом... Боже ж ты мой! Как в кубрике, да? Чего смущаетесь, ребята? Стукачей боитесь? Так оно и в туалете можно уединиться, как?

Нос у него был уже деформирован: кривовато сросся перебитый хрящ. Неоднократно бит был, надо думать...

Под моим взглядом он поспешил свести белесые бровки.

— О'кей! Ближе к телу, как говорится. Какую таксу торгуем — неделю, сутки?

Оцениваяюще я взглянул на своего товарища.

— Разовой, пожалуй, достаточно.

— Фифти.

— За все?

— С дамой особый счет.

Ответил я не сразу:

— Нереально.

Он протянул руку над нашими тарелками и аккуратно снял столбик пепла о край пепельницы.

— Поймите меня правильно, не я ведь здесь босс. Что я? Я честный налогоплательщик. Вот так обложен, всем плачу... Ну и потом, — он усмехнулся, — право первопроходцев, конечно... Сами видите, какой наплыв клиентуры. По-моему, реально. С двоих. Мотор, так и быть, беру на себя.

Средства на «сладкую жизнь» были выделены казенные, но Иван, о том не ведая, опережающе выхватил свое портмоне. Сутенеру очень хотелось оценить платежеспособность клиентуры, но я смотрел ему в глаза, смотрел прямо и недобро, и он не решился скоситься на чужие деньги. На скатерть легла зеленая пятидесятирублевка, которую он тут же накрыл ладонью.

— И возьми, будь любезен, нам пару армянского, — сказал Иван, добавляя сизый четвертной.

Новенькие банкноты нервически хрустнули в заднем кармане сутенера, тогда как правая его рука с нарочито медлительной выдержкой раздавливала окурок.

— Значит, так: я за мотором, а вы пока осуществляйте выбор. — Он поднялся. — Гарантирую полный релакс!

— *Клиентом*, — сказал Иван, — быть мне еще не доводилось...

Неохотно встретились наши глаза. «Нам, как аппендицит, поудалили стыд», — эти слова Вознесенского не относились к моему приятелю, который, насколько я знал, в качестве члена Союза писателей уклонился от цеховых сексуальных между собойчиков. Морально зело тверд. Но ничего. Раскусим. Рас-

тормозим. Как сказал Сталин: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!»

Я засмеялся, он тоже — с облегчением. И предложил:

— Может, смотаемся, пока не поздно?

— Зачем? — И налил. — Сложим весла. Какой-никакой, а все же опыт. Авось и пригодится.

Этим доводом вас, писателей, можно подбить на что угодно — *n'est-ce pas, Sophie?* ..

— Знаешь, а ты, Кирюша, где-то очень прав. Подобной okazji уж точно не представится. Была не была. «Но прежде чем уйти в далекие пути...» — запел он, а я подхватил: «На берег был отпущен экипаж!» — физически ощущая, как все туже завязывается наша новорожденная дружба, из тех, что длятся у нас до похмелья, но бывает — что и всю оставшуюся жизнь.

Тем временем дамы выбирались из-за столика, оправляя на себе одежду. Толстуха одним ударом ладони загнала пробку в недопитое шампанское и ухватила бутылку за горлышко, в другой руке она понесла к нам котенку, обычную продуктовую кошелку из кожаменителя, — домохозяйка, вышедшая на ежеутреннюю добычу. С уважительной серьезностью смотрели ей вслед моряки.

Мы приподнялись навстречу дамам. Толстуха, решительно растолкав грязную посуду, утвердила шампанское и объявила:

— Меня зовут Тиной.

Весь зал завистливо следил за нашим столиком, и, садясь, я передернул лопатками, чтобы стряхнуть напряжение. В отличие от всеядного Маяковского уборщицам я предпочитаю принцесс.

— Эта вот рыжая — Эгле, а блондинку не представляю... По-нашему обе не очень умеют.

Эгле вздула губы; губы лопнули с пренебрежительным звуком. Лютеранский крестик аскетически мерцал меж сосков, крупно проступавших сквозь обтяг черной водолазки. При



том литовочка была безгруда, как подросток. Она прихватила свою розу, и под моим взглядом понюхала ее независимо. Третья, блондинка с тщательно уложенной высокой прической, улыбнулась мне, как бы прося прощения за безъязыкость. Этакая Ханна Шигула.

— Ну, так что: со свиданьем?

— Сейчас попрошу чистые! — рванулся я было, но осекся под снисходительным взглядом толстухи.

— Чего уж там... — и принялась разливать. Обвисшая плоть ее руки завершалась небритой подмышечной ямой. Как все, я устремил взгляд на горлышко бутылки, но видел только эту жирную складку, которая приоткрывалась, разжимая слежавшийся жестковолосый пук. Шерсть шевелилась, и кожа в просвете волос была пупырчатой, полузадохшейся, неживой.

Я взглянул на Ивана: он плавно обминул мои глаза, поднося огонь блондинке.

Толстуха потрясла опорожненную бутылку. Переложила ее в другую руку и, с игривой улыбкой наставив на меня вогнутое толстодонное тыльце, обхватила горлышко ладонью. (Эгле демонстративно отвернулась). Ладонь впритирку съехала с горлышка, и толстые пальцы женщины сошлись на ободке в кольцо, а потом разъехались обратно по темно-зеленому стеклу. Бутылка в этих руках словно бы лишилась своей шампанской тяжести: капли, сначала частые, потом медленные, потом разовые, стекали в ее фужер, край которого губы Ивана запачкали соусом.

Мастурбируя бутылку, толстуха победительно смотрела мне в глаза.

Наш официант, торопливо дожидаясь, стоял рядом с подносом.

— Умеючи, — сказала она, — можно и из пустой бутылки добыть на глоточек. Вот: сорок капель!

Отставила бутылку и слизала с указательного пальца последнюю. Язык у нее был серый, чешуйчатый. Соседний столик взорвался бурными аплодисментами, и я испытал неудержимую потребность немедленно исчезнуть.

— Не открывай, родненький, — остановила толстуха официанта, принявшегося было распечатывать коньяк. — Это мы с собой.

Я подтвердил наклоном головы, исподлбья глядя на багровые физиономии соседних мужиков, биением натруженных ладоней встретивших этот сомнительный хэппенинг. Я испытывал непонятное смущение. Где-то во мне стянулся узел, глубоко, и я никак не мог распутать. Тупая ярость ударила в виски. Я бросил взгляд на прибывший счет, вынул портмоне. Женщины отвернулись с безразличным видом. Эраст с достоинством принял чаевые. Если исходить из объявленных нами в начале застолья технократических профессий, то мы с ним уже просадили месячную зарплату инженера.

— Тебе, я вижу, блондинка глянулась? — спросила толстуха у Ивана.

И тут же вступила в переговоры с Ханной Шигулой — литовски.

Мы переглянулись: держимся до конца.

— Понимаешь, — перешла толстуха обратно на наш язык, — жалко ей прическу портить. Полдня в парикмахерской провела.

Блондинка подтверждающе кивнула, извиняясь улыбкой.

— Оставим ее, ладно?

Левая рука толстухи рыбой нырнула под стол, и на лице Ивана возникла гримаса страдания. В ответ на мою улыбку он поднял брови: а куда деться?

— Ну что, мальчики, по последней, и в путь? Витек, наверное, заждался... Ну? С благополучным возвращением на Родину!

Из деликатности отставив мизинчик, мелкими глоточками она стала пить теплое шампанское, неприятно поражаясь, отчего же у этого моряка не встает после шести месяцев моря, откуда он вернулся, имея в кармане тыщи три, а то и больше... Уж не большой ли?

Таксомотор был экипирован стереофонией, и на тенистых улочках литовского города Клайпеда мы услаждали свой слух

украинским джаз-оркестром. Как только миновали пост ГАИ, шофер, лысый мужичок в опрятной рубашечке с короткими рукавами, нажал на газ, одновременно врубая звук до отказа, и самостийный джаз грянул с гибельным отчаянием:

Ты ж мене пидманула!  
Ты ж мене пидвела!  
Ты ж мене, молодого,  
С ума-розуму свела!

— Убавь, дядь Коль! — сказал Витек. — Интеллигенцию везешь. А ты тут свадьбу.. Куклы на капоте не хватает.

Я обернулся к нему:

— Куклы?

— Целлулоидной, знаете. Стали у нас на свадебные машины высаживать. Как символ, значит, плодородия. С взглядом в будущее. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Никогда не видели?

— Мишек плюшевых еще сажают, — добавила толстуха Тина. — Красиво! Ленточками разубрано. Голубыми мальчуковыми и нашими, розовыми. Да, сейчас свадьбы торжественные пошли, не то, что в наше время.

— В Ленинграде, — сказал Витек, — так там на свадебных машинах по два кольца приварено. На капоте. Причем, со смыслом: одно входит в другое. И все. А этой ерунды там нет: куклы, мишки, надувные шары. Безвкусица и бескультурье.

— Зато празднично, — возразила Тина, напрягая и расслабляя тяжелую свою ляжку, возложенную на колено Ивана. — Это ж раз бывает в жизни!

— А в Москве, — сказал шофер, — так там можно «Чайку» заказать на свадьбу. И целый день все мусора тебе под козырек. Честь, понял, отдают.

— Чэсть? — с приятным акцентом удивилась Эгль.

— Правительственная машина. Положено приветствовать. Ты хоть видела ее, «Чайку»?

— Откуда! — пренебрежительно бросил Витек. — Она ж даже в Вильнюсе не была. Да ты не дуйся — тоже мне! Чуть что не

по ей, так сразу. Август кончится, так я ее на Черноморское побережье свезу. На бархатный сезон. Хочешь? На обратном пути в столицу залетим, олимпийские комплексы осмотрим... Чего ты? Воды в рот набрала?

Своим молчанием Эгле подрывала авторитет Витька перед клиентурой. В зеркальце я увидел, как скривилась она от скрытного удара под ребра.

— Далеко-то не завозите, дядь Коль, — забеспокоилась Тина.

— Так... палаток понаставили. Туристы эти.

— Я к тому что: возвращаться-то. У меня Вовик без ключа. Оголодал, поди.

— Ничё, — утешил мать Витек. — Он парень взрослый.

— Скажешь! Он у меня два ключа уже посеял. «Взрослый».

— Это от которого я тебе врзал? Помнишь тех китобоев, дядя Коль? Так они Тинке высадили дверь.

— Ну. Последний-то давать: потеряет, а тогда?

— Тогда да... Тогда только дверь менять. Заказала б вон в слесарной мастерской, а то...

— Надо бы. Да как-то оно все...

— Пряма при тебе и выточат. А так — чего ж... конечно.

Иван зевнул; спохватившись, пальцы Тины снова принялись массировать жесткую паховую складку его джинсов.

— Тут, что ль? — сбросил газ шофер. — Посторонних нет, чего. Лес, он лес и есть.

Остановился и вырубил магнитофон.

— Хитришь, дядя Коль, — добродушно сказал Витек. — Опять по грибы завез?

Я вышел и открыл заднюю дверцу. Из-под тяжести ляжки Иван выбрался на волю. Его качнуло, повело, с улыбкой он хлопнулся ладонью об гулкий металл и произнес:

— Воздух...

За ним продавливалась Тина: ползли из-под юбки оплывшие шары колен, расплющенные ляжки, проглянули бледные трусы. — Ф-фу, — выгнулась она, напирая на нас грудью. — Хорошо-то как...

Вошла в канаву, выбралась и села в отдалении на корточки. Не по малой нужде, а просто.

Эгле, удалившись, стояла спиной к нам и носком туфли ковыряла кромку асфальта.

Даже меня под открытым небом что-то связывало, хотя и теплый с виду мох, и солнечные прогалины внутри сумрачности бора, и сдержанный шум сосен — все это было глубоко равнодушно к нашей выездной затее. Я нанес короткую серию стремительных ударов невидимке, чтобы избавиться от напряжения.

Одному шоферу было вполне по себе.

— Так как, Витек? — справился он под выпуклым блеском крыши. — Насчет времени... — На нас он не смотрел. — Успею, может, в город сгонять, а там подъеду к сроку. Зря-то стоять...

— Не колотись, дядь Коль, — посоветовал Витек. — Всех денег не огребешь. Да мы и не задержим: после дальнего-то плавания...

И подмигнул Ивану, который отвернулся.

— Ну и ладненько, — легко отступился шофер. Натянул на лысину грязноватую прибалтийскую кепочку с вогнутым целлулоидным козырьком, накрывшим его потное просторусское лицо зеленой тенью. Мы вынули свои сумки, он запер таксомотор, проверочно дергая ручки, и со словами, ни к кому в отдельности не обращенными: — И вправду, боровичков подсобрать... — легко взял выем обочины и скрылся в лесу.

Мы стояли, глядя на промельк его рубашки между стволами. Металл машины был теплым под ладонью. «Фиу-у?» — свистнул Витек.

Эгле не реагировала.

— В облаках витает, — извинился он тоном. — Но вы не беспокойтесь, сейчас я ее мигом верну.

И направился к Эгле.

Иван сказал:

— Что-то укоризненное есть во всей этой природе, ты не чувствуешь?

Он был очень бледен. Не стоило нам мешать. А он ведь еще и пиво перед тем.

Я взял его под локоть:

— Давай все к черту, хочешь?

— А как же опыт?

— Ну, бери тогда католичку.

— Католичку? Нет уж! Я, друг, к своим корням... — Иван взвалил сумку, хлопнул меня по плечу. — В этой стране только природа способна дать нам прочувствовать грех...

И бросил меня одного.

*Жил-был Иносельцев Иван Сергеевич, советский гражданин ограниченного бытия. Был — и не был. Быв — себя не признавал. Я расскажу тебе, Sophie, Ивана — таким, как полюбил его, вот с этого мгновенья.*

Под подошвами его хрустел гравий. Шелестела о низки джинсов трава. Пружинила палая хвоя... Жил-был бесхитростный подлесок. Елочка. Ольховый куст. Выеденная кем-то земляничка. Паутинка сияла радужно и радостно, легкая такая... Он оглянулся на шоссе и увидел битком набитый туристический автобус, к стеклам льнули внимательные глаза. Внутри в нем все сопротивлялось мертвой тяжести бурого вишнегрета, пережаренного мяса, липкого хлеба, алкоголя, его охватывала преддротная истома, и он спрашивал себя, не блевануть ли? На эту землю в земляничных низких листьях. Сидящая на корточках толстуха выплюнула изжеванную травинку. Не опуская глаз с шоссе, вырвала свежую, вобрала губами и прикусила, с интересом ожидая развития событий...

Сутенер, все более мрачней и то и дело озираясь на меня, разговаривал с Эгле. Внезапно он схватил ее за водолазку и накрутил на кулак, заголяя тощие бока и впалый девочкин живот, пульсирующий.

— Ну, я тебя прошу, ну, Виктор! Ты сам мне розу подарил! Ну, не могу я! В день рождения! — Она кричит с акцентом. —

Подонки! Сегодня мне шестнадцать! Не могу, не могу, не могу...

Живот, его отсутствие, при этом рывками втягивается, юбочка перекручивается молнией вперед, повизгивая, Эгле трется щекой о неуверенную руку сутенера, который оглядывается — на месте ли я еще. Потом вдруг взвизгивает сам и бьет наотмашь.

— Кусаться, дрянь? Кусаться?

Еще один автобус мимо — свидетели. Он затыкает девочке рот. Она изворачивается, вопит — он загораживает, имитируя для проезжающих любовную сцену; потом, отгалкивая, бьет всерьез. Всей тяжестью — жестокостью костяшек.

Я не выдерживаю.

— Эй! Брось ее!

И бить-то не умеет: удар мазанный, грязный. Эгле заливается черными слезами, кровью и слюной, вздувает пузыри, пачкает его, а он оглядывается на меня дрожащим оскалом улыбочки: сейчас, мол, момент!..

— Да ты заткнешься или нет?!

И по уху. И по щеке. Удерживает ее на дистанции, стянув на горле водолазку, и хлещет — справа! слева! Кожа Эгле расцвечена кровоподтеками и ссадинами. Она уже не прячет лица, не защищается, но что-то хрипит непокорное, пока удар под ложечку не пресекает ей дыхания — сверху вниз, с выворотом кулака. По трепещущей беззащитности живота. Удар, достойный сутенера. Эгле — рот разинут, глаза выпучены — падает коленями об асфальт, складывается вдвое. Конвульсия поднимает ее на четвереньки. Она ползет к канаве, к траве, мотая крестиком, опутанным вязкими нитями натужной рвотной слизи. Ее выворачивает. Правая туфля осталась на асфальте. Стоптанном каблучком кверху.

(Однажды, в Париже, негр при мне убивал проститутку. Схватил за волосы и мозжил затылком об крышу моего «рено», об листовое железо, под которым я сидел с одним идеа-

листом, тоже африканцем. Удары были такие, что должны были остаться вмятины. Женщина визжала. По-кошачьи. Нейстощимо, сладострастно. Она не помнила уже про 50 франков за *la pîre*, которых, судя по безысходной ярости, у клиента не было действительно. И не звала на помощь: кто бы вязался отнимать бросовую проститутку у полуголого, мускулистого, сверкающего от пота черного амбала? в начале парной июльской ночи? в вонючей теснине крутой *rue des Martyrs*, что у подножия Монмартра? В зеркале заднего обзора я видел наблюдателей, вышедших за порог ночного кафе. Под ударами сверху я не прекратил свой монолог, а когда мой слушатель замычал сквозь стиснутые зубы от приступа человеколюбия, свойственного идеалистам из «третьего мира», я закрутил стекло и — в полной изоляции от происходящего — продолжил консультацию, невзирая на зубовный скрежет идеализма, начисто лишённого воображения. Это их всех объединяет, всех. Представь он на мгновение тот кошмар, в который, судя по газетам и телевизору, обратилась его политическая инициатива, он бы в ужасе бросился прочь из моей гудящей капсулы. Но идеалисты испытывают приступы гуманизма только, когда головы ближних мозжатся в непосредственной близости: *здесь и сейчас*).

Чтобы избежать моего прямого взгляда, Витек шнырял своими рыбьими глазами.

— Без отца, без матери росла... Тоже нужно понять.

Закуривая, я угостил и его. Он затаился глубоко и прерывисто.

— Ты на принцип, и я на принцип! — крикнул он, обращаясь к канаве, на травянистом дне которой свернулась Эгле. — День рождения у нее. Так отметили уже! В колонии для малолетних ты бы отмечала свои шестнадцать, если бы не я. Над парашей! Если бы живой осталась. У смерти ее вырвал, прямо из пасти, а она!.. — Пальцы с сигаретой ходили ходуном. —



Кусаться еще, — сварливо добавил, нагибаясь за туплей. — А ну, вставай! Клиент ждет.

Он искоса глянул на меня, оценивая степень моего сексуального нетерпения.

— Сколько с меня?

— Вы что?.. — опешил он. — Пусть отработает сперва.

Я протянул банкноту в пятьдесят. Нерешительно он взял.

— Боюсь, не будет сдачи...

— Дашь сдачу ей.

Он сунул деньги в карман и, успокоившись, крикнул ей в канаву:

— Так и быть, отдыхай. Набирайся сил, они тебе сегодня пригодятся... А ты чего расселась? — напустился на толстуху. — Кино показывают? А ну, давай арбайтен! Распустились! Я не советское вам государство! У меня чтоб без простоев!..

— Разошелся! Нет, ты только посмотри... Вместо того чтобы культурно распить бутылочку да разойтись по кустикам. Не по-людски все как-то... — Тина осуждающе вздохнула. — Эй, моряк! Хочешь, неделю твоя буду? Двести рубликов всего. Поживешь спокойненько, отоспишься. Билет заранее закажем, чтоб не волноваться, а там прямо на поезд посажу. Ленинград?

— Москва, — сказал Иван.

— Ну да? А я из Тулы. Соседи, значит, будем. Квартира у меня в Клайпеде отдельная, кооператив. Телевизор цветной приобрела. Прямо с тахты будем смотреть. Утром Вовика за пивом... любишь, небось, разливного попить? Бидончик имею на пять литров. Кресло-качалка есть... Так как, лады?

— На кой она мне, качалка?

— Как на кой? — От смеха Тина затряслась и села задом в мох, уже не считая нужным оправлять свою юбку. — Для вас специально куплена в комиссионке! Ко мне кто ни заявится, так сразу в люльку и пошел качаться. После моря-то?

От молчания ее охватило подозрение:

— Может, тебе не подходит женщина, у которой все при ней?

— Отчего же, — сказал он, глядя, как Эгле с помощью сутенера выбирается из канавы.

— Это есть у меня один штурман, — успокоилась Тина. — Веселый такой, ну просто!.. Так он всегда мне говорит: «Чем больше женщины, тем лучше». Одессит... Ты погляди на эту пацанку — заморыш! Прямо из концлагеря. Что молодая, конечно, не отнимешь... Но мужчины, они ж не собаки — на кости-то бросаться. Или та, что в ресторане тебе глянулась... Блондинка. Не обижайся, но, по-моему, она просто... даже не знаю, как сказать. Знаешь, чем она берет?

Он усмехнулся:

— Чем?

— Тем, чего нормальная женщина не станет делать никогда. Тьфу! — сплюнула Тина на кустик земляники. — Представить тошно. Конечно, деньги есть на «Жигули». Потому что ненормальный мужик пошел, через одного в дурдом сажай. Один попробовал со мной, так с лестницы его спустила! Больной, ну? Китобой, а псих. Так что, моряк, вот так. Пачкотни не потерплю. А потом, промежду прочим: тебе, может, счастье, что ты не той достался падали. Чего ты лыбишься? Не то, о чем ты думаешь: тут все мы чистые. Ничего бы на конец не подхватил, кроме серьезных неприятностей. Она ведь притворялась, что ни бум-бум: сама по-русски чешет, как мы с тобой. Теперь ты понял?

— Нет.

— Ты ничего не слышал, я ничего не говорила... Сексотка она.

— От слова «секс»?

— Моряк! От слова «секретная сотрудница».

— Ну, так и что? Нормальная работа. Вдруг экипаж подрывной литературы за кордоном набрался? Порнографии? Человек службу несет по охране государственных границ, а ты...

— А что я? Я ничего!

Рассердилась. С трудом поднялась на ноги. Подобрала разношенные туфли. — Порнографии... Да у нее самой полна квартира всякой гадости! «Службу несет»... Во все дырки! А главное, что языком! Знаешь, сколько загранвиз она позакрывала? А не знаешь, так молчи! Умный какой...

Пот выел пудру со щек, носогубных складок, подбородка, избородил шею, дряблую кожу в вырезе трикотажной безрукавки, обесцвеченной частыми стирками. Большие отвислые груди с сосками, проступающими толсто. Губы обметаны остатками алой помады. Грим растаял, на него смотрело сердитое, пористое, брыластое лицо пожилой женщины. Над обжимом юбки выдавливался живот. *Но и такой, Россия.*

— Стоить будет пятьдесят рублей. Идем.

Перед тем как вступить в сумрак, обернулась:

— Деньги-то есть?

— Есть.

— Покажи.

Он вынул. Денег было много.

— Вы ведь как? Первым делом жене перевод отправить. С корабля на главпочтамт. А после, значит, куражитесь. От рубля и выше. Все дуриком норовят. До бесплатного дорваться. Это нет. Одиночек можете дурачить, а мне, — бормотала она за ним, — Вовку на ноги ставить да в люди выводить...

По щиколотки они проваливались в изумрудный мох.

Стороной — белизной — прошел неожиданный березнячок. *Жил-был Иносельцев, человек ограниченного бытия.* Рощица тянулась к небу из мрачного сумрака, деревца получались долгонькими, тощими, и в душе от этого белесого излучения осталось ощущение чахлости, *жил-был... был — и не был. Быв — себя не опознал.* Сомкнувшиеся, как бы сводчатые кроны сосен насылали шум, и в этой акустике душа испытывала озноб.

Вышли на полянку, среди мшистого пяточка цвел лазурный пенёк. Далеко было видно меж стволов и — во все стороны — никого...

— Тут, что ли? А то еще заблудимся... — Тина облизала зубы, оттерла остаток помады тыльным изгибом толстого запястья, засучила юбку и взялась за резинку необъятных своих трусов.

— Эй, ты куда?

Он вошел в чахлый кустарник — до упора, пока ветки не остановили, напрягшись на груди. Сумка оттягивала плечо; из расплющенного, сырого, волосатого теста пальцы вылепили мужской половой член. Отодрали. Протащили в колючую прореху.

Раздвигаясь, за спиной зашелестели ветки.

— Ах, ты вон чего... А я уже подумала... Писал бы при мне, чего уж, — удалялся гулкий голос. — Застенчивый какой...

Корневище куста пучилось чем-то инородным. Он передвинул свою прерывистую струйку, разглядывая отсыревшую ржавь. Торопливо упаковался и сунул пальцы в мох — под край железа. Каска. Отечественного образца. Затылком она налегала за истекшее время мира белесую плешь, от потревоженного, я бы сказал, кишачего вида которой на миг, на кратчайший, душу Ивана оцепенило жутью.

Он вырвал каску. Вытряхнул накопленное содержимое.

Надел. Покачиваясь, вес давил на макушку. Он стоял на коленях, держа в ладонях свое защищенное самосознание. Функцию серого вещества. Поглаживая изъязвленное, крошащееся железо с протуберанчиком волос, выбившихся наружу на макушке. Из-под накрыва щитка выглядывал на низкое вечнозеленое небо.

— Сними! — по-матерински истерично вскричала женщина, — сними, заразная...

Он снял — с усилием пальцев. Нелепым, джентльменским жестом. И приложил губы к рваному кратеру пробойны.

Положил у пня, макушкой в мох, между ступней — со взбухшими синевой венами и облезлым лаком на толстых ногтях деформированных пальцев.

— Псих... — со свистом произнесли над ним. — Да ты торговый флот ли? Скорее, он с подлодки...

Он вынул два сизых четвертных, которые обеспечивались всем достоянием этого государства и были действительны на всей его территории, деньги расцвели дырявое дно солдатского шлема.

— Вот, — губы разлепил. — За меня и за того парня...

— Ну, псих! Как только в море выпускают? Лечить же и лечить.

Он подтянул лямку, поднялся и прочь — шагая напролом...

Возвращаться пришлось мне без Ивана.

Закамуфлированный под такси бордель на колесах высадил меня у станции автообслуживания, единственной в городе.

Клайпеда находится по пути в Палангу, один из шикарнейших курортов нашего Союза, так что территория была битком забита не дотянувшими туда «Жигулями» — русскими «Фиатами». В этом печальном автостаде я сразу опознал машину потерявшегося друга — черную «Волгу» с московским номером. Было в ней что-то между катафалком и официальным лимузином начальства средней руки. Друг мой, однако, начальством не был, а в качестве простого смертного писателя не имел шансов быстро обрести колеса.

Вокруг станции был мусорный пустырь, на котором незадачливые автотуристы устраивались на ночлег. Иные даже разбили палатки, кое-где уже занимались робкие костры. Я последовал примеру большинства и улегся прямо на землю. Послезакатное небо предвещало на завтра хорошую погоду. Я вспомнил, Sophie, восточную притчу, где герой, пытаясь уклониться от randevu, назначенного Смертью, сбегает в незнакомый ему город Самарру, где Она его уже и поджидает — на базарной площади.

Отчасти я, ты знаешь, фаталист...

Иван меня разбудил, когда на светлом небе появилась ущербная луна. Он был вне себя от радости, что я нашелся. Поведал о своих автонесчастьях. Суки-механики ни за какие блага не желают выходить из алкогольной летаргии, чтобы

войти в положение. Даже сверху не берут. Допились до полного иммунитета к коррупции.

— Из-за пары каких-то свечей торчат в этой дыре! Нет, — сказал он с горечью. — Как не было мне фарта в разьебайской этой стране, так, видно, и не будет до самого конца.

— Ты, Ваня, не впадай. Не надо. Я с ними сейчас поговорю.

Оставив его караулить наши сумки, я отправился на автостанцию. При виде моего документа осоловелые глаза там сразу прояснились...

— Все в порядке, — доложил я другу. — Завтра будешь на ходу.

— Быть не может! Что ты им сказал?

— Что уволю всех к ебеней матери.

— И они поверили?

— Увидишь.

— Кирилл, ты гений! По-моему, за это надо...

В сумке у него было две бутылки коньяка, еще ресторанный.

— Что ж, не откажусь... Давай. За твои колеса. Знаешь, — сказал я, выпив, — ты очень прав, по-моему... насчет природы. После того, как мы убили Бога, это единственное, что еще осталось. Способное призвать к раскаянью.

— Что, в этом духе выступал?

— Так, пару фраз...

— Ужрался, надо думать. Но, как ни странно, снова хорошо идет...

— Чего ты на земле? Садись, — освободил я место на шелковой подкладке своей парижской куртки. — Садись, не стесняйся... Именно поэтому, боюсь, она обречена, природа. Погубим вслед за Богом. Ты как считаешь?

Под кротким ликом балтийской луны впал я, Sophie, в метафизический настрой, который Иван, алкавший авантюру, со мной не разделил:

— Экологические проблемы этой страны оставим тем, кто ею правит. Давай лучше пройдемся по старому бульжнику. Вдруг набредем на пару юных, чистых, неприступных? А то

после этих блядей я как ударенный ногой по яйцам. Кастратом чувствую себя, ей-Богу.

Меня разорвало, как героя классицизма: между Долгом и Чувством.

Иван столь непредвиденно возник, как фактор, что досье его оказалось хилым до изумления. На меня была возложена задача ударными темпами собрать достойный компромат. Лично я считаю, что с начала сексуальной революции классический шантаж при помощи фотосвидетельств внебрачных связей превратился в анахронизм. Но Шеф был человеком старой школы.

— Что ж, изволь, — подчинился я долгу. — Как будто бы в кварталах порта сохранились остатки готики.

— Ну, да?

— По крайней мере, фахверковые постройки — знаешь? Остов из дерева, внутри кирпичная кладка, и все увито плющом. Под этой луной, произведенной, несомненно, в Гамбурге, должно быть ошеломляюще красиво... Идем!

## III

Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне с о б о д у, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и - - - -<sup>2</sup>, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница.

*Пушкин —  
Кн. Вяземскому*

<sup>2</sup> Слово «бордели», блистающее отсутствием на 208 стр. X тома Академического Полного собрания сочинений Пушкина, изъято нашей цензурой нравов. — К.К.К.





Я достаю из-под сраных трусов, из-под грязных носков, из-под мятых тетрадок — нет. Водительские права. А это, твердокрасное? Членский билет Союза писателей с профилем литератора Ленина... А! Вот он, паспорт. Бордовый с золотом. Зарубежный. Новехонький. С фотоснимка мрачно смотрит миниатюрное лицо героя. Inoseltsev Ivan Sergeevich. *Частная поездка.*

Что ж, друг мой. В добрый путь...

Бесценного груза дубликат обратно в грязное белье. Собственный мой багаж не столь наивен. Есть в моей сумке, полной французских сигарет, и потайное отделение, а в нем антишоковый чехол, а в нем весьма популярное в мировом разведсообществе изобретение уроженца Риги: фотоаппаратик 8x11.

Вооружившись, я раздвинул занавески.

Вспышка выхватила из темноты прелестную тройцу: друг Иван меж двух работниц картонажной фабрики, юных и, не смотря на отключку, прекрасных. Тяжелым сном забылись

они на высокой старинной кровати посреди этого странно-огромного зала, под сводами которого отшумела, откричала, отплакалась, отцвела и погасла самая экзотическая из оргий, на которых мне доводилось присутствовать. Впрочем, и самая невинная: под воздействием водки участники стремительно выбыли из действия, все, один за другим — начиная, увы, с Ивана, который не успел даже раздеться. Образ эротического Эдема, заранее подорванного алкоголем, померк недопроявившись, а окна зала выходили прямо на мачты Летучего Голландца.

Я пил, как все, я флиртовал направо и налево, выслушивал исповеди и признания, кого-то выходил встречать и выводил блевать, удерживая от падения с причала, и, вероятно, сам бы отключился, когда бы не история про жуткий аборт, совершенный при помощи вязальных спиц; от нее я разом протрезвел. Рассказчик, *воспитатель* — есть такая должность — из общежития для трудящихся во благо Родины нимфеток, выплакавшись мне в жилетку, спал в дальнем углу на тюфяке. Все спали, кроме меня да Йонаса, братца прелестной литовочки, прильнувшей к Ивану справа. Слева наша Маша — ротик разинут, из-под недоснятого лифчика выплыли тити. Что ж, адюльтер по отношению к западной Пенелопе зафиксирован. Мой снимок станет романтическим шедевром порноколлекции нашего Ведомства. Без критики, конечно, не обойдется, ибо наши, воспитанные на абсолютном иерархическом примате духа, любят посочней, чтобы клиент был низведен до мяса. На это мы смиренно ответим, что подпали под влияние прибалтийской фотошколы.

Мачты в лунном свете должны неплохо получиться.

Я вернулся на кухню. В семнадцатом столетии дом был портовым складом, и второй этаж состоял лишь из огромного общего зала и каморки, где еле помещалась газовая плита о двух комфорках, стол, несколько табуретов. В те отдаленные времена кто мог предположить, что склад превратится в жилплощадь?

Под резким светом голой лампочки Йонас, зажав в руке отвертку, дремал, навалившись на стол и прижав ухо к магнитофону, бобины которого устало вытягивали песню моей лирико-либеральной юности:

О чем, дружок, грустишь?  
 Мешает жить Париж?  
 Отсюда никуда не убежишь.  
 Послушай, дорогой,  
 Подбрось-ка дров в огонь —  
 И перестань,  
 Не надо про Париж...

Я хлопнул Йонаса по плечу, спрятал «Минокс» и снова вынул Ванин паспорт.

Представь себе, Sophie: иррациональное наше государство разрешило подателю сего выезд во Францию сроком на 90 (девятидесято) суток, погранзастава ждет его не дождется, чтобы поднять шлагбаум, а счастливчик этот вместо того, чтобы соскакивать по-быстрому, пока мы не спохватились, дрыхнет себе промеж фабричных краль — в городе Клайпеда, который бывший Мемель, в метафизической глуши и в окончательной отключке. Я пролистал странички — девственные, в розовых разводах и водяных знаках, обеспеченные — на манер банкнот — всем достоянием нашего парадиза. Пробежал предостерегающие слова о том, что выданный владельцу паспорт является собственностью Союза Советских Социалистических. Ну, разумеется... Неотъемлемой. *Священной*. Заодно с владельцем. Впрочем, сказано ведь близким мне мыслителем: «La propriété, c'est le vol!» Особенно, собственность одушевленная... Ах, опрометчивые родители! Когда же до вас дойдет, что момент зачатия ребенка есть одновременно главный момент торжества этого ловкого мошенника — родного государства.

К счастью, не родил я сына.

К счастью, наша дочь, Sophie, которую мы тоже зачинали здесь, на свет Божий появилась под иными небесами.

Спрятав паспорт под грязное бельецо, я выдернул одну из школьных тетрадок — двухкопеечных.

Дневник писателя, ага...

Ногой я придвинул табурет и возложил на него скрещенные ступни.

— Йонас, — призвал. — Давай по сто?

Собутыльник беспрекословно поддержал, после чего снова ушел своей литовской головой в меланхолию малопонятных ему песен. Я же погрузился в кропотливый графологический труд, разбирая почерк Ивана...

О Господи, как затянулся наш роман! Но нет, нет сил мне распрощаться с этим гиблым местом. Оттягиваю убытие: вдруг посадят? Предоставят шанс остаться?

Посадят, поставят, положат и руки на груди сведут...

Я ухмыльнулся. Не предоставят, Ваня, нет: уж позаботимся. Зажег сигарету и привалился спиной к стене у косяка.

Достоевский говорил о Санкт-Петербурге, что это самый умышленный, самый фантазмагоричный город Империи Российской. В контексте нашей все это можно сказать и о Калининграде.

Обдумывал прощание я долго. С чего начать? С Камчатки? Не был я в краю вулканов. Только во Владике, поверив редактору отдела очерков, что это Сан-Франциско. Второй раз переться туда не хотелось. Я решил начать с нашего запада, с Косы, столь щедро даровавшей мне некогда покой, иллюзию воли и вполне реальное вдохновение. Калининград был на пути.

«*Kant und das Problem der Metaphysik*»... Отчаянное сопротивление семисотлетней прусской твердыни, плацдарма классического идеализма и безумных устремлений nach Osten под напором стали и огня 3-го Белорусского фронта сломлено было в четыре дня. Апрельских. С шестого по десятое. Сорок пятого года.

«Теперь ты убедился, что мир материален?» Этак фуражку сдвинув, надписал начитанный лейтенантик, примерно мой отец, на взорванном постаменте Канта, прожившего под этим небом, среди светлого камня и темной воды, с 22 апреля 1724 по 12 февраля 1804 включительно и безвыездно.

Мудрец познает мир не выходя со двора.

Мир к мудрецу приходит сам.

Коммунистический.

С Востока.

Созерцаю упругое тело кирхи.

Смотри и внемли. Редуцируй все несущественное. Крестоносцев, заложивших свой фундамент у вод Прегалья *anno domini 1255*, выходящего на прогулку философа, по которому сограждане и современники проверяли ежеутренне часы, заезжих путешественников из Империи Российской, дворян и любомудров, наших парней, погибших здесь «за Родину, за Сталина»...

Вот камень стрельчатый.

Храм Божий.

Gott .

Серый балтийский гранит сопряжен с Вечностью. Свод бытия. Модель Вселенной, бездействующая отныне. Вход - нестругаными досками забит. Грязными, занозистыми, с гнутыми ржавыми гвоздями. Крест-накрест, так что невольно воспроизведен изначальный человеческий знак, преграждая собой проникновение на склад чего-то материального. Чтоб не расхитили.

Торжествующая материя, торжествующая древесность, бесформенность, безобразие, исчезновение о б р а з а...

«Вещь—в—себе» разгадываю так: здесь, перед этим складом, я впервые испытал всю призрачность нашей грубо сработанной империи.

Самая западная точка на политической карте... Господи, мне непосильна эта тяжесть! Заплечный сей простор. Груз вмененного пространства. Измеряя взглядом море от

кромки прибора до косматой линии горизонта, душа склонна впасть в иллюзию воли... Российская душа! Наследница Петра Великого и Достоевского!

Вот и сузили тебя, широк-человек. Край тычет тебе в грудь автоматным стволом. Попробуй сунься.

Проклятая земля. Проклятый век. Лежу у границы и длю, длю, упиваюсь обморочностью гибели. Я только в этом волен, в страдании, оно достает до корней естества. Запрет: он смотрит в душу невидимой изнанкой, акустической сетью пеленгаторов, неводом, сплетенным для меня. О воля, пронизанная, прослушанная до рыбешки, до песчинки, до корня волн, откатывающихся вспять, с советской кромки в спасительную глубину Мирового океана.

Тут кроется глубинное расстройство чего-то изначального. Первопричинного.

Смотрю в бледное небо, с птицами, с реактивным следом, — и ведь над ним, над всеми стихиями властны души, увечные с рожденья.

Божий дар воли ноет во мне, как рудимент. Как ампутированный орган. А что там было, за рубцом? за швом? за сросшимися тканями? — вот тема исторической ностальгии. Что б ы л о?

А бог весть... Т о отнято, что было, в кровавом унесено корытце. Не приживить обратно, живи калеккой.

А ноет, саднит, шевелит корнями в душу. Жил-был Иносельцев, обрубок свободы. Был — и не был, быв — себя не признавал за живого.

Там, за границей этой, смогу ли я восстановить свою цельность?

Стать русским?»

Далее следовали столь же патетические рассуждения на тему о внезапной страсти к орнитологу О\*, которой тем не менее герой мой не преминул изменить с нашей сотрудницей из заведения «Блесна» (последняя, кстати, ничего не поняла в

ночных его откровениях, но оценила мужские достоинства писателя-красавца).

Я открыл следующую тетрадку, хотя, между нами, прочтенного было с лихвой достаточно если не для начала плотного наружного наблюдения, то уж, несомненно, для аннулирования заграничной поездки...

В одно из июньских воскресений я подошел к булочной и на дверях увидел свастику. Воскресенья в Москве для таких, как я, в последнее время приобрели дополнительное качество: голод. Отныне по воскресным дням продовольственные магазины по большей части закрыты. Я никогда ничем не запасуюсь. Просто не могу превозмочь сознание абсурда этой общесоветской потребности — создавать на черный, на термоядерный день неприкосновенный запас соли, хозяйственного мыла, спичек, рыбных консервов, сухарей. Поэтому призыв городских властей запастись впрок хлебобулочными изделиями, пищевая ценность которых, несмотря на усиленную рекламу, для меня лично несколько сомнительна, — не нашел во мне отклика. У меня заторможенное восприятие угрозы. И вот я оказываюсь с пустым холодильником, без хлеба, в мрачном состоянии духа. Отправляюсь блуждать по все еще новому для меня, все еще неопознанному Теплому Стану в поисках базовых продуктов. Булочная встречает меня свастикой — знаком, в контексте, не мистическим (как на купюрах Временного правительства): тоталитарным. Так сказать, ответ на голод. С н и з у. Из подсознания. Социальная надпись, граффити коллективного сознания нации, якобы «победившей фашизм». Неужели она станет столь же популярной, как наше трехбуквенное?

На всех плоскостях моей памяти, пригодных для скорописи с оглядкой за плечо, миллионнократно воспроизведено несмыаемое слово «хуй»... Не потому ли мы так горды своей ракетно-ядерной мощью, способной проткнуть до сердца материнскую плоть планеты?»



Я закрыл тетрадь, замел следы и взял бутылку.

— Йонас, не спишь?

Такова, Sophie, судьба исповедальности в нашем контексте. Первым читателем сокровенных тетрадок стал не кто иной, как я...

Зачем он все это писал? Кому?

Похищенная его нагота надежно упрятана в камеру-обскуру выданного мне «Минокса». Исповедь принял мелкий служащий Ведомства. В своей наивности не сознавал он, до какой степени обманут. Мне захотелось растолкать его, поставить на ноги, сунуть головой в ржавую и заблеванную воспитателем раковину, под ледяную струю, чтоб протрезвел он наконец! Чтобы прозрел... Я стоял и смотрел, как обнимают его исцарапанные руки пролетарочек, и, прижав ситцевую занавеску к косяку, бормотал из Бориса Леонидыча:

И на эти-то дива,  
Глядя, как маниак,  
Кто-то пьет молчаливо  
До рассвета коньяк.  
Уж над ним межеумки  
Проливают слезу,  
На тринадцатой рюмке  
Ни в одном он глазу.

Господи, ну и ночь!

Никак не отключить свой «белый шум», свой безумолчный ропот. За кулисами налил и выпил залпом. Сел, сдавил виски и вновь пошел спиральями моего несчастного сознания, заранее зная, что и на этот раз приду не к озарению, а к образу пули калибра 9 мм. Но что поделать? От себя, любимого, пока живу, мне не отделаться, и особенно об эту пору — третью, терзающую часть Ночи.

\*

Итак...

Прописан постоянно я в Москве (в самом центре моего парабеллума).

Имею однокомнатную, кооперативную, в одной из башен — увы, не слоновой кости. Но высоко. Там мой японский матрас лежит в углу, а лакированный паркет вокруг покрыт пылью и ожогами сигарет. Человек с привилегиями, обставлен я финским гарнитуром светлого дерева, объемы которого содержат коллекцию алкоголя, ввезенного с той стороны парадиза, а также (для простых смертных к импорту, разумеется, запрещенные) сочинения тамошних мыслителей, первоисточники Зла в оригинале. Поскольку я не столько теоретик, сколько практик, то обладаю также набором весьма сомнительных предметов, инструментарий активного времяпрепровождения — оттуда же и тоже запрещенных. Настоящие, к примеру, полицейские наручники из полированной стали. *Made in USA*. Именно в таких препроводили мы на Запад знаменитого диссидента, получив взамен латиноамериканского дармоеда. Не в полицейских целях, естественно, использую аксессуар — самый, впрочем, невинный в моей коллекции.

Вокруг, за стенами, проживают люди профессий столь же невеселых: полковник ракетных войск, мой собутыльник, мелкие сошки из МИДа, супружеская пара онкологов, один писатель, весьма популярный среди умеренной интеллигенции (той, что предпочитает «Свободе» Русскую службу Би-би-си, которую за вегетарианство мы не глушим) — ну, и так далее, имя им — легион. Специальные, конечно, люди. Писатель, упившись до чертиков, имеет обыкновение бегать на четвереньках по своей жилплощади, ищет встроенные микрофоны (не найдет их никогда). Помимо мании преследования еще ему свойственна — но это в трезвом виде — паническая фобия пизды. Я, кстати, никогда с ним в лифте не пересекался и не представляю его в лицо, а детали эти, и ряд других, еще более интимных, о том, например, как садировала его в детстве мать, поведаны мне женой писателя, которую я с неистощимым энтузиазмом (и, увы, с вынужденными перерывами из-за частых командировок) лижу — со дня сдачи нашей общей башни в эксплуатацию. Любя нежный, щелочной вкуса этой самочки, поехавшей на Фрейде, уговариваю не раз-

водиться, а наоборот: всемерно поддерживать производителя изящной словесности. Неизменно привожу ей подарки; на этот раз, к примеру, сиреневую электробритву для интимного бритья, чтобы не резалась, бедняжка, тупыми лезвиями «Балтика». Неверная супруга водит ко мне подруг из своего гуманитарного НИИ. Запретный плод, который я собой олицетворяю, притягивает наших людей — советских, то есть. Вокруг меня сплотился тесный дружеский коллектив, неформальная микрогруппа, профессионально представляющая почти все сферы нашего социума. Периодически сожительстваем, веселимся, как умеем, развлекаемся, как можем — не только по ту сторону общепринятого Добра и Зла, но порой, бывает, заносит нас и за пределы действующего в стране Уголовного Кодекса. Центром сообщества общепризнанно являюсь я — вдохновитель и организатор. Меня здесь любят. Моя уверенная вседозволенность увлекает за собой в фарватер освобождения. Со мной не страшно. Не продам. Если что, вытащу из пропасти. Они все под моим покровительством. Самое главное, конечно, — та эманация Тайны, которая при этом от меня исходит. Возникает у них в уме трехбуквенная аббревиатура или нет, но, надо думать, связывают они все это с моей «засекреченностью». Никто, конечно же, и не подозревает, что в моем уникальном случае энергия свободы возникает не только в силу профессии, что я на самом деле — и отнюдь только в смысле пошлого протекционизма — крепко стою босыми ногами на ладонях огромных и всемогущих.

Кому длани сии принадлежат?

Постоянные читатели журнала «Плейбой», быть может, запомнили одну любопытную иллюстрацию к статье об «Уотергейте», если не ошибаюсь, где президент США, воздевший к небу два торжествующих пальца: «*Victory!*», нанизан, дескать, как Петрушка в кукольном театре, на руку весьма глубокомысленного джентльмена-мультимиллиардера, как бы им, президентом, управляющим, тогда как этот, мульти, в свой черед напылен по запястье на ручищу мощную, как корень мироздания — покрытую жутким волосом и каплями, боро-

давчатую и мрачно-зеленую, как огурец (Sophie, ты, конечно, узнала руку своего основного оппонента?). Такой вот взаимно-приятный фистинг. Когда б друзья-подруги не растащили мои журналчики, я мог бы точнее сообщить координаты этой прелестной картинки, иллюстрирующей где-то по большому счету и моей судьбы генезис. (Кстати, не смейся, но в детском своем неведении я долго полагал, что зачат кулаком).

Дело не только в том, что папа... Впрочем, не будем про папу. Лучше продолжим про сына.

Здоровье у меня отменное. Когда случайно сталкиваюсь с одноклассниками, они, измученные Москвой, семьей, бытом и партией, неизменно интересуются, как это мне, счастливицу, удалось так сохраниться? Откуда у меня, к примеру, такой здоровый цвет лица? «Оттуда», — отвечаю честно. «Откуда?» — «Оттуда, где апельсины, мандарины, фиги и так далее!» Одноклассники с горечью усмеваются моему черному юмору, тогда как говорю я чистую правду. Моя профессия — как к ней ни относиться с точки зрения обыденной морали — наделила организм мой консервантами. Там, куда меня так часто заряжали, я научился и привык начинать свой день стаканом свежесжатого апельсинового сока и джогингом с полотенцем на шее. Да и здесь худо-бедно устраиваюсь. Обязан к тому же поддерживать форму. Спортзал, стадион, бассейн, лыжи, тир. Если какой-нибудь профессиональный лихач не размажет меня по стене на узкой улочке средневековой Западной Европы, если какой-нибудь сунь-хуй-в-чай из китайской разведки, какой-нибудь «черный пояс» по карате не выбросит из небоскреба (как это случилось в Гонконге с моим сослуживцем Ли-Си-цыном), если не новый на всех нас Берия или Ежов, если, наконец, не третий мировой Апокалипсис — короче, со всеми этими оговорками, в своем жизненепробываемом саркофаге смогу прожить я долго до неприличия.

Если пожелаю того сам.

Внешностью обладаю не только престижной, но и выгодной: американизированной. Стригусь коротко. Хорошие зубы, чистая, обаятельная улыбка, в которой Шеф находит «что-то не-

отразимо кеннедиевское». Вестибулярный аппарат позволяет много пить, оставаясь полутрезвым (как сейчас). Контроль над собой теряю, только если захочу. Живот плоский, если напрячь — рифленый. Стиральная доска былых времен. Кулаком такой живот не пробьешь. Эрекция ежеутренняя. Известная потеря чувствительности в зонах действия корпускул Краузе дает возможность длить действие произвольно долго (для этого, в отличие от северных индейцев, мне не нужно обкладывать яйца льдом).

Что касается социального самовыражения, на людях, то есть, и с людьми, то тут я твердо и невозмутимо отдаю себе отчет в том, что каждая женщина и каждый тем более мужчина, вовлеченные мною в диалог, меня, если что, заложат и глазом не моргнут. Потребность в откровенности, однако же, неистребима. Как не открыть душу, если она так и стремится заголиться и вывернуться наизнанку? Поэтому для реализации этих нужд, природу которых я не обсуждаю, нашел я и практику соответствующую форму — монолога. Спиритического. Будучи духом сам (до известной степени, разумеется), я непрерывно общаюсь с избранными реципиентами (Соня, хватай скорее блюдечко!). Застенографируй кто-нибудь эти монологи — был бы бестселлер всех времен и народов, не хуже «Крестного отца». Благодарное человечество с гордостью предъявило бы мой самоотчет небесам: дескать, *Ессе Ното!*

Не могу сказать, что семи пядей во лбу, и на всякого мудреца, конечно же, простоты предостаточно. Тем не менее IQ достаточно высок, чтобы сознавать все и вся. Однако от интеллектуала (о наших интеллигентах уже не говоря) выгодно отличаюсь мгновенной реакцией. Способен и к трудоемкому упрямому действию, все, что оказывает мне сопротивление, вплоть до неверия в Отца Небесного, последним тупьем да пробью.

Естественно, лидирую в любой из ситуаций.

Однолюб, женщин знал я больше, чем Пушкин, и — в отличие от поэта — сумел не жениться на 113-й — в моем случае, экс-чемпионке мира по шахматам. Что предпочитаю блондинок — сказать не могу. Либи́до отнюдь не шаблонное. У меня была двухметровая девушка из Невинномыска и три пожилые лилипутки (одновременно). Страстно любившая меня семидесятидвухлетняя гражданка Белоконская, бывшая княгиня, и — как у князя Ставрогина — пятиклассница одной из элитарных школ с преподаванием ряда предметов на китайском языке. Кончила с золотой медалью в этом году и уже зачислена, насколько я знаю, в Институт восточных языков при МГУ. По отношению к княгине исполнил посмертный долг, не только вырвав тело из самой уже пасти кремационной печи, но и устроив погребение его, высокочтимого, на Новодевичьем, дефицитнейшем из кладбищ страны, а может быть, и мира: подруге моей при жизни и не снилось так лежать. Обычно спрашивают про японок. Нет. Отнюдь *не поперек*. При этом любопытно, что первая из моих японок, которая была у меня над Аральским морем, в отхожем месте Ил-62, оказалась фальшивой. Однако ни по вдохновению, ни по технике, ни даже анатомически последующие оригинальные японки ту нашу среднеазиатку из ватерклозета никогда не превзошли... В роли японки она была бесподобна!

Впрочем, я мог бы долго множить свои сексуальные раритеты. По работе я оказывался в таких ситуациях и местах, о которых понятия не имеет нормальный обыватель обоих миров. Практикантом, например, с большой пользой для себя, в то время нетерпимого, я проводил время в Зазеркалье — музеев, гостиниц и конспиративных квартир, замаскированных под обычные, откуда — из-за зеркал — фиксировал конвульсии страстей, присущих людям как маленьким, так и очень даже большим. О, бремя страстей человеческих! Теперь-то я куда как толерантен, а тогда, помню, мне хотелось последовать совету Трюффо и прямо через зеркало разрядить «Макарова» в одного американского лауреата конкурса Чайковского. Да чем только мне не приходилось заниматься! Работал в Париже

подручным мусорщика. Живал на свалках. В замках тоже приходилось. Был любовником маркизы и лучшим другом мужа ее банкира, снимал столбик сигарного пепла о дно пепельницы, сделанной из слоновьей стопы. Работал с бывшими ОАСовцами (о, то были офицеры чести! Только попытки покушения у них проваливались почему-то одна за другой...). Проводил своих людей на главные действующие роли в закрытых клубах: это мой человек в Лондоне совокупляется то с анакондой, то с серебристым догом, изучая, а порой запечатлевая на микрофото пленку манипуляции весьма значительных персон и с чисто русским долготерпением поджидая стратегически важную шишку, следующего Профьюмо, — помнишь, Sophie, того мазохиста в ранге министра обороны туманного Альбиона? Советский народ-интернационалист потом смеялся, сложив даже песню о слабом на передок министре, не подозревая, что запутали британского беднягу блистательные наши ивановы.

Но это все подробности и частности. Я что хочу сказать? Продуктом большого воображения, дурной фантазмагорией приватный мир мой показаться может лишь в силу его *единства*. Разрубленный для остального человечества, как прогрессивного, так и не очень, во мне мир этот глубоко проник Западом в Восток, Востоком в Запад, сросся, стянулся, сплелся своими взаимоисключающими метастазами, как церебральный тумор. Я ношу в голове своей, возможно, прообраз будущего порядка вещей, модель *грядущего сознания*, которое уже не различает между вымыслом и реальностью. С новейшим человеком ибо может случиться *всё*. Преступный бутон, который сознавал в себе Гёте, давным-давно пророс наружу и медленно развернул мясистые лепестки, все жизненное пространство усеяно этими взбухшими цветочками, которые суть выворот наизнанку человека уходящего, почти уже минувшего. Это лицевой мир иллюзорен; мой же, который навыворот, реален вполне, как реальные и достоверны такие, к примеру, биографические факты: мальчик с того двора, мой одноклассник Слава оказался агентом противостоящей силы, при-

чем, агентом крупным, такой на десять лет случается один. Грандиозный ущерб нанес в сфере нефтяной стратегии, после чего благополучно исчез, совершив очередную метаморфозу, а ведь на третьем курсе — помнишь, Слава — актерок из «Щуки» синхронно пользовали, и я охотно уступал тебе *per anum* (теперь себя попробуй в роли реципиента...). Не иллюзорный, не американский дядя — мой собственный сознался, протокольно подтверждено, что был шпионом Гондураса, за что казнен в 39-м. Может и был, кто знает? Мама моя (беременная мной) посредничала в специфическом, гестаповском общении палачей с жертвами, переводя на язык Иоганна Вольфганга долгие русские вопли и немотствующую русскую несознанку. Родился я в концлагере. К несчастью для роженицы, освободили нас американцы.

Не говоря уж об отце...

Нет, это не плутовской роман, не какой-нибудь «Хромой бес». Я вам предъявляю реализм — при том, именно социалистический.

Иван Сергеевич! Представьте себе *Подполье* современности. Возьмите за исходный образ какой-нибудь тоннель, прорытый бывшими союзниками под Берлинской стеной в начале шестидесятых (и проваленный нами). Конфиденциально беседуя с сильными обоих миров, лично я нашел много свидетельств тому, что корневица Зла негласно, но интенсивно братаются в андеграунде *наружно* — с *понтом* — разграниченного мира. Эти токи взаимных влечений — могучие, как атлантический кабель Прямой связи — определяют единство мира, и бежать, увы! нам будет некуда. И *неоткуда*. Как та самая, ближневосточная Смерть в Самарре, встретит вас Неизбежность; и если вы отказывались обслуживать взаимосвязь по сю сторону, а как эстет я вас готов понять, *там* определяют вас за тот же конвейер.

Устоите ли?

Современник ведь, он оборотень. *Перевертыш* — как верно было сказано. Нет-нет, я без оценки! *Не сужу* — затем, что к



ним принадлежу. Двудликая кукла, *натянутая по уши* кем-то анонимным, в свой черед натянутым, как Красная Шапочка в анекдоте, как резиновая перчатка хирурга или профессионального убийцы — на бородавчатую ту Десницу...

Когда-то — готов признать — имели место достойные представители рода человеческого, связанные с Богом напрямую (вот как Кант, отец классического идеализма, — его могилы, отметим, не отыскали ни Иван, ни я; случайно ли?..). С Богом связанные либо же с Дьяволом — но осознанно! Несокрушимо! Современник же избегает вникать в коренные первопричины, что вертят им и так и сяк, как указательный палец, вставленный изнутри в полое горло *Петрушки*. Мы, может быть, от Бога — положим. Однако мир лежит и движется *во Зле*. Мы жили тем лишь, что зло было разрозненно, рассыпано, как разбивается градусник. Укрупнению, слиянию Зла в одну каплю *темной воды* — вот чему служил прогресс, этот конвейер истории, который обслуживали отнюдь не самоосознанные злодеи, но такие вот, как мы, *неутвержденные души*, ибо, как апостол Павел понял натуру нашу: «Не понимаем мы, что делаем, потому что не то делаем, что хотим, а что ненавидим, то делаем. Есть в нас желание добра, но чтобы сделать оное, того не находите». С возмущением, с омерзением, с ненавистью или в апатии, но все вы служите тому же, что и я — созданию материально-технической базы Апокалипсиса. Полному и окончательному торжеству *небытия*. Сколько же раз, усовествленный алкоголем, плакался мне технократ обоих миров: «На войну, — дескать, — работаем. Все мы!» Предъявляя как бы скорбную мудрость цинизма выкатом остекленелых глаз. Другие же — отчасти даже и с тщеславием посвященности в секреты государственных подполий.

Ох, трудовые будильнички наши по утрам отзванивают inferнальным звоном, господа-товарищи!..

Ну и кто, спрашиваю я Тебя, остался всецело с Тобой? Пустыннослужители, обитатели самодеятельных бункеров? Аутсайдеры? Изгои? Недоросли — вроде детей-цветов? Твои храмы наводняют хамы, экскурсионная мразь, дрянцо, дрожащие

*неутвержденные души* или люди «третьего возраста», которых бросает в Твои объятия климакс. Нет, я понимаю, о, как понимаю, отчаяние тех, кто прозревает Тебя в осколках водки, в смятых сигаретных пачках, в раздавленных банках из-под кока-колы, в использованных презервативах, в тумане транквилизаторов и в наркотическом выходе небытия. Вот, кстати, и сюжетец.

Как-то раз, это было, как говорят наши писатели, «на берегах Сены», я обратил внимание, что одна юная бретонка, проститутка, завязала узелком зеленый мой презерватив. Я как бы в дреме был. Но *вечности заложник у Времени в плену* не спал, бдил. Тяжеленький шарик использованного семени в шутку побил меня по лбу, по скулам — клиент не проснулся. Выждав, девчонка поднялась, взглянула на меня, прошелестела босиком по бобрику пола, зашуршала... Застав врасплох, я вынудил ее признаться, что хозяйка ее борделя коммерциализировала побочный продукт рекреационного секса, основав банк спермы. Эти узелочки, разноцветные резиновые пузырьки, она, в готовой упаковке — как простоквашу в баночках — сбывала на сторону. На какую? Вот так, через ряд посредников, я вышел на тайную секту «жизнелюбцев», среди которых, ритуально потреблявших соки *лишней* Жизни, были персонажи небезынтересные мне с точки зрения дальнейшего развития... и это всего лишь один из кротовых ходов современности, побеждающих Тебя тихой сапой.

Не закономерно ли, Господи?

Ограничив человека, Ты придал ему небывалой энергии в преследовании сатанинского идеала. Вот он, трепещет в моем мозжечке, сладостно ноет разбухающими корешками естества и — от сознания запрета — озаряется светом содомской Красоты, которую столь высоко ценил, ниспровергая в то же время, Достоевский. *Запрет!* Им передавленный (как член аксессуаром, сделанным в Гонконге), страстно пульсирует человек, оргазмируя по ту, по запретную зону бытия, сугубо частную: хоть миг, да наш!

Чего конкретно я боюсь, Иван Сергеевич? По ту сторону государственной границы, боюсь, лишитесь накала вы страстей, боюсь, не вспенится азарт со дна души. «Человек с двоящими мыслями не тверд во всех путях своих». О, вас качнет еще в бездну, но только дух захватит перед ней, и никогда — *если не вернетесь вы оттуда* — не пережить вам больше «свирепости волн, пенящихся срамотами своими», как крепко выразился апостол Иуда. Там жизнь бесстрашна. Там нам с вами жизни нет.

Ибо только запретная — наша, лучшая в мире Зона! — конденсирует страсть.

Давай же, *Йонас!*

Выпьем, сын Божий, наследник хуторян, растленный городской цивилизацией, ниспославшей тебе допотопный сей магнитофон, который еле тянет, так что слушать приходится с отверткой в руках, — где хутор твой? Который, верно, дед, отец и старший брат обороняли обрезом от немцев и трофейным шмайссером от наших, давай, несостоявшийся труженик моря и земли! За твои золотые руки, за ясность светлоголовую! Ничего, ты вникнешь в устройство своего магнитофона, ты разберешься в схемах, достанешь ты на черном рынке дефицитную деталь — заблудший внук «лесного брата», твердой рукой — рукой, не ведавшей сомнений, — бравшего на мушку тех, кого полагал исчадиями ада — и тех, что шли с Востока, и тех, что с Запада... Справедливо ли, нет? Кто скажет? Партизан, твой дед обладал ясностью веры в свой надел, укладывая по его периметру гостей незваных, германских пареньков и русских наших — и разве скажешь, Йонас, что он был не прав? Исторически хотя и обречен? Ах! Истина, она одиночна, абсолютно она субъективна! Выруби звук! Весь этот оккупационный наш лиризм, погружающий тебя в заемную, есенинскую грусть на грани самопокушения:

Я в отчий дом вернусь.  
Чужою радостью утешусь

И вечером зеленым под окном  
На рукаве своем повешусь.

Выруби!

Истина не приходит извне, как свет с Востока, и у тебя она — своя, иначе пришлось бы мне признать, что твои предки, которые дрались так яростно, столь безуспешно, погибли совершенно зря в своих лесах и наших лагерях. Чего мычишь, литвин? Давай-ка выпьем! За сестренку с картонажной фабрики. И повторим! за Принцессу Ужей из сумрачных ваших легенд. Смотри, как прильнула к русскому красавцу. Как полегли они тут все, под сводами, в чем мать родила, во хмелю. «Пейзаж после битвы»... Лукавый тут, ты видишь, бой нам дал — местного значения. Господи, я дольше всех выстаивал супротив... А кто там, вповалку на матрасах? Тот — да, тот — по снабжению — коммивояжер. А этот — странствующий трагик, «театр одного актера», а эта гастролерша давеча, подпив, хвалилась все, что ей случилось быть в Москве ебомой этим, как его — ну, штатником, что нам в угоду сжег звездно-полосатый флаг, под которым вырос и стал красавцем. Киноактером и певцом? Плохим. *Не уважаем.* Суетится под клиентом...

Страж дортуара, ККК.

Кирилл Кондратьевич Караев вышел в ночной дозор. Так с кем же ему пасть? Непросто это, когда сознание смеркается, очень непросто выбрать спутницу небытия...

Нашел, однако. В альковчике, прикрытом занавеской «в цветочек». Она была как неживая, но теплая еще. Дьявол вошел в меня — Он, который, видишь ли, любил нашептывать *странные сказки заснувшей девочке и слушал ее девственную кровь...* В красном-красном лесу стоит красный-красный дом. В красном-красном доме стоит красный-красный стол. На красном-красном столе стоит красный-красный гроб... На этом вкрадчивом ритме вползал Он тихой сапой в мшистую норку, пересмеивая Дух Святой и Непорочное Зачатие, испытывая особенное наслаждение от своей незамеченности. Думал Он при этом о Леде и Лебеде. О страстотерпцах, отво-

ряющих в часовнях неотпетые гробы с *вождедением*. В черном-черном лесу стоял черный-черный дом...

Спи, моя нимфеточка сопящая.

Слезы горячие мои тебя не разбудили.

\*

В то время как Иван... *Жил-был Иван Иносельцев, человек ограниченного бытия. Был, но еще не существовал. Но — силится вернуться к бытию. Что удавалось ему дискретно.* Вот пунктир его возвращений.

Ему снилось, что он находится с супругой Аннаиг в необычном деревянном склепе, той самой национальной бретонской кровати, о которой она ему рассказывала, сработанном в 1799-м — для русских небезразличном году — склепе для зачатий — на западном краю Европы, в департаменте Финистер, среди останков Атлантического вала и кельтской працивилизации, где взорванный железобетон долговременных огневых укреплений сопрягался в его сознании с устоявшими членами мегалитов: *Жена моя Европа!* экстатически озарялся он, любя Аннанг, исцеловывая в приступе раскаяния руки, все в корочках царапин Кота Мурлыки, но вдруг руки ее — Аннаиг, не верю! — обрастают шерстью и когтями и впиваются в его плоть. Он каменеет. Она, жена его, — и с ними? На их стороне?

«*Piou eo va gwreg Annaig?!*» — кричит он (по-бретонски). Безответный мрак насмешливо сгущается над ним. Изнутри мегалита, в котором он едва еще теплится, он успеваает в последний момент, расталкивая камень локтями, обратиться в грубо отесанный крест.

...Она.

Молнией раскрылась сверху донизу черная шкурка купальника, и он отключился навсегда, успев снять памятью ладони слепок усыпального холмика Венеры. Закрой мне очи. Мертв я.

...*Я проигран.* Бубновый вырез занавесок. Игральный свет. Не узнавая, взглянул на него *верный друг Кирилл*. Иван

сомкнул глаза и утих в належанном беспамятстве, отчаиваясь осознать.

...Он окончателно очнулся. *Он вернулся. Жил-был Иносельцев*, и с правой руки к нему льнула Она, о как он рванулся к ней, возжеленной, перед тем как отключиться!.. Имени той, что была слева, Иван не вспомнил. Приподнял голову, выглянул над Оной — кругом, вповалку, кто-то безымянные. Откинулся, ушел назад, в подушку. Своды уже проступили над ним. Чернели балки. Светало. Мачты колебались в голубизне окна.

Под простыней его ладонь стала гладить тело Оны. Он чувствовал себя ее должником, им владела смутная вина, одновременно он пытался вызвать ту восторженную искру, которой озарился перед нагой литовкой давеча, в канун внезапного и обидного мрака. Еще более смутную вину испытывал он перед образом Аннаиг, но эта туманность, однако, не могла стугиться в его сознании настолько, чтобы можно было ее выделить как самостоятельное ощущение, и он не стал вдаваться, оставив виновность фоном ласк. Он чувственно был перегружен: сострадание частное, из-за каторжных условий труда на картонажной фабрике, сострадание общее от дальнейшей перспективы девичьей судьбы, невесомость похмелья, неуверенность в том, сохранила ли она ответное чувство, самоотрицание и восторг перед телом, линией, формой, мускулистостью, дыханием. Простыня дыбилась и опадала перед его невидящим взором. Ей было пятнадцать. *Аппендикс ей ещё не удалили.*

Она повернулась к нему во сне, заводя на черствое его бедро свое нежное, разлипаясь, как доверчивая мидия, как орхидея в замедленной съемке.

Всем естеством он пытался привести в движение отсутствующий корень крови. Взнудать, вздернуть. Ну, что ж ты, мой ретивый? Ладонь лежала на девичьем бедре, увлажненном рассветной испариной. Сегодня ей в ночную. Он почувствовал, как поперек лба выделилась побочная жила тщетных усилий воспрянуть. Он так ее хотел! И она — и *Она* — уж неве-

домо в силу какой особой благосклонности высших сфер — раскрылась ему, Принцесса Ужей, Фея Ландышей, мхов и папоротников, и дюнных, вересковых песков, сестра былинного гиганта, внучка лесного лешего, расстрелявшего в нас последний магазин своего шмайссера перед тем, как бесследно исчезнуть — в болоте изумрудном? в бездонном озере? в Балтийском море? в Швеции?

Ему раскрылась дочь Литвы.

А он не смог.

Кашеобразно расплзался корень, и это была манная каша, сваренная матерью — вязкие уплотнения, комочки тошноты.

Прощаясь, коснулся он лепесткового раскрыва, и Она встрепенулась.

— Попробуем на пляже, люблю... песок и солнце, — бессвязно прошептала, и сразу обесчувствовалась, отхлынула, как безмятежный штилевой прибор.

Она спала. Мрачность стояла в нем. Локтем он отодвинул мягкость сползшей на него слева девичьей груди — безымянной. Хмуро ответил на слепой розовый взгляд *одноглазки*. Разомлевшее румяное лицо обладательницы этой живущей собственной тяжестью груди сияло от пота. Белесые ресницы, слепота лица, неподвижность век. Внешность была славянской, соотечественница...

Соотечественницу не хотелось. Со вздохом он оглядел окрестности наготы. Тщетные усилия сбили простыню в изножие матраса. Вздрыбленные дымки лобков, разноцветные облачка волос посверкивали в солнечном луче, червоным золотом и серебром. Он подсунул оттянутый носок ступни под простыню и взбросил в воздух; опадая, простыня тихо и поровну накрыла спутниц забытья, складчато и неразборчиво облепляя их тела, немедленно сошедшиеся на пустоте, оставшейся после него. *Я между вами жил*. Голый, он поднялся во весь рост над сонным царством свальной благодати. Он заторможенно размышлял, куда же опустить ногу в этой тесноте. Солнечные лучи косо рассекали многолюдное ложе, зал был обширный, как

бы спортивный, только вместо матов матрасы. Стоя на одной ноге, невесомый атлет, он внезапно ужаснулся себе.

Свежевывбритый, с сумками на плечах, я — со стороны кулис — раздвинул занавес и поманил, тут же приложив палец к губам:

— Тс-с...





## IV

Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но самое, но самое дорогое кладбище, вот что!



— А всё из-за комплекса оккупанта, — анализировал Иван постигшее его состояние нестояния. — Страна, изнасилованная геройскими отцами нашими, в корне подрывает либидо.

— Да просто растворилось в алкоголе, — лениво отозвался я.

— Причем без остатка! И ощущение, что навсегда.

— Вернется. Куда ему деваться? Сейчас отлежимся, и выпадет в осадок, как первозданное.

— Эх, и подлое оно...

— Не без того... — И снова спросил себя, случайно ли, что именно дама из России вывела Зигмунда на противоположный инстинкт — *смерти*.

Плечом к плечу — почти соприкасаясь — мы плоско лежали на солнце, укрывшись от зябкого ветерка в песчаной рывтине. Осока над нами то и дело начинала перегонять свой шорох — на фоне отдаленного шума балтийского прибоя. Мы находились в окрестностях Паланги, прибыв в этот курортный горо-

док первым утренним автобусом из Клайпеды, камнем лежащей на душе.

— Нет, чувствую, что пора к жене мне ехать. Я не говорил тебе, как ее зовут? Аннаиг.

Досье бретонки было мной проштудировано перед нашим (с ней) знакомством не менее основательно, чем его.

— Красивое имя. Сигарету?

Мы закурили. Пусть и французский, табак с похмелья вкуса не имел.

— Западная жена, — произнес он. — Нет! Все в этой жизни не случайно. А все же где-то жаль, что на бескрайней сей территории мне не нашлось любви. Впрочем, какая там *бескрайность!* Иллюзия одна. Тесно у нас, как в душегубке. Не удивительно, что родственной души в таких условиях не встретить. Любовь! Любовь предполагает наличие простора, лишь поволокой ограниченного, маревом. Далью души. А мне с душою как-то не встречались, знаешь ли. Пустые мы тут все. Полые. Выскоблили, как после аборта. Ну, да и бес с нами, теперь ничего уж не поделаешь...

Иван впал в дрему. Ветерок сдул столбик пепла с сигареты в его пальцах. Ногой я подгрел песка к его ступне. Глаза его открылись.

— Зато какая сексуальная активность! — сказал я. — Французы как-то спросили у меня, это во Франции было, в редакции одной дружественной нам газеты, правда ли, дескать, что у нас, в СССР, такой разврат.

— Во Франции?! — он даже приподнялся на локте, впиваясь взглядом в мое невозмутимое лицо. — Ты был во Франции?

— Только что оттуда. Так вот, ответил я камрадам поленински: «Мы не аскеты!»

Он не оценил, и я посмеялся своей находчивости в одиночестве, хотя, конечно, и Блока мог бы вспомнить, каннибальское: «*Мы любим плоть, и вкус ее...*» Некоторое время мы неподвижно лежали, слушая прерывистый шум осоки и наблюдая за искоркой сверхзвукового истребителя, вспарывающего над нами небо, с виду безграничное.

— И в каком качестве ты был там, если не секрет?

— В качестве эксперта, — ответил я словоохотливо и просто-душно. — Электронику кое-какую принимал у тамошней фирмы. Плоды разрядки, укрепляющие нашу с тобой оборонноспособность... Год, считай, торчал.

— В Париже?

— Главным образом.

— А не случалось ли тебе бывать на рю Сен-Женевьев де Монтань?

Имел в виду он *рю Монтань-Сен-Женевьев*. Пятый округ. Там, в музее полиции, национальном, но малоизвестном широкой публике, я собирал материалы по делу Павла Горгулова и сфотографировал оба выставленных пистолета, которыми вооружился этот зарубежный русский писатель-фашист, отправляясь на ликвидацию Президента Франции, — и дело тут не в том, что настоящее есть хорошо забытое прошлое, не в том, что *plus ça change, plus c'est la même chose*<sup>3</sup>. Просто я всегда считал, что в оперативном смысле русскую литературу недооценивать нельзя.

— Может, и случалось, — ответил я, зная, куда он гнет. — Что там интересного, на этой рю? Уж не супруга ли прописана?

— Русской книги магазин.

— Ах, вот как? Нет. Я не особенно библиофил, ты знаешь. А как читатель, стараюсь избегать сочинений фаллократов.

— Это русских писателей ты считаешь фаллократами? — возмутился затронутый за живое Иван, забывая, что не далее как давеча выдавал себя за технократа, которому должно быть все по барабану. — А Достоевский? А Розанов?!

— Ну да, ну да... — Я зевнул. — А ты, я вижу, Париж лучше меня знаешь.

— Литературно, — сказал он. — Как рядовой советский интеллигент. «Светоч мира» как-никак.

<sup>3</sup> Чем больше все меняется, тем больше оно одно и то же

— Да уж, «светоч», — отозвался я. — Дыра такая, что... С тоски подохнуть можно. Но у меня хотя бы была возможность вернуться в этот наш бардак. Эмигрантов — вот кого мне жаль.

— Ты с ними не встречался?

— С кем, с герценами нашими? Увы... Старался держаться в рамках тебе известных «Правил поведения гражданина СССР в капстране», которые того, как ты помнишь, не рекомендуют. Впрочем, политэмигрантов там, по сути, осталось раз-два и обчелся. Большинство же перешли в разряд экономических. Детант обслуживают. Жить-то надо! Помогают Западу в экспорте той самой — как Картавий говорил — *веревки*. Которую мы уже затянули на горле Свободного мира. Увы, мой друг, увы. Духовный экспорт из Союза не лучшим образом рекомендует национальную нашу душу.

— Есть ведь и чистые люди, — возразил Иван.

— Есть, конечно. Горстка сопротивленцев. Максимально разобщенных и, что еще печальней, утративших вслед за восточными и западные — последние — свои иллюзии. Это, конечно, очень печально, но вряд ли им удастся предотвратить наше Поступательное Движение...

— Мне кажется, ты субъективен, Кирилл.

Я промолчал.

— Запад, — сказал он, — все же единственная возможность обрести лицо. Вернуться к человеческой мере. И это не иллюзия, это мечта о достоинстве. Последний шанс вернуть себе самоуважение...

— Полно, Ваня, — перебил я. — Неужели ты всерьез допускаешь мысль о том, что современный человек где бы то ни было еще способен себя уважать?

Лежа на дне рытвины, мы вновь наполнились шорохом осоки и лепетом ивового куста, вывернутого ветром наизнанку — алюминием сияющим.

— *Свободный* человек, — сказал Иван, — имеет, по крайней мере, возможность попытаться.

В поле зрения возник сраный клочок центральной газеты, попорхал, демонстрируя кириллицу в фекалиях, и унесся, подхваченный ветром.

— Только сидя в говне по нижнюю губу, — ответил я, — можно отождествлять Запад со Свободой, Верой, Надеждой, Любовью, Честью, Долгом, Достоинством и прочими бутафорскими добродетелями из какого-нибудь там ихнего Корнеля эпохи классицизма. Когда наши возникают там со всей этой любезной нам архаикой, масс медиа их просто не замечает, а уж если упираться начинают, настаивать, так их просто с говном мешают, аттестуя как «правую сволочь». Что такое для них политэмигрант из России? Контра. «Реак»! Ты не поверишь, но «антикоммунист» там слово еще более ругательное, чем здесь, где коммунистов, слава Богу, нет. Ну, и что остается тебе в такой ситуации? Реветь, как быку, ведомому за ноздрю на бойню, мучительно расставаясь с выношенными иллюзиями: «Ах, Франция! Ах, Италия! Ах, Западная Европа!» А шагреневая кожа этой самой Европы прямо-таки кукожится под твоими ногами от нестерпимого позора за свое капиталистическое существование, самоумалается, самооплевывается, изнывает от ожидания конца и муки, что из-за «реакгов» всех мастей непростительно затягивается процесс самоистребления. Ракетного удара ждут с Востока, как *coup de grâce!* «Личность...» Да там *слева* личностью быть — реакционно, а справа ею быть — скандально. Именно *личность* им всем во что бы ни стало хочется преодолеть. Протаранить эти врата и скопом в небытие! Энергичными они становятся, только осуществляя волю к смерти, которая пронизывает там все и вся. Я любопытствовал насчет статистики тамошних вождений; так вот, *permissive society*<sup>4</sup> — это вовсе не тот мифический сексуальный Эдем, как мечтается отсюда, начитавшись «Литгазеты».

<sup>4</sup> Пермиссивное общество



— Оборот толстовский, — усмехнулся Иван. — А в целом звучишь, как Солженицын, разящий Запад.

— Поедешь, сам увидишь, — свернул я свой монолог. — Отнюдь не защищая здешнюю жизнь, вижу в ней явные преимущества. По крайней мере, у нас еще ебутся, а не эякулируют в пустоту. Советую воспользоваться напоследок. Яблочко хочешь?

Он открыл глаза:

— Какое?

— «Белый налив». — Я достал из сумки большое яблоко, побившееся до мокрых гематом.

— Не откажусь. — Со смущенной полуулыбкой он распластал по песку руку и раскрыл навстречу яблоку ладонь.

Я распечатал очередную пачку Gitanes. Похмелье проходило: на сей раз сигарета была вдохновенно вкусна. Глядя на небо, Иван надкусил мое яблоко.

— Завидую тебе. Должно быть, сильное ощущение ты испытываешь, вспоминая, что в любой произвольный момент можешь взять и убыть.

Проглотив, он кивнул.

— Ощущение, действительно, интенсивное.

— Жгучее даже! — сказал я. — Сначала-то одна нервотрепка. Собираешь отовсюду бумажки, выбиваешь заветную характеристику, да? Типовую. «Политически развит, морально устойчив...» Администрация. Профком. Парторганизация. «Выездная» комиссия райкома партии. Подписи, печати, обивание порогов, растрата времени на унижение. Наконец, сдал свое досье в ОВИР — и продолжаешь жить, как ни в чем не бывало. Запрещаешь себе думать о Черном Ящике, который где-то за твоей спиной решает, выездной ты или нет, а стало быть, определяет твой социальный статус. Месяц, второй, третий... И вдруг выпадает неожиданное «добро». Да как же так? — озираешься в ужасе. — Как же это мне, со всем, что я о себе знаю, удалось их, *всеведущих*, провести?.. Сознание своей идеологической порочности, своей преступности становится невыносимо до сладострастия. С тем и убываешь за рубеж, а

там — вот парадокс! — именно это сознание и заставляет тебя, тоталитарную частичку в Свободном мире, оправдывать доверие, оказанное Черным Ящиком. Даже если формально ты и «выберешь свободу» в парижской префектуре... (*Занятый яблоком, он не отвечал.*) У меня, друг мой, есть опасение, что ты сгоришь, — добавил я, пристально глядя на него.

— Судьба, значит, такая, — фаталистично ответил Иван, поворачивая яблоко ненадкусанным боком. — И как ты думаешь, на чем?

— То есть, как это, на чем? На солнце, разумеется! Мой тебе совет, — сказал я, — сменить позу.

Азартно откусив, он сплюнул, перекосившись от вида яблочного червя, ужимисто скрывшегося в сердцевину, среди белых перепонки и черных спелых семечек. Зашвырнув огрызок в кусты, он взглянул на меня, и, спаявшись взаимопониманием, мы одновременно расхохотались.

— Ты прав, — признал он. — Я легко сгораю.

С точным изяществом гимнаста он перебросил свое тело спиной к солнцу и, напрягая мышцы живота, опустился на песок. Лег лбом на скрещенные свои руки и сказал:

— Хотел бы я знать, чем ты, Кирилл, на самом деле занимался в Париже, а?

Припекало уже так, что курить расхотелось. Щелчком я отбросил окурок, откинулся затылком на сцепленные ладони и закрыл глаза. Солнце ало пламенело сквозь кожу век.

— Кто вы, доктор Зорге? — не унимался иронический голос рядом. — Как вас теперь называть?

— Называй, как хочешь, — сказал я. — Мы в отчаянных обстоятельствах, мой любознательный друг, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не остановлены; низлагаемы, но не погибаем... Нас почитают обманщиками, — запнувшись, вспомнил я дальше слова апостола Павла, — но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы... В опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в пустыне,

в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями... У тебя ведь брата нет, Иван?

— Нет; а у тебя?

— И у меня нет, — сказал я, впервые, пожалуй, не испытывая от этого факта легкой скорби.

— Слушай... А хорошо без баб!

— Если окунемся, — сказал я, — станет, я уверен, еще лучше.

Мы поднялись с песка, двое молодых мужчин, вставили ноги в расстегнутую нашу обувь, подобрали вещи и, полуголые, в отлетающих рубашках, побрели к краю дюны. Похмельные и несколько еще невесомые, но уже отлежавшиеся, уже с толчками возобновляющейся жизни, философичные и легкомысленные, шли в ногу, плечом к плечу, глубоко наполняясь ветром с моря, посмеиваясь и созерцая дымку западного горизонта, с еще поднывающими от истощения семенниками, но уже с первым позывом простого мужского счастья заплыть как можно дальше, побегать по упругой кромке, увлажняемой сиянием отхлынувшей волны, принять дозу инфракрасных и ультрафиолетовых, обветриться и просолиться, и нагулять аппетит, а потом вернуться в Клайпеду и засесть где-нибудь в уютном месте за светлым пивом и копченым угрем — в ожидании, когда нам выкатят машину, а там!..

Слегка подволакивая ногу и морщась озабоченно, Иван спросил:

— И отчего это порой в правом яйце как бы ломит? Как бы потягивает? У тебя не бывает, друг?

— Раз в полгода, причем именно в правом.

— С чего бы это, а?

— Хуй его знает, — нашелся я с ответом. — Переходим на бег!

— Ты уверен?

— Снимет как рукой.

Финишным рывком мы взлетели на гребень дюны, откуда открылся пляж, усеянный — мы глазам не поверили, но было уже поздно — миллионом голых тел. Женских! Это был женский пляж, мир без мужчин, и мы с Иваном, хватаясь за ка-

кие-то ветки, за корешки, при попытке удержаться с ожогом вылетающие из кулаков, неминуемо съезжали в этот мир с откоса.

По приземлении мгновенно развернулись и полезли обратно, но сырой песок ополз вместе с нами.

Затравленно мы огляделись. Свое лицо я ощутил на миг пульсирующей маской крови. Внезапно я расхохотался, увидев нас с ним вчуже, озирающихся с четверенек. От смеха ослаб, пал на песок.

— Но это же мечта! — пояснил ему. — Мечта детства!

Выжидательное лицо Ивана исказилось хохотом.

Мотая головами, взрываясь снова на слова Ивана: «Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать!», мы сползли на самое дно, где смешливость отхлынула столь же внезапно.

— Что будем делать? — прошептал Иван.

— Оголимся!

— А яйца?

— В песок!

Плечом к плечу мы плоско лежали у подножия дюны. Дальше местность шла наизволок, переходя в возвышение, оживленное первой задницей. Разъятой. Пожилой. Рядом с этой задницей девочка опрокинула ведро, сняла его осторожно и залюбовалась на куличик. Голая, в панамке, лет трех, девочка представляла основную угрозу. С флангов виды были поудаленней.

— Давай по-страусиному! — побудил я Ивана.

— И в самом-то деле... — пробормотал он.

Озираясь, как злоумышленники, мы стащили с себя плавки, искося удостоверились, что, сознавая всю сложность ситуации, мужские наши признаки одновременно приняли вид кроткий и благообразный, как на статуях античных юношей, — и зарылись.

— Ибо задница, — счел нужным я обосновать, — *двупола*.

— Задница заднице рознь.

— Я по большому, по общечеловеческому счету, — сказал я с придыханием, как какая-нибудь столичная актрисуля, как Татьяна Доронина, как режиссер Малого театра.

Наши тела медлительно ворочались, перекачивая мышцы плечевых поясов; мы отрывали себе укрытия. Как рядовая пехтура. Уходя в глухую оборону. Задницами к вражеским позициям. Иногда я оглядывал заплечные ландшафты, выгребал из-под себя песок и кратко, но зорко взглядывал. У ново-прибывших на женский пляж груди и выбритые лобки выделялись белизной. Девочка упивалась разрушением своих аккуратных куличиков. *Глаз с нее не спускать.* Сзади мы оба вполне могли сойти за женщин нового типа. Спортсменок. Толкательниц ядра. Впалые щеки наших ягодич. Если б не растительность на ногах.

— А не закопаться ли нам? — предложил я, — а то ведь *волосы?*

Взаимно мы засыпали могилы наших конечностей. Вслед за последним слоем песка, отнявшего ему ноги, моя ладонь одобрительно похлопала насыпь. Лишившись ног, мы смахивали на останки античных статуй. Мне было прочно в могиле; я опустил щекой на запястье руки.

— Перед тем, как оглянуться, — пошутил я, впадая в дрему, — снимай усы.

Говоря об исполнении мечты, я имел в виду не себя. Имея маму (позволю себе этот толстовский оборот), такую, смею сказать, каких почти не бывает, мои собственные мечты не осложняли внутренней реальности. В одном из рассказов Ивана, в «Кормильце», возникает образ мужского небытия. Мальчика, лет шести, но мальчика самосознающего, и с остротой, соцреализму неведомой. Мама приводит его в женскую баню, и там, перед лицом тучного и тупого, как жизнь, женского естества, мужская природа осознает себя хрупкой, обреченной, исчезающей. Очень точная психограмма. Тем поразительней, при всеведении художническом, человеческая настороженность автора. Поражаюсь прочности человеческих оболочек на писателях. Оболочек, сотканых из предрассуд-

ков эпохи — Месте и времени. По-моему, только тебе, Sophie, удалось выжечь изнутри эту оболочку. Один страшится микрофонов и вагины дентаты, другой... Писателю должно быть всеядным. Всеядным и безбоязненным. Открытым — как общество западного типа.

Взяться, что ли, самому за перо? Я бы написал поэму о заднице. Или нет: что-нибудь лаконичное, протокольное, как Кафка. О сфинктере. Об этом универсальном, но, увы, еще не открытом предрассудочным человечеством чувствилище бытия. Солдатский словарь грубо, но точно передает смысл. Лично я прежде всего именно жопой чувствую опасность. Сфинктер в силу профессии натренированно утончен.

В данную минуту задница-одноглазка, наблюдая местность, насылала медлительные импульсы покоя. Истома овладевала мной. Сознание расплзлось, как на всемирно известной картине Сальвадора Дали... счастливо женатого на русской Гале... Сокращая сырую тень, линия солнца надвинулась на ягодицы. Они наливались сном, и только перископ наружного видения оставался неусыпным. Я растворялся во сне; вдруг, внезапным ожогом спаялось со мной осознание, что придет срок — *и не станет этой формы бытия по фамилии Караев. Неужели? Фамилия, этот странный звук, удалился, как вскрик сознания, и вернулся эхом. Неужто я, я умру? Каракум. Каракурт. Каракатица. Тюркский корень. Корень русского бытия. Татаро-монгольский корень космополита. Grattez le russe . Кара, а масти русой. Ариец Азии. Тибет как цель третьего рейха. Тибетцы в эсэсовской форме, полегшие на пороге Имперской канцелярии. Тебе — Тибет, а мне, как говорится... Йети в ставке Фюрера. Что за еб твою мать... растерянно чесали в затылке наши парни. Так неужели вот этого тока сознания, этого непрерывного внутреннего монолога, этого спиритического сеанса, этой частной точки зрения на вселенную не станет? Вывиха, перверсии. Божьего ублюдка, наполняющего мою оболочку?*

Краткий миг. Зияние вечности. Я все это вспльчиво, обвально переживал. А потом мое естество стянулось, как бо-

лотце, и брешь исчезла с поверхности. Привычная ряска личности Караева над бездной. И благоухание собственной горячей кожи припадочным восторгом хлынуло в меня. Как легкие, я был туго заполнен собой. Это было счастье; оно растворялось...

Я уснул.

В это время нагой Иносельцев мечтал стать настоящим писателем. Уподобиться Творцу. Лежа в своей полумогиле, он был тугой позицией. Он еще родился. Еще прорежемся на свет Божий, Неисчерпаемое бытия вызовет его из полузабытья. Вызовет. Кем он станет? Он испытывал тревожное счастье внутриматочного плода перед выбором лица. Он решил, что непременно посетит Исландию. Впадая в дрему, он острожно тревожился, как человек, меняющий ипостась. Как мужская особь, вдыхающая наркоз на хирургическом столе перед транссексуальным обмороком. Расставаясь с полом страны. Чтобы очнуться в вожденном инобытии. Курсом надежды на волнах тревоги — плыл, плыл, плыл...

Сигнал сфинктера поднял офицера по тревоге. Я закрыл рот, открыл глаза и перелег на запястье левой щекой — не вдалеке от нас, опустив пляжные сумки, две девушки встряхнули одеялом и одновременно опустили на колени, аккуратно натягивая края. Нельзя было оторвать глаз. Тугие, полные, нежные, тяжкие, как бы неуклюжие, как бы самостоятельные смещения грудей. Припухлости вокруг сосков. Груды ходили... Переливались. Меняли форму. Девушки смазывали друг дружку маслом для загара. Инь во мне мгновенно уступила Яню. О женщина. Наивная моя родина. С ненаглядной певуньей в стогу ночевать. Путливые, скользкие, пятипалые прикосновения девичьих рук к собственному лону. К сизой выпуклости условного треугольника. О неверная, как жизнь, геометрия лона. Слабые, милые, податливые души проступали в девичьих телодвижениях. Соотечественница пизда. Сердцем, пахом, всем естеством я пульсировал в своей полумогиле, изнывая от внезапной тяги, которая сводила всего

меня в эту узкую щель, как в цель. Я приподнялся на локтях. Закурил.

Я упивался своим томлением, как в детстве жутью над фоточевидностями фашистских злодеяний. На одной, из самых взрывчатых, солдафон на фоне разрушенной Варшавы, осклабясь, зрил в приоттвор оттянутых с небрежностью трусов, и в этом глубочайший смысл преступного деяния, носящего термин «личный обыск»... Осклабясь, созерцает невидимые мне девичьи ягодицы, владелица которых, собрав, как в молитве, руки — *o Matko Boska Czestochowska!* — смотрит вдаль. По оскалу того рядового наци из черного тома «СС» в действии» становилось ясно, ради чего превращена в развалины улица, город, пол-Европы. Вот ради этого момента вседозволенности, ради этой мужской мечты — остановить ее, произвольную, задрать стволом шмайссера подол, оттянуть резинку трусов. Солдат был небрит. Опален дымом, зачумлен. Предельно изможденный вид. И был он счастлив, солдафон. А я был мальчик и усердный читатель. Я был мальчик из полуподвала. Полусирота. Жгучий мечтатель.

— Эй, подруги! — долетел до меня оклик... — Сигареткой не угостите?

Белогрудка, приподнявшись на колени, выжидающе смотрела в нашу сторону.

Я был *тоталитарный мальчик*. Солдату я завидовал. Я вылез из полумогилы и — с сине-черной пачкой *Gitanes* — выполз на обжигающий полуденный песок. Я полз плоско, по-пластунски. Я переливался, как Змей-искуситель. С улыбкой я смотрел на девушек.

Белогрудка тихо охнула.

Осела ягодицами на свои икры.

По мере моего приближения живот ее медленно втягивался, растягивая сизый треугольник, и она наклонялась мне навстречу, утопляя свое лоно в бедрах... Я приставил палец к губам: *сиянс!*..

И подполз к круглым коленям.



— Вот, — выложил я сигареты, — французские. «Цыганки» называются. Видите, танцует в угарном дыму?

То ли небывалость сигарет, то ли беспомощность атлетически сложенного парня, то ли обаяние, это усиленное излучение моей личности, и хорошо подвешенный язык, — но мне сходу удалось втянуть своих подружек в заговор. Они накрыли меня сенью юной наготы. Они смеялись, зажимая рты ладонями, и груди их припрыгивали. Бедра их разжались, выпускающая лобки их голубые. Воздействие этой их наготы, которой я снова задал смысл своим внезапным появлением, им было весьма небезразлично. Мы интенсивно и бесстыдно пообщались. Василеостровскими бритвенными лезвиями они, бедняжки, изранили венерины холмики. Как более сведущий в бритье, я дал им ряд полезных советов. Они предложили нам вариант спасения в их сарафанах («а после сбросите с обрыва»). Они были полны лукавства и доброжелательства. Они были из Старой Руссы, Наташа-Света. Тела сияли от подсолнечного масла. Они выщучивали пупырчатую пару здоровенных огурцов, выползших из пляжной сумки. Их, новоприбывших на отдых, уже переполнял двусмысленный витамин Е, о существовании которого они не подозревали. Оставив им с полпачки сигарет, я уполз, лишив их, несмотря на игривое сопротивление, огурцов и повторяя их курортный адрес.

Впрочем, сказать, что я уполз, было бы натяжкой. Под сочувственный смех я удалялся, ковыляя, как пятиногий инвалид, то и дело зарываясь дополнительной конечностью в песок. Я чувствовал себя пауком. Я был громоздок. Быть может, именно эта метаморфоза, эта гротескная *фигура* перемещения встревожила покой окружающего мира. Сейчас мне думается, что именно девочка, та, трехлетняя, явилась первопричиной катастрофы.

Я разбудил напарника. Дал огурец, сообщая, что в них масса кобальта, хотя состоят всецело из воды. Мы хрустели и поглядывали на своих будущих, Наташу-Свету, одетых в одни курносые газетные налечки. Собирались уже перебираться к ним

поближе, тоскуя по разделенности, как — думаю, не вдруг — на нас выкатился мяч.

Большой!

То красный, то синий. Попеременно. Оцепенев, мы смотрели, как мяч катится к нам.

Знойный покой взорвался.

Сразу.

Вся ненависть мира обрушилась на нас.

В образе старухи.

Вцепившись в лысую пизду, другой рукой она размахивала высоко в небе, безобразничая и кривляясь.

— Козлы! — оскорбительно вопила. — Ворье!..

И мотала — на вечерней манер — исчерпанными выменами.

Отовсюду возникали женщины. Поднимались с подстилок, с колен. Входили на всхолмье. Зорко вглядывались из-под ладоней, приложенных козырьком. Стягивались, окружали. Голые, как одна...

— Пиздец!

И я не смог всецело с ним не согласиться. Действительно был он. Полный пиздец послеполуденному отдыху двух фавнов.

— Сними крест, — посоветовал, — хуже будет, — и прикрыл своим телом, чтобы не дать повода для богохульственных комментариев. Пусть уж скандал совершится в человеческих границах.

— Ишь, козлищи!

— Нигде от них покоя, ну нигде!

— Главное, исподтишка! *Исподтишка!*

— Так и норовят в чужой огород...

— Глаза б мои не видели!

— Бессовестные, и не стыдно? Не стыдно, а?

— Тринадцать абортотворцев из-за них! — особо настаивал один подстрекательский визг. — Тринадцать абортотворцев!

— *Душегубы!*

— Взять да кастрировать!

— Извращенцы, — выкрикнул кто-то интеллигентный.

— Хозяйство свое хоть прикройте! Дети же смотрят!..  
Легко сказать!

Брели мы, столь же всецело голые, как они, понурясь под тяжестью багажа, затравленные, прилагая отчаянные усилия, чтобы унять совершенно неуместное возбуждение, овладевающее нами и приводящее в ярость женщин, которые кобрами приподнимались с песка на крестном нашем пути, но эти тела пещеристые словно бы закупорило, завалило перед входом, сезам не открывался, и бежать в стоячей позитуре было бы куда непристойней, чем идти. Брести. Влачиться. Под бичами ненависти. По раскаленному песку.

Старуха вприпрыжку обгоняла нас, понурых, чтобы оповестить дальнейший женский люд. Дескать, я в мячик, в мячик, с внученькой... Мячик-то и откатись! Да прямо вот на энтих — тыкала пальцем. На антихристов! На аспидов! Срамных козлиц!..

А кровь — как заперло, и мы брели, раскачивая парным объектом закипающего гнева пляжниц, которые поднимались с колен. Орущая толпа преследовала нас — как бы с тем, чтоб самолично удостовериться в полном и безвозвратном изгнании Адама двуоснастного. Кто-то плюнул под ноги. Кто-то промахнулся огрызком груши. Мы не знали, куда девать глаза: кругом — враждебная нагота, внизу — слева направо, справа налево переливается блеском наглый, натужный субъект, явно упивающийся гибельностью момента, вроде бы и не союзник тоже... Переглядываясь, болезненно мы усмехались, но в бесноватой их толпе ни юмор, ни ирония — ничто общечеловеческое — не вызывало отклика, — все были серьезны до иступления:

— А ведь кому-то мужья! кому-то, может, и отцы! Матери ведь у их! Вот бы сейчас взглянули...

— По месту работы ихней сообщить! Да по месту жительства! Чтобы поставили вопрос!

— Общественность пусть разберется!

— Товарищеский суд!..

— Прописки лишить, да выслать на хер! На БАМ, как фулиганов!..

— Да прессу подключить! Лучом прожектора!..

— Женщины, родненькие, — надсаживалась кликуша, — тринадцать абортотв! Тринадцать абортотв через них...

— Козлы пятиногие!

— Паскудники!

— Им одного только: над нами изругаться!

— А вот всем миром навалиться да кастрировать! Чик-чик — чтоб знали... Взять да проучить.

— Под корень! На всю оставшуюся жизнь!

— Милиция! Мили-и-иция!

— Откуда она, милиция? Когда ее надо, так никогда ее нету. Самолично их решить...

Удар под лопатку был болезнетворным (яйцом вкрутую), но я не оглянулся. Я целиком и полностью разделял со своим, убедительно мужским, вызывающе половым членом гибельное упоение. Подобного опыта у меня еще не было.

— Лисистраты! — вскричал я. — Лисестрички! Да здравствует сексуальная революция! Чего там яйцом — булыжники выворачивайте! Курс на восстание женских масс! Вперед, к матриархату!

— Он нагличать еще!..

На этот раз яйцо в «мешочек». Бля, в слабый, с растекающимся по спине желтком.

Иван одноруко и на ходу попытался влезть в плавки, но потерял равновесие. Не удержи я за локоть, затоптали б!

— Подлюга! Причиндалы прятать!.. Нет! Ты его неси — пускай с него смеются! С нас тешились, теперь мы с вас!.. Трусы, вишь, надеёт...

— Который?

— Беложопый!

И хотя попутчик был такой же точно, удар помидорной слизи достался мне: сок стекал по позвоночной выемке...

Но заповедный мир кончался, мы выходили к околицам, перед нами, обезлюженная, возникала пустыня ничейного

песка. Невольно ускорили шаги — взревев, заспинная толпа бросилась на тылы наших тел, спеша дооплевать, дооцарапать!.. Последний удар пухлой детской пластмассовой лопатки, последний — при этом упоительный! — толчок анонимной мякоти колена, до основания сотрясшей яйца...

Мы оторвались и потрусили в психически тугом поле по men's no women's land.

— А крайний ничего, — еще мы слышали прижатыми ушами. — Лично я б ему дала.

— Себе оставь!..

— Да, те еще огурчики...

— Отцы! — долетел девичий голос. — Ждем в семь, перед костелом!

.....  
 .....  
 .....И кровь, наконец, отхлынула...

Мы натянули плавки, на ходу укладывая поудобней естество. С раскаленного песка отрадно было ступить на травку, унимающую жжение.

Шеренга наблюдателей равнодушно разнялась, пропуская без пароля как своих.

У некоторых были свои бинокли — полевые, трофеи минувшей, Великой Отечественной войны (1941—1945). В этой стране вся оптика дальновидения в основном трофейная: к подобным боевым окулярам, наводя на резкость вождеденную щель внутри прицельного креста, припадали некогда и мы с Иносельцевым. Это было давно. У вислощекого степенного старца-визионера был даже адмиральский, тоже цейсовский, но с инфракрасным фильтром для ночного видения. Неимущие, неохотно расставались с заемной оптикой, снимая с шей ремешки, передавая в нетерпеливые руки и щурясь разоруженными глазами, которые, вопреки Завету, вырывать себе никто не собирался.

Пара вездесущих пацанов, *сынков полка*, теребили ветеранов и офицеров запаса, умоляя дяденьку дать глянуть разок,

игнорируя при этом подзатыльники — нервозные, летающие сверху со слепой увесистостью.



## V

— Я, конечно, понимаю застрелиться, — начал опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания, — я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?

— Вы называете, что это новая мысль? — проговорил Кириллов, подумав.





— Стало быть, правящая масть? — сказал я, пинком по баллону завершая осмотр черной «Волги».

— Списанную взял, — смутился Иван, — по случаю. А у тебя права с собой?

— Права всегда со мной. Но ты бы перекрасил, что ли. Оно, конечно, народ и партия едины, но Бог, Он береженого, Ванюша...

— Международные?

— Естественно.

— Так ты и в Париже, наверное, водил?

— Случалось.

— И как там в смысле трафика? У жены, видишь ли, *Jaguar*, — была, была здесь нотка гордости, — так что и мне придется... Хочешь за руль?

С присвистом насчет «Ягуара», который, несомненно, предпочел бы сейчас, я принял ключи.

Брелок с изображением Собора Парижской Богоматери.

Мы сели, захлопнулись. Открутили стекла. Какое-то время побыли в молчании — привыкая к тесноте, защелкиваясь, закуривая, выдвигая пепельницу. Бензиновый дух напрягал ноздри, я чувствовал их трепет, хотя на счетчике километража цифирь была астрономической, к тому же завершаясь так, что невольно охватили предчувствия:

«...666».

Занимая место за рулем, не ведал, Sophie, конечно, что центростремительная сила отрыва, устремлявшая товарища моего с окраин империи к центру, откуда убывал он в загробный мир, вовлечет меня настолько, что все это обернется прощальным странствием для обоих пассажиров черной «Волги». Но предчувствие возникло сразу. Да и шестерочки библейские сюжетом оправдались.

Я повернул ключ зажигания.

— Итак, нах Остен?

Иван осенил себя крестом.

Мы затряслись по прусской мостовой.

— Мотор в порядке, тянет, — сообщил, останавливаясь по его просьбе перед «Гастрономом».

— Возьму-ка пару бутылок.

— И закусить.

— Ну, это если будет...

Облокотясь на руль, я смотрел ему вслед. Он поднялся в магазин, за невытой витриной которого высился пирамидальный замок рыбных консервов, чьи выцветшие этикетки говорили о медленном, но верном размножении в вакууме бактерий ботулизма и просто требовали предостерегающей допечатки в виде черепа с костями. Заколдованный консервный замок от того бы только выиграл.

Неведомо в силу какой филиации идей подумал о том, что мы находимся в одном из немногих городов на территории Союза, в которых побывал Адольф Гитлер, перед фатальной своей войной прибывший сюда, в Мемель, на крейсере «Дойчланд» и встреченный ликующими толпами: возможно, проезжал фюрер и по этой улице. Затем я снова вернулся к

Ивану, который появился в раме мутного двойного стекла — стоящим в очереди к кассе. Обо мне он явно не думал, ни разу не обернулся, несмотря на все телепатические усилия. Возможно, Sophie, я склонен переоценивать свои экстрасенсорные способности, возможно, недостаточно еще мы с ним, как выражается журнал «Дружба народов», *взаимпроникли*; так или иначе, сигналов реципиент не принимал, томился в очереди с выражением полной отрешенности от мира. О чем он думал при этом, интересно? Переминался среди женщин в терпеливом забытии, и Бог один знает, куда воспарял из магазинной муки. Милиционер у входа в «Гастроном» решил, что наблюдаю я за ним; согнал со своего славянского лица общечеловеческую мягкость, проявившуюся во время переговоров с двумя подотчетными ему блядушками, приосанился и козырнул, введенный в заблуждение официальным колером «Волги» и московским номером.

Я подозвал славянина.

— Скажи, сержант: в честь кого улица?

Он обернулся, чтобы взглянуть на табличку с названием Mantas.

— Большевик, что ли?

— Никак нет! Вождь восстания ихний. По имени Геркус Мантас. Крестonosцев здесь долбал.

Эрудиция меня удивила:

— Местный, что ли?

— Никак нет: кино про это видел. Сам из Дзержинска я, товарищ...

Но я не сказал, какой я именно товарищ:

— Удачно родились, сержант, хотя я знаю, по меньшей мере, четыре города с таким названием, *Днепродзержинска* не считая. Какой ваш?

— Минской области.

Я кивнул, отпуская коллегу в стойку «вольно».

С вечерней балтийской прохладой главная улица Клайпеды ожила. Шаркая подошвами, постукивая каблучками, мимо по неширокому тротуару протекала все более плотная, все более

возбужденная толпа курортников обоего пола, искателей авантюр. Мелькнули и наши — или обознался? — вчерашние эсмеральды с картонажной фабрики. Легкие их фигурки пережегались широкоплечими спинами моряков, переодетых в штатское.

Мне вспомнился воспитатель из девичьего их общежития, беспутный, но сентиментальный тип, и его пьяные слезы по поводу несовершеннолетней жертвы убийства с помощью вязальных спиц. После чего подумал о приступе некрофилии, толкнувшей меня к так и не проснувшейся девочке, не только без имени оставшейся в памяти, но и без лица. Нехорошо мне стало как-то. Жутковато. Всегда считал, что сохраняю иммунитет, что уж биологически я защищен надежно от патогенной своей роли в этом мире, что инстинкты, так сказать, здоровы, а тут вдруг на мгновение ушла из-под ног уверенность: обдало холодом мертвецкой. Может быть, того не заметив сам, я уже переродился? и *живет мной*, переваренным, иное, уже нечеловеческое существо? У которого встает лишь на Костлявую и дериваты оной?

Писатель свалил на заднее сиденье бутылки и кульки, сел и захлопнул дверцу.

— Найдется у тебя консервный нож?

— Swiss military .

— Красный с крестом?

— С крестом, но черный.

— Ибо колбасы в этом городе нет.

— Ботулином закусим мы, метаном! — с подъемом сказал я, трогаясь. — Кстати, притон вчерашний навестить не желаешь?

— А ты бы сумел отыскать?

— С закрытыми глазами.

Обычно я уверенно ориентируюсь даже в городах повышенной трудности, в мегаполисах иного мира, но в этой Клайпеде, внутри которой таился, зыблясь, ганзейский Мемель с башнями, и шпилями, и триумфальным визитом фюрера, топографические способности мне явно изменяли; тем не менее, мне смутно помнилась чернота дома и какие-то штабеля сразу

за ним, запах смолы и гнили, грузный силуэт портового крана, мачты и лунный перепляс воды.

— Своей охотой я не возвращаюсь к прошлому, — сказал он, расслабляясь в ремнях. — Рву когти дальше.

— Молодец. Так и живи. Тогда, как я, скорее, пассажист... Ну, что ж ты делаешь, голуба! — крикнул я в окно, себя перебивая. — Ну, что ты скажешь, а? Нет: в Париже, Ваня, водить намного легче, трафик там взаимовежливый. Таких вот камикадзе нет... Так вот, моя память, она, ты знаешь, как склад, как продуктовый склад на случай третьей мировой. Одни консервы... Консервы прожитых мной дней. Вчерашний, например, уже запаян. Целиком! С погодой. Со своим набором физиономий. С психогаммой. Со своим, только ему присущим, ароматом влагилищных секретий. Да, *время!* — философично вздохнул я, чувствуя, как он охвачен неудобством... — Некроз отваливает его кусок за куском, время мое издыхает, портится, а я, запасливая гиена, запаиваю все, и отправляю туда, в НЗ. Впоследствии чтобы на досуге вкусить падали пережитого. — Я выдержал паузу. — Не вскрыть ли вчерашнюю консерву? Все равно рано или поздно вздует. Видишь ли... Недоброкачественной оказалась.

— А хули, вскрой! — Он прикрыл стекло, защищая лицо от ветра. — Надеюсь, ты не собираешься мне сообщить о том, что мы вывозим из Восточной Пруссии пару бледных, ниществующих спирохет?

— Иван! — вскричал я, кратко взглянув на седока. — Заклятого врага и то бы немедленно отвел в пункт профилактики, благо круглосуточный, а у тебя с твоей подписанной вольной, уж и не знаю... Отсосал бы.

— Ну уж, — смутился он.

— В том случае, конечно, если б тебя ужалила змея.

Он неуверенно хохотнул.

— Обладаю, знаешь ли, иммунитетом, — сказал я. — Ко всему, кроме трупного яда.

— Что ты имеешь в виду?

В виду поста ГАИ я сбросил газ. Страдая от потери скорости, прополз мимо освещенной уже стекляшки, внутри которой краснолицый мусор утирал пот со лба над импортным селектором — размером в ткацкий станок. Пряжа преступности.

— Убийство,— ответил я, надавая газу.

90. 100. 120... Не Jaguar — больше движок не вытягивал. В прочной металлической капсуле, надежно защищенные сознанием полной невинности, мы летели над темнеющими мокрыми лугами. Вот только битая мошкара пестрой кровью кропила обзор.

— Какое, — сказал он, — убийство?

— Обыкновенное. Нимфетки наши, с которыми мы резвились...

— Ну?

— Подруженьку заporоли. Вязальными спицами. Причем, по настоятельной просьбе погибшей...

Иван созерцал красноватый накрап мошкары.

— Ей бы к маме в ноги броситься, — продолжил я, — но маму девонька боялась пуще спиц. Что не простит ей мама самоволие с той самой пленочкой, которую — бедняжка, несмышлениш... ведь и обратно можно было залатать. Дороговато, правда. Девственная пыльца в обезбоженном нашем мире прямо на вес золота. В Баку, говорили мне, пять сотен стоит реставрировать невесту перед свадьбой. Чем беспробудней грех, тем выше такса добродетели...

— Ну, и?

— В один прекрасный день привели дуреху в тот дом на междусобойчик, аналогичный пережитому нами, набулькали водяры, может быть, подкрашенной сиропом, ну, а ночью некто протрезвившийся раздвинул белы ноженьки. Так что зачала Лолита наша прежде, чем очухалась.

Образ минувшей оргии вызвал у соседа приступ дурноты.

— Но почему же в абортарий не обратилась? В государственный?

— Чего ты хочешь от нее: провинция! Мамуле бы немедля донесли. Да и не взяли бы девчонку. Затянула настолько, что

уже нужно было спецразрешение Минздрава. С одной стороны, пятнадцать лет. С другой — пятый месяц.

Иван страдальчески вздохнул.

— На что похоже, представляешь — пятый месяц?

— Смутно...

Женатый человек, он обо всем этом имел весьма расплывчатое представление. Совесть его была почти чиста. В отличие от иных единоплеменных особей мужского пола особым рассадником внутриматочных убийств герой мой Иносельцев не был. Ну, в университете от него (и от него втайне) сделала аборт сокурсница, дочь прокурора рижского — но то было давно. Потом еще была трехлетняя почти любовь, протекавшая весьма удачно благодаря систематическому *coitus interruptus* и фригидности его любимой, так и оставшейся на протяжении всей той *love story* в полном неведении о том, что располагает она клитором; столь же целомудрен был в качестве любовника и начинающий писатель. Далее там период мировой скорби и случайных связей, ну, а потом нашла его судьба — в неотразимом образе француженки, открывшей в себе национальное бретонское самосознание и защищенной от побочных эффектов нашей жизни неистоцимым запасом ввезенных с Запада таблеток.

Докторальным тоном я сказал:

— Сексуально плод дифференцируем между вторым и третьим месяцем, ну а уж пятый... Это мозг. Глаза. Губы. Лицо. И даже, представь себе, пальчики.

— Ради Бога, а? (Я скопил на него глаза.) А то мне как-то... — Усы приподнялись, и он — мужчина русский — дернул головой с гримасой омерзения.

Пытку я прекратил.

Другое развлечение возникло в перспективе. Пока мой седок приводил себя в чувство с помощью встречного ветра, я нагнал рефрижератор и приступил к обгону.

Машинально наступая с левого фланга на дюралевую корму «холодильника» и тут же, отступая в виду встречной, размышлял я о культуре убийства в обоих мирах. Не специали-



зированной, нет: тут и они нас, и мы их аннигилировали чисто. Думал о внутренней я практике. Об убийстве бытовом.

В стране, где, начиная с конца войны и по сей день, регулярно проводят мероприятия по массовой выборке всего, что с винтовым нарезом, изъятие цивилизованное, конечно, невозможно. Я понимал смысл их превентивных этих мер, делающих политический терроризм и вооруженное восстание масс игрой досужего воображения. С другой стороны, для решения межличностных конфликтов массам нашим оставляли топоры, утюги, слесарные инструменты (никогда не забуду!..). Камень. Кирпич. Древесные изделия, вроде кола. Бутылку там. Первоосновы. Посещая по работе отечественные морги, я всякий раз впадал в депрессию от вопиющего безкультурья: выпихивать из электричек, втоптывать в сыру землю или, этого я тоже не забуду никогда, цветными спицами во чрево... Бог мой, мой Дьявол, ну страна досталась... Догадал же меня Бог с душой и даром родиться в России! вскричало «наше все». Спору нет: то, во что мутировалась мы, далеко не лучший из миров. Однако есть и хуже. Потому что именно Россия, что от нее осталось, спасает нас здесь от тоталитаризма на германский, скажем, образец. Я, впрочем, не политик. И в русофобии меня не упрекнуть. Антипатриотический вскрик Пушкина могу принять лишь в усеченном виде: догадал меня Бог *родиться*.

В человеческом облике. Вдобавок еще — в мужском.

Главная к Тебе претензия...

Рекламация снизу.

От гражданина Союза Советских....

Осмыслив кардинальную сию несправедливость лет в тринадцать, весьма обеспокоился и впал в тоску, одновременно приступив к коллекционированию огнестрельного. Скупал, выменивал, крал. Как бы ведомый неким инстинктом: безмысленно, но со страстной сосредоточенностью собрал я в отрочестве приватный арсенал, промаслил и запрятал в надежном месте. Впрок! Что-то муравьиное было в том инстинкте. Но с тех пор, имея в душе координаты одной могилки, в опре-

деленном смысле живу спокойно. С уверенностью в завтрашнем дне. Оружия, кстати, у меня вполне достаточно, чтобы вооружить какую-нибудь перелетную интернациональную тергруппу а ля Баадер-Майнхоф (минута молчания...), есть даже три противотанковых плюс фаустпатрон. Конечно же, перебрал в иррациональной своей страсти. Я понял это, когда вышел из переходного в l'âge, так сказать, de raison. Только тогда я осознал и цель (сам ею оказавшись), и средства — один-единственный патрон девятого калибра.

С тех пор не расстаюсь я с Парабеллумом.

Всегда при мне, а я при Нем.

Вселенная, считает Блез Паскаль, есть такой круг, центр которого везде, окружность же нигде. Моя приватная вселенная, центром которой имею сугубое несчастье быть, обнесена тем парабеллумом.

В разобранном виде.

Почему в разобранном? Ах, Блез, предусмотрительный я геометр... Я, кстати, люблю Москву, которую все без исключения хулят. В минуту жизни трудную, предчувствую заранее, что не смогу отказать себе в прощальной экскурсии по якобы Семи холмам. Объезжая, обходя излюбленные уголки Третьего Рима, неторопливо, постепенно и последовательно соберу, деталь за деталью, весь тот нехитрый механизм. Где-нибудь возле последней церквушки, в которой наверняка будет склад чего-то материального, сощелкну воедино промасленные железки. Насечка рукояти вопьется мне в ладонь и пальцы. Вставлю обойму — косую, длинную, пружинистой всей силой готовую вытолкнуть мне мой патрон. Оттяну кожух, чтобы принять его в ствол. Глядя в пустое небо, сдвину предохранитель и...

Стальная стена вдруг резко откачнулась влево.

Водитель фургона тонн этак на пятнадцать прекрасно видел, что иду я на обгон. Последнего момента дождался, чтоб заткнуть мне путь. Что ж, я продемонстрировал реакцию, но сидока рвануло в ремнях:

— Ебшт!..

— Пардон.

— Угробить хочет нас?

Я не ответил, все дальше отпуская белый параллелепипед. Как кита, заглотившего на спиннинг. Солнце между тем зашло. Встречные машины, все более редкие, проходили с включенным светом, но над землей еще все было ясно, послезакатно и печально.

Шоссе несло навстречу всей своей сизо-бритвенностью.

— А как же тело? — нарушил молчание Иван.

— Чье?

— Ну... Лолиты этой?

— Растворилось. — Я далеко уже уехал от фантазма... — Без остатка, друг мой. В серной кислоте соцреализма.

— Я серьезно, Кирилл.

— Ну, а куда от тела деться? Расчленять? Кишка тонка. Там оно и пребывает. Без погребения.

— Где там?

— В опочивальне. Отправив душеньку в мир лучший, подружки в запой ушли. Ты, может, думал, что свальным грехом мы наслаждались? Нет. Вершили прощальную мы тризну.

— Что-то не помню никакой опочивальни... Шутить?

Стена приближалась в лобовом стекле. Еще одна попытка...

Снова бортанул, перекрывая путь.

— Была, была. Альковчик не заметил? Там занавесочка из ситца, так закуток за ней... Застенок. Кстати, дом прелюбопытнейший. Вот только государство почему-то забило болт на памятник архитектуры. Шестнадцатый ведь век?

— Семнадцатый.

— Неважно. Светлое средневековье! Впрочем, ты прав: аборт прошел благополучно.

— Я так и знал! — Он засмеялся, расслабляясь. — Значит, жива Лолита?

— И более того. Бессмертна... Прикрой окно, будь друг!

Натужно взревев, рефрижератор пошел на подъем, окутавшись при этом дымовой завесой, выхлопами «циклона-Б», красиво подсвеченного задними огнями. Как дерзкий паж, я

осторожно сворачивал газовый этот шлейф, подбираясь все ближе и ближе к заветной...

— Ну, ты и фантазер!

— Есть малость.

— Тебе б, Кирюша, романы ужасов писать.

— Хоррор, что ли? Представления у меня неординарные о хорроре. А потом, для кого?

— Неважно. Важно, что мастер жанра пропадает.

— Авось не пропадет, — ответил я... — Держись!

Вдавило в сиденья.

По лезвию бритвы обошел я «холодильник». И вниз стекло. И захлебнулся ветром. В душегубке, вот где самый секс! Детская грёза: я и Анна Франк. Ревнуешь, Sophie? Среди слипшихся тел. Голубая мечта выхлопная.

— Ну, лихо ты его!

Я сбросил газ.

В зеркале заднего обзора появилось рыло — тупое рыло Белого кита. Тонны перли за мной. Я зафиксировал изображение — чтобы не больше и не меньше. Теперь я вел игру, которую мой спутник наблюдал с известным отчуждением. На машину ему, похоже, было наплевать, однако с загранпаспортом в кармане невольно теряешь интерес к домашним авантюрам.

Тем временем Иван признал мою правоту. Конечно, надо было отказаться от блефа и перекрасить «Волгу» в нейтральный колер. В аполитичный. «Черный» блеф столичного водилы, фальшивый знак принадлежности к силам высшим и правящим, блеф, сбивающий наглость с московских «гаишников», а у девочек центра вызывающий слабость в коленках и безотчетную потребность отдаться ночному ездуку, блеф преуспеяния, блеф победительности и престижности, рассчитанный на завистников по перу, на редакторов, на издательских бюрократов, на всю эту свору, от которой зависело возникновение из грязи его писательской звезды, этот блеф, сколь постыдный, столь и беспроигрышный за пределами растленной столицы, сейчас явно провоцировал аварию и мог

обернуться катастрофой. Автодорожным происшествием с летальным исходом — на пути в Париж через Москву. Жил себе Иносельцев, был, а стал себе еще одним из нераскрытых дел на статистической совести Всесоюзной Госавтоинспекции. Правящая масть, начальственная марка «Волги», украшенной мишенью столичного номера, разумеется, стяжала классовые чувства профессиональной шоферни — и обычных-то «частников» не жалующих... *Жил-был Иван Сергеевич Иносельцев — в отрыве полном от реальности. Он был, но вряд ли он существовал.* На семинарах по структурализму живой жизни пропустил он обучиться. Стоило ему вникать в Соссюра, в «Ромку» Якобсона, в Барта с Леви-Строссом, в труды тартусской школы и в *Tel Quel*, чтоб оказаться в столь угрожающей позиции — в *ударной!* В какой из знаковых систем отыщешь код, чтобы расшифровать неясный знак своей судьбы советской? Сейчас как ебнет, сволочь, в зад, и ускользнет навеки-вечные тот знак, и лишь ухмылка над абсурдом останется на губах очередного трупа, но и ее не расшифруют, пламя бензинное вытравит до челюстей обугленных, которыми уже не скажешь миру того, что должно... нервы не выдерживают:

— Кирюша, брось! Не залупайся!

А я пробормотал:

— Куда уж дальше? Вводить пора, мой друг...

Рванул из-под передних огней грузовика, унесся с ветром, а километра через три свернул к обочине и распоясал чресла.

Мы вышли.

В сумерках из лесу веяло теплом. Я закурил, облокотился на полированный металл, спокойно глядя, как с хрустом тормозит большая тупорылость под названием «Колхида».

В дальние рейсы без сменщика не выходят, так что их тоже было двое, *аргонавтов*. Спрыгнув на шоссе, они пошли на нас. Со вздохом, но мой друг нагнулся и подобрал с обочины булыжник размером с голову младенца. Дебильную: со вмятинами. Взвесил на ладони. Шоферня, которая до этого шагала вразвалочку, бултыхая разводными ключами немалого

диаметра в икроножных накладных карманах засаленных комбинезонов, сбавила темп. Остановилась на полпути.

Главный «дальнобойщик» стал закуривать.

Мускул предплечья задрожал от тяжести, Иван упер локоть в бедро. Сидя рядом на багажнике и держа в поле зрения водилу-заводилу, я перевел сигарету в вертикальное положение.

Тихо сдул столбик пепла.

Шоферюга был ниже сменщика, но крепче. Такой мясистый блок. Могучий выкат брюха над ремнем. Лысеющий спереди, а на загривке даже кучерявый. Представитель ведущей нашей нации, он, несмотря на наш бульжник, чувствовал себя уверенно.

— Что ж это мы, Гуннар? Обознались... Мы с тобой думали, «бобры», а это ж сосунки. Так, барахло...

Вынул папироску, сплюнул себе под ноги.

— *Бобрята!*

Как положено нацмену, Гуннар молчал. Длинные волосы, зачесанные назад, слегка распадались по сторонам, что в сочетании с усами было совсем неплохо. Выглядел, как скандинавский пролетарий. Длинноногий, костистый, стоял он, отчужденно подняв плечи.

Не его война...

— Эй вы, бобрята? Где членовоз надыбали? Наверно, комсомольцы, Гуннар. На подсосе у КПСС...

Молча мы внимали. Сбычившись, затягивался он вчастую, как бы подкачивая папиросным дымом недостающий для перехода к действию адреналин.

— Что, бздёж народный не понравился? Самим попукать захотелось? Пук-пук? Сейчас вам очко прочистим выхлопное. Чтоб бзделось круче... Вот этим мотовилом! — Вытащил разводной свой ключ и сделал шаг ко мне. — Ты, *Бельмондо*? Чего там лыбишься?

Иван вскинул бульжник к плечу, и он запнулся. Я затянулся последний раз, стрельнул окурком в воздух и поднялся на ноги.

Он тоже сплюнул папироску.

— Гуннар, бери дискобола за усы! Держи, не отпускай! А я сейчас Делона раком буду ставить... Ну? Или станешь сам?

Через ГУЛАГ он, что ли, был пропущен? Находясь в стойке, именуемой «нормальной», я созерцал этот продукт нашей анально-садической системы, вчуже поражаясь тому, насколько спокоен и расслаблен внутри кипучей своей ярости: ну, прямо *глаз цунами*.

— Чё смотришь, ты? Дермафродит?

Занес свой ключ, всей массой бросился в атаку.

Но нас в Москве недаром одевали в кимоно. Сбросив эмоции, как крылья, я шагнул навстречу удару закаленной стали. Поймал его толстое запястье с металлическим браслетом часов. Приемом, отработанным до машинальности, перенаправил его кинетику. Монтировка выпала из хрустнувшей руки. Все, устранился. Биомасса полетела дальше, чтобы сработать против ее носителя. Звон прыгнувшего инструмента перекрыт был железным громом, с которым «дальнобойщик» врезался нам в зад. Припаявшись лбом, стоял он на коленях и, дергая мясисто-волосатым плечом, пытался вернуть себе правую ударную, которой не было уже на поле брани. Оставляя следы пальцев, левая бессильно хваталась за чернзеркальную крышку багажника. Соприкасаться больше не хотелось, но что поделать? В соответствии с японской наукой мои пальцы превратились в когти, которые собрали потно-курчавые волосы загривка. Я оторвал его от вмятины. Глазки постепенно обретали фокус жгучей ненависти. Лопнул розовый пузырь, и шоферюга прохрипел:

— Абвер, блядь... Гестапо ебаное...

Я поспешил его прервать. Плоским и сырым, как мясо отбивают, был удар лицом по черному металлу, с которого свалилась левая рука, повиснув плетью над асфальтом. Отвалил кровавое месиво. Разжал *когти*, чтобы дать упасть. Вытер ладонь об зад, чувствуя под своей джинсовой тканью живую сталь *gluteus maximus*.

Иван толкнул свой камень в заросли ольхи.

Второй «дальнобойщик» все это время простоял не двигаясь.

— Эстонец?

Утвердительно кивнул.

— Что-нибудь есть, чтоб вытереть?

Эстонец повернулся и пошел к своему грузинскому грузовику, стараясь при этом не слишком телепать в кармане монтировкой.

Иван посмотрел на тело, как бы уснувшее прямо на асфальте под нашим бампером в не очень удобной позе.

— Не слишком ли ты...

Я промолчал.

Гуннар вернулся — уже без инструмента. Вопросительно комкая ветошь.

— Давай, прибалт, работай! — сказал я и нагнулся, чтобы оттащить тело — с мокрыми подмышками.

Каблуки скребли по асфальту.

Тщательно оттерев кровь своего напарника, Гуннар отбросил тряпку в кювет и присоединился ко мне. Проезжавшая мимо машина, тоже «Волга», только светлая, сбросила скорость, но, осмыслив ситуацию, тут же дала газу от греха подальше. В четыре руки мы дотащили оживающую тяжесть. Дверца грузовика была открыта. Стараясь не испачкаться в крови, усадили на пупырчатую железную ступеньку. Голова у него не держалась. Гуннар напрягался из кабины, я подпихивал снизу. Поверженный противник пытался нам помочь, но каблуки его соскальзывали. Я вбил ему ноги в кабину и захлопнул. Гуннар, занявший место за рулем, смотрел с высоты в ожидании приказа.

— Как этого фамилия?

— Катаев.

— Так вот, за Катаева не беспокойся. Руку ему я не сломал, а нос срстется. Свезешь в медпункт, срстется так, как у меня. Видишь? — Я взял себя за переносицу, за кончик. — Понял?

Эстонец кивнул.



Я бросил взгляд на их изотермический фургон, в которой мы едва не вмазались с Иваном.

— Сколько внутри там? Температура, ну?

— Минус двадцать.

— Везете что?

— Свинину. Польскую...

— Куда?

— Туда, — ответил Гуннар, — где ее жрут... В столицу вашей Родины.

Ночь. Номер. *Каунас...*

С руками, сцепленными под затылком, я смотрел в окно, томительно ощущая себя центром Вселенной. Думал о Блезе, об Эммануиле, странной его душе, переполнявшейся восторгом от незыблемости морального закона внутри себя и бесконечного звездного неба снаружи. Завидовал я им обоим. С тех пор, как Первый космонавт открыл нам, что в небе ни Бога нет, ни ангелов, сверху, кроме ядерного удара, ждать мне нечего... Воистину! *Le silence éternel de ses espaces infinis* ужасает нынче посильней, чем во времена Паскаля.

Поднялся и задернул «бесконечные пространства» шторами. Сорвал отчасти их с прищепок.

Ебанный экзистанс! На пути к «Запискам христианина» Лев Николаич пережил свой «арзамасский ужас». Я переживал свой «каунасский», твердо при этом зная, что воскресения не воспоследует. Медленно, но верно малая вселенная души опять сходилась в точку пули. Где мой верный друг?

Друг расчленен. Разбросан по Москве на части.

Сходить Ивана разбудить?

Одеваясь, обратил внимание на то, что на плече рубашка, будучи по-западному прочной, лопнула по шву. Взялся за дверную ручку и уже готов был повернуть ключ в замке, как в дверь навстречу постучали, вслед за этим затаив дыхание.

Ушам не поверил. Неужели я ему нужнее, чем он мне?

Выдохнул и распахнул.

Не он — она. Случайная. Впрочем, блондинка. Взбитые локоны, красивый лоб и брови. Мило вздувались губы. Внизу, в ресторане, где за ужином она выпила в одиночестве бутылку венгерского токая, наши взгляды несколько раз пересеклись. «Я, кажется, ошиблась номером», — сказала она, иронически над этим улыбаясь. Я сделал шаг назад, она вошла, оттягивая кулаками карманы мужского халата, выпрямляя руки, поднимая плечи: как судорогой ее сводило. Деревянная основа кровати плоско ударила меня по икрам, я опустился на матрас, во весь рост блондинка продолжала наступать. Не развязывая на ней пояса, раздвинул под узлом махровые полы полосатые и обнял снизу за ягодички, теплые и крутые. Внешней своей стороной кисти рук при этом ощутили вытертость ткани в данном месте, и я успел подумать, что дома она любит работать в халате — за пишущей машинкой?

Разнимаясь навстречу моему лицу, неожиданная гостя откачнулась к двери. Моя Россия — страна чисто плотных женщин, но меня всегда умиляло, что у них не достает терпения смыть мыльный запах недвусмысленных своих намерений — особенно когда он «земляничный». Нервическое биение ладони в поисках выключателя было последним, что я услышал перед тем, как мне зажали плотно уши.

Спецкор «Комсомольской правды», она была в командировке по авангардным точкам сверхдержавы, так что уснул я под восторженный монолог о «литовских поисках», о Паневежском театре и проч... и проч...

Проснулся в одиночестве. Свежо.

Нет лучше наших женщин. Только они и примиряют «товарища мужчину» с этой жизнью. Окурки выброшены, пепельница вымыта. Рубашка, повешенная на спинку стула, оказалась аккуратно зашитой. Как, когда? С благодарным чувством отмотал под душем с основания головки длинный, золотом переливающийся волос.

Что ж, вперед...

Полагаясь на хваленую балтийскую порядочность, Иван не стал «раздевать» на ночь свою «Волгу» — и напрасно. Мы

стерли с черных лакированных боков оскорбительные для нас, *русских*, лозунги, выписанные старательным школьным мелком, но с орфографическими ошибками, сели в машину и отправились дальше — без зеркала дальнего обзора и оторванных на хер «дворников».

## VI

И все это, и вся эта заграница, и вся эта Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите!



Этим пророчеством, как помнишь ты, Sophie, завершается роман об одном русском идиоте. По отношению к нам с Иваном в Литве оно сбылось, суди сама.

В столице их произошло.

Пожимая плечами за стеклом двери, швейцар отказался впустить нас в ресторан «Барокко» — не из-за отсутствия мест, что было явно, или, во всяком случае, казалось, а по причине нашей национальной принадлежности. Мой друг вынул и пришлепнул к стеклу зеленую трешницу. Немедленно и с оскорбленным видом бордово-золотой швейцар заложил руки за спину и стал было удаляться, когда спутник мой потребовал мэтра. Следует признать, что в критические моменты он становится весьма убедительным.

Набриолиненные волосы метрдотеля были гладко зачесаны назад.

— Слушаю вас.

— Из Иностранной комиссии Союза писателей СССР, — хмуро отрекомендовался Иван. — Сопровождаю вот гостя из

Западного Берлина. Совершающего ознакомительную поездку по нашей стране. Ганс Магнус Розенкопф — может быть, вам доводилось слышать?

Западный друг Страны Советов, я широко осклабился.

Крепко пожимая руку Ганса Магнуса, метрдотель бурно заговорил на языке гостя:

— Hatten Sie eine angenehme Reise? Kommen Sie bitte, kommen Sie bitte her! Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, mein Herr Rozenkopf!\_ А также с вами, товарищ... *товарищ?*

— Пронин, — буркнул Иван.

— Как же, слышал! Вы ведь тоже пишете?

— Еще бы. *Куда следует.*

Метрдотель хихикнул, как икнул, и попросил прощения.

За столиками оплывали свечи. Мы были сопровождаемы в интимную глубь, и, как даме, под садящуюся задницу мне вдвинуто было плюшевое сиденье. Испросив разрешения собственноручно зажечь свечи, метрдотель вынул коробку спичек — длинных, сигарных. Пальцы его подрагивали, на безымянном левом плоское платиновое кольцо.

Что касается меню, Ганс Магнус полностью вверился мэтру, оговорив, что желает приобщиться к национальной кухне.

— Литовской, то есть? Wunderbar!— и взглянул, кивнув на моего товарища. — Пить, естественно, будем водочку?..

Нас оставили при свечах наедине.

Я зажег сигарету. Будучи западноберлинским левым интеллектуалом, курил я, естественно, *Caporal* — «Капрала», как называют во Франции чернотабачные «голуазы», более известные миру, чем «житаны». Вот с этой голубенькой пачкой на столе могу, если угодно, предложил я товарищу из Инкомиссии, сыграть роль нью-йоркского гомосексуала — тоже друга Страны Советов.

— Не надо, — сказал товарищ.

— Не буду.

Буду, кем велено.

Крепкой своей сигареткой я услаждал себя на легкий западный манер, отдавшись созерцанию ресторанный полумрака.

Мерцающие глаза девушек из Вильно, колеблемые выдохами лепестки огней, дымки – как бы ностальгические, как бы поминальные, как бы взывающие к чему-то невозможному и неизбывному. Литва. Что я знал об этой стране? *Достоевский, он кровей литовских? Польских? Белорусских? Генотип из этих сыроватых мест, недаром Петербург...*

Несмотря на август месяца, все здесь в костюмах, более или менее вечерних, только мы имели вид сугубо авангардистский: расстегнутые вороты джинсовых рубашек, завернутые рукава, а у «товарища из Инкомиссии» неуместно поблескивала на ключицах тонкая золотая цепочка. На нас поглядывали – не назойливо, но вполне доброжелательно. Пару раз я ответно улыбнулся длинноволосым локальным блондинкам – своей застенчивой улыбкой, *американской*.

Иван тем временем сверял в меню литовские названия с русским переводом, и все эти блюда, «первые», «вторые», «порционные», а также «винно-водочные, табачные, кондитерские изделия», уводили изголодавшегося университария к истокам единого и неделимого праязыка. О, крохотная нация, Литва, она одна во всем столь трагично распавшемся человечестве хранила язык *корней сознания!* Отыскивая и находя их на папирозной бумаге, насквозь пробитой знаками препинания подслеповатой пишущей машинки, он, Иносельцев, вновь испытал уже знакомое чувство виновности, раскаяния даже – комплекс, свойственный каждому мало-мальски чувствительному великорусскому интеллектуалу, пребывающему в зонах «братской» оккупации. Имперского раскаяния комплекс.

– Ну, как тебе это «Барокко»? – спросил он, поднимая на меня глаза. – Запад напоминает?

– Не современный. И не столько Запад, сколько мою любимую эпоху, которая длилась двадцать один счастливый год промеж двух войн: *l'entre deux guerres...* Тридцатые годы, о!.. И ведь не поддельное «ретро», а жизнь живая... Эстония, Латвия, Литва. Сейчас заплачу от тоски по трем парламентским республичкам.

Глаза мои и вправду увлажнились.



— Вечная память! Лично мне кажется, что переварили мы их вместе с костями. Железный желудок у Людоеда.

— Ему еще отрыгнется, — посулил я. — Но скажи? Рассуждая чисто по-человечески... Ведь оснований для бунта у них, во всяком случае, не меньше, чем у прибрежных твоих бретонцев?

— Почему «моих»? Жена давно уж парижанка, а политически — вполне нейтральна.

*Блажен, кто верует.* Ограничившись внедренным зернышком сомнения, продолжать не стал, глядя, как с учтивой надменностью юноша-официант нам сервирует стол. Взяв через салфетку, он отвинтил водку, наполнил нам рюмки и поставил бутылку на серебряное блюдечко — замороженную большую бутылку польской «Wybogoва».

— «*Вырубову*» подали! — сказал Иван, потирая руки.

— А вы, товарищ Пронин, надеялись, что штоф оккупационно-монопольной поднесут? А вот нам! Polska nie zginela!

С рюмкой в руке Ганс Магнус обернулся и приложил к сердцу ладонь, давая понять, что сознает разницу и проявляет солидарность с мятежным выбором. С улыбкой метр смежил веки.

— Вот за нее и выпьем, — сказал Иван. — За Польшу, за страну Богоспасаемую...

А я ответил:

— Pańskie zdrowie!

Мы выпили и закусили селедочкой под грибным соусом, что было весьма *wunderbarно*. По моей инициативе провозгласили с «товарищем» еще ряд подрывных тостов: «За Марека Хласко! За Цыбульского Збыха! *Вечная память...* За Ежи Анджеевского и Конвицкого Тадзю! За Ежи Косинского с Поланским Романом! Виват!»

«*Выборова-Вырубова*» разгоралась в нас крепким и чистым огнем.

Основное блюдо подал сам метр.

— Вам хотелось национального, майн хер? Предлагаю откусить «цепшелинов».

— Буду счастлив, — ответил я. — Граф фон Цеппелин?

— Ja, ja! — и метрдотель отплыл с теплой улыбкой краткого соприкосновения с прошлым, каковое, будь я на самом деле вышеозначенный хер Розенкопф, могло бы вызвать у меня лишь приступ мстительной ненависти.

«Цеппелины» являли собой фаллообразное изделие из картофеля, начиненного мясом.

— Bibis, — раздумчиво сказал мой друг. — Какое плотное, мясное, хорошо наполненное кровью слово. Слегка меланхолическое притом. Чувствуешь, как крепко оно *стоит*? Этот вот первый слог? И оно добродушно. Не то, что этот наш татаро-монгольский «хуй» — как удар под дых.

Впервые услышав от Ивана столь антипатриотическое высказывание, я не преминул поддержать:

— Да и «пизда» наша проигрывает по сравнению со здешней. Pinda — есть основательность, достоинство и благодушные лобка. А наша, хоть и, как джойсовский «Улисс», кончается все тем же «ДА», в истеричность какую-то впадает перед тем. Кликушествует. Нет? И отДАется с визгом.

Такой сомнительно-лингвистический обмен произошел между литераторами, подлинным и мнимым, за сытно-примитивными их «цеппелинами».

подавая кофе, метр испросил разрешения — разумеется, сначала у меня, а уж после у «товарища из Инкомиссии» — для молодого местного Schriftsteller'a, которому хотелось побеседовать с именитым поэтом-радикалом «оттуда». Мой телохранитель и надзиратель нахмурился, но не возразить не смог. Прежде чем отбыть, метрдотель, слегка выкатывая прозрачные по-старчески глаза, впустил намек, что, как представителю мирового авангарда, мне, Гансу Магнусу, будет небезынтересно... наш, национальный поиск...

*Где-то уже слышали...*

— Эта роль «литературоведа в штатском» мне вот так уже, — Иван плоско стукнул себя по адамову яблоку. — За стойкой бара посижу. Пусть выскажется без свидетелей.

В проходе между столиками он разминулся со здоровенным, метра под два, детиной, который решительно приближался ко мне. Я поднялся навстречу. Коллеги, мы обменялись крепкими мужскими рукопожатиями, и я подумал, что ему не на пишущей машинке бы стучать, а на Грюнвальдской битве орудовать двуручным. Садясь, он расстегнул серый пиджак, который сам по себе внушал доверие, будучи твидовым и с рисунком типа «селедочная кость» — возможно, дедово наследство. Мощный подбородок был раздвоен глубоко врезанной складкой. Физиономию имел выразительную: губастый, носатый, с выпирающими надбровьями, обложенный бакенбардами, — вьющимися, низкими, — и наглухо закрытый. Назову его Гвидас.

Гвидас отказался от французской сигареты, неспешно раскурив что-то еще едкое общесоюзное, и с мрачностью спросил, что теперь поделявает Питер Хандке.

Прозрачный свинец глаз. Отменный «европейско-английский».

— Питер теперь в Париже, — ответил Ганс, чувствуя себя не магнусом, а гнусом.

И выложил все, что знал о Питере. А также о Гюнтере, Генрихе и Вольфганге. После чего спросил, какого мнения Гвидас о собственном творчестве.

Выражение лица не изменилось.

— Что ж, — сказал Гвидас. — Мне тридцать три. Мне выпустили сборничек новелл. Небольшая книжечка в серии, которая называется «Начало». Начало *конца* — было б точнее. Название? «*Азы косноязычия*». Лет десять назад написал, вышла только что. В то время я считал, что писать хорошо есть вопрос исключительно стилистический. В этом смысле нам, литовцам, повезло. В контексте того, что называется «многонациональной советской литературой», только за нами признали право на изыски. Впрочем, за эстонцами тоже. Тогда как латыши, к примеру, продолжают писать положенной ногой... Так вот. Мы, литовцы, за право за это боролись, и в конце концов Москва его за нами признала. Право на «внутрен-

ний монолог»... — Он усмехнулся цинично. — Могу, например, *напечатать* рассказ, состоящий из одного предложения. Понимаете? Причем без знаков препинания. Сплошной текст. В Литве это пройдет цензуру. Русскому у себя не позволят. Белорусу тем более. Не говоря о таджиках. К востоку отсюда исчезает право на свободу стиля. Русский писатель обязан уважать советский синтаксис и соблюдать советскую их пунктуацию. Речь пока только о форме... Понимаете?

Не совсем понимал он — Ганс Магнус...

— Объясняю на пальцах. К примеру, один из самых пристойных современных рассказов. Русский. Во-первых, в том рассказе пьют!

— Естественно, — ответил я на выжидательный взгляд литовца. — Ведь вы говорите, что русский рассказ?

— Не понимаете... Что ж, понять непросто. Дело в том, что сейчас в советской литературе пить, ебаться и умирать запрещено. Тем не менее, вот что этот русский протащил. Двое москвичей, обычные люди, выпивают в автобусе по пути с работы. Один приводит другого к себе домой, где добавляют, интенсивно при этом общаясь. Кончается рассказ в застенке, куда хозяин втаскивает гостя. Насильно. Лаборатория некая там, в шкафу встроенном. Оазис свободного творчества, понимаете? А в комнате жена, измученная неудовлетворенностью. Рвется, но в застенок ее не пускают... Текст короткий, но про нашу альтернативу сказано все. Или секс, или подполье. Терциум нон датур.

— И это издано официально? — поразился Ганс Магнус (*хотя, конечно же, читал я этот рассказ Ивана*).

— Сам удивляюсь. Впрочем, парень виртуозность проявил в смысле сокрытия замысла. Иносельцев, москвич... Случайно, не слышали? Иван Сергеевич? Говорят, он на французенке женился. Наверное, уедет. Как Тургенев — за Полиной своей Виардо.

— Зачем же ему уезжать? Ведь печатают?

— Да... пока не прочли. А *прочтут* — перестанут. Перевел на литовский тот рассказ, но пробить пока не получается.

Цензура чем дальше от Центра, тем пронизательней. Раскусила мессидж, как у вас говорят. Хотя в смысле формы там все по традиции. Синтаксис, так сказать, соблюден. Благодаря этому он, Иносельцев, и книжку пробил в самом престижном издательстве Союза, причем тиражом, который нам здесь не снится. Тридцать тысяч!

— О-о...

— Кстати, я тоже вернулся к традиционному изложению. Сразу перестали печатать.

— И что же вы им излагаете?

— Самосознание человеческой аномалии.

— Вы имеете в виду... — пытался скрыть я шок, — *советской?*

— Моей собственной. Вот вы, Негт Rozenkopf, вы радикал, авангардист, бунтарь, объект почитания, вас приглашают и на Кубу, и в ЮНЕСКО, и в американские университеты. Вы достойны всяческого уважения. Тогда как я — или, если угодно, мой алтер эго, мой лирический герой, — подонок. Трус и раб. — Взирал на меня при этом Гвидас надменностью прозрачного свинца. — Литература моя сегодня есть самовыражение «нового человека», который отдает себе трезвый отчет. Нет, не высший он взлет человечества. История наша завела нас в говно, стилистических пенек с которого больше я не снимаю. Раньше рядился в кружева. Теперь пребываю, как в натуре. Голый советский на голой земле — пропитанной кровью, заблеванной и засратой по горло. И для меня, как писателя, это есть не вопрос политический. Вопрос достоинства моей речи. И ебал я при этом знать, к какому крылу вы меня мысленно сейчас относите — к левому или правому. Мне это неинтересно.

Выпада Ганс Магнус не заметил.

Лежачих не бьют.

Официант принес пузатые фужеры с коньяком: за счет дома... Метр, ценитель изящной словесности, раскланялся издали, подтверждая.

— Что же, Гвидас... *За вашу и нашу свободу?*

Глаза собеседника не утепились. Углом рта он выпустил едкого дыма. — Не знаю нынешней вашей позиции, Herr Rozenkopf, но в свое время вы, кажется, ратовали за торжество Агитпропа на Западе. Вы ведь из тех, что меняются с линией, нет? С Генеральной? Я же не мобилизован, не призван. Перо к штыку, а книжку к цитатнику приравнивать не собираюсь. Если угодно, так трахнем за русского, которого я перевел. Чтоб состоялся там в вашем безумном.

И мы трахнули за Ивана, который, чувствуя очень подавленно в моем амплуа, оплакивал в баре судьбы Балтии, трахнули — и разошлись...

Метрдотель проводил до порога.

— Glückliche Reise, mein lieber Meister! Товарищ Пронин, вам также... Glückliche Reise, meine Herren!

И деликатно одарил нас довольно потертым, но *западным* пластиковым мешочком, увесистую тяжесть которого я уложил в багажник.

Назавтра, оставляя Вильнюс — *без подъема* к их башне Гедиминас, увенчанной флагом, на котором наш советский колер всей тяжестью давил зеленый, — обнаружили в пакете пару «Вырубовой», овальную буханку тминного, а также хомут восхитительной чесночной местного копчения.



## VII

— ...Я тогда бросил все... Я уехал с тем, чтобы остаться в Европе и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал.

— К Герцену? Участвовать в заграничной пропаганде? Вы, наверное, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре! — вскричал я, не сдерживаясь.

— Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. А у тебя так даже глаза засверкали; я люблю твои восклицания, мой милый. Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски.





**Б**ыл полдень; холмистая Литва разлеталась по обе стороны лобового стекла.

Я передал своему *Тургеневу* вчерашнюю беседу — опустив, разумеется, комплименты, которые расточал ему вильнюсский коллега: пытается сойти за технократа — пусть! не будем разрушать инкогнито.

— В говне он, значит, — повторил задумчиво Иван. — Это все, конечно, литовские их метафоры, аллегории и иносказания. Тогда как меня оно с детства угнетало — говно. Вполне реальное. Вырос, можно сказать, под фекально-феодальным гнетом. Уж слишком много его у нас. Нет? Я имею в виду, буквально. Визуально?

— В Индии, — возразил я, — его больше.

Обстоятельство, которое, кстати, весьма осложняло производственную деятельность одного приятеля в стране наших с тобой, *Sophie*, отроческих грез. Он обнаружил, что святости там намного меньше, чем экскрементов. Впрочем, подозреваю, что и святости, в конце концов, он причастился, пропав

однажды без вести при исполнении служебных. Тому три года как. Был слух, что китайцами перевербован — вряд ли. След оборвался в Катманду: скорей, он просто вышел из наскучившей мирской игры. Я часто о нем думаю. Кто знает? Быть может, суждено еще нам встретиться — в каком-нибудь тибетском монастыре. Особо строгого режима...

— Тем хуже для индусов, — сказал Иван. — Однако жене моей французской за три моря ездить не пришлось.

Я машинально фыркнул.

— Ты не поверишь, но с ней просто истерика приключилась, когда она впервые в жизни пересеклась с элементарным, казалось бы, говном. Анонимно человечим. Свернувшись вензелем в тамбуре электрички. Мы возвращались из Загорска, с Крестного хода. И она — парижанка — вступила. После чего, конечно, сапоги пришлось выбрасывать, к такси нес на руках. Пасхальной ночью было дело...

Он погрузился в молчание, которое философы именуют содержательным.

Бедная Аннаиг!

Униженная, оскорбленная. Сколько же слез ею было пролито по поводу нашего говна — столичного тоже. Говна детских площадок. Парков и скверов. Беседок, заботливо сколоченных для бесед любовных и удовлетворения прочих нужд, больших и малых. Ну, где — по ту сторону мира — доводилось ей сталкиваться с экскрементами? На эпатажной выставке гиперреализма? В последнем фильме Пазолини «Сало, или 120 дней Содома»? Дискриминированное тем миром оно надлежащим канализационным путем, не видимым идеалисту, уходит в Мировой океан. Присутствие говна по эту сторону, назойливое и наглядное, чрезвычайно ранило парижскую бунтарку образца «Бульмиш-68». Оно и понятно. Одно дело говно художественное, из черного шоколада с максимальным содержанием какао, которое на большом экране парижского

кинотеатра «La Pagode» щедро накладывают из серебряных судков себе в тарелки представители «ебущего нас в жопу класса» — и смакуют, упиваясь горько-сладким вкусом «смерти», и лобызают говняными своими языками «нас, ебомых»: *искусство!* Прогрессивное! *Signé*, к тому же, *par un communiste!*<sup>5</sup>

И совсем иное дело — действительность, среди которой они с Иносельцевым повстречались. Эстетизацией не тронутая, непосредственная реальность общежития Московского университета. С дипломатической оказией Аннаиг получила востребованную у тапан посылку с дезинфекционными средствами, натянула нежно-голубые резиновые перчатки и — яростно дыша сквозь марлю — вступила в поединок с фекальным разливом в «одну шестую суши». *Ассенизатор. Революцией мобилизованный и признанный.* Парижанка начала с сортира, который — в связи с изучением творчества Маяковского на родине поэта — вынужденно делила с подселенной к ней заботливой стукачкой.

Как поражало Аннаиг — о чем стукачка доносила *куда следует*, но что даже всемогущие *они* могли поделаться? При всем старании их окружить заботой? Только волоса на жопе рвать в отчаянии, что такая им страна досталась! — как возмущало тотальное отсутствие туалетной бумаги, молчаливо предлагающей втирать в замшево-нежный анус канцерогенный типографский свинец, беспощадный свинец газетных передовиц, торжественных речей и даже правящих портретов: *о, Франсуа Рабле!* За неимением газеты подотрешься подчас и автобусным билетиком — с пальцем пополам. Изнеженное дитя французской цивилизации, она отправлялась по нужде с продуктами диппочты — аэрозольным распылителем и рулоном парфюмированной бумаги в два слоя. Нет, что ни говори, у нас ей было нелегко! На грани обморока приходилось парижанке прыскать на братьев наших меньших, соседствующую

<sup>5</sup> *Здесь: Удостоверенное (подписанное)...[к тому же] коммунистом*

щих с нами, *бóльшими*, под горделивым шпилем сталинского Храма Науки на Ленгорах: на рыжеусых тараканов, на мокриц и прочих безмянных мошек. Из супа в студенческой столовой парижанка вынимала седые человеческие волосы, из «второго» — острижки лакированных ногтей, а из невинной «витаминной» булочки — внутри которой, справедливости сказать, запечен был также уголек изюма — зеленый бутылочный осколок. Ах, эти булочки студенческой поры с коварным их названием...

Париж подкармливал сухим пайком. Однажды знакомая ее испанка доставила самолетом в МГУ прямо с Бульмиша пакет с едой на вынос. Не *Veuve Clicquot*, не устрицы и не *Foie gras* — общедоступный, демократически-вульгарный *Big Mac*.

И то был праздник чревоугодия!

Качество нашей жизни...

Но если он при этом заикался про «систему», французская подруга бросалась на защиту своих иллюзий. При чем система? При чем всемирно-исторический Проект? Просто исконное тут варварство...

«У нас будет иначе!»

Не имея дипломатических сношений с потусторонним миром, студент Иносельцев покорно выдавливал на невиданной красоты зубную щетку неслыханную пасту, исцеляющую даже кариесы, — дабы не угнетать человеческого достоинства парижанки дурным — *советским* — выдохом страсти. Специальные мятные конфетки сосал, дезинфицируя полость перед контактом орогенитальным. Он был представителем того статистического большинства, которое выходит к диплому если не с язвой, нажитой за пять лет в столовке МГУ, то наверняка с гастритом — не говоря о тяжелых металлах в жопе от партийно-советской вашей печати. *У нас, в Европе, все будет иначе! Ты сам это увидишь! И во всяком случае нельзя ведь жить без Идеала...*

Что он мог ответить?

Вот его носки. Пусть уязвленный, пусть страдающий, но Иносельцев все же был эстет: при дамах он раздевался, начи-

ная с носков, которые отбрасывал в угол с ненавистью. Вот его ступни: между любимых пальчиков грибок, несмотря на «вьетнамки» приобретенный в общей душевой. Босой, он стоит на натертом парижанкой паркете студенческой ее кельи (стукачка в загуле). Продолжим мужской стриптиз. Он ненавидел свои брюки — изготовленные венграми в расчете на толстозадого босса, который бы вдобавок, что, согласимся, не общее свойство, страдал бы слоновьей болезнью...

Мечтал он о джинсах, Иносельцев, но где их было взять?

Следом слетала мятая рубашка, а маек не носил принципиально. В отличие от большинства соплеменников, выступающих в черных или — альтернатива — темно-синих сатиновых трусах, в которых вольготно, на которых незаметно, он, и в этом мыслящий иначе, носил белоснежные, непоправимо расширяющиеся после каждой стирки под краном вручную.

Голый, он внушал себе отвращение.

Вот он стоит перед ней, своею западной любовью, глаза не отводящей — вислоусый и белокожий самец с тяжелыми яйцами, левое из коих, как в продуктовом магазине, норовит обвесить правое на весах сексуального равенства, — и у него при этом не стоит. Почему? А потому что боится он обидеть, национальное тут, понимаешь, сердоболие, которое, как ядро прикованное, лезет за нами и в постель. Потенциальный обидчик смотрит долу. Нельзя сказать, что неподвижен, но только в сторону лишь сокращения. С недоумением она поднимает на Иносельцева свои глаза, с надеждой, свои невыразимо атлантические очи, и он лепится в эту голубиную голубизну со всей своей *духовностью*, со всей *платоникой*, повинно сознавая, правдоискатель, саморазоблачитель, что все это, увы, лишь отвлекающий маневр... он *любит*, а посему обидеть не способен — и на этом, Sophie, закончим описание прелиминария этого первого соития представителей систем, друг другу противостоящих, увы! не только политически.

Возникшая из мира точных совпадений, самоуверенных функций и однозначно безотказных психосоматических реакций, Аннаиг так и не смогла понять причин его советского

алогизма. Того, что Иносельцев сам себя не признавал. Был, но как бы и не был в то же время. Пребывал по ту сторону от собственной же плоти. Существовал в постоянной разлуке с самим собой, вечно ставя под знак вопроса как свою телесность, так и свою — придется повторить скомпрометированное «Литгазетой» слово... — *духовность*. Разнополюсный мужчина. Советский манихеец. Но, конечно, с сильным напряжением... Отняли у него тело, вот и удалился он угрюмо на вершины. В убежища духа. *Религиозная экзальтация советской молодежи*. Лучше, конечно, чем наркотики у вашей, но Бога ради! Отцы, учителя! Фрейд! Райх! Юнг! Из царства Аида выкликаю ваши тени. Вы, совершившие переворот на Западе, объясните моему клиенту, почему на то, что так возвышенно он любит, у него столь малоудовлетворительно встает, при этом хорошо вставая на то, что с высоты своей духовной он отвергает, презирая и стыдясь.

«Скорей бы климакс!» — шутит Иносельцев в сизом дыму за карточным столом в кругу страдающих аналогичным расстройством советских особей мужского пола.

«*Монах!* Из тебя бы вышел образцово-показательный монах», — говорила в сердцах Аннаиг, все отрочество которой прошло в закрытом католическом пансионе (*и на полях оперативной информации об этом поставил, помнится, я красный восклицательный знак...*)

«Солдат, скорее, — возражал печально. — В отчаянии способный броситься на амбразуру. Защитник любимой Родины и ненавистного режима».

— *Западная женщина*, короче говоря... — Тяжелый вздох Ивана прервал затянувшуюся между нами паузу. — Они что, действительно, там сексуально освобождены?

— По статистике, — дал я ответ, не глядя на него, — ровно половина прекрасных француженок неудовлетворена хронически. Так что сам суди.

Стрелка покачивалась возле 120, путь передо мной был пуст, а на сердце нарастала зыбь: стремительно надвигалась незримая граница зоны наших, Sophie, с тобой безумств.

— Интересно, как у нас?

— Строго засекречена у нас статистика любви. Делай выводы, полагаясь на собственный свой опыт.

— Мой *опыт*... — самоиронично он усмехнулся. — Нет, я не Байрон, я — другой... Совсем! Даже не Пушкин в этом смысле. А у тебя, Кирилл: их много было?

— Женщин? — уточнил я, чему он удивился:

— А кого ж?

Говоря об Александре Сергеевиче, моей 113-й, помнится, была пятнадцатилетняя полячка из тамошних правящих сфер; начала девочка недавно, и после каждого своего «раза» аккуратно проставляла палочку в специально заведенном дневничке на ключике. А где это было? А было в закрытом санатории на Черноморском побережье Кавказа; помню те свистяще-втягивающие звуки, которые с выкатом своих прекрасных серых глаз издавала она, пепельная, когда волна накатывала на нагретое солнцем лоно, которое саднило...

— Я, знаешь ли, однолюб, — ответил я. — Скажи мне лучше, Ваня, вот что: побег ты свой замыслил как?

— Какой побег? — оторопел он. — К жене я в гости...

— Прости. Цитату пушкинскую машинально я продолжил... Да и неважно, в гости ты, не в гости, а важно в контексте мысли, как? Поездом, самолетом?

— Еще не знаю... — Он задумался. — С высоты не разглядишь, как она выглядит, граница двух миров. А любопытно все же. В отличие от некоторых баловней судьбы я за пределы еще не выезжал... Поеду поездом.

— Ты прав, — сказал я. — ландшафт убытия весьма поучителен... Вот тут уж точно: чем сто раз услышать, лучше раз увидеть. Особенно первый раз. Просто из окна экспресса «Ost—West». Берлинскую Стену ты увидишь перед сном. И не уснешь. Это тебе я гарантирую.

— Почему?



— Изменит представление о мире.

— Ты видел?

— Причем неоднократно. Знаешь ли ты, что с западной стороны Стена не охраняется?

— Ну да?

— Только с восточной. Так что диссидентский этот термин — *Большая зона* — отнюдь не метафора. Мы с тобой, Ваня, носим джинсы и обладаем известной свободой передвижения, но только внутри концлагеря. Выехав за пределы которого, потом очень непросто принудить себя вернуться.

— Ты же вернулся?

— И не раз, а многократно. Возвращенец, можно сказать, рецидивист...

— Но, если так, то... Почему?

— Ха... Не вернуться, оно еще трудней. Неизмеримо, Ваня.

— Выбрал, значит, путь наименьшего сопротивления?

Игнорируя насмешку, ответил я вполне серьезно:

— Дело не в этом, Ваня... Вот дипломат этот, почти однофамилец твой... Иноземцев! Не слышал по «Свободе»?

— У меня нет транзистора, — соврал он нагло, взявши в районном своем «Прокате» сразу после начала процедуры оформления загранпаспорта: своими глазами видел в «деле» копию договора и оплаченных счетов.

— Ну! История душераздирающая. Получил политубежище на Западе. А следом и письмо от мамы из Москвы. Второе. Третье... И блудный сын не выдержал. Вернулся. Сейчас в мордовских лагерях.

— А мама?

— Снова безутешна. Тот же, кто с ней над письмами работал, орден получил...

— Откуда ты знаешь?

*Верно. По «Свободе» о том не говорили.*

— Фигурально выражаясь. Может, просто медаль. Значок «почетного чекиста». Ценный подарок, наконец. Дело не в этом, а в том, что я, как бедный Иноземцев, наверное, неисправимый мазохист. Всегда возвращаюсь: уж такой рефлекс.

Наверно, не одних только преступников, мой друг, тянет на место преступления...

— Какого преступления?

— О, Ваня... *Идеального!* Которого не заметил так называемый свободный мир сквозь розовые очки. Нами, конечно, сфабрикованные и надетые ему на нос... Преступления при совокупном числе жертв, согласно подсчету дерзкого демографа, миллионов этак на шестьдесят...

Иван не поддержал моих речей. Молчал. Более того: почувствовал я, а мы сидели плечо в плечо, как отделилась его душа. Вряд ли, впрочем, постановил считать меня провокатором, «наседкой», посаженной в его машину, как в камеру. Нет, для него по-прежнему я был вполне случайный попутчик, собеседник, спутник, обаятельно-тревожный провожатый в глубь... И все же. Естество его очень чутко: эти вот обмороки настороженности... Увы! Советский человек он, мой Тургенев. Боязливый. Хоть и писатель, но для него чужая душа — моя — потемки.

А он боится темноты. Как в детстве. Электричество не гасит на ночь, согласно «наружке»...

Меня внезапно посетило видение его души. Как ауру, подобно сверхчувственникам нашим штатным, к которым впору мне переводиться, *увидел* ее свет — прерывистый, сжимающийся, как сердце. Ее туманность — в прорехах вселенского мрака. Слабое, робкое, разорванное излучение, исчезающую пульсацию. Душе этой страшно было, Sophie. Приступы жути гасили. Обмороки. Срывы в небытие. А хотелось этой душе того же, что моей: Света и Жизни Вечной. Поэтому носитель ее страшился оступиться в пропасть. Не было никакой уверенности у него, что соотечественник не продаст, не заложит его душу. За понюшку табака. За радость бескорыстную злорадства. Даже за просто так. Как Сатаны, как Смерти, опасался своих ближних. И надо же было так случиться, что последним ближним на жуткой земле на этой выпал ему я.

— В общем, если изнасилуешь себя на возвращение, — возобновил я недозволенные речи, — то лучше самолетом. Поездом туда, обратно только «Аэрофлотом». Оно надежней.

— Бьются же, как яйца?

Это правда, год был катастроф. А может, три последних. Если не целая декада, не вся эта эпоха после кремлевского переворота, низложившего «волюнтариста»...

— В смысле душевного, — сказал я, — равновесия. Без малого двое суток наблюдать из окна, как медленно, но верно растворяется Цивилизация — это, брат, под силу только мужикам с дубленой кожей. Таким, знаешь, что и на Запад без поллитры тебе не выезжают. Завернув при этом в «Правду» вареной колбасы, буханку прихватив «орловского» да огурец соленый. Богатыри не мы?

— Немы, немы...

— Вот я и говорю. За три часа в небе усидел бутылку «Реми Мартэн» и, можно сказать, дома...

Своим домом Иван, возможно, где-то уже считал, а может быть и нет, благословенный Quartier Latin, а именно VI парижский округ, где бретонские родители, состоятельные труженики моря Бог весть в каком колене, накануне Шестидесяти Восьмого года купили дочери своей единственной весьма симпатичную квартирку на rue du Cherche Midi — на пешеходном расстоянии от Высшей школы ориентальных языков, которыми, в связи с общим тогдашним наклоном Запада к Востоку, эта дочь вполне конформистски заинтересовалась, выбрав самый, как ей казалось, *перспективный*...

Так или иначе, но с обоснованным мной вариантом возвращения воздушным — анестезирующим — путем он согласился. Для убедительности даже полюбоществовал, сколько «бьет» от аэропорта Шереметьево до Теплого Стана, где у него, соседа моего, такой же однокомнатный кооператив.

— Червонец с чем-то бьет по счетчику. Однако постарайся сберечь в Париже положенную тебе тридцатку. Иногда меньше чем за четвертной отказывается шоферня везти.

— Что значит «постарайся сберечь»? Кому нужны в Париже мои необратимые рубли?

— А темным силам?

— Это каким же?

— ЦРУ...

— *Кому?*

— Just kidding, Ваня. А если кроме шуток, то, к примеру, нумизматам. Если, не дай Бог, останешься без сантима, можешь толкнуть свои червонцы на площади Франклин Рузвельт: монетчики все время там толкуются. В банке «Северный кредит» пойдут тебе навстречу, как, впрочем, на любом Блошином рынке... Но тогда, мой друг, от аэропорта до Теплого Стана добираться будешь дольше, чем от Парижа до Москвы.

— Смотри! — прервал он советы знатока, поворачиваясь ко мне затылком, на котором от долгого упора слежались русые завитки... — Граница республики. Очередной...

Синяя пачка с черным силуэтом цыганки, одетой в облачко дыма, лежала на приборной доске. Я снял руку, неуклюже вынул сигарету, приклеил к губе и срочно прикурил, не отрывая глаз от прошлого, вдруг снова воплотившегося за лобовым стеклом.

Здравствуй, Соня Родина! Оставшаяся навсегда со мной Sophie. Вот я и вернулся. Как в песне отцов забубенных наших, помнишь? *Вернулся я на Родину, стоят березки с кленами... Я столько лет без отдыха служил в чужом краю...*

...И не скрываю слез!

— По сути ведь новая страна, а ни таможни тебе, ни пограничников, — с чувством бывшего трансгрессора сказал Иван. — Пусть и в пределах Большой зоны, как говоришь ты, но все же насколько убедительна она в Союзе: иллюзия воли...

— Именно, что иллюзия. Тут, между прочим, по пути в Подпольск, местечко есть укромное. Посреди огромного водохранилища. Не против завернуть? Название, правда, невозможное... Остров *Любви*.

Насмешливо он повернулся, но тут же осекся, заметив, как мизинцем правой, занятой сигаретой, дымом которой от него я прикрывался, водитель снял скупую свою мужскую.

— Изволь.

Смутился, видишь ли, Sophie. Не по себе ему стало перед лицом столь наглядного, но абсолютно неожиданного проявления за правящим рулем. Инженер мне человечьих душ... Железный я вам, что ли?

Лазурно-золотистые раскинув крылья во все небо, София, Свет мой, Ты летела мне навстречу — теплая, зеленая, пустынная, беззвучная...

## VIII

Фантазия острова... РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ, И О ГЕРОЕ РЕБЕНКЕ... Заговор детей составить свою детскую империю. Споры детей о республике и монархии. Дети заводят сношения с детьми-преступниками... Дети — поджигатели и губители поездов. Дети отрицают черта. Дети — развратники и атеисты. Дети — убийцы отца... ГЕРОЙ не ОН, а МАЛЬЧИК.



**Н** а двадцать первом километре от Подпольска мы загнали машину во двор к нашему, Sophie, старинному знакомцу — должна ты его помнить. Тот самый, вечный мужичок. То ли инспектор рыбнадзора, то ли покровитель браконьеров — нечто производное от огромного искусственного моря, некогда, во времена Великого Изнасилования родной природы, поглотившего среди прочих и его хуторок. Не знаю, куда исчезли другие потопленцы, но наш с тобой мужичок уцепился за берег рядом с пристанькой — и уперся. Русские ведь как? «Погибаю — не сдаюсь...»

Сдал сильно он, скажу тебе, повыцвел, истощал, детишек народил, но перед жизнью не капитулировал — пил, как прежде. Меня, естественно, он не узнал, но за трешку кликнул младшенького.

Мы спустились к берегу.



Огромная равнина, уходящая к горизонтам, раньше носила имя Сталина; теперь вода безымянна. Вдали все так же мохнато чернел бугорок — маковка самого высокого из утопленных здесь холмов. Остров наш. Где земле я предал свой арсенал, сокровище детства, где огню предала ты свои отроческие рукописи, где в неведении и любви сотворили мы наше дитя перед тем, как забрали меня в Вооруженные Силы, откуда предполагал я, наивец, вернуться мужем гениальной писательницы и отцом девочки, которая ждет... все там, на островке с пошлейшим прозвищем...

Мохнатке этой...

В лодчонке плескалась вода, и мы разулись. Спихнув нас, папа сумел остаться на ногах.

Сынишка умело табанил, разворачиваясь носом. Чумазые ступни обжимали распорки днища, и, откидываясь, он отчужденно созерцал удаляющийся отчий дом — тщедушный мальчик, по-каникулярному косматый. Вынужденно приобнявшись, мы сидели с Иваном на корме — по щиколотку в воде. Впадающий уже авансом в ностальгию по отечеству, уже заранее страдающий, что перед отъездом с проблематичным возвращением не обошел его, бескрайнее, за пядью пядь, Иван, опешивший было от идеи внезапного виража на природу, все более разгорался. Тем более что мазохистский свой порыв замаскировал я безотказными образами мужского единения на лоне: картошка, запеченная в горячем пепле, запотевшая бутылка водки... этак, по-нашему, по-русски, как у папы Хэма, да?

День догорал. Мы отмахали с треть пути, когда необозримое пространство разом сделалось вдруг мрачным. Однако солнце еще доставало крутую лепнину облаков, которая неподвижно громоздилась над нами безмолвным, но красноречивым приглашением подняться к Богу, и кучевой объем насквозь был пронизан золотистым светом — и не прощальным, юным!

Мальчонка спекся, но упрямылся. Пришлось дожать. Он отступил, присел на корточки и обнял нос. Я сел на весла. Откидываясь в небо, греб вдохновенно, мощно. Мозолистое древо

рукоятей, сопротивление воды, прибывающее с каждым гребком безлюдное пространство — все наполняло упругой силой бытия. Sophie, переживал я тот же взлет, тот взмыв желез, что и тогда... будто эндокринная власть юности вновь подхватила алыми подкрылышками твоих нимф, и я не шел, летел, а смуглое золото высоты рассеивало кучевые облака на перистые, которые, как известно, ничего, кроме хорошего, не предвещают.

Из забытья меня вернул Иван:

— Давай сменю?

— Сиди...

— Охота мне размяться.

Поднявшись друг другу навстречу, мы никак не могли разминуться, и возник опасный момент неустойчивого равновесия, когда, омываемые плещущей вверх по ногам водой, мы стояли посреди безлюдья лицом к лицу, грудью к груди, и даже плоско счетверив ладони, как в считалке детской, лодка ходуном ходила, угрожая опрокинуться, и этот перепляс отражался в глазах моего подопечного, калейдоскоп эмоций, то страх, то надежда устоять. Потом ладони наши расслоились, и разошлись мы по обе стороны от этой точки внезапного пересечения и тел, и душ — которая сейчас, Sophie, ретроспективно представляется мне главной в сюжете чувств, причем настолько, что, кажется, удали я этот нерв, и вся моя картина разом оплывет, как у художника-пуантелиста, не доставившего свой последний — всеоживляющий — *пуан*.

Все субъективно, впрочем.

Творец, художник милостию Божьей у нас Ты, тогда как я в послании к тебе лишь к точности стремлюсь.

Под скрип уключин я разлежся на корме.

Кругом царила тишина с отдаленным присутствием девичьего голоса — то ли поющего, то ли призывного. Весла вырывали космы воды, с лопастей слетала крупная светлая капель, и ноздри мои трепетали на запах потревоженной, слегка зацветшей уже поверхности. Я перекинул руки, опустил по локти. Настоянно теплой была вода, и было отрадно на развитой

им скорости содержать в ладонях непрерывные шары встречного течения, которое наполнило мне пригоршни формой твоих грудей, Sophie. Осязание этих дрящущих шаров было столь же неопишимо, как таинственная ваша женская материя, упругая и жидкая, податливая и вновь наполняющаяся собой, выдавливая изнутри с поверхности преходящие следы рта, лба, руки, алчного члена — любой из оттисков, который нам так хотелось запечатлеть, увековечить, обессмертить на плоти волн; ан тщетно...

Я открыл глаза.

Сумрачный лесистый холм острова нарастал передо мной, кураясь посторонним присутствием. Дымки невидимых костров таяли над вершинами сосен в светлом небе. Со времени моего последнего визита отмель обстроилась дощатым причалом на столбах.

— Что-нибудь не так?

Груди тихо струились между пальцев; лодка замедлялась. Ты просто протекла сквозь руки у меня, Sophie, и все уже непоправимо. Я улыбнулся ему в ответ.

— Все так. Вот только необитаемый мой остров оказался перенаселенным.

Оглянувшись, он налег на весла, а потом их резко приподнял. Мы врезались; ладони мои расстались с женским телом воды. Я осушил их о кожу своего лица, которое горело, и поднялся. Днище шлепало на мелководье. Мы вынесли на прибрежную траву свои кеды, сумки, одеяло, спальный мешок, засучили джинсы и по сырому песку спустились к воде, по вечернему нагретой. Дно под ногами было рифленным, твердым. Я протянул пятерку, которую наш перевозчик взял из лодки с унылым видом.

— Живот, что ли, болит?

Мотнул косматой головой.

— С отцом твоим за трешку сговорились. Два рубля тебе.

— Мне?.. — озарившись, померк. — Може тады рублями разобьете? А то гроши мои яны пропьюць.

Толщина оперативных денег в портмоне парнишку потрясла, рот приоткрылся. Я нашел трехрублевый билетик.

— Держи. Отдашь отцу, а пять себе.

Он сложил пятерку в квадратик, привстал и засунул глубоко в карман.

— Спасибочки вам! — И глянул исподлобья. — Вы не подумайте, я ведь на какое баловство... На телескоп собираю гроши.

— На что?

— Охота карту мне исчислить звездную! Какое через тыщу лет расположение их будет. Интересно ж?.. — Сын алкаша оглянулся на Ивана — убедиться, что никто не надсмехается. — Пихнете меня, дяденьки? С картона склеил, так не достает. Фабричный нужен. Дальнобойный...

— Ты обожди! — Друг мой извлек бумажник. — Сколько он стоит, самый дальнобойный? Сто, двести?

Я поддержал порыв, отчасти объяснимый тем, что рубли для необратимо убывающего филантропа уже несколько обесценились:

— Ваня, впополаме!

Крикнул и парнишка, только с ужасом:

— Дяденьки, вы что?! Такие дзенги!.. Яны ж мене забьюць!

— Кто?

— Яны! Большие!

Переглянувшись, мы спрятали деньги, взялись и столкнули его, затравленно сжавшегося, на глубину. Не глядя на нас, он заработал веслами.

— Конец неблизкий...

— Вытянет, — сказал я. — Дальнобойщик...

Навьючились и стали подниматься к лесу, обитаемому девичьими голосами.

С высоты холма я оглянулся на пятнышко лодки посреди сумрачного пространства. *Тысяча лет!* На большее и детский мой кумир не прогнозировал. Впрочем, Небесный рейх, он тоже ведь не вечный...

— Бедный, — сказал я, — киндер... Считай, нам крупно повезет, если все со звездами впридачу не исчезнет до конца этого века...

— Не впадай, Кирюша, в мировую скорбь. Послушай лучше девочек. Послушай, как щебечут они после захода солнца...

— Одно на уме...

— А я, как тот солдат...

Нашли полянку с пепельной отметиной, разгрузились и разбрелись, подбирая в полумраке палые ветки. Заодно поле-но прихватил. Сошлись опять. Я вынул свой швейцарский.

— У всех красный, а у тебя...

— Идиосинкрзия. Хроматическая.

— Но пионером, надо думать, был хорошим, — сказал он, глядя, как слой за слоем я строю перекрестную основу.

Затрещал веселый костерок.

Нарезал хлеба, колбасы и свернул пробку «Вырубовой».

— Между прочим, — сказал он после первого глотка «полюдоедски». — Малышек видел аппетитных. Стаями бродят и по одиночке. Почему-то без парней.

— Сапфо не декламируют?

— Давай, Кирюша... По одной, и на отлов.

— Плохо, что ли, сидим? Явятся сами, ты не суетись. На лова и зверь бежит.

— А волка ноги кормят.

Обтер усы, вернул бутылку и поднялся.

— Бон шанс. Только ответь мне на один вопрос...

— Интимный?

— Мальчиком, кем хотел ты стать?

— *Мальчиком?* Как все у нас, наверное... Шпионом. Рихардом Зорге. Ты?

Я выпил водки и солгал. — Писателем...

— Ну да?

— Да, Ваня. И не каким-нибудь рабом СП СССР. Титаном термоядерной эры. Достоевским Апокалипсиса.

Охладить, что ли? Но, вспомнив, что именно так и пьют в Париже, я отхлебнул еще.

— Именно это и характеризует наш Апокалипсис, — сказал Иван, задетый за живое. — Что Достоевским невозможно стать. Поздно мы родились, Кирюша. В Семнадцатом году ушел наш поезд.

— Когда, я знаю. Вот куда узнать бы... — С надеждой смотрел я снизу. — Ведь не на Запад?

— Именно туда, — ответил с такой он убежденностью, что жалко стало, Sophie. Беднягу ждет крушение иллюзий.

— Не знаю. Не уверен. Достоевский, он, по-моему, явится, скорей, в Пекине, чем в Париже. Да и местный вариант возникновения я бы не отбрасывал с порога, благо даже при Сталине имели место прецеденты... Ладно! Иди. Дерзай.

Он переступил с ноги на ногу.

— Ведь и в Париже есть, наверно, неплохие.

— Есть, — усмехнулся я недобро. — Имя — легион.

— Ты не впадай тут, ладно?

— Давай. Сникай во мраке. Видеть не хочу...

— И это? Пей, но в меру!

Повернулся и разом растворился. Хруст шагов утих. Я взболтнул и присосался к горлышку. Распростершись на спальном мешке, подперся и уставился в огонь — алчный, всеядный, как энтропия. Упоенно пожирающий и самого себя.

Я присвоил твою мечту, Sophie, ведь это ты, не я, мечтала стать... *писателем? Писательницей?* Затрудняюсь в выборе грамматического рода для занятия, которое в идеале — «Анна Каренина» тому пример — не может не быть бисексуальным... Иван? *Шпионом?* Тоже зачем-то блефанул... Ну что же... Квиты.

Но если задуматься всерьез, как оно было в детстве, полага, так сказать, руку на, то твой Кирилл мечтал о чем угодно — но только не о том, чтоб кем-то стать. Я уже *был*. Это с тех пор я деградировал, но тогда — о! В то время был избранником я сил Нездешних и могущественнейших, их гонцом, излюбленным их тайным делегатом, этаким вездесущим, всепроникающим амурчиком, окрыленным и гордым педофильским вниманием самого Зла.

Обычный снаружи ангел, я был исполнителем всеразрушительной воли Центра. Где? А куда забросили...

*В тылу врага.*

Как муравей, я выполнял Задание.

Без усталости и без сомнения. Как саморазворачивающаяся заданную мне программу. Жить было интересно. Миссию свою я обожаю. Производил обыск. Большой шмон.

В одиночку и без понятий.

Я крался невидимкой по человеческой свалке мира, доставшегося мне, среди твердотелых громоздких тел, которые воображали себя закрытыми, как нескороаемые шкафы. Я наслаждался, вскрывая их нутро, пугливое и незащищенное. Рано или поздно, все сейфы открывали мне свою пустоту. Врагами были все, и я наслаждался уничтожением вражеских тайн, сводя их к пустоте, к своей естественной стихии, потому что был я пуст. Незрим и пол. Не пачкал, не оставлял следов и даже тени не отбрасывал, расширяя день за днем, обыск за обыском, пустыню, населенную мной одним.

Уже в детстве стал я профессионалом подпольного мира.

Мы с матерью ютились в самом центре Подпольска — в полуподвале бывшего монастыря, преобразованного в гостиницу для офицеров. Первой жертвой моего раннего — и преждевременного — профессионализма стала, естественно, волнующая тайна мамы.

Она работала маникюршей в Доме офицеров.

Здание было по соседству: выходишь и видишь его бок, вырастающий из глубины: воздвигнутое на склоне правящего холма, с тыльной своей стороны, куда можно было спуститься по бетонной лестнице, оно было куда больше, чем с фасада. Огромным было, серым или черным (когда шли дожди). Громоздким снаружи и сложным изнутри. Готический замок детства. С леденящей душу предысторией: во время оккупации свило здесь себе гнездо гестапо.

Мама и тогда работала здесь. Не маникюршей, конечно. Переводчицей с немецкого и наоборот.

Два крыла, две лестницы фасада. Военная охрана сына сотрудницы пропускала беспрепятственно: «Я к маме!»

Изнутри я знал это здание наизусть, и все же каждый раз, ввинчиваясь в высоченный, дубово-полированный, отделанный латунью и бронзой турникет, испытывал озноб предвосхищения. Внутри было сумрачно, прохладно, мрачно; гулкие шаги по мрамору тревожили, казалось, забытье Тысячелетнего Рейха. В подвалах, где в тире постоянно звучали выстрелы, где находились глухие низкие залы для занятий по танковым операциям на песке и противовоздушной обороне, где располагались оружейные, слесарные, столярные мастерские, склады лозунгов, транспарантов, флагов и ломаных стульев, во времена гестапо были камеры — тюремные и пыточные. Мама на каблучках сюда спускалась из больших кабинетов сверху — высокая прическа с локонами, прямые плечи пиджачка. Вместе с офицерами в черной форме и свастиками на левом рукаве. Сугубо серьезными защитниками исторически обреченного безумия.

Мама была двойным агентом. Она играла свою роль в операции по убийству гауляйтера. Периферийной, конечно, по сравнению с ликвидацией в Праге Гейдриха, но тоже громыхнувшей на весь Рейх. Убиенный тоже был любимчик Фюрера.

Она была на тайной связи с руководителем операции, одним из талантливейших, на мой взгляд, разведчиков, который впоследствии, уже после войны, вышел из Большой игры (сделавшись, впрочем, одним из самых выдающихся специалистов Запада в области парапсихологии: сейчас он преподает черную магию в американском университете).

Парикмахерская была на первом этаже.

Получив ключ от нашего полуподвала, я учтиво задерживался, и, пока клиентка из офицерских жен обсуждала с мамой мою внешность («У вас такой мужественный мальчик!»), мой рост, успеваемость и проницательные мои глаза, смотрел я на их руки. Мама обмакивала кисточку и покрывала крас-



ным лаком выпуклость женского ногтя. С застывшей улыбкой я видел под ногтем живое мясо.

Боль я представлял, пережив нечто аналогичное, когда в зимнем сквере пытался защититься от железной лопатки, которой пятилетний противник снес мне полногтя с правого большого.

Гостиница в минуте хода от маминой работы — по шершавому, надтреснутому и бугристому асфальту сквера. По пути к дому я любил вести ладонью по аккуратно стриженным кубам туи — мрачное и горькое на вкус вечнозеленое растение. Вход к офицерам был с крыльца — пристроили такое высокое из досок. Дворник, сосед наш по полуподвалу, которому дал я кличку «Барбаросса», держал под крыльцом свои скребки и метлы. В закуске, запертом на большой висячий замок. Барбаросса никогда не узнал, что я, третьеклассник, прятал там же свое первое в жизни огнестрельное — семизарядный пистолет калибра 0,45. (Я выменял его на серебряную монету достоинством в пять рейхсмарок — *хороший год*, 1937, со свастикой, но не с Лютером и не с бесценным Шиллером, а с престарелым Гинденбургом, который капитулировал перед напором Фюрера). Там же хранилась моя «лимонка», предусмотрительно развинченная.

Вход в полуподвал из внутреннего двора. Я спускался по огражденной и крутой лестнице в бетонированную яму, где за дверью была прихожая с поржавелой раковиной, где все мы умывались и набирали воду. Направо жили мы, налево пропойца-дворник. Я запирался изнутри, снимал свой пионерский галстук — конечно, шелковый. Сначала проживали мы на каменном полу, потом настелили нам дощатый пол. Потолок был низкий, зато сводчатый. Своими делами дома занимался я, будучи всегда настороже: достаточно было — там, извне — присесть на корточки перед прозрачной верхней частью окон, чтобы застать меня врасплох.

Мамины тайны были просты.

Золотое обручальное кольцо было втиснуто в резиновую соску. Соска волновала своей формой. *Немецкой*, как я знал.

Цвета гнилого мяса. Сосочек был прокушен. Мной — именно через эту соску всосавшим свою германофилию. Я выдавливал кольцо, мерял на пальцы, иногда пробовал и на «двадцать первый», как называли в классе излюбленный из органов, доставшихся мне по рождению. Навстречу усилиям «палец» наливался тугим медком. Кольцо не нашлось.

Клиентки дарили маме разные любопытные вещицы, привезенные из Австрии, Германии, Венгрии, Румынии, Польши — из зон оккупации. Журналы мод в потершихся обложках, игральные карты с глянцевыми полуголыми дамочками, раскладные календарики за годы, минувшие с войны: тоже с полуголыми, в каждом по двенадцать. Я разворачивал и снова складывал гармошки календарей, сдавал себе карты. Дамочки оживали, приводя меня в состояние блаженства. Как будто волшебным образом уменьшилась и размножилась моя благоуханная, теплая и живая моя мама. В нижнем ящике комода, обернутая в мутную хрусткую кальку, пряталась книга «Акушерство». Наигравшись с легкомысленными дамами, я изучал по этой книге маму изнутри, подолгу любясь красотой их женских внутренностей, выпущенных на разноцветные страницы иллюстраций, причудливой и мудрой, и беззащитной их ботаникой. (Зачем не стал я гинекологом? Фаллопием современности? Призвание истинное, но, увы, пропущенное).

Но саггитальный их разрез меня не удовлетворял, мне нужен полный был объем. В поисках третьего измерения я зарывался в полупрозрачную пустоту мамино белья. Снаружи были бедные, но исподнее было роскошным, как секретный праздник. Я взбрасывал к сводам потолка чулки, созерцая их опадания, исполненные грусти, от которой слезы наворачивались мне на глаза, тогда как в полых полушариях бюстгалтеров, напротив, было нечто комичное. Мой одинокий карнавал. Я забирался в «комбинашки» и, свернувшись эмбрионом, подолгу пребывал внутри, убеждая себя, что я еще не родился. Влезал с ногами на нашу с мамой кровать, прихватив с собой черные шелковые ее «штанишки». Я надевал трусы себе на голову, исчезая в нежно льнущем сумраке. Ее отсутствие. Ее

пустота. Наполняя эту пустоту, я гладил сквозь шелк лицо ее лона, и под моими пальцами вздувались губы; я разнимал их, и вздох мой облеплял эти губы мокрым шелком. Фиксация на оральной стадии — сухой сей венский термин убивает воспоминания об изначальном наслаждении сосать. Я насасывался шелком до полного помутнения, до самозабвения, я просто исчезал в процессе. Приходя с работы и не без недоумения, впрочем, благодушного, заставая меня в своих исключаявленных «штанишках», мама старалась не греметь чайником, думая, что сплю. Но я не спал. Отсутствовал. Без остатка растворившись в блаженной пустоте.

Я засыпал рядом с ней, потерявшись в причудливом построении очередной готической сказки, убаюканный шварцвальдскими людоедами братьев Гримм. Под разными предложениями перебирался к ней под одеяло, к ее телу и теплу. Во сне она кричала, и, обнявшись крепко, мы изживали наши страхи. Мама всего боялась. Блох, клопов, мышей, крыс, бухого рыжебородого дворника, хулиганов, воров, бандитов, насильников, убийц, внезапных теней, сующих нам в окна большие красные члены и пьяно обссывающих нам стекла... Своего сомнительного прошлого, моего неведомого будущего и того, что «вряд ли, сынок, мы доживем с тобою до зарплаты».

У меня же тогда один был только страх.

Потерять доверие Центра.

Мама боялась моих выходов на задания — Подпольск в те годы был еще опасней, чем сейчас. На меня, десятилетнего, в любой момент могли налететь враги. Поэтому «гулял» я с пистолетом в руке, с рукой в правом кармане синей вельветовой курточки на молниях — любимой, прочной, купленной мамой «с рук». С другом, туго наполненным тяжеленькими малокалиберными патронами, по одному украденными в офицерском тире, я никого не боялся. Жаль было только, что испорчу курточку, если придется стрелять не вынимая.

*Ганс, не ведающий страха*, вершил свое дело. Обыскивал город. Подвалы, чердаки, бомбоубежища. Громыхал кровельным железом крыш (в те годы без телеантенн). На одном из чердаков набрел однажды на чье-то укрытие: тюфяк, бутылки, окурки папирос. Забравшись туда в одно из воскресений, я обнаружил на тюфяке двух суворовцев. Кадеты, лет им было по пятнадцать, сняли только форменные фуражки и ремни. Они лежали друг на друге, но валетом, и я не сразу понял, каким образом они извлекают друг из друга глухие уханья неведомой страсти. Досмотрев все до конца, я удалился. Кадетам было не до меня.

Справа от Дома офицеров была клумба с постаментом, на которой стоял танк с красными звездами на башне.

Я часто на него влезал.

Имея в кармане инструменты, периодически исчезавшие из хорошо оснащенной слесарной мастерской.

В один ненастный день сумел забраться внутрь. Здесь было сухо. Сквозь смотровые щели я видел свет фонарей в сплошной стене дождя. Я смотрел наружу, согревая своим лицом металл и орудуя кулаком, накатывал на себя волны недавно открытого в одиночку наслаждения. Зарядив себя до отказа тугим медом, вдохнул и задержал дыхание. Хорошо мне под броней, в коконе боевой тридцатьчетверки, якобы первой ворвавшейся в Подпольск за год до моего рождения и за это водруженной на гранитный постамент.

Башенное орудие было задрано на Запад.

Я кончил.

Сверстников я не чурался — отнюдь!

У нас был избранный круг, все, кроме меня, из хороших семей.

Мы собирались то в одном доме, то в другом; это были всегда просторные квартиры — четыре-пять комнат, заставленные трофейной мебелью, завешанные коврами и картинами в

золоченых рамах, набитые разнообразными предметами. (Сейчас они борются с «вещизмом», со стяжательством низов — они, их развратившие!..)

Туалет там было найти непросто. Ну, а по пути обратно я считал своим профессиональным долгом свернуть в спальню чужих родителей, выдвинуть, скажем, ящичек у прикроватной тумбочки, заглянуть, осмыслить, бесшумно задвинуть — и с прежним оживлением вернуться в детскую к товарищу, до которого над шахматной доской все еще не дошло, что мат. Я был «воспитан», сдержанно-весел, общителен, и меня охотно приглашали в хорошие дома, тайны которых в конце концов выворачивались передо мной, как та резиновая соска, прокушенная мной в возрасте, когда прорезаются молочные резцы. Характер тайн? Трофейное оружие, иностранные журналы, драгоценности, презервативы, изредка порнография, но обычно тайна была довольно скучной: сберкнижка с пятизначным счетом. Узнав стоимость чужих родителей, приглашения впредь я отклонял. (Детская черта: все быстро мне надоедает...)

Только ваша квартира, Sophie, растянулась на долгие школьные годы наслаждения иными тайнами — баснословных книг. Несмотря на наши особые отношения, ваш дом — теперь об этом можно тебе сказать — не исключал я из своей оперативной сферы. Хорошее было время! Еще жива была твоя матушка, отца только что избрали членом-корреспондентом Академии наук; грудной голос, смех, колышание добротной славянской полноты, излучение надежного тепла и прочности — как же согревала она еврейскую надмирность твоего родителя!

Живая скульптура отрешенного мыслителя.

Помнишь, как мы смеялись, открыв, что по-французски его и называли бы «Роден».

Мы знали, что он гений (даже я, который ничего не понимал в находимых при шмоне рукописях — ни в официальных, математических, ни в тех философских, что сочинялись для души). А мама твоя ничего не сочиняла, она подсмеивалась,

поила чаем с брусничным вареньем, рассказывала дворовые события и ужасы былых времен, гадала на картах, собиралась после дождей по грибы — нет, с простым ее бытием никак не вязалось ученое слово «онкология», которому суждено было омрачить словарь наших отроческих откровений. Тем не менее, умертвил ее именно рак — и все распалось.

Не далее как в прошлом году, во Франции, дождливой ноябрьской ночью я открыл отмычкой заднюю дверь твоей старосветской усадьбы близ крохотного городка L'Isle-Adam (известного, однако, метафизическим эротоманам всего мира благодаря церквушке, Дьявол которой с пятнадцатого века искушает прихожанок своим бесстыдным окаменелым язычищем).

В рабочей комнате под сводами потаенный лучик высветил над пустующим твоим столом увеличенный фотопортрет отца. Он так похож был здесь на Мартина Бубера! Помню, ошеломленно и тупо я произнес вслух: «Не от мира сего...»

Нельзя, невозможно было выжить в Подпольске со столь вызывающей внешностью библейского пророка. И однажды ночью членкор Родин погиб, сорвавшись с карниза в попытке выбраться из квартиры, подожженной кем-то с лестницы. Кто это был, среди ночи аккуратно опорожнивший канистру с бензином в щель под входной дверью, а затем чиркнувший спичкой? Следствие вело местное ГБ. Безрезультатно.

Тебя в квартире, к счастью, не было. К счастью, ночевала ты не дома. К счастью, ты изменила мне в ту ночь. К счастью, вскоре после похорон ты обвенчалась с американским тем стажером и улетела в USA, не дожидаясь моего возвращения из погранвойск.

Беременная нашей дочерью...

Костер выгорел на глазах. Утопив в огнедышащем пепле пятачок картофеля, я неторопливо развинтил бутылку, прило-

жился от души, поднялся — и ноги сами повели в лес неистощимой памяти.

К заветной могиле, Sophie. К братской. Где схоронил я верных друзей своего детства, главным из которых был Фаустпатрон...

Из-под ног пугливо выскакивали шишки. Лопались невидимые хворостинки. Путь мой лежал в темноте, среди отблесков дальних и ближних костров. Невидимый никому, я поглядывал на озаренные румяным золотом лица, и мне было больно: на этом острове Любви, все, кроме нас с Иваном, были в самом расцвете юности, когда все еще только начинается. Нет, я не ревновал, зная, что, кроме утрат невозвратимых, будущее ничего им не готовит, но до слез мне было жалко их иллюзий, влажной пелены зачарованности на бессмысленно созерцающих пламя глазах; ах! любовь моя! Как же кляли свою мы юность! Тогда как юность самоценна, о чем я, расколдованный циник, знаю сейчас наверняка.

Где мои семнадцать лет?

Я вышел на заветную опушку и расхохотался.

Стоял и слушал этот свой кашель шакала, эти рыдания гиены под крупными звездами августа, мерцание которых озаряло общественное отхожее место — двуполое, типовое. Аванпост цивилизации. Дощатый склеп над сокровищем маленького мизантропа.

Что ж, Sophie: демографический бум, он ведь не только на бумаге существует. Вширь идет наш человечиска.

Я приблизился к сортиру, источающему запах пересохших досок и карболки, отыскал в потемках букву «М», проник — осторожно, как минер, который ошибается только раз. Огонек зажигалки озарил дощатый постамент с рядом черных дыр. Было чище, чем ожидалось. Я вспомнил одну из книжек своей юности, ее героя, полковника пехотной армии Соединенных Штатов Колдуэлла, перед смертью не преминувшего осквернить поле битвы своих воспоминаний. Что ж, попрощаемся и мы.

Сознавая эпигонство, я расстегнулся, спустил одновременно джинсы и трусы, «Newman» и «Ном», cotton 100% — и присел анусом над крайней дырой. И мой автомат — МП-40, «шмайссер» мой любимый с откидным прикладом — и коллекция противотанковых гранат, и «Фауст» мой патрон, которым мог бы разнести гранит, — все обратилось в говно. Аспидно-черной была дыра под отзвеневшей моей мочой, к ноздрям восходила аммиачная вонь. Я поднял голову. Прямо перед глазами чернела дощатая ограда, над ней были пятна еловых лап, пересыпанные звездами, и дух уводило к ним, подмигивающим, а в зад сквозила преисподняя. Каждый расстается с мечтой в соответствии с состоянием кишечника. Полковника Колдуэлла, похоже, пронесло, что-то подозрительно подробно подтирается он там просторными банкнотами итальянских лир. Я же экскремент свой удавил — метод, заимствованный, представьте, не у йогов и не у магометан, славящихся высокой культурой дефекации, — у французской писательницы Коллет, в одной из книг которой монахиня-наставница обучает подопечных девочек этому резкому, чистому, как сигару обрезают, сжатию сфинктера, благодаря чему можно не подтираться. (Девочка моя медноволосая, читай Коллет! И вообще! Держись французов!..)

*A Farewell to Arms!* — сказал я вслух, услышав глубоко под собой звук отрубленного говна, после чего орлом над бездной, неподвижным адлером-стервятником снялся и взлетел над своей жизнью. Я летел над нею вспять и в высших сферах, распугивая херувимов, а звезды ему посылали свою нежность.

Из хора шепчущихся ангелов вдруг выделились два хрустальнейших голоска, и, сложив крылья, орел затаил дыхание.

— Ебшт...

— Неужто вступила?

Чиркнула спичка. В темноте вспыхнули глазки: из стенки, разделявшей нас, визионеры выбили сучки...

— Кажись, нет, — с облегчением ответил первый голос.



Второй засмеялся. — А если бы и да? Главное, в партию не вступать... Знаешь этот?

Анекдот, мешавший партию с говном, я слушал на фоне шестла обнажения, и во мне — с детства плененного божественной легковесностью, с которой они присаживаются, — возникло видение юных девичьих попок, нависших над чернотой, над бездной небытия, над струями их, странно вертикальными и жужжащими серьезно, как полет шмеля. Голоса при этом перепархивали подобно бабочкам:

— Предок мне по харе съездил. За завтраком.

— С чего это?

— Из-за Хуана.

— Несмотря на усы, лично мне твой предок всегда казался пеньком. *(С усилием)* Нничего, что я о нем так?

— *(С тем же усилием)* Нннничего. И есть пенек.

— А ты отреагировала?

— Еще бы! На хуй послала.

— *Предка?*

— Хуан, говорю, во-первых, не нахлебник черножопый, а представитель Острова Свободы. А во-вторых, не твой, говорю, черный чемодан: кому хочу, тому и дам!

— *(С восхищением)* Так и сказала?

— А хули.

— Мой бы за такие речи, не знаю... Убил бы на хер. А твой?

— Табуретом кинул. «Переступишь, — говорит, — порог, обратно можешь не возвращаться!»

— А ты?

— Переступила да пошла.

— И не вернешься?

— Не-к.

— А что ты будешь делать?

— Автостопом путешествовать.

— Нет, кроме шуток?

— А я знаю? Может, в Москву махну с усатым этим. *(По другую сторону я насторожился по сю сторону. Конкуренты*

ни к чему мне — ангелы, или нет...) Усы мне его нравятся... На Редфорда похож. «Буч Кэссэди и Санданс Кид» смотрела?

— Как у предка твоего усы.

— Скажешь тоже...

— Может, лучше, но все равно старик.

— Как на лавера, возможно. Но для писателя он очень даже молодой. К тому же на колесах.

— А Хуан?

— Мать: уступаю! Оторви газетки...

По попкам щелкнули резинки, отзвучали легкие шаги, и я, исполненный сочувствия к чужому папаше, да и к Хуану тоже, еще раз благословил мою злую судьбу, судьбу мою разлучницу: как-никак, а дочь моя отправлена на воспитание в Гельвецию, где ее обучат верности, неизменной, как мои швейцарские. Из спущенных джинсов я вытащил наугад дензнак невидимого номинала, размял и подтерся, сожалея, что не лиры. Но опять-таки: есть подтирки хуже, чем наш советский рубль. С юанем операция была бы филигранней.

Я заскользил обратно по хвойному насту, размышляя об изменчивости женских сердец, лицом снимая вытканые паучками паутинки; мысленно я зажмурился и вновь, в который раз, переступил порог воспоминания, прекрасным майским днем входя в полуподвал, наполненный до сводов дымом солнца...

Мама возлежала на железной нашей кровати, а рядом стоял незнакомый мужчина.

С ног, ибо носочки оттянула по-балетному, с ног и до горла мама была покрыта сторублевыми банкнотами, по-сталински царственными, сталисто-серыми и с легкой прозеленью, поскольку было это еще до денежной реформы 1961 года. Мужчина, седеющий, сутулый, с глазами понурого волка и неуместным уже оскалом улыбки — и с пачкой денег в лапах — поворачивался ко мне. По инерции он снял еще одну купюру и

закрыл ей пальчики на ноге — с накрашенными ноготками, пятиглазые веселенькие пальчики. Он растерялся, этот битый волк. Не ожидал он. Растерялась и она. Приподнялась на локте, и деньги разом облетели с девичьих ее грудок, открыв нам, одетым, бледные малининки сосков. Сторублевки кружились и скользили по полу. Мужчина стремительно пал на колено и заскреб по половицам. Свои деньги он собирал небрежно, сминал и комкал, и я понял, что не жадный, только полностью потерянный; однако даже в коленопреклоненной позе ростом он был выше.

— Это папа наш, Кирюшенька, — произнесла мама с некоторым нажимом, как бы оправдывая всю эту сцену полной ее правомочностью, как бы втолковывая мне, несмышленишу.

Губы тронула робкая улыбка, которая во мне, видимо, должна была отозваться приступом бурной радости.

Мы, мама, не в кино.

Для нее я был готов на все: быть первым учеником и запевалой в хоре девочек, сдавать молочные бутылки, оттаскивая их, звенящие, в позорной разлохмаченной авоське обратно в «гастроном», где проверяли на отмытость каждую, оскорбляя их через одну, готов был — на виду у господ офицеров — выбивать веником лысые половики, готов водиться был с тупыми сверстниками из влиятельных семей, но чтобы так вот, сходу, признать чье-то право одевать в засаленные сторублевки родное тело, цветущее, как яблонька...

— Нет у меня отца! — отрубил я тянущиеся ко мне живые ветви, нежные, слабые щупальца.

— Кирюша...

— *Я — сын полка НКВД!*

Издав этот выкрик, несколько все же истерический, взял себя в руки, снял свой школьный ранец, повернулся и вышел, напевая что-то из радиопрограмм «По вашим заявкам». Поднялся во двор. Свернул за угол к крыльцу гостиницы. Из дверцы под ней, из косяка, вытащил замочный пробой вместе с запертым замком и проник в каморку Барбароссы. Засунув руку в дрова, извлек «лимонку». Черный окрас на ребрах

стерся до металла. Будь Panzerfaust, я не раздумывая взвалил бы на плечо; однако «Фаустом» юный пионер в то время не располагал. Запал хранился у меня отдельно. Ввинтив его в гранату, я вышел и навесил за собой замок. При этом напевал радиопесню, возникшую после того, как культ личности сменился модой на «маленького человека»:

В любви надо действовать смело,  
задачи — решать самому.  
И это серьезное дело  
нельзя доверять никому!

На крыльце толпились говорливые лейтенанты. Увидев гранату, они застыли с открытыми ртами. Рабочие тащили из столярной мастерской огромный лист пропагандистской фанеры. При виде меня оба попятились, выгибая, как в комнате смеха, призыв *«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ!»*

Я нес свою лимонку, как заморский фрукт — вольно, гордо, вдохновенно. Как фрукт, вкуса которого доселе я не знал, но вот сейчас он будет мной изведен. На ступенях в тот день дрожала тень юной листвы тополя, который впоследствии будет спилен. Хороший был тополь. Древний, корявый и пьянящий весной.

Еще монахами посажен.

Ударом ноги я вышиб дверь.

Мама лежала, закрыв глаза запястьем и с голой грудью, тогда как претендент на роль моего фатера обнажал ее дальше, собирая сторублевки в пачку. Она сняла руку, глядя на меня с печалью. Я дождался, когда она станет первозданно и привычно нагой, после чего выступил на авансцену:

— Значит, так. Если через минуту он не испарится...

Вынес из-за спины гранату, взялся за кольцо и выразительно уставился на циферблат настенных ходиков. Отпущенное мною время гремело жестью, а кошачьи глазки подмигивали, как подначивая: *а вот и не сорвешь! а вот и не сорвешь! а вот и не сорвешь!*

Отец сунул пачку в карман серого пиджака, который висел в простенке на вешалке. Снял пиджак, а проволочную вешалку положил на стул. Надел и зябко передернул плечами.

— Тут у вас, как в морге... Срочно устроим новоселье.

— Иди! Иди, не дразни его.

— Ладно. Первый блин, как говорится... Ничего! Жизнь впереди у нас с тобой. Верно, сынок?

Он занес было руку, но благоразумно отказался от идеи приласкать волчонка с гранатой.

Когда мы остались одни, она протянула ко мне руки. Кротким счастьем она лучилась — вся, до расширенных зрачков своих медовых глаз. Спрятала мое лицо между грудей, и я услышал:

— Он тоже испил свою чашу. Но отныне, Кирюша, отец твой может все... Знаешь, кем его назначили?

— Не знаю, и знать не хочу.

— Все равно узнаешь. Портрет будет во всех газетах...

И прижала к яблоневой своей наготе буйную голову того, кто чуть было не повторил — в масштабах, правда, региональных — подвиг полковника вермахта графа фон Штауффенберга.

Сей однорукий рыцарь печального образа тогда был одним из моих кумиров. Как и его сподвижники Клауса Шенка, кончившие на мясницких крюках гестапо. Я упивался персонажами и образами Рейха. Миражи великой тоталитарной империи кружили мне голову, как Дон-Кихоту рыцарские романы. Я оплакивал тщету внезапного величия; в попытке спасти Фюрера я перевоплощался в Отто Скорцени, в неуловимого Человека со шрамом; румяным мальчиком из гитлерюгенда, так и не успевшим познать в своей жизни женщину, отчаянной, обреченной весной 1945 года я до последней капли крови защищал обломки Имперской канцелярии. О, этот херувим, обвязанный алым галстуком, этот мальчик, в хоре девочек сладкозвучно запевающий: «Ленин — всегда живой, Ленин — всегда с тобой», этот пионер-всем-ребятам-пример обладал,

моя любовь, «душою прямо геттингенской», как выразился Пушкин об одном романтике века минувшего.

*Нюрнбергской* — говоря точнее.

*Werwolf.*

Распростершись у костра, я созерцаю, как исчезает золотистое зарево вновь разведенного огня. Мне тридцать три, и я прекрасно знаю, что на языке ученых карликов, которых вытряс из рукавов своих наш венский благодетель, мой детский недуг, абберация слепой души именуется коротко и ясно: *Отождествление с агрессором.*

Дедушка Фрейд, спасибо. На этом отождествлении я жизнь построил. Именно органичной своей способности к идентификации с любым врагом — «хоть с самим дьяволом!» — как щедро допускал наш лысый основоположник — обязан я своей карьерой в нашем министерстве страха и ужаса.

Но отчего я продолжаю думать об эфемерном том — на одну весну — племени агнцев чужого тоталитаризма? Отчего тончайшая скорбь владеет мной? Собственного детства, что ли, жалко? Не хищник я, наверно... Нет. Жертвенный агнец я в облезлой волчьей шкуре, — знать бы, на чей алтарь? Втиснувшись в эту шкуру, разве избежал я своей судьбы? Жизнь моя — вся — есть лишь медлительное, томяще неторопливое приятие клинка. Пронзенный, я трепещу, я зажимаю свои ткани, сосуды, остатки жизни вокруг лезвия, обреченно чувствуя сквозь жертвенный нож твою руку, отец, и я не возражаю, только ответь, *Кому* заложен?

*Werwolf.*

Здесь Фрейд мне не поможет. Психоаналитики народец кабинетный. Боятся крови. В качестве гида по собственной жизни дайте мне что-нибудь ветхое, на пергаменте, в переплете, обосранном летучими мышами, обглоданном крысами... «Молот ведьм» мне дайте! Дисциплинированно лягу к вам на наковальню. И выхриплю, пузырясь, первое слово: «Мама».

Выполняя тайное задание отца (а был он комиссаром крупнейшего из партизанских соединений), хрупкая моя мама переводила язык жертв на язык палачей — и обратно. Гестапо ей выжгло душу, а после того, как влюбленный в нее гауляйтер в своей шелковой пижаме все же разлетелся от подложенной ему под матрас «адской машины», заведенной на третью часть ночи, маму — несмотря на железное алиби — отправили в Германию с нагрудным знаком «OST». Нам повезло, она попала не в Дахау — в обычный «арбайтслагерь». *(Где-то под Аахеном, и впоследствии, уже в волчьей шкуре, я изъездил всю Вестфалию в поисках своих корней — увы! Безрезультатно. Следы застроены).* Там, со мной под сердцем, она познала жуткие бомбардировки англосаксов, ибо, к несчастью, в регионе был какой-то подземный объект, ну а потом из огня в полымя омерзительной тризны победителей, затопившей страну, в безумный водоворот биомассы соотечественников, обезумевших от ужаса перед насильственным возвращением на Советскую свою родину, черных насильников в американской военной форме, чопорных британцев и радушных заокеанских освободителей, братающихся с миссионерами из СМЕРШа. Там и тогда пришел мне срок покинуть защитный океан околплодных вод. Сухие руки протестантских монахинь приняли меня — куда было деваться? — в ебанный сей мир.

Германия! ты в начале всех моих начал. Ты, оловянной чернильницей запустившая в самого Дьявола рукой разъяренного Лютера, ты, таки не устоявшая перед Ним, долготерпимым, через пять столетий. Мы разделили твою судьбу, Германия. Сполна. Твое проклятие надолго омрачило нас, когда мы с мамой, устояв перед соблазном свободного мира, открытого во все стороны — хоть до Австралии! До Новой хоть Зеландии! — вернулись на круги своя. *Nach Osten*. На Родину, так сказать.

Которая за время нашего отсутствия изобрела такое жгучее тавро — «*пребывание на оккупированной территории*». Не только в пределах Третьего Рейха: имея в виду собственную

землю, которую в 41-м сдала чуть не до самого Кремля. Миллионы были клеймлены, а заодно — мы с мамой.

После огня полымя, а дальше только пепел.

Зачем мы с ней вернулись? Этой претензии я никогда ей не предъявлял, просто не понимал ее. Теперь прекрасно понимаю. Теперь, когда я выжжен в свой черед, я тоже подчинился фатальному инстинкту возвращения. Меня изнуряет Запад — разъявшийся, трусливый. Система работает, конечно, «меньшее из зол», но человек там, люди... Скучно. Не знаю, надолго ли хватит энергии инстинкта, но если однажды я решусь исчезнуть, они получают почтовую открытку без обратного адреса, но не с видом на Триумфальную арку, нет — с Эверестом на глянцевом обороте. Мол, «засветился» адресат и, согласно правилам игры, добровольно отправил себя в небытие. В Тибет, куда сам Фюрер не прорвался...

Надеюсь, меня поймут.

Да Господи! Ведь исчезают как-то люди! Устраиваются, находят варианты. Вот даже в «Правде» как-то попалась мне заметочка с весьма необычным для этой газеты заголовком — «Исчезновение людей». Поразились. Вырезал — не поленился сходить за ножницами. Речь, правда, шла там о японцах, но аккуратно прилепил — хлебным мякишем к стене над кухонным столом. Поэтому за утренним кофе нередко приходит в голову вопрос: а чем я хуже? Ведь это очень несправедливо, я имею в виду *геополитически*, что среднестатистический япошка имеет возможность слинять с лица земли даже на тех клочках, что остались от Империи Восходящего, а мне в родимой, в коей солнце, можно сказать, уже и не заходит, так раздвинулась во все пределы, учитывая «остров Свободы», мне в просторе этом ну настолько некуда деваться, что хоть головой в березу полезай! В расщепленную. Единственный способ согнуться *à la russe*. Всю жизнь томился от древесности, так пусть и придушит вкоротке, березка эта. Национальное Древо познания... Повеситься нельзя, согнется и поставит на ноги, но ближнего повесить очень можно. Особенно, если под рукой их две. Партизаны, пригнув два дерева (так и вижу



пацанов, детей-героев, азартно для этого влезających по истончающимся стволам...), приматывали к верхушкам ноги предварительно разутого пленника, прочно, веревкой, а потом — раз! — и отпускали те березки, и все это взлетало-разлеталось, сбрасывая с неба ни в чем не повинные человеческие внутренности. А в то же самое время, на тех же оккупированных территориях...

Sophie, ты помнишь самый первый наш порнообраз, тот снимок, который гулял под партами? Небыков Эдик, кажется, принес. Снимок тот красовался посреди Подпольска, в парке, за стеклом (которое Эдик высадил ночью) фотостенда наглядной агитации и пропаганды на тему «Никогда не забудем», и был изображен на нем обрубок тела. Девичьего. Чернели дыры изъятых ножом грудей. Рук тоже не было, как у Венеры Милосской, ни головы, но междуножье было помечено темным мыском, такая узкая серая полоска волос, которых в третьем не было ни у кого. Пожилой мужлан в эсэсовской форме младшего чина — немец? Прибалт? Славянин из айнцац-команды? — созерцал этот втоптаный в болотную землю останок с видом усталым, но вполне удовлетворенным — помнишь? О Sophie! и положи руку на сердце, я затрудняюсь, не могу я разложить тот трепет, ту экзальтацию, которую вызвал фотоснимок; боюсь, что расщепить на составные кумулятивный Шок детства невозможно... Ужас? Вождеделение? Упоеание жутью? Обморок от внезапного познания этого мира, реальность коего воплощает все, всю наличность фантазии, включая самые монструозные мечты, электротоком сотрясающие душу? Маленькие, трепещущие ублюдки мира сего, мы еще и слыхом не слыхивали о ГУЛАГе, обратной стороне той же Системы на наш, советский лад, пока мы только упивались отчетами о зверствах иноземцев на нашей с тобой земле, ты помнишь? Семь томов Нюрнбергского судилища — нашу «розовую библиотечку»?

*«Именем народов, за преступления против человечества...»*

Жаль, не Вышинский — герой московских процессов, Палач палачей — представлял мою страну там в качестве прокурора. Деликатность не позволила послать в Нюрнберг (отправили в Америку).

Для тебя, Sophie, все было по-библейски — око за око, кровь за кровь, а я, лишенный этой чистоты, испытывал втайне удовлетворение, что тучный Геринг, отравившись, избежал-таки петли. В Южной Америке израильтяне добивали загорелых до черноты нацистов, сограждане-немцы (на правах незапятнанности) выносили им пожизненные приговоры, возмущая нашу прессу отсутствием смертной казни в ФРГ, тогда как юный пионер, носитель галстука, который «с Красным знаменем цвета одного», был уже зачарован, о, жестокие боги германских преданий! взращивая на иной почве далеко отлетевшее — из самого Шварцвальда — семячко...

Иностранный предстоял нам только с пятого — англо-американский. Не поверженного, разумеется, противника язык, а предстоящего. Я умолял маму говорить со мною по-немецки. «Nein, mein Lieber, habe Ich leichte Herzschmerzen....» Я настаивал, и ее пальцы покорно забирались мне в волосы, которые всегда были как бы в испарине от распираемых меня страстей:

— Was ist los mit dir, mein Knabe?

*Ein Knabe*, маникюрши сын, я имел свободный доступ в спецотдел библиотеки Дома офицеров. Географию ФРГ я изучал по крупномасштабным картам, на бумажной территории которых красные стрелы впрок разыграли всю победу. Первое пособие по языку я вынес под резинкой трусов, то был допросник. Я поражал маму, немецкий развязывался у меня естественно, ибо открыл я базу преуспеяния — перевоплощение. К седьмому классу я размышлял по-немецки над историей Рейха; книги о возвышении и крахе были моим «Островом сокровищ», «Капитаном Немо» и «Всадником без головы». Будучи постарше и вживаясь в Гете с Гельдерлином (в готиче-

ском, понятно, варианте), стал прозревать оккультную подоплеку конечных целей Рейха. Самостоятельно, без информации извне (это потом узнал и про Тибет, и про Глаза Ужаса, и про космический лед), чисто интуитивно пришел к выводу, что имею дело с массовой пробой небытия. С попыткой скопом прорваться по ту сторону Живого.

Я изучал побочные эффекты их эксперимента. В Историческом музее был завсегдатаем залов «1939—1945». Созерцал дубинки из резины. Плети хвостатые. Наручники. Кандалы. Пыточные крюки. Мелкие инструменты по хирургии допросов с пристрастием. Я забывался над террариумами, где к стеклу прижимались пеплы из концлагерных печей. Над каким-нибудь ботиночком — небесно-голубым и сморщившимся — от исчезнувшего младенца. Им мог бы стать и я, родись я на год раньше. Человечество оставляет по себе следы, сжимающие сердце даже у сверхчеловека.

Голубой ботинок не забуду.

Каждый раз исподволь пробовал я приподнять остекленные крышки над экспозициями трофейного оружия, легкого, стрелкового: вдруг забыли запереть? Первым «Вальтер» оказался разочарованием: ствол был предусмотрительно обезврежен сверлом. (Экспонат, после безуспешного следствия о пропаже, был заменен аналогичным импотентом калибра 0,9)

На уроках мое перо машинально вычерчивало на промокашках *хакенкройц*, который расшевеливал своими рычагами мой организм, вызывая тугое кровенаполнение. Так, в переходном возрасте, осознал энергетическую функцию свастики, этой универсальной отмычки вожделения, требующего тут же, на уроке, схватить впереди сидящую одноклассницу - тебя, моя любовь! — за смолистую косу.

Каждая из моих свастик шифровала изначальный (увы, простейший!) тоталитарный соблазн. Забывшись, однажды я сдал одну из таких вот промокашек — вместе с тетрадью. Была контрольная по физике; предмет вела одна из тех женщин, с которыми я планировал свои дальнейшие изменения маме. Ту-

гая, молодая. С пружинистым ореолом вьющихся черных волос. Физичка всего с год как кончила пединститут. Еще не надорванная ни работой, ни общественными нагрузками, ни бытом, ни семьей, ни даже мужем, она весь свой запал влагала в предмет. Изъясняя природу электричества, с такой, помнится, яростью натирала шерстью эбонитовую палочку, что всему шестому классу, и не только пылающим девчонкам, но и прожженным циникам с задних парт, стало как-то не по себе от простодушия наставницы. Как ни странно, юдофобия была в то время для меня чем-то абстрактным, книжным. В Подпольске было одно из самых больших еврейских гетто Второй мировой, с уничтожения которого прошло всего лет десять с небольшим, поэтому антисемитизм — в нашем — я повторяю, городе — в то время еще не смел поднимать голову. Конечно, я знал, что слово «жид» оскорбительно, но так обзывали и меня, блондина, поэтому из словаря детских оскорблений слово это я не выделял. Короче, на исходе тринадцатого года жизни меня, не отягощенного антисемитским комплексом, со всем безудержом вдруг потянуло к Фаечке. К буйству жестких волос, к созвездиям родинок, усыпавшим всю ее видимую наготу, к тугим формам, которые, казалось, так и сияют обрести законченность полных шаров, к темно-му пятну под мышкой на строгом, сером ее платье, когда она что-то выписывает высоко на доске. (Твоя первая ревность, Sophie, объектом тогда не обманулась).

Так вот, получив обратно свою тетрадь с привычной пятеркой, я обнаружил, что символизм мой не ускользнул от внимания Фаечки. Одна из моих свастик была взята в колечко красными чернилами, а над колечком был проставлен:

«?»

Не размашистый. Не гневный. А такой вот кроткий вопросик, доносивший укоризну и печаль существа, любившего меня, волчонка.

Именно ей, внучке двух раввинов, суждено было первой дать оценку моей мании.

Вторым был русский. Отец одноклассника.

Контуженный на войне.

Юные филателисты, мы совершили честный обмен. За серию глянцевых испанских «колоний» одноклассник получил набор незатейливых, но редких марок Тысячелетнего Рейха — двойные экземпляры. Так вот, отец не ограничился тем, что сапожным шилом выколол Фюреру льдистые очи на тех марках, а потом избил сына. На следующее утро он лично и во всех регалиях явился в элитарную нашу школу, таща за собой филателиста с заплывшим глазом. Потребовал, чтобы сын показал меня. Ничего не подозревая, в тот момент я разматывал свой шарф. С ревом ветеран налетел сзади — едва успел я уклониться. Страшным ударом лысого темени — на глазах потрясенных техничек и школьников — антифашист опрокинул на кафельный пол нашу классную вешалку — тяжеленную, к тому же завешанную пальто. Я не дал к себе приблизиться, держал родителя на дистанции: активного физического сопротивления взрослым еще не оказывал. Никогда не забуду этих выкаченных, налитых кровью глаз. «Гаденыш, — хрипел он вслед. — За что боролись?» После объяснения у директора, который был в курсе, кому я (помимо маникюруши) прихожусь сыном, обмякший родитель филателиста ввалился посреди урока в класс — просить у меня прощения. Инвалид войны, ветеран, орденоседец, завкафедрой общественных наук, он извинялся, пеняя на контузию. Я не мог поднять на это глаз. Жгуче стыдно было. Не ему, заискивающему. Мне, филателисту. В тот момент и потерял я социальную невинность. Сила и слабость не имели ничего общего ни с мускулами, ни с умом. И этой данности захотел я признавать...

Я прилагал усилия, чтобы вырваться из силового поля Отца. Хотел быть суверенным. Но детство кончилось, возраст срывал бинты, как с Невидимки Герберта Уэллса: возраст начал меня *проявлять*. Опасности нарастают со всех сторон; оперативное пространство сужалось — и все же отрочество, летучее, легко ускользающее из-под контроля нависшего над

нами мира, эти прыщавые, пачкотные годы, они еще были временем свободы — последней, крайней, взрывчатой. Я был слизняк, как все, только свою моллюсковую суть я заключил в непробиваемый панцирь. Я стал самодовлеющ, не оставлял за собой липкого следа слизи. Они теснили меня, они сводили кольцо блокады, и я отступал из детства — в самого себя, наращивая изнутри роговую оболочку. Отвердевая им навстречу.

Центр детских моих фантазий вошел вовнутрь. Сам себе стал и Центром, и Агентом.

Несколько слов о топографии военных действий. Враги и я, мы были элитой: «центровыми». Однако я жил в полуподвале (обещанное новоселье почему-то откладывалось), они же в каменных бастионах с «излишествами» и статуями, тоталитарным дозором выставленными по периметру крыш. Это значило, что хоть и сын я Самого, но не вполне законный. Сомнительный. Бастард.

Квартал врагов был за прекрасным старинным парком, зеленым квадратом, который с одной стороны выходил на правительственные трибуны, с другой на площадь перед огромным правящим параллелепипедом Отца.

От мамы я узнал, что каждый тополь, каждая липа в парке были превращены в виселицу — после убийства гауляйтера. В сени бывших виселиц, зеленой, радужной, пронизанной солнцем светотени, я был настороже. Здесь, у застекленных витрин, в которые ежедневно наклеивались газеты для чтения *стоя*, я назначал явки своим осведомителям. Моими секретными сотрудниками были: сын профессора геофизики, пугливый крольчонок с вывороченными розовыми веками, сын прокурора Военного округа — создание хрупкое, болезненное и сентиментальное. Еще был внук персональной революционерки, почти гидроцефал — с громоздкой кличкой «Дом-Правительства-с-Пустыми-Кабинетами» (все трое сейчас преуспевают). Я был кумиром их и пугалом. Я их лелеял. Я их вел. По всему, им еще долго предстояло мучаться в девственниках. Я снял с них, фигурально выражаясь, наручники,

повелев им, рдеющим, предаваться постыдному пороку с веселием и радостью. Сам я, замечу, именно в то время, наутро после тринадцатилетия, впервые подарившего мне сновидение с оргазмом на десерт, от рукоделия стал переходить к другим утехам.

Так вот, благодаря информаторам, я взял врагов под колпак. С самого начала, с первых их шагов, я пристально наблюдал, как из шаек центральных дворов стала формироваться ударная группа неофашистов. Свастики, начерченные на стенах робким мелком, постепенно размножались. Я знал, кто оскверняет плакаты и лозунги. Кто вывел «Хуй» на лбу Отца, огромный портрет которого был установлен в шеренге прочих над трибунами лицом к проспекту и Центральной площади. Я вел досье — на каждого неофашиста. Кроме агентурных донесений, там были сделанные мной собственноручно — дешевой «Сменой-2» — снимки довольно мрачных ритуалов. Принимая в свои ряды очередного слизняка, группа выезжала на природу. Завязанные глаза, имитация повешения или обезглавливания, поцелуи с черепом, забавы с бритвой и взаимное пачканье кровью, а то и небольшое совместное преступление. Я запечатлел пару групповых изнасилований, жертвами которых стали ничего не подозревавшие подружки новых членов. Неофашисты изготовляли на уроках труда ножи и стремились добыть настоящее огнестрельное. Все занимались в секциях бокса, вольной и классической борьбы, ходили на самбо, распространяли журнал польских культурников «*Sport dla Wszystkich*», где, помимо фотографий раздувшихся мышц и рекомендаций по количеству «подходов», описывались засекреченные нашей милицией приемы. Культ силы исподволь перерождался в культ насилия. Пошли групповые избиения. То есть, прохожих и всегда бивали, но тут налеты стали отличаться особым бескорытием: ни денег, ни часов не брали, но отделявали стремительно и мастерски.

С оружием им крупно повезло. Один из новых членов, заводской парень, в турпоходе «по местам боевой славы отцов» натолкнулся на партизанский тайник. Своевременно получив

информацию об этом, я сумел выследить, куда они перепрятали оружие. Так и возник мой частный арсенал: «шмайссер», пистолеты, гранаты, фаустпатрон. Я не в силах был опустошить весь склад. В спецотделе библиотеки Дома офицеров, куда меня пускали по старой памяти, проштудировал пособие по взрывному делу и разметал вместе с излишками оружия целый юный ельник. (Надеюсь, что творцы отхожего места на острове Любви не взорвались, вонзивши заступы в мои взрыв-вещества).

Вряд ли у них была программа-максимум. Количественно они расширились, но, по-моему, не имели четких целей. Просто ожесточались с возрастом. Было зверское групповое в аппаратной кинотеатра «Родина» во время сеанса; несовершеннолетняя жертва свихнулась. Киномеханику расстрел, остальным серьезные сроки, но никто, видимо, не сознался в причастности к «фашизму».

Я понял, что наступает период мокрых дел и дал своим людям указание рвать приятельские связи. По возможности, пополнял хронику текущих преступлений. Трудно было выявить причастность именно неофашистов, но в двух случаях я был уверен. Одно изнасилование в лесопарке — *колхозом*, как это у них называлось, когда девчонке загнали предварительно распитую поллитровку в рану влагалища и ударили по дынышку камнем. Другое — в районе аэропорта, когда после изнасилования — на этот раз одаренного мальчика-флейтиста — жертве загнали кольцо стальной проволоки в кишечник, вызвав многочисленные прободения. Это был их почерк. Изнасилование хором у них было любимым развлечением. Помнишь, как тебя, Sophie, волокли по детскому песочку к «сказочному» домику, а я, от удара килограммовой гантели, силится выбраться из забытья, пока ты выгибалась в их руках, — на детской площадке Парка культуры? Майским вечером? Я дотащился до домика, сунул в резное окошко руку с пистолетом детства и вслепую сделал две дырки калибром 0,45 в чьем-то плече и в мускуле напряженного бедра, а потом ты



меняла мне под мостом компрессы, пахнувшие тинистой водой нашей речушки.

Вряд ли я был опознан в темноте, но — пусть и вслепую — их длинная рука меня достала...

Они любили нападать в толпе. На столпотворениях во время праздничных фейерверков над нашей площадью, которая, лишившись памятника Сталину, стала огромной. Группа брала в кольцо намеченную жертву, кто-то зажимал ей рот, другие же — под расцветающие в темноте пиротехнические букеты — наскоро, как бы в случайной толкучке, озираясь с улыбками по сторонам, ломали целку. Огромная толпа взрывами криков встречала очередное разноцветное зарево, а в обваливающейся после залпа тьме девчонка, потеряв опору, оседала под ноги — с заключительным ударом в лоно. Не коленом и не кулаком... Милиция не могла понять: то ли отключилась от перебора с алкоголем, то ли с сердцем что? Даже хирурги не сразу находили входное — настолько коварен удар шилом.

Шило тогда победило в Подпольске нож, оно было незаметно, от него было легко отделаться, оно входило с легкостью. Кроме того, субъективный момент: нож пугал владельца, шило сводило преступление к уколу. Легкое, мгновенное, веселящее (преступника), оно становилось отвлеченным, беспредметным. Не преступлением, *игрой*. Сунул, вынул и пропал...

Свою прививку я получил на демонстрации. По случаю Сорок Первой годовщины.

В самый ответственный момент.

Повернув голову направо, я кричал *ура* — трибунам и Отцу, помахивающему рукой с центральной, самой высокой, кричал, сжимая древко транспаранта, сжимая изо всех сил, чтобы вертикаль была безупречной, мой крик тонул в общем реве, отец, конечно, разглядеть меня не мог в той черно-красной массе, — как вдруг дыхание мне пресекло от боли. Изо всех сил сжал руки, чтобы не выронить древко. Оглянулся и успел

запомнить демонстранта, который тоже кричал и был, как все, только еле двигался, обтекаемый рядами. Меня толкнули, я сделал шаг вперед. Сунул кому-то древко. Перенес вес на правую ногу и, онемевший, кое-как протащился мимо трибун с их ритмично падающей высотой. Красивый мужской голос, усиленный до нечеловеческой мощности репродукторами, выкрикивал ликующие славословия, их подхватывали колонны трудящихся: *«НАШЕМУ ДОРОГОМУ... ПАРТИИ... НАРОДУ... ДОБЛЕСТНЫМ ВООРУЖЕННЫМ... НАШИМ ТРУЖЕНИКАМ... НАШИМ СЛАВНЫМ ЖЕНЩИНАМ... ПАРТИИ... НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ, БОРЦУ ЗА МИР...»*

Я выбрался из хора и поковылял к оцеплению, переодетому в штатское. Трибуны кончились: по ту сторону шеренги гранитная лестница как раз поднималась к дому с келейными бойницами и расширенными окнами офицерских номеров. Дом выкрасили к празднику. В два цвета — белый с голубым. Не дом, а голубь мира. С третьего этажа из какого-то номера (ах, да, стоял там чудо-снайпер, победитель Олимпиад) смотрело мамино лицо — пристальным пятном, прильнувшее к стеклу. Впервые не испытал я ревности — да пусть! да с кем угодно...

— Мой дом, — сказал сквозь зубы.

— Катись отсюда, пока цел. — Мнимый штатский смотрел поверх меня — зорко, но с равнодушным видом.

— Пустите, мне плохо, — сказал я следующему.

— Думаешь, мне хорошо? — отшутился гэбэшник, имея в виду гнусную погоду.

— Я ранен!

— Уж не в сердце ли? Вроде рановато: усы сначала вырасти.

Моя школа исчезла в черном потоке, наводнившим проспект до самой Круглой площади. Представители заводов, фабрик, учреждений обгоняли меня, сворачивая флаги и транспаранты, а я все хромал вдоль оцепления, уходя все дальше от полуподвала. Штатские кончились, пошли солдаты.

Хохол ругнул и не пустил, но спустя метров пятьдесят я предъявил красивому грузину носок, намокший кровью. Задрал штанину — и мы взволновались оба. Подняв голубой подбородок, грузин посторонился. Век не забуду.

Грузовики блокировали улицы и арки домов.

Своими ходами я выбрался в тылы Дома Офицеров, бетонной лестницей поднялся на правящий холм — и тут же в свою нору.

Мокрый, грязный и в крови.

Под сводами у нас было пусто и празднично. Разряженное в золото и серебро «Советское шампанское» отбрасывало на белую скатерть зеленую тень.

Я заперся на ключ. Перед тем, как приступить к операции по самоспасению, замочил в тазу носки, трусы и форменные брюки — мои единственные. Разложив на полу йод, бинт, лейкопластырь, лег на коврик, прижал ладони и забросил ноги себе за голову. Надо мной повисло мое оперившееся естество. Подвывая, подтянул свой зад поближе к глазам. Смыл кровь. Удар пришелся в мягкое место — слава богу. Входное отверстие стянулось в пентаграмму — такое аккуратное клеймо. Не шило — какой-то инструмент...

Я разогнулся и поднялся. Нашел в комодке клубок шерсти, вынул спицу и прокалил на электроплитке до темно-красного свечения. После чего повторил кульбит, сойдясь лицом к лицу с странной раной. От страха перед пыткой яйца спрессовались в двуединый орешек — зело твердый. Медлить было нельзя. «А Камо?» — напомнил себе и погрузил раскаленное острие в самый центр раны. Глаза закатились. С минуту я не мог вздохнуть. Сжал зубы и вытащил спицу. Наложил тампон, крест-накрест заклеил. Потом, пригнув шею, поймал губами крайнюю плоть. Да, Sophie! Уже тогда стремился к полной сексуальной автаркии. В течение месяцев упорной тренировки (Саламба Сарвангасана... Халасана... Карнапидасана) начинающий йог двигался по-черепашьи на встречу с собой любимым. Вот она и состоялась. Алчно я замкнулся на самом себе - змеей, пожирающей себя с хвоста. Отныне — окончательно

но и включительно — принадлежал я только самому себе. Самоотсос. Хотя имя дико, но мне ласкает слух оно. Когда я выстрелил себе спермой в глотку, был, помню, любопытный психомомент: как-то стыдно мне было пробовать себя... Но вкус, скорее, мне понравился. (Описывать не стану, помнишь...)

Потом я отключился.

Привел в чувство дребезжащий стук в стекло — костяшкой пальца. За оконцем на корточках присел солдат из оцепления. Хотел, наверно, облегчиться к нам в яму по-большому, но при виде меня забыл про все на свете. Я сел и усмехнулся снизу единственному зрителю акробатического моего этюда. Солдат сложил кулак и отогнул большой палец — мол, во!

До прихода мамы замел следы. Натянул спортивное трико, выстирал и развесил на батарее форму. «В грязь вмазался», — сказал. «Это горе не беда... — Сияла, лучилась и спешила. — Давай, отметим скоренько, а то наверху ждут». Мы чокнулись и выпили по бокалу. Полуподвал, конечно, но бокалы были у нас хрустальные — ее золотисто-желтый, мой — краснобагровый. Подарок опекавшей маму баронессы в связи с моим рождением. Музейная редкость. Германия, XVIII век...

Не сохранились.

Что же касается неофашистов наших — рассосались. После взволновавшего Подпольск происшествия на улице Маркса, когда среди бела дня у кинотеатра повторного фильма, после премьеры картины Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», какой-то эмоционально неустойчивый милиционер разрядил обойму своего «Макарова» в одного из них — простого заводского парня. За отказ снять с шеи Железный Крест. Высший знак нацистской доблести был сорван, но уже с трупа, истекающего кровью на тротуаре.

Едва возникнув, следствие по делу неофашистской организации было замято сверху, так что все благополучно кончили школу, а потом поступили в вузы. Менее везучие попали в ар-

мию, впоследствии отличившись в августе 68-го при взятии Праги. Кто-то потом приобрел известность в качестве чемпиона по боксу, кто-то бесследно исчез в секретной сфере... В общем, преуспели все, что не удивительно: ребята были крепкие, активные. Разрядники спорта, штучный товар.

Меньше других повезло только одному из иглоукалывателей. Сдав экзамены на аттестат зрелости с золотой медалью, он, представьте себе, удавился. Один, без спутников, приехал в лес на отцовской «Волге». Расщепил березку, просунул шею — и выпучил глаза, увидев лучший мир. Этот немотивированный поступок объяснили депрессией, следствием экзаменационной перегрузки. Сын военпрокурора, хрупкий, грациозный юноша (мой общий знакомец с самоубийцей) разрыдался, когда ударил похоронный марш Шопена.

После этой истории я закрыл свое досье. Возможность победы фашизма в отдельно взятой стране перестала меня пугать. Да и вообще к тому времени — благодаря тебе, Sophie, — утратил я даже чисто исследовательский интерес к коллективизму. Мы были вдвоем, а после единственным объектом любопытства стал для себя я сам. Следуя тропой самурая, я — свой собственный естествоиспытатель — неумоимо ставил над собой эксперименты, открывая все новые грани тоталитарного своего сознания. Мне было интересно до того момента, пока этот нерв, это щупальце, неуголимый этот язычок не вылизал все до пустоты, оставив меня на коленях в гулком храме небытия — с пистолетной пулей в пригоршнях молитвенно сложенных рук.

*...давно уже ощущая чье-то сыроватое присутствие, я, наконец, открыл глаза, перевернулся на бок и, облокотясь, спросил над тлеющим костром у мокроволосой девушки, какой же это бурей выбросило ее на остров, где разбиваются сердца. Я хорошо это произнес — с иронией и подкупающим всеведением.*

— Чувственной! — ответила, бросив хмурый взгляд. — А что?

Голени ее обсохли. Обняв колени, она сидела на выжженной траве и сосредоточенно смотрела в огонь.

— Вам там не мокро?

Вместо ответа поднялась. Рослая такая особа, облепленная грязноватой рубашкой, стянутой узлом хвостатым над пупком, с формой которого ей очень повезло в роддоме лет семнадцать тому назад. Ноги были слегка расставлены; под впалым спортивным животом мокрые плавки, обтягивая выпуклость лобка, влипше раздваивали на просвет складку слегка асимметричных губ, в этой стране официально именуемых «срамными». Какое-то время назад волосы под плавками были сбриты, но с тех пор процедура не возобновлялась, и волоски отросшей щетинки, прокалывая ткань, искорками посверкивали в отсвете костра.

Она переступила с ноги на ногу.

— Хвороста больше нет?

— Нет.

— Хотите, я насобираю? А то ведь он так и потухнет, ваш костер.

— Пусть! — Я усмехнулся. — Кто сгорел, того не подожжешь.

Пренебрежительно фыркнув, малолетка удалилась. Я влез в спальный мешок и застегнулся, отваливаясь на спину. Со dna лесного колодца звезды укORIZненно взглянули на меня, павшего до роли заурядного самца. Но разве был я виноват? Зачем она сюда приплыла? Это не вина, беда моя — должность мужчины, и пресытился я ею по горло. По рукоять. Господи, кому вернуть клинок? Я был бы счастлив, оставшись при ножнах. Земную жизнь пройдя до половины, взять бы да перевоплотиться. Почему бы и нет, Sophie, почему нет... Знаю одну частную клинику в Цюрихе, войдя в которую мужчиной, через неделю *я бы вышла исцеленной*. Я бы с законным правом продевала бы эпилированные начисто мускулистые ноги в шелковые трусики, и знаешь, какие? Этакие полые, со сквознячком, по упоительной моде *entre deux guerres* — мечта! Представляешь долголягую, узкобедрую американку? В ее улыбке мужчины находили бы нечто неотразимо кеннедиев-

ское. Немножко тяжеловатый подбородок, но внучке Хемингуэя в Голливуде это даже помогает. Крутила бы динаму по обе стороны Атлантики. За мной выслали поисковую группу, но транссексуальный метод исчезновения оказался б самым верным: среди женщин меня б не искали, среди мужчин бы не нашли, и однажды в Нью-Йорке, на издательском party, мы бы с тобой пересеклись...

Dolche vita nuova!

Переполненный образами невозможной любви, я впал в сладкую дрему, из которой вернуло возвращение ночной ку-пальщицы.

Прости. Что я могу поделаться? Тянет ко мне девчонок молодых. Чуют во мне то, что я даже от себя скрываю. Суть мою патерналистскую. *Отца*.

В отделе «безопасности Безопасности», который всесторонне изучает наш личный состав, могли бы (будь менее пенки и более начитанны в психоанализе) задаться вопросом в этом плане по поводу меня — якобы бездетного холостяка. Работай там, я не преминул бы копнуть. Противника я обычно наде-ляю превосходящим меня уровнем, поэтому, раз мне пришла в голову мысль, нужно брать на заметку: «избыток малолеток — конспиративный прокол»).

Заложив руки за голову, а до пояса снизу спеленутый мешком, я лежал с закрытыми глазами, слушая, как сильные руки ломают ветки. Присев на корточки, она обдала меня — и взволновала — запахом тинистой сырости. Я высвободил свою левую, протянул и прикоснулся к ней. Она вздрогнула, но не обернулась, занятая воскресением моего костра. Я целомудренно ласкал напряженную позой наготу поясницы, уделяя особое внимание этим параллельным ямочкам, которые за-служили название только по-французски: *les reins* <sup>6</sup>...

<sup>6</sup> Ямочки над талией

*Entre tes reins* <sup>7</sup> — поет своей англичанке Серж Гэнзбур про позу, по-русски неудобосказуемую из-за принудительного поминания членистоногих, не говоря про момент онкологический, ломающий весь первобытный кайф... нет, конечно, я без меры люблю «великий и могучий», особенно когда он свободный и правдивый, то есть, но согласись, что женщины наши эстетически страдают, — и не только в данном случае.

Пламя затрещало, и девушка разогнула сильную свою спину.

— Теперь до рассвета не погаснет.

— Спасибо.

— Не за что...

С минуту мы молча смотрели в огонь. Потом она задала наводящий вопрос:

— А вы здесь без палатки?

Я сел, на мгновение ощутив себя русалкой, взялся за язычок молнии и решительно расстегнул спальник до колен.

— Прошу, — откинул я полу. — Если это козлиное стойло вас не очень смущает... Или предварительно вас следует спить для храбрости?

— Следует.

— Выбор у меня небольшой и банальный, — сказал я, извлекая из рюкзака бутылку. — Водка... и водка. Но зато польская. С другой стороны, хоть и польская, но теплая, и в довершение всего, придется ее из горлышка... Умеете?

— Еще как! — и с бутылкой в руке вскочила на ноги, чтобы продемонстрировать мне этот навык — излишне ранний, на мой взгляд. Не без сожаления по этому поводу я заметил:

— Хорошо пьете.

Передал наверх ей хлеба с колбасой и в свою очередь — больше из вежливости — приложился к бутылке.

— Это что, — ответила она с набитым ртом. — У нас в институте есть один, так он, представляете? Хоть всю бутылку мо-

<sup>7</sup> Меж твоих ямочек



жет. Так глубоко ее засовывает, что водка перетекает прямо в пищевод.

— Известный метод, — усмехнулся я. — В Америке это называется deer-throating.

— O! *Do you speak English?*

— Sure, — ответил я, — как все. Но больше люблю по-русски.

— Все-таки в Штатах пьют, мне кажется, меньше.

— Меньше, — согласился я. — Потому что больше других возможностей.

Она энергично откусила колбасы:

— Свобода!

— Возможностей погубить душу живую, — уточнил я.

Она засмеялась с набитым ртом; потом, проглотив и чиркнув себе по ягодицам кончиками засалившихся пальцев:

— Какой вы серьезный. Случайно, не баптист-пятидесятник?

— Нет, я буддист.

— *Кто?*

— Кто-кто... Да в общем-то никто. А вы?

— И я никто.

— У нас немало общего.

Она засмеялась. — Повод повторить...

— На брудершафт. И с переходом на «ты»...

Она опустила передо мной на колени. Поочередно мы выпили, я утер губы, но она вскочила на ноги.

— Следует поцеловаться.

— Сейчас, — ответила она, пытаясь развязать узел рубашки на своем животе. Лицо золотилось в отсветах костра и было озабочено.

— Ногти ломаешь. Дай...

От ненамеренного моего касания живот дрогнул. Узел был влажный, и пришлось зубами. Я почувствовал, как там, наверху, высвободились груди — и обнял ее, и потерся щекой о колкий лобок влажных плавок. И с хрипотцой внезапной спросил:

— Откуда ты взялась?

— А приплыла!

Стянула рубашку, швырнула на траву и села лицом ко мне. Короткая стрижка, и волосы пахнут водой.

— Не страшно было?

— Межвузовская чемпионка! В стиле «баттерфляй»...

Мы слились в поцелуе, во время которого я расстегнул на себе рубашку и, как от электроразряда, содрогнулся от прикосновения ее сосков. Вкус юности во рту неизъясним.

— Ундина! Настоящая...

— *Ундина?* Знаем, знаем. — Она утопила ноги в мешке и потянула к себе потрескивающую молнию, одновременно укладываясь, но, когда легла на спину, тут же взвилась, выгребла из-под мешка спаренные сосновые шишки и бросила в костер. — Это которые отдавались заблудившимся странникам, чтобы душу их заполучить? Проходили... Жуткая мура.

— Что?

— Средневековье все это.

— Ну уж?

— Античку я сдала на пять баллов, а второй семестр еле вытянула на «уд». Если бы не Чосер, полный бы завал. Ты Чосера читал? Скажи, ничего?

— И даже очень.

Я сунул руку в мешок, отстегнул пуговицу на чреслах своего Newman'e и не без усилий стал спускать «зиппер»; на мой облегченный выдох она отозвалась рассеянной улыбкой, после чего хмыкнула и произнесла цитатно:

— *И девушка уснула, не выпуская соловья из руки.*

— «Декамерон»? — блеснул я эрудицией.

— Он самый. Времечко было — скажи? Чума вокруг, а они!..

Ну, прямо, как у нас.

Столь ранний социальный протест меня удивил. — Где это «у нас»?

— А в «Юности» блевотной.

— Что за «Юность»?

— Пансионат на берегу. Закрытый. Для всех, кроме «золотой молодежи».

— Ты «золотая молодежь»?

— Я-то нет, но предок у меня скотина, — алогично, но с чувством отозвалась она. — Это у тебя какие?

— Французские. Бери.

— Сам будешь?

— Ну, давай...

Она всунула мне сигарету в губы и поднесла — для романтики — веточку из костра; я выдохнул дым сквозь ноздри, искося глядя, как со знанием дела прикуривает моя ундица, видимо, не очень озабоченная своей спортивной карьерой.

— Крепкие... Я «Кент» обычно.

— Что непросто, к «золотой молодежи» не принадлежа.

— А мне не предок, мне Джо достает. Джо — он исключительно английские. «Rothman», иногда «Данхилл». Ты пробовал? Слишком уж едкие, как ты считаешь? Индийские напоминают. Нет, я предпочитаю штатские... (Смеясь.) Мы с Джо за два семестра всю его валюту прокурили. Целыми блоками из «Березки» мне таскал. Он сейчас в Лондоне, Джо. Поехал подработать на каникулах. Что значит свобода, скажи? Устроился на мусорной машине. Уже кучу фунтов заработал. Пишет, что зубы себе покрыл специальным лаком.

— Чтоб сильней блестели?

— Против кариеса.

— Разумно, — одобрил я Джо — этого джина, ни с того ни с сего возникшего от гипнотических моих пассов по животу провинциальной советской девочки. Теперь его — как зубную пасту.

Обратно в тубик не засунешь.

— Очень Джо за зубы здесь свои боится. Говорят, что в Африке беднее, чем у нас, но зубы там у них великолепные. А у нас так просто катастрофа... — Отставив сигарету, она языком оттопырила верхнюю губу; бугорок перекатился на щеку, попрыгал и немедленно исчез, когда она перехватила взгляд. — Целый год мы вместе были, а как лето, так он в Лондон, а я здесь. Если бы в городе, одной в квартире... Так предок в пансионат меня упрятал. Специально под надзор. А сам в Карло-вы Вары. Пивом накачиваться чешским.

— Вижу, непростой он человек.

— А как же! VIP. Very, very important. Заведует там чем-то в рамках СЭВ. Подонок еще тот. Маму в гроб загнал, теперь я на очереди — из-за Джо. Джо, понимаешь? Блэк. — Она сосредоточенно дотянула до фильтра и отбросила в огонь. — Надеюсь, не шокирует?

Снисходительно я улыбнулся.

— Я ведь не знаю, какие вы, тридцатилетние, — сочла она необходимым оправдаться. — Эти же хрычи, расисты все до одного, а предок мой, так вообще! Наши кавказцы для него «чурки», а уж негры... Да вообще он ненавидит иностранцев. Знаешь, почему? Любовник у мамы был француз. Да! Самый настоящий. — Глаза просияли гордостью за маму. — Ученый по обмену. Первая мамина любовь. Первая и последняя. Отдалась ей, догадываясь, что больна. Конечно, плевать ей стало на карьеру предка... Он вообще-то был талантлив очень, как ученый. Хам при этом жуткий. Мама из Ленинграда, интеллигентная семья, так бабушка с ним, с предком, сразу отказалась разговаривать... Они на одном факе были, мама с предком, ну и... знаешь, по-английски *fuck*? Мама от язвы, сколько помню: блокада, голод, общепит. И очень нервная была. Вспыльчивая, ранимая. А предок, когда донесли про мамин роман, все силы приложил, чтобы Жан-Пьера выперли. За деятельность, якобы «несовместимую»... Кошмар. Жан-Пьер ей препараты привозил, заботился, причем об этом скоте тоже, коньяками разными поил... Когда его выслали, Жан-Пьера, мама покончила с собой. Снотворные, очень легкая смерть. Не проснулась, и все. Перед этим она так мучилась, что, может, даже к лучшему... Нет, ужас, ужас. Предок памятник ей заказал. Брата моего в Суворовку загнал. Была бы Суворовка для женщин, и от меня б отделался. Честно, я его боюсь. От него чего угодно можно ожидать. Подлый и коварный. Жан-Пьер, он за социализм был: с человеческим лицом, конечно. А он шпионаж ему устроил. Это французу! А уж Джо...

И погрузилась в молчание. Я возобновил свои пассы, легкие, отвлекающие.

— На все способен... (Вздых.)— А если еще я сигаретку?

— Help yourself.

— И хлебну, пожалуй...

Выгибая поясницу, она вдавилась задом мне в пах, боднула непристойно, глянула озорно и прильнула к горлышку. Я стянул с нее плавки, освобождая прохладную полноту. В кожу въелась бороздка от тугой резинки, я стал ее разглаживать, потом оторвался, чтобы взять бутылку, глотнул и возобновил свои смиренные ласки. Свет костра золотил пушок на румяной пояснице. Снизу ягодицы слегка шершавили. — А это у нас что? Злая собака?

Она не поняла.

— *Здесь*, — обвел я пальцем шрамик.

— (*С удовлетворением.*) А это меня убивали!

Она выползла еще наружу, чтобы подбросить хворост, чем я воспользовался, чтобы доснять с нее плавки.

— Яблоки, небось, воровала?

— Нет, одноклассник один, еще по школе. Выточил на заводе пистолет... Неразделенная любовь, ты ж понимаешь. Что я не с ним, а с «черномазым». Тебя, правда, не шокирует?

— «Мы — интернационалисты», — ответил я газетным штампом, поглаживая твердинку шрама. — Пистолет мелкокалиберный?

— Не знаю. В этом я не очень.

— Хорошо, что по касательной... — И тем же тоном я задал давно возникший у меня вопрос. — Ты никогда не слышала фамилию такую, Родин?

— *Родин?* — Сигарета праздно дымилась между пальцами на протяжении семи секунд. — Нет, не слышала. А что?

— От отца, быть может? Такой математик был известный, член-корреспондент...

— Еврей? Которого сожгли?

— Ты знаешь?

— Слышала такое. Кажется, именно от предка. Причем, не раз.

— Так в чем там было дело?

— Вроде поджечь хотели, он с окна упал... Это все было так давно. Я еще в школу не ходила.

— Давно, — кивнул я, — да... Все-таки интересно, кто его и за что. Способ уж очень необычный... Нацистский прямо.

— (Неуверенно.) Дело рук сионистов?

— Думаешь?

— Предок говорил. Вроде Родин этот евреев наших отговаривал в Израиль ехать... А что?

— В свое время по его учебнику я занимался. И слышал тогда версию прямо обратную.

— Не знаю... — Сокрушенно вздохнула. — Что мы вообще тут знаем? Кругом полным-полно нераскрытых убийств. С кем угодно может случиться. Вон у нас, в районе шарикоподшипникового... Негра зарезали. Как бы сосок кому-то на танцах откусил — такой был слух. Полный кретинизм! А другого за что из электрички вытолкнули? Зимой это было, он замерз. Так просто, ни за что. Даже не за то, что блэк. За то, что не как все. Боюсь, как бы с Джо не случилось чего-то наподобие...

— Хочешь с ним уехать?

— Очень.

Внезапно я увидел ее — выпархивающей из темной воды. Этот отчаянный баттерфляй через Лох-Несс провинциального идиотизма. Девочка, не разбуди чудовище!

— Уедешь, — я пообещал. — Будь только осторожна. Не привлекай к себе внимания.

— Ха... слишком поздно! Уже я привлекла. Причем, так глупо. Сдала тетрадь по английской фонетике, заложенную, знаешь, чем? Презервативом. Как-то сам он у меня в сумке влез в эту проклятую тетрадь. И если бы наш, баковский... Так нет. *Made in England. Electronically tested.* Фонетичка наша — старая чекистка, сука, — так и вцепилась в этот гондон несчастный: «Ага! Связь с иностранцем!» Вызвала комсорга и предложила поставить вопрос о моральном облике члена

ВЛКСМ Морозовой (то есть, меня). На общеинститутском. Представляешь, какой завал.

— И что собрание решило?

— Оно не состоялось. В лингафонном кабинете заловил меня комсорг. В кабинке для индивидуальных занятий. Войлок там для герметичности. Глухо так, что криком кричи, никто тебя не услышит. Ну, и... То есть, так прямо и сказал. «Или я твоего лавера обратно в джунгли, или...» А он может все, комсорг. Мало, что заседает в Выездной комиссии, так еще и папаша у него... Знаешь, кто? Ты не поверишь. *Небыков...*

— Тот самый?

— Именно.

Я даже присвистнул. — Неужели?

— Сам-то, говорят, ничего, но сынки... Старший, тот вообще крейзи, а младший... Таких подонков поискать! Напористый, правда, не откажешь. — Она закурила и отвернулась к костру. - За дверью, там окошечко такое, все девчонки наши в наушниках у стенда, а гад этот из ширинки вывалил и усмехается. *I did not know how to take it, but...* А что я могла? *I had no choice.*

— Ты так его любишь?

— Джо, что ли? Нет... (Вздых.) *I love nobody.* Что, колется? Волос он терпеть не может, так я привыкла...

Лежа позади, я взвел ей ноги коленями повыше. Губы у нее были плотные и сжатые, *там* — и покалывали пальцы. Колючая роза. Я раскрыл, углубляясь тремя пальцами и глядя над выставленным плечом пловчихи в общий наш огонь. Потом вынул и поспешил пальцы. Действия мои вызвали прилив словоохотливости:

— Но Джо, по крайней мере, не такой, как наши...

— Оно и понятно.

— Хотя с виду не в моем он вкусе. Думаешь, джинсы носит? Никогда! Ходит по Подпольску, как посмешище. Этаким джентльменом из Сити. Брючки в полоску, блейзер, атташе-кейс. Без зонтика даже в хорошую погоду не выходит. Аккуратненький всегда такой. Он, кстати, после института возвращаться не намерен... К своим иди аминам, то есть. Кошмар,

что там творится. Там с диссидентами не как у нас, там черепа мозжат. Камнями. Крокодилам на съедение бросают. «Нет, — говорит Джо, — я лично в Англию». Приемник купил и каждый день в общаге *BBC World Service* слушает. Английский у него родной, правда, акцент, никак не может пока избавиться... Да не в любви тут дело. Вывез бы отсюда, а там уж как-нибудь одна. Там, у нас газеты пишут, общество безразлично к человеку. Каждый сам за себя, а на других плевать. По моему, это счастье... *Why do you insist upon doing this...*

Роза это роза это роза. Но эта оказалась из резины. Слюна пересыхала на миниатюрном и, кажется, не открытом еще тобой бутоне, гуттаперчевая девочка...

Внешний мир окликнул меня по имени — знакомый по сортиру голос. Ангельский... Вынув руку, отозвался. Тень приблизилась к розовому излучению пепла. Ссылаясь на «друга вашего писателя», востребовала водки.

— А что же сам?

— Не может оторваться... Оч-чень занят.

Передал непочатую, испытал прикосновение другой кожи — посторонней, но тоже нежной и живой.

— За беспокойство извините...

Смех растаял.

О эпителий этой ночи... Что с нашим островом, Sophie? Омертвело все. На кончиках пальцев запах тлена.

Я расстегнул мешок. Партнерша лежала ничком, белея, как снег в ночи. Рассеянно я потащил из пачки пару сигарет, но замер, заглядевшись во мрак, проколотый звездами. Август.

И даже зола потухла.

— Ты сердишься?

— Да Бог с тобой...

— Но уж такая я... Одно слово: фригда, — заклеимила себя комсомолка Морозова. И шепотом вдруг сдавленным: — Сделать тебе... ну эту — *французскую кошечку?*

От жалости сердце мое сжалось.



— Ты только скажи, я сделаю. Все, что захочешь. Скажи, не молчи! Если бы вазелин... У тебя нет с собой? Может, случайно?..

Внезапно, всей тяжестью, этак по-борцовски, набросилась на меня, и без того поверженного на обе лопатки, судорожными рывками, царапаясь, стянула парижские слипы, наклонилась, и... Sophie, нет повести печальнее на свете: навыка не было у бедного дитя, но была, увы, энергия прилежания. Терзаемый, я неподвижно лежал, устремив взгляд ввысь. В какой-то момент огладил ее космы и деликатно по плечу: полно, дескать, будет. Но плечо дернулось, она пробубнила что-то вроде: «Отстань!» — гневно дунув сквозь ноздри на мои чувствительные волосы. Я приготовился терпеть и дальше, как вдруг острая боль исторгла вскрик. Хищница отпрянула, продолжая, однако, сжимать истерзанного птенца.

— Что с тобой?

— Свирепая... Пантера, а не кошечка.

Потерянно и жалко она сказала:

— Это зуб... Зуб мудрости проклятый! Давно к врачу мне надо...

Шмыгнула носом, облилась слезами.

Мы повалились в мокром горячечном объятьи.

В этой стране, Sophie, любовные утехы — звук пустой. Слиться возможно лишь в экстазе сострадания, и на сей раз, в привычной роли постельного исповедника, упился я им так, будто это у меня с колыбели отбили способность к *наслаждению* (само это слово вызывает отвращение, заявил, гордясь собой, один классик соцреализма, весьма искусный в описаниях всевозможных зверств во имя светлого будущего коммуны нашей; чему же удивляться? Вместо «Ars amores» преподавали нам «Науку ненависти»...)

Это роза это роза это страх. Внушенный мамой нехорошей девочке при помощи прута — по пальчикам! по пальчикам! Отбивая склонность к пороку самопознания и, естественно, удваивая ярость, когда «доча» писалась в трусы. Так мы и утрачиваем чувствительность, Федор Михайлович, под воздей-

ствием выдвинутого Вами, но, увы, недоисследованного феномена «жестокости сладострастия» родителей-пуритан. Так и растем: черствеем мало-помалу, угрюмо обсасывая плоские палочки от эскимо за одиннадцать копеек и давя мух на стекле, заливаемом снаружи первым дождем нового учебного года. Запирая «на полотенце» дверь в ванной, неудовлетворенная жизнью мама имела обыкновение дочу избивать, добившись того, что кровь первой менструации, своей собственной, вызвала панику и ужас у жертвы воспитания. Семья как школа отчуждения нашей сущности, откуда, не принадлежа себе, выходишь на улицу... волчьи ухватки мальчишек, и кровь стыда бормочет в ушах, одновременно приливая к щекам, и однозначные угрозы, которыми расписаны заборы, стены домов и замороженные стекла троллейбусов. Они же в устной форме — шепотом на ухо в толпе. И полуобморочность на безлюдьи с наступлением темноты — входишь в свой подъезд. Спускаешься в подземный переход. С последней электрички на дачной станции. Не каждый встречный, конечно, эксгибиционист и все такое прочее по списку извращений, но потенциальный насильник в каждом, и жизнь твоя не жизнь, а травля. Охота.

— (*Иронически.*) Знаешь, с кем она впервые познала свое женское счастье?

— С Джо?

— Будешь над ней смеяться, — пообещала она, *настаивая на третьем лице.* — С баллончиком от зажигалки, у него газовая... Ей было стыдно и смешно, но получилось. Единственный раз!..

Профессор Свядоц из Ленинграда, этой inferнальной колыбели, в подобных случаях сажает пациентку на электрический стул собственной конструкции, приклеивает электроды и буравит в трех местах, пытаясь пробуриться сквозь многовековую историю Фригидности Российской. А я бы лично с этой якобы фатальной «долей» долготерпимой русской женщины, над которой вволю лила свою крокодилию слезу вся эта пиздобратия пиитов, «революционных демократов» из школьной

хрестоматии по родной литературе, — я бы с «долей» запросто покончил! Я бы, Sophie, над каждой индивидуальной колыбелькой, оплетенной розовыми ленточками, вешал бы автомат Калашникова — с туго набитым подсумком. Так сказать, «на зубок» новорожденной. Глядишь, и через поколение вопрос отпал бы сам собой.

Я, конечно, не ахти какой сексолог, но проблема пола в стране и мире мне предельно ясна. Упоенный страстью к самоуничтожению, всевластный Самец тащит за собой все прочее человечество, и пол прекрасный, и младенцев, всю жизнь, само бытие. Кто спасет нас, если не Sofia — Премудрость Божья? если не Женщина?

Но что спасет от нас Ее, если не собственный ее огнестрельный член?

Я привел в движение свою руку, зажатую меж бедер впереди лежащей, протиснул дальше и, высунув наружу, призывно зашевелил пальцами:

— Дай мне руку.

— (*Усмешливо.*) На прощанье? *Улыбнись тайком?*

Дала, однако.

— Другую.

Предчувствуя недоброе, подчинилась с неохотой и порицающим бормотаньем.

Ухватившись за средний, спасительный их палец, я потащил десницу девы за собой. Конечность, естественно, сразу же одеревенела, и на мгновение мне вспомнилось, как учительница музыки, к которой посылала меня мама, научая любить Красоту, женщина кроткая и болезненная, поймала меня за запястье и в приступе отчаянияхватила моей кистью по клавишам, выбив наконец аккорд в до-мажор — прозвучавший с неуместной триумфальностью.

Удалим же запрет. Изымем томящий образ наказания, эту смертоносную грибницу бледной поросли вины, эту корневую систему цепко въевшейся плеточки семихвостой. Утвердив малоподвижный ее перст на клитор, я, поелику было возмож-

но, проник в нее сзади (в месте, разумеется, положенном) и восшептал в пугливое ушко:

— Попробуем вдвоем. Давай!

Апологет воинствующего аморализма, я даже впал в некоторую выпендренность, Sophie, убеждая комсомолку в том, что тело, данное нам Богом, «срамных частей» не имеет, и даже рифмовал «срам» с «храмом», но в данном случае пафос был оправдан целью, и в конце концов пальчик, сгибаясь этак старательно, как у первоклассницы, Первого сентября впервые обмакнувшей в чернила ручку, принялся трудиться в арочке моих, задачу ей посильно облегчающих, в заранее триумфальной этой арке: “V” as in “Victory”.

Не могу сказать, что оказался мануалист Караев вполне альтруистичен, но это уже было после, а на той первоначальной стадии я по-братски обслуживал ее своей слюной, дезинфицированной водкой, и вообще заботился, как мог, прижавшись к спине пловчихи, выносящей на себе меня, утопающего, и с волнением чувствуя нарастающее сердцебиение младшей твоей сестры.

Я открыл глаза и провалился. Не туман, а молоко кормилицы. Стволы сосен растворялись книзу, обезглавленные. Расстегнул мешок, отбросил полы и с хрустом старой перечницы привел себя в сидячее положение. Как внутри облака — ну, ничего не видно.

Крепко растер небритое лицо.

Рыбий мех испода резал глаза ультрамарином, и на этом фоне лежала голая девчонка. Ничком. Еще спала. Ноги оказались загорелыми до южной смуглоты, лишь ступни были обведены розовым. И треугольник белизны на расслабленном сном ягодицах, раздвоенных светло-бежевой расселиной в налипших колечках взмокших. Обожаю эту их испарину. И это рдеющее пятнышко — от комара. Нагнулся и чмокнул укус. И порывисто прижался к задку. И другой стороной лица, как бы в потребности оставить на этой гладкой плоти свой

двухсторонний профиль. Впечататься навечно. Как в наши «личные дела».

— Какой колючий, — пробормотала наверху. Отняла попку, явила грудки и мутные глаза. — Что, уже утро?

— Увы! — повинно подтвердил.

— Оглохла, что ли? Ничего не слышу... — Позевала, ладошкой прикрываясь, и прояснилась. — А который час?

Найденные в траве мои швейцарские стояли, солнца еще не было, но она чувствовала, что пора. Я задержал порыв, счищая со щек и возле губ, и меж ключицами налипший сор любви — песчинки, чешуйки пепла, крупички палых игл. Было так рано, что пальцев своих не ощущал. Грудки, намятые складками ложа, уже возвратили первозданную белизну, стояли торчком, сосочками вперед. Поднявшись на колени, энергично взбила свою стрижечку «под тиф», и вскочила на ноги — высокая и сильная. На обритом венеринном холме кое-где розовыми луковками вздулись корни прущих волосков. Я успел чмокнуть этот колкий бугорок, прежде чем он скрылся под натянутыми плавками, в связи с чем она вдруг вспомнила:

— Неужели я все-таки?.. — Запнулась перед трудным при свете словом, но я утвердительно кивнул. — Второй раз в жизни, — сказала с гордостью. — Ну и ночка, да? Thank you so much.

И стянула узел рубашки.

Босиком сбежали к берегу. Туман, который слоился над остывшим песком, дальше был непроницаем. Вода же теплая, парная. Мелководьем обогнули остров, дойдя до места старта через пролив, за которым невидимый сосновый берег и пансионат. Обнялись — стоя в воде. Песок процеживался между пальцами ног. И слюнки этого мгновения были столь семнадцатилетни, Sophie...

Я оттолкнул. Иди! Плыви! Перелети Лох-Несс! *Чудище обло, надеюсь, не сожрет.*

Она деловито подтянула плавки. Застегнулась до последней пуговицы у горла, обтянулась рубашкой.

— Постой, — сказал я... — Может, брассом?

— Ха!

— Неблизко? Силы экономь...

Взвела свои бирюзовые, повернулась и пошла в редяющий туман, и, оборотясь внезапно, вlepила по воде балетным подъемом ступни, обдав меня за что-то с ног до головы. И удалялась, вовсю выделявая попкуй, еще, быть может, с мыслью обо мне — фигурка, до сей ночи испытывавшая «женское счастье» только раз, после того, как чернй мой предшественник в отчаянии бессилия воспользовался первым под руку попавшимся предметом.

Свела руки над головой, нырнула, выпорхнула — и тишина взорвалась шлепками баттерфляя.

Этаким тренером-наставником стоял в парной воде. Ученицу давно накрыл туман, но я следил по звуку.

В состоянии глубокой задумчивости, окрашенной минором, я взoшел по росистой траве к мешку. Вспоротой и опустелой рыбине свалявшегося ультрамарина. Вид отсырелой золы наполнил скорбью. Я лег, застегнулся до ноздрей, вздохнул и закрыл глаза.

Внутри себя я обнаружил пустоту, терзаемую алчной сворой пяти моих чувств.

Особенно впивалось обоняние проклятое...

Чутье у меня и всегда было волчьим — несмотря на сигареты. Ох, славным зверем был бы я, Sophie, когда б не навязал Господь свой образ и подобие. Здоровым был бы я и цельным — радостно следуя тропой инстинктов по ту сторону Добра и Зла. Повинуясь закону выживания сильнейшего. Без комплексов преследуя назначенную жертву.

В каком-нибудь из следующих, быть может, превращений?..

Нет! воспротивилось большое естество. Никаких метаморфоз! После этой жизни умереть. Умереть окончательно необратимо. И после смерти запропасть во вселенной Небытия так, чтобы ни Бог, ни Дьявол не сыскали, чтобы возло-

жить на плечи бремя очередной миссии в избранном Ими мире. Какую форму жизни мне б ни предложили — Степным Орлом, Электроскатом, Каракуртом или Жуком Навозным, Скарабеем, — эту вот сферу бытия я откажусь делить с «Венцом Творенья».

Ничего, кроме сострадания я не испытываю, на слух воспринимая симфонию птичьих горлышек. Нечего ликовать им по соседству с Человеком. Подумаешь, заря! Тоже мне повод для ликующего торжества. И вообще, твари перелетные, пора, пора бы вам уgomониться в канун неотвратимого сезона массовых миграций...

Господи! взмолился я.

Мы знаем — все обречено. Но если когда-нибудь *потом*, после того как мы здесь все разрушим, если еще охватит Тебя снова Твой созидательный инстинкт, то, умоляю: сотвори Эдем свой *начиная с Евы*.

Для разнообразия хотя бы...

Тяжесть давила мне на сердце. Чтобы сбыть ее, чтоб самоупраздниться вместе с этим бременем на время, приступил я к Шарвасане.

Как обычно — с пальцев левой ноги. Мысленно ампутировал — и дальше. Ноги покорно растворялись; вскоре, как Маресьев, стал «настоящим человеком». Пустота подступила к паху, и, собираясь с силами для самооскопления, я на мгновение отвлекся, представив себя одним из тех реальных «настоящих», калек-ветеранов, спасителей наших в последней из Великих-Отечественных, которые во времена детства карающего себя Караева столь вольготно разъезжали по спасенной Родине на гремучих своих тележках, клянча на водку, а потом разом вдруг исчезли, подлю сосланные куда-то на русский Север, на необитаемые острова. «Без рук, без ног на бабу скок... Кто?» — только и осталось в фольклоре нашем загадка, неразрешенная поколением спасенных. Живы ли они еще, калеки? Каково им там — под северным сиянием?..

Я вздохнул и приложил усилия. Отрешиться. Сконцентрироваться. Этакой мухой с оторванными крылышками — как в

азартных играх монастырско-тюремно-казарменного типа — в самый краешек моей крайней плоти вцепился флюид — психофлюид моей же аннигиляционной воли. Но, видимо, не побеждать мне в мужеских забавах: вместо того, чтоб кротко самоумалиться, губчатый мой корень, воспротивившись замыслу хозяина, стал разбухать. Сурово я насупил брови, но противник не поддался, заслоном встав мне «на пути в Тибет». Я приложил усилия. Он запульсировал в ответ. Как бы нирвану посылая на хер.

Выйти в астрал не удалось. Накрылась ширвасана.

Отбросило назад, в мир низменных страстей, где как раз — по ту сторону безмускульно, ненапряженно смеженных моих век — совершался восход.

И в параллель с наружным явлением светила, образ Пизды взошел над горизонтом внутренним — ало озаряя арктический ландшафт моей души.

Sophie! Я испытал протест.

Как труп в пустыне я лежал. Глазницы наполнялись теплым светом. И вдруг увидел... я, сблядовавшийся однолюб, себе на беду узнавший множество их, пёзд, — всех сортов, всех размеров, всех цветов. Увидел не сквозь поэтическую катаракту, не «розой», не «вишней», не «киской», не «гротом», не прозаической «расселиной», не «щелкой» и не грубо-неверной «дыркой». И не теряющими зоркость плоскими глазами любовника, и не глубинным видением орудия проникновения, прогрессивно слепнущего по мере стирания чувствительности. *С изнанки* я ее прозрел. Не с этой стороны, а с той, откуда, прорастая женщин, полый стебель дарует смертным тварям софийное чудо малых, алых, вялых, влажных форм. Творя этот шедевр ручной работы, Ваятель, я думаю, умышленно не свел концы с концами, кораллово дав прозянуть коварнейшему из Своих соблазнов: *жить*.

Это — Творец.

А твари?

А твари — мы — закрылись в ужасе и в панике бежать. Как хрюшки от Христа. Как нечисть от зари...



Скандализованные беси.

О русский Приап, в ответ на Божий сексапил почто мечом ты опоясал чресла? Ведь было: жили не тужили, поклоны били огнедышащим, как ноздреватые блины, богам, на летних оргиях бросались сквозь костер в объятия любому, а после, о суженом гадая, венки из юных полевых цветов пускали по медленной воде — и сердце обмирало от надежды на жизнь и счастье... Вольный русский Эрос! О конский взмыленный хребет сломал потомок Чингиз-хана твой хрупкий позвоночник. Степная нехристь, татарва, тьмы-тьмущие посланцев Смерти, под хвост ужаленной взбесившимся их солнцем... Зеленоголубой наш рай был вытоптан до чавкающей грязи. До черноты кишащей облепленные оводами орд за Три Столетия Рабства в крови своей мы растворили пузырьки жестоких жал, и когда снялся рой проклятый, уже непоправимо было: Приап наш приобрел иммунитет к соблазну бытия. *Grattez le Russe et vous trouverez le Tatare*, — говаривал Степан Трофимыч Верховенский из «Бесов», что верно, пусть и только в моем отдельном случае.

Караев — это, увы, почти что «каракурт»...

Но каракурт восставший! Да, Sophie! Супротив рода своего и племени мужского.

Против Ивана Грозного, который не только сына убивает на картине, висящей в Третьяковке, но — в непрощающей моей за давностию лет недоброй памяти потомка — невинную пизду распиливает вдоль по Красной площади, при всем честном народе, шапки скинувшем, — по длинному, намного более длинному, чем самые длинные гвозди креста, Пеньковому Канату; истошно голосил и разъезжался «срам» двоящейся кроваво боярыни, которую, крепко ухватив с обеих сторон за руку и за ногу, неторопливо волокли опричники царёвы, собачьеголовые предтечи «рыцарей» Дзержинского, цеховые мои предки, — и как вам, мужички, гляделись сии первопрестольные забавы? А Петр Великий, на той же площади прилюдно целующий в уста свою предварительно обезглавленную немочку? Любовь к небытию здесь в чистом виде.

Страсть! Хотел бы дознаться я, в каком спецхране засекречен «шутейный» крест Петра, собственноручно сработанный умельцем-императором из устремленных во все стороны света медных признаков мужественности: не то распятие, не то компас... Истинный символ веры фаллократической Империи.

Аллилуйя! Все скопом, может быть, мы и пропили яйца, дойдя до мертвой точки самовоспроизводства, но наш Приап Советикус огненные самый мощный — настолько, что и площадь — все та же, Красная — мала ему теперь во время праздничных сеансов ракетно-ядерного эксгибиционизма. Пусть не у нас, но у Него зато — стоит. За нас за всех стоит. На всех. Глобально!

По отношению к системе оно, конечно, русским быть в XX веке мука, но русским быть по отношению к пизде — позор. Я предпочел бы вновь родиться скандинавом. Пить пиво в сауне с дочуркой, с прабабушкой, с подругами жены, бестрепетной рукой вскрывая жестяные запотевшие банки. Финская баня, парной Эдем! Мое представление о счастье...

Увы. «Финляндизированная» нами до потери европейского достоинства, Финляндия возвращает беглецов. Не знаю, как в этом смысле финны. Мне стыдно было бы там жить. К тому же у черта на рогах — проткнувших этот рай.

О Господи, Sophie, мне тридцать три, и вот докуда мне и капитанский чин, и должность в этом мире — мужчины. Земную жизнь пройдя до половины, хочу вернуть первопричину зла. Но как? Исчезнуть, как коллега, в Катманду? Раствориться под звуки гималайских флейт? У них там есть пещеры-одиночки для причащающихся высшей святости, вот пусть туда и замуруют... лет на тридцать-сорок...

Или вправду пол сменить?

Однажды, помню, мама вернулась сияющей, балеринкой перепархивала под сводами бывшего монастыря, и под веселый перезвон дешевой нашей посуды, не выдержав, похвасталась, что на ежегодном обязательном осмотре — ну, женском нашем, Кирюша, понимаешь? — гинеколог сравнил ее с

цветущей юной девушкой. Ты понимаешь? *Изнутри* цветущей! И сдержанно Кирюша разделял эту радость — не понимая, но исполняясь гордости за чудо-маму.

Почему нет, Sophie? Вполне осуществимо. *Реализабельно*. За наличный расчет в швейцарской клинике меня приблизят к Богу хирургическим путем, и я к тебе вернусь в лесбийской оболочке. Буду ездить в супермаркет за покупками, готовить блюда всех стран мира, возьму на себя всецело дочь, когда прилетит из своего пансионата на американские каникулы, ну а по ночам в своей светелке буду кротко утешать себя вибратором с насаженным глушителем, а еще лучше — чучелом своего же собственного члена — терпеливо дожидаясь, уловитель душ, когда попадешься ты в сапфические мои силки.

С глазами, затекшими алым светом солнца, как труп в пустыне я лежал, размышляя о космогонии начал несовместных, как гений и злодейство, впадая в дрему, повторяя, что меж женщин меня бы не искали, *а среди мужчин бы хуй нашли...*

Мне снилось, что я — мама, моя собственная.

В нашем полуподвале я сидела по-турецки на кровати, имея в руках океанскую раковину — большую, *многоконечную* и как бы улыбающуюся мне своим беззубым ртом. Она улыбалась до ушей, а я трясла ее по-всякому, и так, и этак, пытаюсь вытряхнуть нечто, затерянное в ней моим сыном, который давно уже должен был вернуться, но все не возвращался — быть может, в страхе перед содеянным. Но что он уронил туда? Мое обручальное кольцо, подаренное мне его отцом, моим командиром, во время тайного свиданья на явочной квартире, под полом... в ночь покушения на гауляйтера... Больше ничего ценного у нас и не было. Можно разбить, можно оставить так, с загадкой, но я, сама не знаю почему, со страхом просовывала пальцы в гладкий рот ей, пытаюсь достать утерянный предмет, и вновь трясла — все с нарастающей тревогой. Вдруг позеле-

невшая пуля выпала из перламутрового рта и затерялась в складках простыни. Раковина продолжала улыбаться.

Молча.

Я поняла: сейчас вернется. Ощутила присутствие за дверью. И точно: медленно пригнулась ручка, скрипнули петли... Но не вошел никто. А в приоткрыл сквозит.

Чувствуя, как улыбка каменеет на лице, я крикнула: «Сыночек мой! Кирюша!..»

— Кирюша, друг... — слышалось издалека, как сквозь толщу воды. У себя на дне открыл глаза — и как в зеркале отразился в обращенном ко мне лице. Та же щетина, та же посткоитальная осунутость, разве что глаза запавшие сияли перевозбужденно. Иван что-то говорил, а я созерцал его, пытаюсь удержаться под водой, пытаюсь удержать растаявшее сновидение, но его уже вымыло начисто, как лишний с золота песок, как маму и как детство, как все, что произошло со мной до этого мгновения, спазмой непонятого происхождения сжавшего мне горло и требовавшего слез навзрыд и без причины — и немедленно...

— Ты меня слышишь?

— Весь внимание... Что, невзначай сломил?

— Не ей. Себе, возможно... Не в этом дело, они сейчас рано начинают, а просто — бродяжка, несмышлениш... и этот цинический лепет при полной еще невинности, и эта (поднося пальцы к своему лицу и обоняя их со скорбным видом) роса желез... Нет! Если сейчас, *сию минуту* не сбежим, я увезу ее с собой.

— В Париж?

Он задохнулся от гнева, но отвел глаза. Вот так мы и живем, Sophie: сначала секс, потом любовь. Ему можно было позавидовать. В моем случае, все наоборот, а это уже непоправимо. Это уже бытие-к-смерти, как германский ум изрек.

— А где она сейчас?

— Там, — мотнул он. — Отсыпается в палатке.

— Отдохни и ты.

— О чем ты говоришь? Девчонка из дому ушла. И абсолютно некуда пойти.

— Что ж, ситуация универсальная. Но не трагическая в этом возрасте. Побродит и вернется в отчий дом.

— Не вернется.

— Вернется, и еще не раз, а много. Ибо «дом» живучая иллюзия. У каждой иллюзии свой срок, но эта отмирает крайне медленно.

— Жалко...

— А мне, — сказал я, — нет. Мир этот, обманувший нас иллюзией стабильности, никаких гуманоидных чувств не вызывает.

— «Дом», «мир»... ебал я эти категории. Мне девчонку жалко.

Я вспомнил про водку — что выпита была не вся. Вынул бутылку, где, точно, сто грамм еще плескалось, развинтил и протянул. — К кому-нибудь прибьется, — сказал. — В крайнем случае, можешь прокатить до Москвы, но лучше бросить здесь, на острове Любви, чем в столичной клоаке. Ты ведь ничего не обещал?

— На словах нет, но...

— Тогда все! Руби концы. Мораль художника — воля к творчеству. Мораль эмигранта — воля к разрыву.

— Я не эмигрант еще, но чувствую себя уже, — сказал он, морщась от ожога водки, — п-последним... последней...

— Будет еще не то, — пресек я. — Терзаний предстоит мильон, так что ты это: не опережай сюжет.

— Не буду. Но мы еще вернемся, друг... — Он взболтнул водку, добил, швырнул бутылку в яму с пеплом и поднял несчастные глаза.

— На белом, что ли, коне?

— На белом ли, *на бледном*, но вернемся. Не веришь?

— Эх, друг! — Я усмехнулся. — Ты полон иллюзий по завязку. Что хорошо. Значит, живой ты человек. Тогда как я, я че-

ловек советский. И я не верю ни во что, кроме того, что коммунизм, как смерть, необратим.

Живая тишина и радостная светотень лесного утра не вязались с этим разговором, и я из него выпал, вмялся затылком в хвойный наст и прищурился от прямого попадания луча. Иван побыл рядом молча, вздохнул и поднялся, отняв луч.

От ботинок друга шел крепкий дух.

— *Верующий в Меня*, Христос сказал, *если и умрет, оживет*. Знаешь?

— А как же, — отозвался я.

— И?

— No comment.

Поколебавшись, он шагнул куда-то к западу, открыв мне свет, насыщенный не истиной, увы, а ультрафиолетом, не знаю для чего полезным, а также витамином Е.

После полудня я был разбужен гамом вторжения.

Бог мой! Сегодня пятница.

Уик-энд для биомасс.

Катер, который мотался вдоль берегов искусственного моря, с часовыми промежутками причаливал к моему острову, выгружая выходной десант. Стайки девчонок возраста первых изнасилований. Мрачноватые группы допризывников. Бабки с внуками, матери с детьми; женщины-одиночки, женщины попарно; разведенные, ухоженные, белотелые и крашенные хной и перекисью мои ровесницы бальзаковского возраста, энтузиастки пляжного волейбола или, напротив, ленивые, вальяжные лежебоки с вьетнамскими зонтиками, терпеливо поджидающие на солнце, когда обложит их мужское загорелое внимание. Придется с этим подождать: семя, еще дающий план в поте лица на производстве, еще уступчивый, покорный, подначальный, нахлынет только ввечеру с последними лучами солнца. Натянет палатку, нарубит костерок, раскупорит водку, хватанет за титьку. Вольному воля, и впереди ее аж двое суток — такой, что хоть ты караул кричи. Не

докричишься, милочка: тебе тут ни милиции, ни дружинников, ни заступников-пенсионеров с орденскими планками (ветеранов сталинизма и — признаем это — отзвеневшей мужественности страны). Природа, девонька! Звук не простой. Природа помогает роду, отрицая все личностное вместе с гименом: на плеву природе в высшей мере наплевать. Ну, а про то, что «некому березоньку сломати», нам радио лирически соврет...

Сейчас ломальщики подъедут.

О, эта тяга на природу! Вкруг поднадзорных городов подавленных инстинктов — *зеленая зона вседозволенности*. Вот и остров наш накрыла. Что ж, топчите, вырубайте, выжигайте! Добивайте все, что держится покуда силами корней...

Но без меня. Исчезну. Растворюсь.

Я стоял на горячих досках, у самого края сходен — еще в одних плавках, но возле багажа, готового к убытию. Наконец пришел Иван. С мрачным видом облокотился о перила, и, устремив взор на воду, зашерстил выгоревшие усы.

— Что ж, распрощался с ней?

— Надеюсь... Смотри, окунище пошел!

Окунь — да, окунь был прекрасен: крутой всплеск, пружинистый разворот, красный выгиб оперенья. Я подтвердил:

— Божественный.

В ожидании катера мы погрузились в молчание над ленивыми шлепками воды о сваи. Под танцующей поверхностью, в зыби медосветной резвились стайки мальков; постреливали стрелки красноперок; из тени медленно и важно выплыл дохлый презерватив, раздувшийся, как детский сачок — *ангелов уловлять*. Не только живность, но и мертвечину гнал сюда, на глубину, прибрежный гвалт купальщиков.

Доски задрожали — на сходни с гоготом ввалилась группа допризывников во главе с коротконогим крепышом. Бритый череп отчетливо выявлял наследственное низколобие. На предплечье миниатюрная татуировка. «Колочка». Отдельное

взятое звено колючей проволоки, которое сидельцы-профи обычно выкалывают на корневой фаланге пальца, тем самым заявляя «прописан в зоне».

Но этот был еще пацан. Смотровые щелки глаз поглядывали с вызовом на нас, забивших край. Дождавшись очередного взгляда, я принял вызов, и разряд ненависти спаял нас с бритоголовой этой колючкой. Кто кого — так, не мигая, мы смотрели друг на друга. Он был заряжен доотказа — настоящий фюрер! Все же сдался первым: с деланной ленцой припустил веки, уничтожающе усмехнулся, сплюнул и отвернулся. Сизый затылок блестел от пота. Он что-то сказал, от чего вся гоп-компания повернулась к нам, и тогда толчком ноги он выбросил со сходен одного из своих — самого маленького и презренного. Под взрыв смеха мальчик для биття шлепнулся плашмя об воду.

Мелькнули ало пятнышки бикини — на причал взошла девчонка. Доски под ней скользили, но шла она быстро и цепко — мимо стоящих у перил парней.

— Она, — сказал Иван; я отозвался:

— Соболезную.

Мальчик для биття по ржавой лесенке вылез из воды. Замокрыш лет одиннадцати с еле намеченным кончиком в сползающих, сияюще-черных трусах до колен. С ужимками нагнал девчонку и — шаг в шаг — пошел по пятам, крутя отставленным задом. Поощрительный гогот. Кто-то схватил ее за запястье — вырвалась. Кто-то подставил ногу — переступила. Их тут, у перил, был целый теперь табун — коренастых, приземистых крепышей с городских окраин, дочерна загорелых, догуливающих свое последнее перед призывом лето. Девушка поравнялась с бритоголовым вожаком, который ухнул утробно и сунул пятерню к алому треугольничку — не то, чтобы схватил (как это делается в Италии тамошней шпаной, развлекающей себя игрой с характерным названием *mano morta*), а так — взял на испуг. Но девушка и бровью не повела, с трагическим видом приближаясь к нам, стоящим *in extremis*.



— Кого-то ставим мы на хор сегодня, мужики, — сказал бритоголовый, глядя вслед. — Я буду не я...

И ощерился мне в лицо. А заморыш, шестерка, сопровождая девушку, пропел:

Несмотря на их угрозы,  
мы чувиху — всем колхозом!  
Эй, мамбо!

И ручонки рывком махнули книзу, как бы срывая алые плапочки, после чего хорек этот юркнул за спины старших своих товарищей, а девушка перехватила руки Ивана:

— Не связывайся с ними, умоляю!

И окончательно блокируя, повисла у него на шее. Лишенные возможности законно вступиться за малолетку, допризывники потеряли к нам интерес. За руки за ноги раскачали шестерку и высоко подбросили (падая, бедняга крепко сжимал свои трусы). Потом, сотрясая доски, стали прыгать сами — один за другим. Последним прыгнул бритоголовый, и я почувствовал себя классически лишним рядом с парой любовников, неподвижно глядящих вдаль — туда, где проступило белое пятнышко катера-разлучника.

— Окунуться, что ли, напоследок? — спросил я и, ответа не дожидаясь, выпрыгнул из ситуации.

Без всплеска и глубоко ушел я под воду. Перевернулся и в пыльной, цветущей мути поплыл обратно к извилистым сваям причала. Вынырнул и огляделся. Катер был еще далеко, но уже озвучился гармонью, с нетрезвой старательностью выводящей над поверхностью темных вод:

Россия, Рос-с-сия,  
Россия — родина моя!..

Свая заскользила у меня в руках. Я выглянул из-за нее и засек сизый череп. Вдохнул глубоко — и торпедой косо ушел в подводные сумерки над черным водорослевым дном. Высоко надо мной пловцы забавно перебирали конечностями. Брито-

головый мой клиент опрокинул темно-синий надувной матрас, владелица которого тяжелой белой бомбой провалилась в воду. Удачно разминувшись с ее задом, я всплыл к повисшим ногам великовозрастного шалуна, крепко ухватил их за лодыжки и рывком утащил с поверхности. Дельфинообразная хозяйка матраса, медленно всплывая, выпучилась на нас с ужасом и энергично задвигала плавниками толстых рук, как бы отталкивая от себя глубоководный кошмар; вокруг лица во все стороны плыли хной крашенные волосы.

Я вытащил его на воздух под причалом — в тень, рассеченную лучами солнца. Держал перед собой на свае, крепко перехватив толстые запястья. Отдышавшись, он бросил сдавленно и зло:

— За что, мужик?

Я кивнул наверх:

— Видишь?

Там, прямо над нами, в свете дня, умоляюще лепетал о чем-то ангельский голос взбалмошной девчонки, а меж досок, на которых она стояла, зияла ало щель.

— *(Ослабившись.)* Ты что, серьезно? Из-за этой пиздорванки? — Рванулся, пытаюсь боднуть меня в Адамово яблоко, но промахнулся и хлебнул воды.

— Ну, падло! Буду я не я: порвем чувиху вашу так, что...

Он захлебнулся, не договорив. Я утягивал его под воду. Глубоко под медосветную поверхность. Не давая войти в клинч, держал на вытянутых руках. Он пробовал достать меня головой. Локтем, коленом. Но как ни бился, только свой образ замутил. Вместе с кислородом выдохлась и ярость. Серебристый сад пузырей вокруг нас исчез. Запястья его обмякли. Я отбросил его руки, провалил вниз, ногами сдавил горло, рванулся с тяжестью кверху и пробил поверхность. Вдохнул всей глоткой. *Жизни.*

Обняв сваю, я дышал и смотрел на подходящий катер. Погибающий враг, пытаюсь разжать мертвую хватку моих ступней, царапался ногтями, но боли я не чувствовал. Над водой рвалась, исчезала песня, но гармонь настаивала:

Россия, Росси-и-ия...

Над навесом причала бубнил что-то Иван, девочка всхлипывала. Руки утопленника не царапали — уже ласкали мои сведенные в пароксизме икроножные. Вдруг я осознал, что сейчас, через мгновение, смертный грех вновь ляжет на душу.

*И в распухнувшее тело раки черные впились...*

Одним рывком я вытащил его на воздух.

Глаза уж закатились.

*Готов*, произнес во мне голос с интонацией удовлетворения, и, отмечу, что не тяжесть греха почувствовал, а ускорение высшей деятельности — церебральной, искрометно отыскивающей в этих сложных условиях оптимальный вариант сокрытия тела несостоявшегося солдата или зэка. Прижал тело к свае. Брюшной пресс был расслаблен; я надавил — на меня хлынула жижа скудного завтрака, обильно разбавленного водой в микроскопических цветочках. Можно сказать, побратски обнимал я блюющий труп, и глаза ожили. Блаженное выражение отсутствия сменил в них ужас. Могучее средство перевоспитания, *Генрих был прав... не наш Ягода — нет. А Гейдрих*. Расплывчатому ужасу я предоставил полную возможность сфокусироваться на его объекте: *да, все тот же я*. После чего встряхнул воскресшего насильника:

— Так как — насчет девчонки? (*Его перекосило.*) Преступные намерения оставил, нет?

— Да я...

— Ну?

— Больше никогда! Клянусь!..

— Ладно. Катер видишь? Этим же сейчас домой. Ты понял?

— П-понял, — издали синие губы.

— Тогда живи.

В звучной тени отбуксировал к лесенке, после чего смыл рвоту Воскресения и поднялся следом на причал. Допризывник, павши ничком, лежал на досках. Я перешагнул поверженное тело. *Никто бы меня не заподозрил. Кроме, возможно, тети на матрасе*. По пути я поймал за локоть того заморыша, маленького провокатора, обратил его внимание на со-

стояние бритоголового их главаря, ударенного солнцем, и велел бежать за шмотками.

Девочка в алом бикини зареванно оглянулась и, как не увидев меня, продолжила мольбу:

— Скажи только слово, и я — в чем есть вот — за тобой. Делай со мной что хочешь, хоть убей, только возьми! Ведь не смогу я без тебя — ты понимаешь? После всего, что было между нами, я просто, понимаешь, *не смогу*... Пойми! Ты ведь писатель, должен... Ну что молчишь? Скажи мне: «Да».

Я отвернулся. Шеренга ныряльщицков выстроилась на краю причала, поджидая большой волны. «Россия, Рос-с-сия!» — подходил многолюдный катер.

Иван ответил:

— Нет...

Доски дрогнули. Все прыгнули разом, и волна шлепнула под нами о сваи. Мой утопленник поднялся, надел черные латаные штаны, майку, затянул драные северокорейские кеды. «Колючка» ходуном ходила на предплечье. Но даже головы не поднял сизобритой, когда, уходя из судьбы Ивана, девочка бедром задела.

Вслед ей глядя, друг мой буркнул:

— Что с тобой?

— Со мной?

— В крови весь.

На исцарапанных икрах кровь запеклась, свертываемость у меня мгновенная, но розоватые следы на досках еще не высохли. Бритоголовый следил за взглядом моим робко, но бдительно.

— Стекло, — ответил я. — Все дно засеяно осколками. Мало им того, что сами спиваются, сволочи...

С пристыженным видом допризывник втянул голову в плечи. Втроем мы стояли на краю причала, наблюдая за высадкой десанта на остров Любви. На этот раз мужчин было больше. Одни с женами, детьми, другие *without women*<sup>8</sup>. Карманы

<sup>8</sup> Без женщин

оттопыривались от бутылок, хотя все были уже навеселе. Гармонист едва не упал, высаживаясь; дружки подхватили его, он подхватил растяг гармони трубный; его тащили, он заплетался, но широко распахивал меха своей груди, чтобы предоставить выход из нутра рвущейся песни нашего детства, совпавшего с крушением сталинизма:

А я остаюся с тобою,  
родная моя сторона!  
Не нужен мне берег турецкий  
И Африка мне не нужна!

А кто-то требовал: «Ты прежнюю давай — «Россию!» — и так все это и валило — под гармонь — над плещущей водой к зеленой воле, и кто-то пытался закружиться в танце, чьи-то неотмытые после завода руки с черными ногтями вспархивали над толпой, а взмыленные жены тащили кошелки и детей измученных, и сияли, взблескивали станиолевые крышечки отравы монопольной из карманов перегруженных, сползающих штанов, и заплеталась музычка, которую перебивал упорно и осипше с трудом утвердивший себя на досках тщедушный мужичонка: «Россия — родина моя!..» Толстуха в нарядном сатиновом платье с полосатым узбекским узором ухватила его за вылезший конец рубахи:

— Любашенька-то где?

Певец обернулся на жену, взирая как-то по-петушиному свысока и дошевеливая губами песню. Народ вокруг них стал останавливаться.

— Ты Гитлером тут не смотри! Он Гитлером мне смотрит. Доча моя где? Ну, говори?

Толстуха толкнула мужичка, тот повалился, хватаясь за перила, удержался и повел упрещающе пальцем, мол: баба! Не моги!..

— Ой! — взвизгнула толстуха. — Утопил! — И во весь голос: — Люди! Люди добрые! — Отпустила хмурого белобрысого мальчонку, уронила раздутую кошелку. — Донечка! Любонька!

Коровистая, взмокшая и полутрезвая, она металась по причалу, хватаясь за омрачившийся народ, тряся своего безответного и воя с таким надрывом, что из рубки на палубу причаленного катера вылез капитан.

— Может, видел кто? Трусишки на ей розовенькие? Беленька така? (И мяла на впалой груди супруга выходную нейлоновую.) У знамени стояла с этим аспидом! Куда девал дочурку, а?!

— Пшла! — Так и не сумев изобразить гнев, физиономия мужичка расплзлась блаженной кашей. — Природа шепчет мне с любовью... Росси-и-ия, р-родина моя...

— Тьфу! — не выдержала бабка. — Прости Осподи. Дошли!

— Все водочка, — другая поддержала.

Кто-то сказал негромко, но отчетливо:

— Водолазов надо вызывать...

Капитан катера взревел над толпой:

— А ну тихо! Отставить панику. Говори, — ткнул пальцем в узор узбекский.

— Любашенькой зовут нас, нам три годика, — залепетала толстуха оробело. — С этим вот была...

— Была где?

— Где знамя — назад.

— Ясно... — Капитан был бос и полутоп, в одних черных флотских брюках, подпоясанных ремнем с начищенной латуною гербовой пряжки ВМФ. Почесывая парную от пота волосатую грудь, он сумрачно взирал на притихшую в надежде мать. Был он крепко пьян, сей капитан, за что, вероятно, и отставлен от серьезных морей державы, и сейчас, оставшись без опоры штурвала, прилагал все силы, чтобы удержаться на ногах.

— В салоне смотрела? Под скамейками?

Покорно и грузно мать перелезла на катер. Охочие до зрелища бабки проталкивались вперед, вполголоса совесть блаженного папашу:

— Ишь, душегуб! Еще поет: «Россия»... Прости, Господи, нам за грехи наши.

— Родную кровь, и ту извел по пьянке.

— А им одно: глаза залить да покуражиться. Россия! Давеча во дворе у нас — дак тоже «Россию» сотворили. Сидят себе в тени, тихо-мирно козла забивают, и вдруг: за грудки один другого. Чья, мол, команда лучше? Рубахи порвали, морды друг другу поразбивали. Кровищи! А один так ружье с дому вынес: «Забью на месте!» За «Динаму» за свою. Пьянь проклятушая.

Мужичок вскинул голову:

— Цыц! — брызнул слюной. — Не вмешиваться в личную! Всякие тут будут... Цурюк! — и ослаб, и повело; толпа попятилась, сынишка бросился на подмогу, отец отмахнулся: — Пшел отсюда!

Толстуха вылезла на палубу. Не оправляя облепившее платье, развела руками, и серые подмышки заблестали на солнце.

— Гражданочка! — нарушил голос общее молчание. — Может быть, ваша Любочка отбилась при посадке? Знаете, в толчее? Или на предыдущей стоянке как-нибудь сошла? Вы бы поискали на том берегу.

Сухонькая пожилая еврейка с болью смотрела на толстуху, цепко держа за руку внука, тучного мальчика лет десяти, который, держа подмышкой большую шахматную доску, смотрел на мир сей с тем же, возрасту не соответствующим, состраданием. Уедет, мне подумалось. Но не забудет никогда.

— Есть шанс, — поддержал и капитан. Поехали, мамаша. Кому на материк, прошу!

И взялся за поручень.

Как влитой стоял он у штурвала, ртутно сверкая потом, и твердо вел нас по мертвому морю своим пьяным, но прочно усвоенным курсом. Нас, допризывника, писателя, меня, он высадил у мыса, где за забором на подворье стояла «Волга», накрытая брезентом, после чего увел кораблик к пункту изначальному, где, конечно же, заждалась трехлетняя ундина, такая беленькая, в розовых трусишках...

Крепко обхватив себя руками, славянка в среднеазиатском платье неподвижно глядела вслед нам, а над ней вяло пошевеливался национальный флаг наш, выгоревший за сезон до белизны.





## IX

«Отцы и учителя, мысля: «Что есть ад?» Рассуждаю так:  
«Страдание о том, что нельзя уже более любить».



**П**ри виде черной «Волги» бритоголовый окончательно поник.

— Вы из милиции?

— Мы хуже, — сказал я, отмыкая заднюю. — Влезай.

Подросток инстинктивно принял руки назад, пригнул голову и влез, воспринимая нашу машину не иначе, как камеру предварительного заключения. Может быть, опыт имел с «воронками». Я запер его, через крышу подмигнул Ивану, и, поигрывая связкой ключей, занял место у руля.

— Но я же ничего не сделал?

— Нет, друг мой, — ответил я, включая зажигание и трогаясь. — Сделал ты очень уже немало. Убивал из рогатки птиц. Пытал животных — «братьев наших меньших». Обижал маленьких и слабых. Притеснял очкариков, евреев. Или в вашем классе не было? Насчет прекрасного, увы, все еще менее сильного пола я уж не стану, чтобы не вгонять тебя там в

краску. Ты ведь не любишь женщин? (Он молчал.) Ответь мне...

— За что любить-то?

— Наверное, инстинкт такой заложен в нас. Или в тебе он замутнился? Может быть, любишь ты мужчин?

— *Кого?*

— Скажем, таких, как мы с товарищем. Сильных. Состоятельных. Уверенных... (Молчание.) Тоже не очень, но сказать боишься... Ладно. Ну, а поэзию? Стихи?

— Кто же не любит.

— Да?

По пути к Подпольску я пытал своего пленника Пушкиным. Поглядывая в зеркальце заднего обзора, внедрял в эту темную душу светоносные строфы творца российского самосознания. От любовной лирики «взломщик мохнатых сейфов» густо побагровел; не поднимая глаз, он ерзал, вынужденный слушать и «Пажа, или Пятнадцатый год», и «Красавицу», и «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением», и это прелестное «Подражание арабскому»: *«Отрок милый, отрок нежный, Не стыдись, навек ты мой; Тот же в нас огонь мятежный, Жизнью мы живем одной. Не боюсь я насмешек: Мы сдвоились меж собой. Мы точь-в-точь двойной орешек Под единой скорлупой»*.

С тем и въехали в престольный Подпольск.

У пустынного трамвайного кольца в пыли по-летнему меланхоличной промзоны я притормозил; повернулся и поднял обрезиненный стерженек дверной блокировки.

— Вали отсюда, отрок.

Он несмело приподнял глаза.

— Вот! — втокнул рублевку в стиснутые между ног его ладони. — Такси возьмешь или бутылку бормотухи. Ну?

— Я только спросить...

— Спроси.

— Как бы это, ну... если к вам? Куда мне документы высылать — заявление о приеме, и все такое.

— *К нам*, это куда? — переспросил Иван. — В советскую секцию интернационала гомиков? Боюсь, Кирилл, что понят ты буквально.

Юноша смотрел на меня, наливаясь мучительной кровью любовного признания.

— *Туда*, — шевельнул губами.

— Спятил парень, — сказал Иван, а я нахмурился:

— Зачем тебе?

— Если призвание?

— У человека одно призвание, — сказал я назидательно. — Любить.

— Зачем вы так? Я же серьезно?

— Ах, ты серьезно? Каким видом спорта занимаешься?

— Самбо, — приободрился он. — Это в секции, а с ребятами, так отрабатываем карате.

— Не на прохожих, я надеюсь? (Он потупился.) Ладно... Ты парень крепкий. Хочешь стать еще сильнее — тяжелой атлетикой займись. Фигура у тебя для штанги перспективная. Толкай себе железо, и ни о чем не думай. Все будет — и бабки, и мир тебе покажут. А туда — не вступай. Не надо. Мой тебе совет. — Я перегнулся и открыл ему дверцу. — Иди гуляй!

— Между прочим, — криво усмехнулся он, — я тоже знаю стихи. И там совсем другой совет юноше, обдумывающему житье. «Делай жизнь с товарища Дзержинского!»

— Автора совета знаешь?

— Маяковский, — с вызовом ответил он. — Лучший и талантливейший поэт советской эпохи.

— А чем кончил этот бедный человек?

— Ну, застрелился.

— Не задумывался, почему?

— Так шлѐмы вроде затравили... Нет? (*И с ухмылкой.*) Все-таки сифон?

— Ну, народ, — вспыхнул Иван. — Спустили им версию, так полвека ее мусолят. Загранпаспорт отобрало ГПУ. Мир у всемирного поэта отняли, ты понял?

— Это детали, Ваня... — Не хотелось поминать все имя Дьявола, но как на низком, на советском языке изъяснить всю эту проблематику? Товарищ Маяковский — в отличие от им воспетого товарища — только одному-единственному человеку вынес смертный приговор: себе. Но и в этом случае Господь потерпел поражение. Злобя от ощущения своей неубедительности, я сказал:

— Маяковский, парень, дал загнать себя в чертов тупик. Именно туда, и не хер ухмыляться. Отваливай давай! Прописан в зоне, так отслужи давай. Вернись к станку и стань ударником. А не получится, так пей-гуляй, дебилов народи, схвати фингал под сердце — все же будет *жизнь*. А там ее не будет. Никакой!

Соскользнув на асфальт, он обернулся:

— Думал, раз в черной машине, они... А *они*...

Дверцу закрыл все же культурно, но, стоило мне тронуть, заорал вслед нашему московскому номеру, выворачиваясь наружу до уязвленных своих кишок:

— *Интеллихэнция!*..

Может быть, лучше было утопить. Выдержав паузу, я констатировал:

— Вот так его и встретил родной, можно сказать, город.

— Неужели ты родился в этой дыре?

— В другой. Но в этой, — ответил я, — прошли, можно сказать, наилучшие годы...

Отлетали заборы недобитых индивидуальных домиков, уносились назад запыленная, тучная зелень еще плодоносящих частных садов — о, кисло-сладкая антоновка, спасение моего авитаминозного детства!

Древняя бабка гнулась под музейным коромыслом, таща к водоколонке пустые ведра.

У перекрестка резко тормознул на красный. Был еще не вечер, но на углу, у забора, в сени перевесившейся яблоневого листы, пасся уже табун подростков. Бедные дети окраины,

обреченной прогрессу и ножам бульдозеров. Один с прыжка сорвал вместе с веткой зеленое яблоко, шлепнулся резиновыми подошвами на асфальт, бутристый и растресканный, оторвал листья, надкусил, но тут же, заметив наше сидячее внимание, сплюнул, выкатил челюсть и тем же фруктом замахнулся.

Иван отпрянул инстинктивно.

— Вишь? Черт ему не брат...

Акт яблочного террора не состоялся, другой подросток перехватил замах; вырываясь из рук дружков, при уходящем свете дня еще благоразумных, террорист выкрикивал:

— А хули они смотрят? Давят, блядь, на психику? Ты выйди из машины, начальник, поговорим! Пустите, ребя: раньше сяду, раньше выйду! — и, заблокированный, харкнул на нашу черную защитную оболочку.

Я газанул на красный; нас тряхнуло на трамвайных рельсах. — Прости... Да, партизанские традиции живучи в регионе. До сих пор тенденция составы под откос пускать. Я вот о чем, Иван Сергееч: не сменить ли в связи с этим колер?

— В смысле?

— Перекраситься. Связи тут кой-какие есть, так что наш «похоронный» мигом превратят в «небесную лазурь» или там в «брызги шампанского». А то неровен час. В другой раз с яблочка чеку сорвут.

— Брось... Мы же не в Италии.

— Не в Италии, — согласился я, умалчивая о том, что контингент наш намного чаще гибнет не *снаружи*, а дома. — Но береженого Бог бережет.

Оторвавшись от унылого бетона простонародных коробок новой застройки, писатель перенес на меня усмешливые глаза:

— Бог ли, Кирюша?

*Ну-ну.*



\*

Отель «Восток», выращенный эпохой разрядки в западной части города, был зарезервирован для интуристов, но, пробыв от силы пять минут наедине с директором, я вышел из кабинета с направлением в номер «люкс».

— Как удалось? — спросил он в лифте.

— А-а... Старые связи.

В холле третьего этажа шло какое-то собрание эфиопов. Дружественные нам черные люди недоуменно обернулись на редкий в этих стенах русский язык.

— Роскошь убийственная! — вскричал Иван, переступив порог номера. — Валютный оазис в пустыне рубля. Только для белых, ядрена вошь!..

Он бы разразился целой тирадой, но я — не Бог, друг мой, ты прав — прервал наложением длани на плечо.

Он оглянулся во гневе.

— В каком ухе звенит? — спросил я.

Глаза его разрядились; он прислушался...

— Оса?

С пальцем у губ я отступил к бюро. Выдвинул ящик, вынул листок почтовой, «шарик», ввалился в обитое рубчатым вельветом западное кресло на колесиках и написал (под эмблемой с изображением космической нашей станции): *Для тебя эта роскошь может оказаться убийственной в буквальном смысле. Вот послушай...* Отложил ручку и захлопал в ладоши, вызывая недвусмысленный резонанс, который, помимо всего прочего, красноречиво говорил о том, что, несмотря на пятилетку «эффективности и качества», халтуру гонят даже в столь ответственной сфере «народного хозяйства».

Он понял.

Расхохотался, хлопнул в ладоши и подставил ухо. Что-то в нем было наивное, Sophie, что-то неистребимо детское — при всем атлетизме и этой напряженной мужественности. Он кивнул, что примет во внимание, запел вполголоса «Родина

слышит, Родина знает, где в небесах ее сын пролетает» и толкнулся в двойные двери спальни.

Донесся восхищенный матерок. Сил подниматься не было, и я подъехал в кресле, благо на колесиках: богатый дядя-паралитик с неотесанным племянником.

Ложе там было двухместным — в расчете все же на гетеросексуальную чету заезжих миллионеров.

— Не карельская ли береза?

— Она самая.

— Так вот ты какая, — погладил он отвал кровати. — Ты и впрямь с глазами...

И перебросился всей тяжестью в постель. Рифленные подошвы еще хранили память о природе; ботинки эти из магазина «Саламандра», что на бульваре Сен-Жермен, недалеко от дома Аннаиг, один за другим свалились на пол. С улыбкой наблюдал я подопечного, который праздно расходовал остатки энергии, подбрасываясь на пружинах с уханьем. Зажег по обе стороны светильники и, наконец, утомился, раскинув руки.

Я бесшумно отъехал в салон к журнальному столику, на котором журналов не было, но был телефон. Потянулся к трубке, но раздумал. *Не отсюда.* Расшнуровал ботинки, разулся и стащил носки. Зажег сигарету, положил босые ноги на край стола и прикрыл глаза.

— Эх, — донеслось из спальни, — бабу бы...

Пальцы мне обожгло; удерживая столбик пепла, подъехал к столу, затушил окурок в огромной хрустальной пепельнице и взялся обожженными пальцами за мочку левого уха — мамин способ анестезии.

— Что ты там делаешь?

— Дрочу, — отозвался я сердито.

— Что-что?

— Сумерничаю.

— А как ты думаешь, Кирилл: ведь тут и киноглаз где-нибудь должен быть? Для съемок в инфракрасном свете? Тем хуже для вас, товарищи порнографы. Пикантных зрелищ этой ночью, боюсь, не будет...

Я поднялся, расстегнул джинсы, просунул большие пальцы рук под обтяг трусов и выпростал голые свои ноги из вместилец крепкого, но ноздрям моим отрадного мужского духа, тем более что собственного. Расстегнул рубашку и, оставив на спинке кресла, поднялся нагим. В салоне было уже сумрачно. Прикуривая, я смотрел сквозь приоткрытые двери спальни на своего спутника, освещенного интимным светом. Глаза его были закрыты, но губы еще шевелились; он доборматывал свою молитву (на слова Пастернака):

На меня наставлен сумрак  
ночи тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
чашу эту мимо пронеси...

В своей повитертой джинсовой паре он был красив в ту минуту — большой, обмякше-тяжелый, бледно-голубой на золотистом рельефе смятого покрывала. Впалые заросшие щеки, выгоревшие усы. Короткие завитки русых волос. Он был недвижим. Спал.

О стекло забилося надсадное жужжанье; оса ему, выходит, не слышалась. Я приблизился к занавешенному окну и сквозь тюль ухватил в щепоть вибрирующее яростью тельце. Приоткрыл боковую створку и выпустил бедняжку на волю. Прохлада вечера прильнула к лицу, и я так и остался — головой наружу. Перетягиваясь над подоконником, сквознячок пушил мне пах, медленно спрессовывая яйца. Над затылком напряженно гудела газовая вывеска отеля, нагнетая мертвенное розовое зарево, которое отражалось крышами иномарок на охраняемой стоянке. Снизу доносились волны ресторанного гула. Соседи слева ни с того ни с сего распахнули окно мне в свою жизнь. Это были американцы, простые, «позитивные» провинциалы, муж и жена; уложив детей в салоне, балагурили на пару в спальне, обсуждая наиболее оптимальный вариант супружеской близости при отсутствии противозачаточных таблеток, которые кончились у женщины еще в Москве и теперь невосполнимы вплоть до Западного Берлина, — досад-

ная деталь вполне удачного автопробега мимо России, в память о которой супруг предлагал взять да и зачать очередного бэби — пятого по счету.

Пара заокеанских кроликов, резвящихся в брюхе гостеприимного удава.

Я зафиксировал раму в приоткрытом состоянии и пошел в ванную. Грязные рубашки бросил в гостиничный мешок, а трусы с носками не доверил, выстирал собственноручно в просторной раковине. После чего принял тонизирующий душ, то горячий, то холодный попеременно, а в заключение, стоя на толстом полотенце, неторопливо-тщательно побрился. В сумке была еще смена чистого. Одевшись, я разложил по карманам кожаного пиджака документы, деньги, три пачки «цыганок» и свою бензиновую зажигалку. Заглянул в спальню. Был бы я «Железным Феликсом», я бы не преминул накрыть товарища суровой солдатской шинелью. Увы! Момент сексуального простодушия в этой стране уж миновал. Хотел оставить записку; ничего остроумного не придумалось. Надеюсь, до зари он не проснется, ну, а дольше мы не куролесим.

Ковровое покрытие глушило шаги.

Я вызвал лифт и, глядя в зеркало, спустился в город наш, Sophie.

Я бреду, отворяю разбитые двери телефонных кабин: трубки выдраны с корнем; позвонить мне бы надо, сговориться о встрече, убедиться, что наши друзья, очевидцы, свидетели наши еще существуют, и значит, не приснилась любовь, а была и сияла — золотая тончайшая нить, о которой я помню садняще, ибо все ей пронизано было и держало Боготканый узор бытия, изначальный наивный сюжет: *ты и я...*

Неподвижные липы, пустые троллейбусы вдоль тротуара; то сникаю во мраке, то вновь проявляюсь свеченьем инертного газа, погибаю, надеюсь спастись — и ныряю обратно во тьму, под удушье закопченной, жесткой, несносно-тяжелой поминальной листвы: это август. И мне тридцать три — оболочке

изжитой. Незабвенная! Мертвый свет серебрится на амфорах мусорных урн, надрывая мне сердце. Как запущен некрополь мой. Некому, кроме меня, к ним, бедрастым, припасть, притереться, оттереть эту жадную сажу, эту липкую пыль и плевки, чтобы вновь воссияли они, погребальные урны империи, триумфальными трубами Ангелов *сильных*...

Но не взрывом, и даже не взвизгом это кончилось все.

Господи! Я любил.

Не случайно ведь Сатана ошарашенный среди сонма теней указал на мою, выслав в ночь, чтоб оплакать Свое торжество...

Только б выйти на связь со своими.

Как гроба, закрывая стоячие будки убиенных безвинно городских телефонов, постепенно я выбрался из угрюмой низины, над пустырями которой скорбно витают души обитателей еврейского гетто, во время нацистской оккупации расстрелянного, а после Победы исчезнувшего бесследно под катками асфальтоукладчиков, — сколько было их? Тысячи, неучтенные тысячи душ...

К монастырской стене психбольницы на крутой обулыженной улочке прилепилась кабинка еще одного телефона; и этот был жив.

«Небыков на проводе», — отозвалась трубка самоуверенным и властным, и начисто лишенным юмора голосом Юниора (как прозвал в свое время друг мой Эд своего младшего брата за спортивные успехи в многоборье). Помню, как давал этот вот голос петуха, когда ликующий Юниор хвалился нам своим ранним умением жить, своей пионерской инициативой, проявленной им во Всесоюзном лагере Артек при отборе посланцев советской детворы на «Остров Свободы»: за право поцеловать Фиделя Кастро в бороду предприимчивый мальчик отдался оральным ласкам похотливого, но застенчивого комсомольского босса. Давно это было, и сейчас он сам босс в местном инязе, где спуску не дает своим идеологическим подопечным, прищучивая их по лингафонным кабинкам и тем са-

мым компенсировав неизбежные потери первоначального периода накопления власти.

«Добрый вечер, товарищ, — сказал я. — Спешу сообщить вам пренеприятнейшее: к вам прибыл ревизор».

«Кто-кто? — и он прикрикнул на кого-то в сторону: — Да тихо вы!..»

«Ревизор, — ответил я печально. — Из контрольно-ревизионной комиссии ООН. С чрезвычайными полномочиями. Проверить, как вы тут, товарищи, соблюдаете права человека».

В наступившей паузе я расслышал отдаленный звон хрусталя, которым сервировали стол, а потом Юниор сорвался с цепи:

«Я тебе, падла, сейчас покажу права человека! С улицы, небось, развлекаешься?»

«С улицы», — подтвердил я.

«На анонимность рассчитываете? Тоже мне, герои! — бросил он с презрением. — Брали б пример с московских диссидяк — те у мира на виду работают. Честно! А вы? Вместо того чтоб с открытым забралом, исподтишка. Не стыдно?»

«Так другие условия, товарищ Небыков, — начал оправдываться я. — Там, в столице у них, западные корреспонденты с микрофонами, а у нас? Хоть криком кричи, до мирового общественного мнения не докричишься. Одно слово: провинция!»

«Ну, обнаглели, едри вашу мать! — с восхищением даже закричал в трубку Юниор. — Может, вам еще корпункт Радио «Либерти» аккредитовать? А? Для удобства апелляции? Эй, там, на АТС — слышите этого фрукта?»

«Так точно, товарищ Небыков!» — рявкнул мне в ухо голос посредника, до сих пор дававшего о себе знать только характерными шумами прослушки.

«Откуда вещает?»

«Угол Советской и Коммунистической, — доложил посредник. — С кабины, что у дурдома».

«Вот туда тебя сейчас определим, — посулил мне Юниор. — Умник, бля... Машину выслали, надеюсь?»

«В пути, товарищ Небыков!»

Дальше ситуацию запускать не стоило.

«Отставить машину! — скомандовал я. — Отбой, ребята! Ты меня слышишь, Юниор? Караев говорит».

Ошарашенная пауза.

«...Кирилл?!»

«Он самый».

«Исполняйте отбой, — сухо бросил Юниор, после чего вскричал: — Какими судьбами, дружище? Мы-то здесь думаем, Кирюша на углу Бродвея и Шанзэлизе, а он... — Заржал, как конь. — Слушай, как раз у нас гульба намечается. Батя на утиную охоту свалил, так что хата в нашем полном. Надеюсь, не при исполнении?»

«До утра свободен».

«Порядок! На колесах, нет? Ну, тормозни мотор. Я бы за тобой подъехал, но, во-первых, второй тайм сейчас, а во-вторых, ты сам увидишь... В гипсе весь на хер. Эй! — отвлекся он, — врубите погромче, а шампанское в морозильник... соггу, Кирюша!»

«Кто руку на тебя посмел поднять?»

Польщенно рассмеялся. «Не, ничего такого... В Киргизии поломался, на слаломе. Вот где, между прочим, горки! Это тебе не Бакуриани... Слушай! Но ты же рядом с Театром?»

«Ну?»

«Там Эдька сейчас пасется! Так что есть мотор. Белый «Фиат» у служебного входа — это будет братан. Давай, Кирюша!»

«А что за игра?» - спросил я, услышав в трубке позывные «Евровидения».

«Ты что, не знаешь? Наши с ФРГ».

«А счет?»

«В том-то и дело, что о:о... Волнуюсь жутко. See you soon» .

Дверца закрылась с железным скрежетом. Глубоко затягиваясь сигаретой на подъеме, я вышел к перекрестку, преодолел наклонную плоскость мостовой и поднялся на тротуар. В

висках стучало. Щелчком отбросил окурок, перемахнул чугунную ограду и нырнул под темную листву сквера, разбитого здесь, на подступах к залитой асфальтом вершине холма и воздвигнутом на ней здании Театра Оперы и Балета, которое заставило меня вспомнить картину Брейгеля-старшего «Вавилонская башня» — и себя, стоящего перед ней в обоих ее вариантах как в Вене, так и в Роттердаме — и думающего о Подпольске.

На одной из скамеек женщина в мужском пиджаке внакидку оседлала хилого юношу; сжимая его бедрами, в свете луны сверкающими белизной, сверху впивалась в губы ему — запрокинутому и робко придерживающему на ней пиджак. Задыхнувшиеся, они не услышали меня, тенью прошелестевшего по газону. Я вышел на асфальт, поднялся по аллее, по старым бетонным ступеням; Театр, грандиозный шедевр тоталитарных Тридцатых, казалось, спускался на эту землю прямо из тьмы небес — всей своей каменной массой, расширяющейся книзу. Проектора освещали колоннаду главного входа. Я свернул налево, где мерцало с десяток машин — все черные, кроме одной. На полпути остановился и глубоко вздохнул, чтобы унять сердце. Отсюда, из-под театральных стен, был виден весь юго-запад моего холмистого города: розовым заревом на горизонте обозначался отель, где спал последний из приобретенных мной в этой жизни друзей; двуглавый барочный костел Сошествия Святого Духа белел прямо над психбольницей, куда, по мере моего приближения к совершеннолетию, все чаще увозили маму во-о-он из того маленького монастыря...

Полная луна озаряла Подпольск — застывшее в камне житие мальчика Караева, а за моей спиной, в белом «Фиате», дремала тень его лучшего друга.

Я резко повернулся и пошел к машине. Четырьмя пальцами снизу придавил металл ручки и распахнул дверцу:

— Полиция нравов!

Он оторвался лбом от скрещенных на руле рук, взгляделся, не узнал, но ответил с характерным заиканием:



— Н-нравы меняются с временами...

— Чего нельзя сказать о нас с тобой, — сказал я, садясь с ним рядом, — не правда ли... Эд?

— Что?

— *Хуй тебе на обед!* — и ударил в плечо ладонью, чтобы вывести из состояния шока.

— Ты?

— Ну а кто же.

Мы созерцали друг друга в сумраке машины.

— М-мать. К-к-как она?

— Цветет. Как Тая?

— Х-х... худо.

— Очень?

— П-последнее п-переливание.

— *Последнее?*

— Б-больше не будет. — Пауза. — Соня-то как...

— Да, — признал я.

— М-мировая звезда. Би-би-си недавно.

— Да.

— И... и... — зашелся он снова. — И «Голос Америки»... *Игры под трибунами...* — Бедняга взмок, пока выговорил название твоего пока лучшего романа, Sophie. — Читал?

— Естественно.

— Мы все там под одной обложкой. Подумать только. В одном классе учились...

Я вынул пачку сигарет, стал срывать целлофан.

— Ф-французские?

Я кивнул.

— К-космос?

Я взглянул на него.

— Все на космос работаешь?

«Космос» была моя официальная легенда, но дети Небыкова были, конечно же, в курсе того, что под ней скрывалось, и смотрел он на меня с состраданием.

Порывисто мы обнялись. Он был выбрит, как утром, и благоухал по-отечественному нестерпимо.

— Ибо все ды-ды... — Передохнув, он попробовал еще раз, но не вышло. Смеясь над собой, повторил попытку: — *Ибо все д-дозволено?*

— *Коли нет бессмертия души,* — отозвался я на юношеский наш пароль.

— *Д-ды... ды...* — кивал он скорбно. — *Все ды... ды...*

Как в театре абсурда, ей-богу.

Нас озарило фарами подъехавшей машины — на мгновение, а потом черная «Волга» стыдливо затемнилась. Вокруг стояло уже с десятков мерцающих черным лаком ее близнецов.

— Т-т-тузы порока. — Он бросил взгляд на свое запястье, тускло просиявшее золотом. Был он в замшевых перчатках, пальцы голые. В автомобильных. — Съезжаются п-под занавес. П-пойду, пожалуй. Пять минут.

— Премьерша, я надеюсь?

С заднего сиденья он взял букет мясистых георгинов, упакованных в хрусткий целлофан.

— К-кордебалет.

С заведенным за спину букетом он долго удалялся к подножию Театра, пересек границу света и остановился у двери, над которой красно и облупленно светилась лампочка служебного выхода, — чопорная фигурка. Он всегда был сторонником консерватизма в том, что касается внешнего вида, и со школьной скамьи носил только костюмы. «Респектабельность, — говаривал он, — к-к-конденсирует п-порок». Логопеды в его случае оказались бессильны; поэтому отцовской стезей он не пошел. С другой стороны, в нежном возрасте мамаша изгоняла из него беса автоэротизма, заставляя подолгу держать на вытянутых руках тяжелые темно-коричневые кирпичи из ПСС Маркса—Энгельса, что навсегда отбило в мальчишке интерес — не к Эросу, естественно. К единственно-верному учению.

Служебная дверь отвоилась; одна за другой стали выпархивать в реальность отганцевавшие на сегодня балерины. Цокая каблучками, девушки распределялись по машинам. Однако свой букет мой друг вручил не девушке, а здоровенному амба-

лу — и они поцеловались. Причем, не как в Париже. С чувством!

*Nil admirari.* Я пересел, завел машину и тронулся навстречу паре.

Они устроились позади меня. От друга моего друга несло потом, как от жеребца, и я, пристраиваясь в хвост черной «Волге», высказал уверенность, что публика адекватно отреагировала этим вечером на «русской Терпсихоры душой исполненный полет», не так ли? Мой друг неверный встревоженно умолк, но энергичный хохот пахучего балеруна его успокоил.

— Во-первых, не русской, а татаро-монгольской, скорее, — продемонстрировал балерун похвальное чувство юмора. — Мы тут, видите ли, на гастролях. А во-вторых, отчего бы нам сразу и не познакомиться? Руслан.

Я снял руку с руля и, не оборачиваясь, пожал пальцы протянутой мне руки, буркнув, что очень приятно.

— А в-третьих, — не утомился он, — жрать охота — умираю! Куда мы, Эдинька?

— К-ко мне.

— А ты икоркой угостишь? Вы знаете, — отнесся он ко мне, — что паюсная по своим питательным совсем не уступает...

— Уступает.

— Сперме?

— Нет, — и мысленно я увидел светло-синий фасад магазина Petrossian у площади Инвалидов. — Иранской паюсной.

— *Иранской?* Ха-ха-ха! Не пробовал! Что ты мне ножку жмешь, дружок? Этот Небыков, между нами говоря, такой стеснительный!..

Я вырулил на проспект Ленина — пустой, широкий. В этой стране одно удовольствие вести машину ночью.

Центр города был компактным; минут через десять я притормозил перед белым шлагбаумом — скромной препоной в заповедник Власти. Фонари за оградой освещали лужок, внимание тем самым отвлекалось на скошенную траву, и здание за лужком, которое горожане с бесклассовой (не ненавистью,

нет) *досадой* называли «Дворянским гнездом», выглядело ненавязчиво — даже, можно сказать, деликатно. Тем не менее, охранялось. Из белой будочки вышел страж и поднял шлагбаум. Он был в летне-милицейской форме и белых перчатках. Когда он взял под козырек, за моими плечами раздался выдох мощных легких танцора:

— Живут же люди!..

От лужка исходил, наполняя машину, такой сильный дух сена, что мне вдруг страстно захотелось на волю — в деревню, в глубинку, в какую-нибудь извечную глухомань; именно этот порыв души и предопределил дальнейший наш сюжет, поскольку, в разгаре оргии, когда один из ее участников, кинорежиссер стал жаловаться на отсутствие «настоящего русского парня», я немедленно заложил ему Ивана. А все тот луг, тот взрыв воли в абсолютном центре города, тот надел бытия — в общем-то неувидительный для нашего города, очень и очень зеленого — и это, наверное, лучшее, что можно о нем сказать.

Помнишь, Sophie, как мы с тобой занимались любовью в разросшемся газоне — в центре, напротив Филармонии, в семнадцать, ночью?

Впрочем, и в том же Париже, к слову сказать, отыскал я пшеничное поле. Я часто лежал там, среди колосьев, затылком на своих ладонях, забываясь в созерцании под звездами. Что и говорить, ген вольного хлебопашца не сдается во мне, ублюдочном потомке канувшей российской вольницы. Женщин я в то поле не водил. Разве что клошары порой нарушали мое самозабвение. Дать адресок, Sophie? Европа, Франция, Париж, раздавленные подо мной колосья...

Во поле том, любовь моя, и сложить бы буйну голову во цвете лет. Впрочем, подходящих мест немало. Ну и — откровенно говоря — было бы обидно не выкинуть какой-нибудь фортель прощальный. Этак, метафорически говоря, — не броситься, обязанному гранатами, под танк. То есть, если уж твердо решиться и назначить дату, как шведский писатель Стиг Даггерман. Только где он, *танк*?

Из подземного гаража мы поднялись на лифте, и, выходя, танцор не преминул тирануться ягодичей об мою ширинку, туго налитую тщетной кровью.

\*

— Сделали фрицев, *дзэуки!* Мы их сделали! — вопил на всю квартиру голос, отчего Эдик страдальчески скривился. Мы вошли в гостиную, и Юниор, взмокший, ликующий, всем корпусом рванулся нам навстречу из черно-кожаного кресла:

— Всухую, парни! Представляете? — и притиснул к подлокотникам пару юных особ, тугих, задастных телочек, запунцовевших и потупившихся. Юниор крепко держал их за бедра, накрахмаленная рубашка топорщилась, галстук не завязан, брюки не застегнуты, а на пуфе перед ним лежала загипсованная нога, такая отдельная и как бы самостоятельная.

— Как в сорок пятом, парни! Полная и безоговорочная! Тащи шампанское, — отпихнул Юниор телочку, которая выпустила его галстук и, полновесно взбрасывая попой, выбежала из гостиной; обе были босиком. — Все, вырубай, — велел он другой, и та, пылая мучительным румянцем, пошла к телевизору. Прежде чем она стала наклоняться, я отвел глаза.

— Ну, парни! ну, игра!.. — Юниор перекатывал стриженный затылок по черной коже и мощно тер грудь под рубашкой.

Старший брат обменялся с танцором ироническим взглядом.

— Дай! — протянул Юниор руку к шампанскому. Содрал серебро, раскрутил — выстрелил. — Тару!

— *П-пьяной горечью Фалерна*, — начал Эдик, и танцор подхватил:

Чашу мне наполни, мальчик.  
Так Постумия велела,  
Председательница оргий.

Юниор только покосился...

— За победу!

— За *нашу* победу, — ответил я ведомственной формулой из незабвенной, тоже всецело нашей, кинокартины «Подвиг разведчика» — многократный был её юный зритель.

— И за встречу, Кирилл! Очень рад.

Шампанское было, конечно, «Советским», но мерзлым. Брют — дефицитнейший в этой стране «полусладкого». Я поставил хрустальный фужер на ковер. Танцор удалился «омыться», за ним последовал друг мой Эдинька, с натугой мотивировал: «П-п-полотенце!» Телочки продолжали одевать инвалида, одна неумело застегивала брюки, у другой никак не выходил узел на галстук, тогда как Юниор, возложив руки на подлокотники, вел со мной мужской разговор:

— Во-первых, как Отец?

Он так и произнес — с заглавной буквы.

— В порядке. Курит.

Он испугался:

— *Курит?*

— Ему портсигар подарили специальный. Каждый час сигарета выскакивает.

— Так у него же с сердцем?

— Нужно будет, американцы другое вставят.

— Да... Девчата, а ну на кухню! Я тут, Кирюша, обзвонил всех ваших, так что... Небольшой *session*?

Я поднялся, взял галстук в свои руки.

— Таисия будет, потом этот, что в писатели все рвался — Сержик. Никита подъедет. Он фильм сейчас у нас снимает. Про войну. Точней про оккупацию...

— Ого, — сказал я, затягивая узел. — Тема скользкая...

— На то и мастер, чтоб не подскользнуться. Спасибо. Ничего галстук?

— Супер.

— Итальянский. Еще Катька подойдет. Злокаузова дочь. Невеста Эдькина.

— Невеста?

— Ну! Эдька, он рогом упирается, не хочет замуж. А что нам делать? Видишь, чего творит... — Он глотнул шампанского. — Ничего! Мы с батей обломаем. Да Катька и сама — крутая девка. Наставит на путь истинный. Прокурорша — от такой не загуляет.

— Но как же Тая? Они же с Эдькой собирались под венец.

— Таисия не возражает. Последнее переливание ей сделали — он говорил?

— Сказал.

— Осталось месяц-два. Она об этом знает и мыслит реалистически. Жестокая все-таки штука жизнь, скажи? — Он опустил голову, сдавил бокал. Вздохнул. — Но дело даже не в Тае. Какая уж тут Тая, когда он... А? Что ты на это скажешь?

Я опустил взгляд, чтобы поднять бокал.

— Было бы это в заключении или там в армии, оно бы еще понятно. Когда припрет, куда угодно вставишь, лишь бы дырка, — без тени иронии сказал Юниор. — Но он же на воле творит, причем, еще и афиширует. Прошлой весной такой скандал с ним был, что батя еле замял. Либеральничает с ним. Я бы на месте бати со всем этим шоколадным цехом в раз покончил! Недавно в «Плейбое» прочел: Адольф, он, оказывается, не только евреев, он и этих извращенцев в крематории загонял. С полмиллиона, вроде бы, развеял с дымом. Круто, конечно, но... что делать? А? Ты как считаешь? Лично бы я, Кирилл, вот этому плясуну татарскому лет пять впаял бы с пре-большой охотой. Ты знаешь, что Эдька собирается за ним в Уфу? Позорник. Нет, это мне все уже вот так! Остолбенело. Арфисту тому, с кем он до этого яшкался, батя, великий гуманист, концертное турне устроил по Байкало-Амурской магистрали — между нами только, да? Эдька не знает. А я бы не в турне: впаял бы пятерик, и лес вали стране на пользу. Электропилой «Дружба»! Нет, что творится на Святой Руси? Никогда такого не было.

— На Руси всегда всё было, — оспорил я, — включая гомосексуализм.

— Но не в наше время. Не в советское?

— Советское как раз и началось с отмены наказаний за гомосексуализм. За *мужеложество*, точнее, поскольку на лесбиянок у нас и при царе сквозь пальцы смотрели. А срока обратно вешать стали только в год, когда Германия отдалась Гитлеру.

— Разве?

— Именно, что в тридцать третьем. Специально справлялся. А до того в Стране Советов, считай, пятнадцать лет, терпели византийскую традицию. Как Ленин, так и Сталин. Между прочим, в книге протопопа Аввакума содержится ясное указание, что традиции этой мы обязаны вовсе не гнилому Западу и уж, конечно, не евреям, а, представь себе, христианству — тысячелетие которого мы справим на Святой Руси в 1989-м... если доживем.

Эту ересь он пропустил мимо ушей, видимо, пораженный долготерпением кумира-гомофоба.

— Видишь? А они все клеветают на Иосифа Виссарионовича, — сказал он наконец. — Чтобы именно в год прихода Гитлера принять такую меру против педаков — тут историческим провидением нужно было обладать. Ведь верно? А я бы даже раньше принял — так, чтобы поколение, насильно вырванное у педрил, не на послевоенное восстановление работало, а вступило бы в призывной свой возраст прямо к июню 41-го. Я не имею в виду твоего отца, но ты скажи, Кирилл... О чем сейчас думает в Кремле весь этот «коллективный разум»?

Юниор, несомненно, тяготел к раздумьям на глобальном уровне — в отличие от нас, грешных, родившихся в год победы над фашизмом. С кулаками на подлокотниках кресла выглядел он уже сейчас очень внушительно — несмотря на за гипсованную ногу. Просто образцовый руководитель нового типа.

— Да, поломался я слегка, — ответил он на взгляд и рассмеялся. — По причине временной неподвижности и эти обе две, — кивнул он в сторону дверей, — еще у меня *цэ*. В институт ко мне экзамены сдают. Ничего станочки? Деревня, между прочим. Не знаю, как ты, но в этом деле спуску я им не даю! —



Порыв заразительного, мальчишеского смеха, после чего он посерьезнел: — Там-то как у нас — в открытом космосе?

— С переменным.

— То мы воткнем, то нам?

— Вот именно.

— Ничего, еще засадим им по самые, — утешил Юниор. — Наливай, не стесняйся; неплохое ведь шампанское? Телки передержали в морозилке, но сейчас, по-моему, в самый раз... Учение Маркса, Ленин говорил, «всесильно, потому что верно». А я говорю: верно, потому что *всесильно*. Какого туману там не напускай, а на мировой арене решает единственный фактор — сила. В этом смысле равных нам, конечно, нет, но вот что лично меня тревожит... Тот же Ленин говорил, что идея или там вера, овладевая сознанием масс, становится материальной силой — помнишь?

— Азбука.

— Тогда ведь и отсутствие идеи?

Я развел руки — убит, мол, логикой.

— Материальная сила неверия вряд ли способна разрушить эту систему, но не видеть, как работает она против моего народа — этого, Кирилл, я не могу. Мы саморазрушаемся, что очевидно. Приходилось бывать в типичном нашем магазине в час открытия винного отдела?

— Хочешь сказать, что на данном этапе партия несколько подзапустила идеологическую работу?

— Мертвые слова, — поморщился он. — Нужно искать живые. Марксизм не догма, а руководство к действию. И действовать нужно немедленно, ибо промедление смерти подобно, а я, Кирилл, отнюдь не враг себе. Ты вот насчет христианства прошелся, а ведь Христос — идея, которая работает.

— Против системы.

— Не столь важно. Важно, что работает на возрождение нации, то есть на фактор силы. Ради конечной цели Ленин шел на компромисс с самим чертом. Только с Христом оно, по-моему, намного более выгодно — искать общий язык. Да и проще.

— Сомневаюсь. Впрочем, тебе видней. Лично я предпочел бы найти общий язык с Буддой.

— Мы же белые люди, Кирилл?

— Все люди братья.

— Убедил! — Он засмеялся. — Поедешь Первым секретарем в братский Китай?

Зазвонил телефон; досмеиваясь, он перенес бокал в левую руку и нашарил трубку.

— Небыков на проводе... Да-да, Василек, впускай их. Тебе как сегодня вообще — стоится? Может, стопку монопольной вынести? Ах, ты в стакане ее предпочитаешь? Нет, брат, стакан свой выпьешь, когда положенное отстоишь, а вот кралю выслать тебе могу, а? А? Чтoб веселей стоялось! — Юниор бросил трубку. — Потерянное поколение явилось. Так о чем это мы, Кирилл?

Но меня ветром сдуло.

По пути к входной двери мне вдруг вспомнился июньский вечер 1963 года, когда нас, юных провинциалов, снабженных аттестатами зрелости, сбывали в ту жизнь, которую взрослые с придыханием называли «Большой». На торжественное собрание были приглашены представители выпусков прошлых лет, те, кто чего-то в советской этой жизни добился, и среди них, я помню, была одна чемпионка по стрельбе из лука, которая просто зачаровала меня своим косноязычным рассказом о Цейлоне и Канарских островах. Краснощекая, полногрудая, еще совсем молодая, эта стрелчиха на трибуне была для меня словно в ореоле постороннего мира. Что ж, Sophie, и невозможное сбылось: я стал глобален; ты тоже; по-разному, но оба мы прорвали «красную нитку» — единственные из выпуска того года, последнего, по сути, года Оттепели...

Я сжал в объятых сильно отощавшую наощупь Тайку и смотрел сквозь слезы на облысевшего, но все еще ершистого Сержика, наряженного в убогий пиджачок.

— Когда, отец, вы кончите с вашим космическим блефом? — кричал он, хлопая меня по плечу с почтением. — На землю когда, наконец, спуститесь? На многострадальную нашу? Здоров, отец!

— Косметику размажешь, — отстранялась Тайка, — Кирюша, ну! Лучше скажи, где наш Сократ... Ну-ну, держись, ведь ты мужчина, — укорила быстрым шепотом.

Я пришел в себя:

— С Алкивиадом он. По-моему, в ванной.

— В ванной? Это Сенека в ванной был. А ну? — Худые пальцы, на которых уже и кольца не держались, легли на полированное дерево перил, ведущих на второй этаж квартиры, роскошной по любым стандартам. — Накроем их, ребята? Кто любит меня, за мной!

— Я за шампанским только! — крикнул я азартно.

Юниор в одиночестве курил американскую сигарету.

— А впрочем, я не прав, — сказал он, глядя, как я, зажав под мышками ледяные бутылки, набираю меж пальцев букеты звенящих бокалов. — Вы не потерянное, вы — не в обиду будет сказано, Кирилл! — погубленное поколение. Не ваша вина, что Кукурузник загубил вас на корню, но на беду — на нашу — он вас так и оставил догнивать.

— Мерси, — сказал я, — только спасенных поколений в истории нашей еще не было.

— Так будут.

— Блажен, кто верует, — сказал я, выбегая, — раз уж такой удел нам — догнивать в своей компании.

Жить, умирать — не все ли едино? Главное, чтобы со своими...

В прихожей тенькал мелодичный звонок, а одноклассники смотрели на меня с высоты лестницы.

— Кирилл как елка, да? — сказала Тая. — Сияет и звенит.

— Сейчас мы этих римлян мокренькими! — крикнул я.

Освободил мизинец, оттянул замок.

Это был Никита, режиссер. В свое время чемпион города по толканию ядра, богатырь явно растренировался — раздался во

все стороны, бороδιцей зарос. Этакий мыслящий медведь. В американских джинсах, разумеется. Хищно глянув, ввалился и задавил в объятых.

— Вот кто мне нужен! Что, байконурец, окажешь услугу важнейшему из искусств? Соглашайся на месте, не то задущу. Гипербореец нужен позарез. Такой, как ты!

— А что за роль?

— Два пальца об асфальт! Спалишь мне Божий храм, а там катись на все четыре: в пустыню, в космос, к черту на рога...

— Я — Божий храм? Да никогда!

— Ну, удружи, спали! — толкало могучее брюхо. — А я тебе за это натуру покажу, какой ты и не видел. Водка моя, рассол и девки забесплатно. Ну, а за роль Сверхчеловека оплачу по высшей ставке. Сыграешь?

— Так и быть, — сказал я, чтобы вырваться. — Потом, потом уговоришь... А в ванной, между прочим, — кричал я Тае, возносясь по лестнице, — не только Сенека, но и Марат с Шарлоттой Корде! — и пойдй разберись, Sophie, что именно имело в виду мое подсознание в том ассоциативном припадке.

А он — медведь — басил нам снизу вслед:

— Опять затеи, в Бога душу мать. Чума на дворе, а они все резвятся, будто уже в раю. Несолидно это, да и незаслуженно... Ужо вам, либертины!

Что бы Никита ни имел в виду, с любой точки зрения он был, возможно, прав, и тем не менее в ту ночь нас всех — и бедных девочек-абитуриенток, и дебютанта на поприще большой политики, и погибающую от лейкемии женщину, специалистку в области пластической хирургии, и школьного учителя словесности, танцора, технократа, юриста и, наконец, меня — подхватил и унес водоворот веселья, припадочный безудерж утащил; так угли, уже подернутые стылым пеплом, внезапно вспыхивают, сдвинутые в кучку: бледным огнем, моя любовь.

Из-под двери просачивался пар.

Губы Тайки — черные от алой на свету помады — повелели единым выдохом:

— Будем спонтанными!..

\*

Сугроб радужной пены занес по уши ловцов подсудного кайфа. Хозяин дома уступил своему гостю отлогое изголовье (которое, когда случается влезать в подобный жидкий будуар не одному, обычно уступаю даме), гость взвалил на плечо хозяина ногу, пять распаренных пальцев которой, впрочем, с ухоженными ногтями, весьма непристойно пошевеливались, тогда как глаза обоих были закрыты!!!! красные маски!!!! слепого блаженства, всплывшие из-под льда к лункам *Master/Slave S/M татарин/славянин*, и стало жутко мне, как в детстве, когда, застав любовь врасплох, вдруг прозреваешь под маской наслаждения оскал Костлявой. Не выдержав, издал я первое, что в голову пришло:

Зато мы делаем ракеты!  
И перекрыли Енисей!  
А также в области балета  
Мы впереди...

Вознес бокал — хор подхватил:

Мы впереди планеты всей!

С ужасом в глазах прозрели маски, сугроб заколыхался, расплескивая из-под себя воду, и, слабея от хохота при виде этих рож, я сел в биде. Фаянсовую раковину помнишь, Sophie? Впервые в жизни открыли мы в одном из старых новых домах Небыковых это ошеломительное приспособление, положенное в отечестве влиятельным лицам, начиная с данной иерархической высоты, помнишь, как Эдька веселил нас рассказами о смущении, охватившем предков при виде этой разновидности комфорта (с фонтанчиком!), которую в конечном счете наш *VIP* нашел весьма удобной для омовения ступней, что было одной из житейских его мудростей, и он, славный в

общем дядька, неоднократно наставлял и нас, циничное племя, вхожее к ним в дом: «Парни, обязательно мойте на ночь ноги холодной водой: никогда сопливиться не будете!» За неимением иных радостей наш VIP насаждал культ здоровья, культ бронзовых мышц, крепкого удара в подбородок и точного попадания в десятку. Бедный VIP, видел бы он, как с воплем «П-постумия! П-постумия!» его неплохо накачанный старший, в притворном ужасе прикрывая груди, которых не дал ему Господь, исчез под пеной.

— Как посмел ты, о несчастнейший? Ты бросил вызов самому Олимпу! Трепещи теперь! Постумия в ярости! — Тайка толкнула Эдку обратно, под пену, и выдернула за цепку резиновую затычку. — Фалерна, мальчик! Обнажим несчастных!

Я подставляю хрусталь под ленищуюся струю, я залпом вгоняю в себя лед, меня знобит, и я кричу:

— Калькутта! О, Калькутта! — и все сверкает и отсвечивает в черном кафеле, дробится в хrome, извивается в мутных зеркалах, а сугроб оседает, а Председательница оргий взбирается с ногами на стиральную машину «Эра» (вьются волоски над белыми краинами трусиков), и ванная резонирует хохотом, сию в биде, мне весело, и весело тебе, еще шампанского, *М-мальчик*, а Эдка вовсю резвится в ногах у чужака, да где это вообще, *Уфа?* скользит, идет враскрут, мелькает попойкой белой, шлепает (играя в стыд) по бронзовым своим грудям, то срам прикроет, то покажет сизую клубничину в красивой мокрой черной бороде, лукавый гном, мы все уже забрызганы, одновременно он пытается спасти тощающий сугробик, зажать под ним дыру, скользит на четвереньках, но в ужасе спохватывается: позитурка! А Тайка, раздув щеки, обдает его, сверкающего, фонтаном льда:

— Изменник!

Ножом шампанского его — ведь за измену нож! Я сию в биде, в губах моих хрустальный край, вино чистое, мерзлое, конечно, не Моэт и не Клико, но все же настоящий крымский брют, и сердце пульсирует в кончиках пальцев, в висках, в паху — везде, пальцы расстегивают рубашку, мы все свои, мне

хорошо, я снова с ними, и воронка стаскивает с тела чужака воду, отлив смывает с рельефного брюшного пресса пену, пена танцует пузырчатой каймой вокруг выпуклых бедер — он пригубляет свой бокал, он пуст, невозмутим, он царственно спокоен — пах чисто выбрит, на лобке тончает лужица воды: размыкается, смыкается, вот и скатилась с чресел — да... тут ничего не скажешь. *Bien membré*<sup>9</sup>.

Я перевожу глаза на юное лицо танцовщика, у него тяжелые веки — красив, красив. *Друга моего ебет*.

— Фью-фьюить! — присвистнула Тайка. — И булава же у тебя, дружок! — Взрыв хохота; я мотаю головой над своими коленями. — Эталон, и только! Моему бы шефу предъявить такой, в делириум бы от восторга впал старик... Эй ты, изменник! — бросает Эдику. — Не хочешь: подарю тебе такой же? Пока еще не поздно, давай займись тобой вплотную? На всю оставшуюся жизнь тебя я осчастливлю? Хоть до колена, если хочешь? В знак вечной памяти?

И мы ложимся снова, потому что подруга наша, дизайнер плоти, диссертацию свою (которая останется незащищенной) готовила под руководством светила медицинских наук, скульптора форм мужественности; как Господь Бог, но только не из глины — из мяса пациента, подпольский старичок наш без устали валял хуи, можно сказать, валял их всему Советскому Союзу, порой на ровном месте созидавая просто чудеса. Его лучшая ученица залпом осушила остатки, которые тут же ей восполнили, и повернулась к танцору:

— П-послушай... нет, дама просто дар речи потеряла... Ты слушаешь, малыш?

— Я весь внимание, мадам. — Он улыбается, *призер*.

— При всем своем восторге — чисто профессиональном, милый друг, не стоит обольщаться, мадам пребывает в некотором недоумении. А совместим ли столь щедрый дар природы с твоим ремеслом? Чисто физически, имею я в виду.

<sup>9</sup> Хорошо очленен

— Не понял, — свел он брови.

— Ну, как же? Ведь говорят же люди, что... ну, что тестикулы танцору лишь помеха?

Меня сгибает от хохота, а Сержик — он при галстучке, рубашка пузырями — Сержик-Доброе-Сердце спешит подлить шампанского в бокал сопернику, а Тайка, мстительница, медленно выливает свой на исходящую гримасами спину Эдика, — светя своими белыми трусами с трона стиральной машины (и этого понять я не могу, зачем моя страна упорно нарушает элементарную технику безопасности, их в ванной устанавливая, машины эти).

— *Плохим* танцорам. — Юноша самообладания не теряет. — Так говорят о тех, кто плохо танцует.

— Только плохим, значит, мешают?

— П-постумия, — моляще смотрит Эдик на свою мучительницу, — п-прости...

Но юноша кивает ей в ответ, выявляя мускул шеи, — неотразимо он серьезен и мужественно красив.

— КАМЕРУ! КАМЕРУ МНЕ! — всовывается борода.

— А тем, кто хорошо?

Он отставляет свой бокал на выгиб ванны.

— Мне лично нет.

Удушье смеха.

— А ты хороший? Небыков, он хороший? Он как у Пушкина, Небыков? «То стан совет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет» — он так?..

— Таисия! уписиюсь! — визжу я не своим голосом и слышу в ответ голос и вовсе незнакомый:

— Попробуй только!..

В сапогах и черной кожаной юбке — этакой Доминой из заповедных садо-мазохистских клубов — незнакомая особа протискивается в ванную, и, приседая, Эдик накрывает голову руками:

— Юстиция!..

Властная ладонь Юстиции ложится мне на шею:



— Не писайся! большой уже. В свидетели пойдешь. И эти тоже. А вы там, граждане, прикройтесь! Вы тут не в бане, а на скамье подсудимых.

— За что? — ломает руки Эдик.

— Он спрашивает! Вот я вам сейчас впаяю максимум... Встать! Суд идет!

Высокие груди Юстиции завораживают меня. Стало быть, официальная невеста? Ухмыляясь, подсудимые поднимаются на колени, будущий супруг моляще складывает ладоши:

— Отчизна, смилуйся!

При этом гномик его юрк и пропадает в бороде.

— *Нет пощады!* — возвышает Юстиция свой голос, и я давлению свой хохот, обминая лицо о большую попу, туго обтянутую черной морщинистой кожей западной выделки. — *Нет пощады дезорганизаторам наших новых общественных отношений, которые мы хотим создать среди людей, среди мужчин и женщин, среди трудящихся. Мы говорим: «В нашей среде, господин хороший, тебе не место. В нашей среде, среде трудящихся, которые стоят...»*

— А хорошо ли? — перебивает Тайка.

— *«...несгибаемо стоят на точке зрения нормальных отношений между полами, которые строят свое общество на здоровых принципах, нам господчиков этого рода не надо». Кто же главным образом является нашей клиентурой по таким делам? Трудящиеся? Нет! Деклассированная шпана. Либо из отбросов общества (смех), либо из остатков эксплуататорских классов (хохот, аплодисменты). Им уже некуда податься, вот они и... (всеобщий рев; я чмокаю Юстицию в кожаный зад, обливая его слезами). Вместе с ними, рядом с ними под этим предлогом в тайных поганых притончиках и притонах (я больше не могу) часто происходит и другая работа...»*

— Какая? С кем? Куда?

— *«КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ!..»* Эдька, ты с ума сошел? — взвизгивает Юстиция. — Ведь я же чистая, дурак! Я только что из ванной! — Она пытается ладонями закрыться от бьющего

по ней душа. — Эдичка, косметика! Эдька, потеку-у! Ой, ну хотя бы тепленькой тогда!..

Внезапно я ослеп от удара струи в лицо; все взорвалось и разлетелось вдребезги, сверкая в радужном дыму. Рубашка облепила; с волос струилось; одним глотком допил поскорей шампанское, уже разбавленное; и остался сидеть в неторопливо наполняющемся биде. Толкаясь, визжа, хохоча и оскальзываясь, кружились передо мной фигуры друзей, а лучший из них — не по хорошу лучший, а как друг — смеялся, как безумный, раскручивая этот хоровод с тугим напором бьющим душем.

— К-калькутта! — повторял он. — Вы нас, м-мы вас! — игнорируя при этом своего соложника, который тщетно пытался урезонить разбушевавшегося заику.

Бокал мой узкий полон до краев; капли резво выпрыгивают из него. Струйки бороздят лицо; я смаргиваю радужные бриллианты и развожу лучезарные клинышки своих слипшихся ресниц: видение фасеточно, как у стрекозы. Дробное, многогранное. Перепархиваю над родным болотцем; крылышки рассекают солнце. Биде полным-полно, и, отяжелев водой, джинсы мои отслоились от задницы; *мгновение, остановись!* так хорошо среди своих.

— Не знаю отчего, но у меня такое чувство, что сейчас нас всех возьмут и отправят в кремационную печь, — говорит Тайка, выжимая трусики над ванной. — Околела вся.

— Идем, — берет ее под локоть Эдька. — Я т-тебе шубу. Нн-нор-ковую.

Долговязая, исхудавшая. Почему болезнь выбрала именно врача? Тупо провожаю тощую попку подруги детства. Сержик выжал галстук и разглаживает о край раковины. Коричневый такой. С косыми золотистыми полосками. Приобрел в тон рубашке, уже развешанной на нитях сушилки. На эти нейлоновые нити он забрасывает и галстук и поворачивается ко мне; рыхловатый живот обезображен кривым шрамом с белеющими

ми отметинами от стежков — в какой из окраинных больничек ему заметанных?

— Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? — Он шлепает меня бодро по плечу, я поднимаю глаза. — Это мне, видишь ли, треть желудка удалили, — поясняет он с улыбкой. — Золотоглавый висельник был прав. Мы все уходим понемногу...

Он оставляет нас вдвоем с Юстицией. Труссы на невесте бесподобные: черные, но на интересном месте с хищно разинутой орхидеей декадентской окраски; не наши труссы. Свесив над ванной пару полушарий, она выжимает свой лифчик, который тоже не наш (и не французский тоже). Разбрызгивая пятками воду на полу, пытается забросить на сушилку. Я поднимаюсь оказать услугу, и говорю при этом комплимент: — Агрессивное, однако, бельецо. *Made in England*, не иначе. — Точно! Как вы угадали? — Да так, — говорю. — Британцы, они по дамской части мастера. Можно сказать, угодники... — Разве? — с оправданным сомнением. — Это Эдька мне подсунул гарнитурчик. — Она включает фен, присаживается на край ванны и повышает голос:

— Вы ведь с ним друзья?

— С детства.

— И что вы о нем думаете?

— Ничего, — я говорю. — Кроме хорошего.

— А все-таки? Мы с Эдиком, можно сказать, помолвлены...

— От души поздравляю. Скучно с ним не будет. Гармонически развит, всесторонне одарен.

— Да, но...

— А Чайковский? — опережающе вскричал я. — Петр наш Ильич?!

И еще договаривая насчет того, что *nobody is perfect*, что недостатки наши суть продолжение достоинств, пожалел, что все выкликнул великую тень, ибо где-то во мне — во глубине — вдруг зазвучало одно место из «Пиковой дамы», а именно, романс inferнальной графини. Выключив фен и повернувшись ко мне своей фиолетовой орхидеей, девушка делилась со

мною своими матримониальными тревогами и надеждами, а во мне, как некроз, нарастала музыка распада с жуткими паузами после погребально-мрачных кларнетов и фаготов («Рутения Ивановна, свекровь моя потенциальная, советует в Ленинград его свозить, — говорила тем временем невеста, — в Центр по укреплению семьи, где методом Павлова печат, то есть показывают неприличные картинки и заставляют мануально реагировать. Условный рефлекс внедряют. Даже закоренелых эзков, говорят, обратно возвращают к Женщине. А он же не закоренелый, его вполне можно исправить — как повашему?» — «Насильно мил не будешь, — отвечал где-то за пределами музыки мой иронический голос, — хотя, конечно, Рутении Ивановне знать лучше, она ведь за дело исправления мужской природы в случае Эдика взялась, должно быть, с самой колыбели, а теперь, я вижу, перекладывает на плечи своей невестки». — «Рутении Ивановне просто некогда, она же ведь сейчас летает все». — «На помеле? Этим она всегда занималась, такова уж их природа...» — «Да, но сейчас она летает по всему миру, причем под эгидой самой ООН. Нет, серьезно: в роли Советской Матери сейчас активно очень проявляет себя на международной арене. Ну, а эти, конечно, пользуются. Совсем от рук отбились. Эдик особенно. Вон ведь чего натворил... — Оттянув носочек по-балетному, она шлепнула по луже; полушария качнулись; и, не выдержав, я чмокнул ее выше колена, отчего Петр Ильич немедля сгинул вместе со своей анальной музыкой).

— Ах! — прыгнула невеста. — Прямо током!..

— Ну уж... — смутился я.

— С тобой не бывает: в одном месте тронешь, а отзовется совсем в другом?

— В каком же?

— А в неожиданном! — Она засмеялась. — У нас на курсе была одна — отличница, кстати. И у нее на колене — вот тут, смотри — имелась ямочка... Как дискомфорт почувствует, надавит — и все, вопрос решен. Без посторонней помощи.

— Своеобычное колено, — признал я. — С таким и под венец, я думаю, не страшно.

— В самую точку! — расхохоталась она, вмазав мне по моему. — Ты нас, вижу, понимаешь, баб!.. (*Я потупился.*) А раз так, то окажи мне небольшую половую.

— Отчего ж, — пробормотал я, — если жених не возражает...

— Тогда я сейчас тряпок притащу!

С хохотом выскочила за дверь, а я немедленно втиснул обратно под фиговый лист моих парижских «слипов» то, что изо всех сил пыталось меня демаскировать. «Вот вырву глаз, тогда ты будешь знать», — пригрозил я себе, стоя перед зеркалом, и это несколько его образумило. Взял чужую расческу, алюминиевую, ополоснул и гладко зачесал назад свои влажные волосы, приобретя неожиданно облик японского интеллектуала — конца 40-х годов, Sophie, — только что прочитавшего там у себя на островах в переводе с французского «L'Être et le Néant»<sup>10</sup>.

Под ногами у меня хлюпало.

*Après nous* был полный, так сказать, *делюж...*<sup>11</sup>

Никакой культуры тряпок в этой стране — осушаем хляби сношенными зимними подштанниками Небыкова-старшего. У главы дома (и всего региона) незатейливые вкусы по части исподнего; голубая солдатская фланель, намокая, превращается в пудовые гири. И мы волочим их, ползая, хлюпая и, уже без извинений, толкая друг друга задами — невеста и я, любознательный:

— Кать, а Кать?

— Чего?

— Ты уже выносила приговоры?

<sup>10</sup> «Бытие и Ничто»

<sup>11</sup> После нас... потоп

- Не-а. То есть, да! Один. Я ведь только первый год.
- Политическое дело?
- Кирилл! *У нас* таких дел нет. Все дела, включая политические, идут как уголовные.
- А у тебя что было?
- Да ерунда.
- Подрыв устоев?
- Скажешь тоже!
- На сексуальной почве что-нибудь?
- Опять он за свое! Задвинулся ты, что ли, на этой почве?
- Не без того. Или не сын СССР, — *который в своем целом на той же почве посильней меня задвинут*. — Ну, так что же?
- Взлом.
- Госбанка?
- Нет.
- Сберкассы?
- Киоска, — говорит. — Кондитерского.
- О Боже, до чего же измелечал народ.
- Зато мы делаем ракеты.
- Ракеты — сектор государственный, тогда как преступление — сугубо частная инициатива. Плод злой, но, согласишься, свободной воли... и сколько дали сладкоежкам?
- Сколько попросила. Дочери Злокаузова в этом городе, сроков, поверь мне, не сбавляют. А вот, Кирилл, ответь мне как специалист...
- Стоя на коленях, мы в четыре руки завинчиваем тряпку в ванну. Без косметики у этой горожанки во втором колене простое и еще очень приятное лицо крестьянской внучки — слегка вздернутый нос и скулы, резкость которых сглажена еще совсем юной нежностью щек, заливающихся румянцем.
- Так что же? Девушка смушшается?
- Во—первых, я не девушка...
- Ах, вот как? Мы учтем. А во-вторых?
- В космосе, — говорит она, — в состоянии невесомости...
- Ну?
- Ты мне не нукай, а ответь: там *можно?*..

В глазах искреннее любопытство.

— Нет, нельзя.

— Да неужели? А почему?..

— Только между нами, ладно? Бесенята разлетаются.

— Какие? — не без испуга.

— Которые с хвостами, — говорю. — Сперматозоиды.

Хохочет она так, что даже альвеолы в глотке вибрируют ма-няще ало; при этом садится на пол, а груди тяжело ложатся на край ванны.

— Красивые какие они, перси.

Она беретса за тряпку.

— Ты находишь? А ну давай: раз-два! — На руках у нее выступают мускулы, и мы вызываем обильную капель серой воды. — А по-моему, так избыточные...

При этом выгибает спину, и слегка вздутые кружочки, Геометром отцентрованные, им же, Художником, окрашенные в тепло-бежевый, вопросительно взглядывают своими розовыми кончиками.

— По-моему, идеальные. — Я ухожу на четвереньках в мокрый угол и говорю оттуда: — Тебе б, родимая, назад в деревню...

— Так ведь развал?

— Оно конечно, но жизнь там еще теплится, мычит. Быть может, и развал, но не распад. Дояркой стала бы, к примеру.

— А ты?

— Я трактористом. Прицепил бы плуг и, если б не колхозы, поднял бы в одиночку сельское хозяйство. Воли бы напахивал на душу населения — гектарами. Причем отборной воли — с горизонтом, с небом, с облачком. Нет, ты представь себе... Солнце в зените. Ты развязываешь скатерть-самобранку, я отмываю соляркой трудовые руки. Жаворонок повисает. Прямо над нами, грешными... Не рай?

— Рай-то рай, — со вздохом отвечала, — но ить из города обратно заявится нечистая... В тужурках кожаных. И что тогда?

— Обрез достану! Грудью встану!..

— Сила силу ломит, мой хороший. И снова будет вдовья мне судьба слоняться по России, как Богородице в аду: рыдать без слез, стенать без голоса и кликать без надежды... Не жалко, горе ты защитничек?

И полновесно, мягко, но упруго меня боднула — всем объемом попы; в ответ я всхлипнул:

— Жалко, — жидко и надтреснуто, как вечный, бесконечный пораженец, который и оплакать-то уже не в силах — себя и все, что гибнет-погибает с ним заодно, поддавшимся...

— Ну, так и пожалей, чего ж?

И из-за полного плеча косится озорно, не баба — конь, а он рыдает в смысле том, что моченьки, знать, нет, знать, подрубили корень силы, похуже татарвы повыхлоестили те тужурки: судьба нам, баба, расставаться, и до скончания времен друг к другу рваться, искать во тьме один другого неустанно, но так и не найти — до Страшного Суда, знать, баба, где нас обратно воплотят и сочетают воедино — во славу Господа и под зубовный скрежет низверженного Прометея, кусающего цепь и *бьющего хвостом свирепо*. Тогда и приголублю, а покамест — того... Прощай. Ибо накрылся рай.

— Да ой ли?! — И во гневе об утлый челн мой, как волной тугой толкнулась плоть, уж я не знаю там, Добра ли, Красоты, но — наша, неподдельно-русская, — и откачнулась — так, слегка — обдав при этом, будто из печи и враз меняясь голосом: — Разочек, напоследок — ну? Авось чего и снизойдет!.. Или тебе, мой ненаглядный, залить глаза необходимо перед тем? Да ты меня не бойся, я не съем! Но если хочешь для разгона «бормотухи» — грамм двести, да? На посошок? то, так и быть, сейчас доставлю. Хоть из-под земли! Ты тут постой, не падай: я мигом обернусь!..

Но я ее поймал. Очнувшись в ужасе перед разлукой с Женщиной, я обтер мокрые ладони о грудь свою, монументально задохнувшуюся, и предотвратил ее инициативу — одной рукой. Другой же, правой, — разогнул, оттягивая при этом свою замшевую кожу с неуместным воспоминанием о пистолете; после чего — о сок сопротивления навстречу! — неторопливо



погрузился. Не более чем на три сантиметра, так, чтобы порадовать глаз триумфальным пурпуром своим, сплывающимся с розовым и алым. Одним толчком назад партнерша отобрала мой пурпур. При этом у нее сорвался даже не стон, а рык нетерпения — такой, что кровь моя вскипела. Но я сдержался. Неторопливо, слегка поддразнивая, я скормил ей с руки почти все, что на ней имелось у меня (отнюдь не обделенного, заметим, при Раздаче), но ей хотелось еще дальше, хотя там, в глубине, уже скользнул я по сферической твердинке, но она была такая, ненасытная, и ей хотелось так, что, мне казалось, вот-вот и с корнем вывернет из бетона она свою фаянсовую опору. Неистово сотрясаемый, я поначалу, признаться, вчуже взирал на все на это, а в голове моей тупо пульсировала нечаянно подслушанная в детстве фраза, которую с угрожающей нежностью произнес любовник матери, дважды Герой Советского Союза: «Не буди во мне зверя». Ой, не буди, Екатерина! Но было поздно, зверя растолкали, и, огрызаясь, он рыком прорывался сквозь меня, а потом, возложив лапы на яростную самку, откинулся, закрыл глаза, взревел, как будто в зоопарке, и ринулся вперед — не так, Sophie, как устремляются в любовную атаку, пусть и с тыла надежного, а так, как в смертный бой идут, во имя жизни на земле, пытаюсь утвердить последнее, быть может, из того, что в клетке тут у нас еще не доизъяли — животное начало. Биологическое наше.

О, этот секс! Он страшен был. Он был прекрасен. Попытка воскресенья в нем сливалась с упоением гибели. Рыча, как человек, как зверь рыдая, я с головой ушел в природу русской женственности, отрываемый от коей на худосочный Запад тоскую я с нездешней силой, ибо одну Россию-мать — тебя, единственную! — вожделеет, как жену чужую, ее преступный сын-космополит...

Россия-жено! мне давно хотелось всерьез задаться вопросом твоей исконной полноты, чтобы избавить тебя от комплексов перед картинкой в задроченном мужьями журнальчике парижских, скажем, мод. Тебе не повезло с мужчинами, жена, на твои плечи спихивающими — этак исподтишка — им непо-

сильное бремя мужественности. Вместо Мадонны идеал их — нет, не Содом, а тягловая сила. «Коня на скаку остановит!» — этот восторг женофобии, выкрикнутый одним из буревестников новой эры, стал у нас официальной формулой хорошего отношения к товарищу-Женщине, в ходе насильственного преобразования природы прославленной задорной песней — тоже про коня, но про «железного» — в полном соответствии с гремучим духом времен, — споем, Екатерина? *Мы железным конем все поля обойдем...*

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы,  
пускай поет о нас страна!  
И звонкой песнею пускай прославятся  
среди героев наши имена!

«Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик», — мрачным человеческим голосом отзывалась на эти понукания взнузданная Россия. Окончательной метаморфозы в свете требований кремлевского джигита она, к счастью, не совершила, но женское естество ее, хрупкое и ранимое, за неимением иного средства самозащиты, стало усиленно выделять сокровенную подкожную прокладку, защитившую ее со всех сторон от контактов со страной и ударными ее сыновьями, и этот слой необходимой, чтобы выжить, бесчувственности, амортизировал всю тряску и давку в битком набитой теплушке XX столетия, все удары судьбы и, так сказать, любви — напористый безудерж проклятого безвременья с осатанелыми его героями. Но и бесформенность как форма самозащиты не спасает женщину, которую, как говорят между собой героини, «хоть ставь, а хоть кати». И катят — превращая в шар. Катаемое существо, женщина-шар, подпрыгивающая на ухабах ебли, быта и конского труда, — нигде, Отчизны окромя, его не встретишь! Ебу и плачу. Плачу и рыдаю. Ведь там, внутри, в секретной сердцевинке, Оно — катаемое всеми безотказно — мучительно стыдится своей амортизационной оболочки. Оно краснеет без конца — от щек до ягодич. Оно меняет образ жизни с понедельника. Не стану больше есть мучного, говорит Оно себе.

Откажу себе, говорит, в каше. И в макаронах по-флотски. И в картошке. На диету сяду. Голодом себя заморю!..

Родимая, Россия: нет же овощей!.. Любимая! Заледенеет, околеет мой лакомый цветочек, кусочек аленький не отдышать мне будет при таком морозе... Уж кушай, милая, прошу... Ну, хочешь: на колени стану? Ведь вместе жить, — Бог ведь, когда все это кончится... Нам вместе быть до самого конца, и я — твой откровенный «я», антигерой, любовник и преступник — до самого конца не разлюблю любить тебя, и мы с тобой в любви вернемся в детство на лужок зеленый, где резвится неподалеку козочка, стреноженные ножки, а пастушка в испарине уснула, изнеможение полуденной любви; под пальцами бездумного любовника переливается свирельно тростиночка, которой вторит, булькая, источник, ритмичный родничок, младенческое сердце всей округи, на заре рожденной юными богами, которые смеются беспрестанно там, наверху, сплетая оргию свою — венком цветочным над колыбелью бытия. Туда, о Жено, и стремимся мы во весь опор, пытаюсь оторваться от погони, самим Танатосом нам высланной вослед. Уйдем ли?.. Инстинкт побега такой нам задал ритм, что плоть нас тормозит и не дает взлететь, а на плечо уже ложится ладонь гонца: «Ах, вот они чего т-творяют!..» — «Ой, Эдик! — предостерегла невеста, — не ломай мне кайф!» — «Осмелюсь доложить, что в нашей юрте суп-пругой п-потчуют лишь на десерт. П-покорнейше п-рошу не нарушать регламент-с, тем более, что...» — «Небыков, высеку!» — «На то, сударыня, полная ва-ша в-воля», — смиренно ответил голос, и вдруг перед моими глазами раскрылась бритва.

Опасная. «*Alles fur Deutschland*» гласила гравировка с насылающего ласковые блики сточенного лезвия. Такая концовка была закономерной, но несколько преждевременной, и, выдохнув на лезвие, я попросил его, кто стоял у меня за спиной: «...Минуту, ладно?» — «Ты еще здесь, Небыков?» — по-прокурорски спросила невеста, и голос ответил: «Считайте, уже нет...» Бритва плясала у самых моих ресниц; я смежил веки, с нежной силой смял полную плоть, которая в моих при-

горшнях обратилась в пух, и без разгона взмыл верхом на белокрылом лебеде. Кровавым мясом следует кормить, подумал я. Своим. Чтобы спастись.

Как в сказке.

Когда я очнулся, лучшего друга за спиной у меня не было. Бритва валялась в раковине, запятнанной кровью. Не моей. Невероятно — и однако отделался я только лишь «малой смертью», связанной с потерей жизненной субстанции другого цвета и консистенции. Их обе, сперму с кровью, слила вода в окаймленную хромом дыру. Член я убрал в трусы, а бритву в шкафчик, озеркаленная дверка которого мне предъявила лицо без выражения и без кровиночки единой — еще с того света.

Глаза невесты Эда (которая бесстыдно плескалась над биде) сияли; грудной, глубокий голос с чувством произнес:

— *Момент истины.* У нас так говорят, когда — ну, на допросе там или на очной ставке — преступник вдруг раскалывается... *(Я кивнул.)* Так вот: как раз тот самый случай. Мы ведь с тобой одновременно... ты осознал? Давай поженимся, Кирилл? *(Я усмехнулся.)* Но у нас ведь совместимость — просто идеальная! Не говоря о том, что мы с тобой из одного примерно круга. *Что точно,* кивнул я и обрел дар речи:

— Примерно из Девятого...

Она взглянула вопросительно, я объяснять не стал.

— Не хочешь, значит?

— Браки, — сказал я, — совершаются на небесах. Впрочем, если аист принесет младенца, то можешь подарить его супругу.

— Танцор ему пусть дарит! Лично я комплексом воспроизводства как-то не страдаю. Рожают в наше время одни среднеазиатки или уж не знаю кто... самоубийцы! А я женщина нормальная и гробить себя не собираюсь. — Она энергично растерлась отнюдь не мягким полотенцем и надела черные трусы, аккуратно обтянув свое лоно изображением орхидеи, пощучьи распылившей свою пасть. — Так что ты, Кирилл, не бойся: подзалечу, так сделаю аборт.

В спальне необыковых родителей мы порылись в изобильном гардеробе и облачились в то, что под руку попало: я — в шелковое кимоно с драконами, памятный трофей нашей победы над императорской Японией; она — в габардиновый плащ отечественного производства эпохи начала «холодной войны». Серо-стальной такой, с подложенными квадратными плечами; тяжелый, складчатый — настоящий «железный занавес». Полы этого «занавеса» волоклись за ней по мягким, устланном ковровой дорожкой ступенькам; с предпоследней, взмахнув пустыми рукавами, она бросилась мне в объятия — всей своей тяжестью. Несмотря на своего папу Злокаузова, юная прокурорша вызывала у меня сострадание: в отличие от деревенской ее бабушки, на скаку останавливающей живых коней, в отличие от мамки, «железными конями» управлявшей, это туго налитое жизненной энергией, глыбистое существо уже, по-моему, обратилось изнутри... Во что? Бог знает! В нечто, еще не имеющее названия.

Я крепко поцеловал ее первым, но прощальным поцелуем и отпустил; она спрятала под плащ свои вполне живые на ощупь груди, застегнулась наглухо, подвернула рукава — и все, на этом оборвалась интрижка наша, наш момент с Юстицией.

Однажды в Париже, пытаясь оторваться от преследующей меня машины, самой обычной с виду, но с гоночным мотором, я свернул в проулок, который оказался одним из местных *cul-de-sac'ов*<sup>12</sup>. Я едва успел нажать на тормоза, увидев, что летит на меня глухая стена; фары освещали «граффити», выполненное на ней, должно быть, каким-то ироничным аме-

<sup>12</sup> Тупиков (досл. «жоп мешков»)

риканцем, бродящим по свободному миру с кистью и ведерком краски: «*LIFE IS A PLOT!*»<sup>13</sup>

Потом фары разлетелись вдребезги, но надпись врезалась мне в мозг — и я понимаю писателей, уносящих ноги из бессюжетой реальности. Конфликт у нас у всех один — с небытием, но от сюжетов здесь уже остались только кульминации. Пароксизмы одни в этой ночи. Оргазмы. Магниево-вспышки. Обмороки. *Предпочитаю.*

Застолье встретило нас бурными аплодисментами; не хлопал только друг мой Эд, смущенно спрятавший под скатерть свежезабинтованную руку (и я погрозил ему, уж тебе, проказник!..). Потом застолье осыпало нас градом шуточек на темы пола, обыгрывая щели, щетки, тряпки и даже знаменитый афоризм о том, что лучше стоя, чем на коленях. *Жить.*

Стол был а ля рюс. Хрусталь, правда, богемский: из протектората. Ободком золотились банки астраханской паюсной, здоровые, как диски автомата Дягтерёва, зернисто-черную поверхность одной уж тихой сапой подкопал танцор. Картошка «в мундире» была еще горячее, а малосольный огурчик пощипывал мне пальцы, и не было, увы, салфеток. Бедное кимоно.

— А ну, штрафную самураю! — повелело застолье. — И гейше его! И чтоб до дна!..

Оставляя кириллицу простонародью, мы, высшие слои, переходим постепенно на латынь: *vodka byla, razumeetza, «Moskovskaya»* — не какой-нибудь там «коленвал» из нефти с газом местного разлива, а «на винтах»: 100% пшеничной чистоты. Сословная привилегия — экспортный вариант. Скажи мне, что ты пьешь, товарищ, и я скажу, кто ты... Юниор, придвинутый к столу вместе с ногой, лил мне эту водку, испы-

<sup>13</sup> Жизнь есть сюжет!

тующе поглядывая; я не останавливал. Он налил до самых краев, и граненый хрусталь покрылся отрадной испариной.

Я поднялся — и все утихло, перешептываясь: «Тост, тост... Кирюша скажет...» Я обвел глазами лица дорогих подруг, друзей; Юниор мне симпатичен не был, но танцовщик еще меньше: им обоим жестом я приказал долить, тогда как Сержика пощадил, отмечая при этом, что обстановка гостиной является хоть и старательной, но очень приблизительной копией тех апартаментов, в которых останавливается товарищ Небыков во время дружественных визитов, скорее, все же в братские соцстраны, чем на Запад. Я свел брови:

— Ноливо ли? У всех?

— Ноливо-ноливо, — ответило застолье, а режиссер добавил: «Не томи!»

Я осторожно поднял бокал со вспухшей водкой, которая мерцала, насылая блики.

— Эта водка посвящается памяти Юкио Мисимы, последнего самурая мировой литературы! (Гробовая тишина.) Быть может, не всем известно это имя... нет? А жаль: героев нашего времени следует знать. Так вот, товарищи: Мисима был примерный семьянин... и гомосексуал. Он был писатель — изысканнейший... и реакционер. Да! Не единственной, но самой пламенной из сжигавших его страстей была Империя. Он мечтал возродить, воскресить, как птицу Феникс, империю Восходящего солнца. Быть может, его попытка была последней судорогой сломанной и брошенной на свалку истории оси Берлин—Рим—Токио. Быть может, просто время свое опередил. Во главе своей сотни, сотни юных и гордых самураев, писатель взял штурмом Министерство обороны и с балкона обратился к войскам, к солдатам регулярной армии... Но что такое армия в наши дни, даже и наша? Что такое армия без духа, доблести и чести? Сброд не поддержал Мисиму. Убедившись в том, что попытка повернуть вспять колесо истории не удалась, он на глазах у толпы совершил харакири, после чего, по древнему уставу, соратник отрубил Мисиме голову мечом. Что еще сказать вам об этом романтике? Он носил

расшитый золотом пиджак ценой в сто тысяч долларов, но в момент истины национальный меч в его руках не дрогнул. Я пью за жажду жить. Я пью за мужество утolenия. Я пью за истину, — провозгласил я, — достойную харакири!

И вогнал в себя кол «*Moskovskoy*» — толстый. Долгий. Ледяной. До дна.

— Вполне экзистенциально, — услышал я, когда ко мне вернулся слух.

— Интернационально даже!

— Империи умирают, — прорычал Никита, — но не сдаются!

— По-нашему, по-русски, — одобрило меня застолье за способ утolenия, и тут — изнутри — мне накатило в мозг.

— А я так не могу, — говорит Сержик. — С моей резекцией, ты знаешь, не до жиру. Роман бы дописать, а там!..

— Луна почему не наша? Нет, ты ответь, Кирилл, — стеклянными глазами смотрит Юниор. — Ты мне ответь! Блядь, никогда вам не прощу: капитулянты...

Роняет стриженую голову.

— Нуриев! Так то *Нуриев*, — говорит танцор. — Нуриев, он и есть Нуриев. А вы? Вы мать его не выпускаете. Ни сестренку даже. А почему? Из мести! Нам за иго мстите. Ну, ничего, настанет час... Аз отмщение и я воздам. Аз, — говорит, — и я. Азия! Нами началось, и нами кончится.

— Не вами, а нами, — бормочет Юниор.

— И начнется, а не кончится, — говорит Никита, наливая мне. — А ты, брат, понимаешь... Не лыком, вижу, шит. В самое сердце, — говорит, — меня ты... Но насчет армии не прав. Знал бы ты, — говорит, — какие в армии у нас ребята! Врежем? Сепаратно?

— За самурая русского?

— Ну-ну, ты это: не развивай, не место... За Родину мы врежем. Которая нас ждет. (Нет, не как в пьесе Беккета! — отбрасывается в сторону. — И вы тут не встречайте, пораженцы...)

— Никто меня не ждет, — я говорю...

И мы врезаем.



— Кроме небытия, — я выдыхаю. — Но что ты хочешь, друг Никита? Первая заповедь «Этики самурая»: «Твой путь — путь смерти».

Огурчик исчезает в бороде; так вот и я исчезну...

— Сыграешь?

— Ну, а хули?

— Едем, значит?

— Едем!

— В воскресенье, значит, с утра?

— Да хоть сейчас. Поехали!

— Куда, не спрашиваешь?

— Не ебет!

Смеются его глаза, трясется борода. Это по-русски! — говорит она, густая-молодая.

— Ибо в этой стране мне, — говорю я, — все дороги по пути! Что там, вдаль? Империя? Да воссияет! Запрягай!

— А на пути церквушка? Не объехать?..

— Превзойдем! Ничто человеческое нам не чуждо, но человеческое самое мы превзойдем, Никита! Мы же страна героев! Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой!..

— *Броня крепка, и танки наши быстры...* — заводит Юниор другую песню, но из той же оперы — из сталинской. — Вот только зачем луну пробздел америкашкам?

— А мы еще им вставим фитиля! Марс будет наш, товарищ Сталин, — заверяю. — Сам Бог войны!..

— Мой кадр! — тискает меня Никита, по-женски многоукальвая бородой. — Отцы, это будет почище «Андрея Рублева»! Я им так ударю в колокол, что они, по крайней мере, осознают свое иго. Вот только в партнеры тебе кого бы подобрать? Ну да, Кирюша, на роль жертвы...

Взмах забинтованной руки. — М-меня!..

— Тебя? Но я ведь не «Сатирикон» снимаю...

— Сидя уж, декадент, — утягивает Катерина суженого, обещающая: «Упьюсь, Кирилл, ох, упьюсь сегодня...»

— Никита, наливай! У меня, — говорю, — есть этот человек.

— Конгениальный, что ли?

— Вполне.

— А он в пределах досягаемости?

— Пока что — да.

И мы врезаем.

— ...Уолт Уитмен, — гнет свое обиженный жених. — И Оскар Уайльд, и П-пруст, и А-а-андре Жид...

— Вот именно! — Хрусталь и серебро подпрыгивают от кулачного удара; другой рукой Юниор пытается удержать свою крепкую голову на ослабшей шее. — Еврейский заговор... Это ты в самое что ни на есть. В сплетение. Под дых! А после правой в челюсть. И с копыт.

— Д-да все! И наш Ильич. К-который Пётр. И этот, как его... Мы что, не люди?

— Люди! — киваю я. — П-п-потенциально.

И смеюсь — всецело над собой, с заиками заикой. Нет: лучше нас шпионов нет!..

— Вот я и г-говорю. Кто явно, кто латентно, но в общем все... С-согласен?

— Всецело. Наливай!

— А т-ты как в этом смысле?

— К-как все! Я что, йети? — Друг смотрит на меня недоуменно, подозревая, что я нарочно заикаюсь в неясных ему целях. — Г-гомогенность! — г-говорю я. — Только и всего. Слияние с п-пейзажем.

— А Дафнис с Хлоей? — возражает Тая. — Как пациенту, Сержик, говорю: буколики пиши. Смотри, старик мой... Вот тебе, в двух словах, история болезни рядового члена СП СССР. Язву нажил он в юности. Война его исцелила, но, когда он взял войну как тему, пытаюсь резать правду-матку, окопную, язва открылась снова. Сколько он валялся по больницам! До прободения себя довел. Ведь что такое язва — наша, советская?

— Протест!

— Да, но подавленный и загнанный вовнутрь. У старика моего все бы кончилось канцером, не смени он эту тему на,

так сказать, экологическую. Красоту родной природы воспевает, надеясь силой слова защитить ее от планомерного уничтожения. С цензурой у него теперь конфликтов нет: природу воспевать считается патриотичным. Естественно, и язва зарубцевалась: не только волки сыты, но и овцы целы. А этот мазохист, Кирюша, в борьбе с цензурой лишившийся уже двух третей желудка, все еще надеется стать Солженицыным. Пятнадцать лет подряд из всех редакций возвращают рукописи, а он упорствует в гротеске. Камикадзе просто — скажи, Кирюша?

Сержик по-доброму мне улыбается.

— Нет, — говорю я.

Тая вскидывается:

— То есть?

— Камикадзе, погибая, аннигилирует врага. Вот если б Сержик не уносил зарезанную рукопись с улыбкой горькой, а взял бы да прирезал редактора в момент отказа, тогда, — говорю я, — да. А еще лучше, — говорю, — взорвал бы всю контору. По крайней мере, оправдал бы, — говорю. — Незаслуженное звание подрывного элемента.

— Ну, какой из меня подрывник? — говорит Сержик. — Так, поскрипываю перышком на авось...

— Ах, на авось? Чаадаев, тот не дождался этого «авось» до самой своей смерти. А дух философа ждет этого «авось» в России начиная с 1856 года — уже сколько, то есть? Скоро 125-летний юбилей замалчивания будем праздновать... Оно у тебя с собой?

— Что?

— Перышко твое.

— Со мной, конечно,

— Дай, — положил я руку на стол, приподнимая тарелки. Недоуменно оглянувшись на Таю, из внутреннего левого кармана своего кургузого пиджачка Сержик вынул и положил мне в ладонь авторучку. Сразу было видно, что человек уважает свое безнадежное ремесло: для его зарплаты стило со-

ветского производства (но фирмы «Союз» со «знаком качества») было даже предметом роскоши.

— Не толсто пишет? — попробовал я перо на пачке сигарет.

— Претензий не имею.

— И все же, братец, по нынешним литературным временам стило твое нуждается в модернизации. Да ты не беспокойся: у нас в военно-техническом отделе чудеса творят на грани фантастики. Приравняют к стволу так, что сам не отличишь. Тебе какой пулей зарядить, обычной или типа дум-дум?

Метафору развить не вышло. Несмотря на полную визуальную отключку (косая прядь свисала между пальцев, подпиравших лоб), сторожевые центры Юниора бдили; охраняя мою легенду, он сбросил под столом мне на ногу свою пудовую конечность. Хорошо, что у меня высокий болевой порог. Поморщившись, я бросил по диагонали:

— Ну ты, Железная пята... полегче!

— Выходит, мы не только спутников-шпионов запускаем, мы еще и за родной литературой слеживаем, да, отец? — С улыбкой кроткой Сержик отнял свой «Союз» и аккуратно вставил обратно — слева, где сердце. — Спасибо за заботу, но я не террорист, отец, не нравственный сопротивленец и даже не писатель — что бы это в наши дни не означало. Мне это не под силу: помимо всего прочего, у меня старики на руках, ну и... В общем, быть бы живу. Я из разряда скромных, провинциальных очевидцев — такие, знаешь ли, водились всегда и всюду — безымянные. Пробить лбом стену не пытались, однако отображали все, как есть, поскрипывая перышком даже, — и он потушился смущенно, при этом вспыхнув горделиво, — под престолом Сатаны. Если, конечно, верить Иоанну Богослову.

— А ты ему не верь! — говорит Тая. — Ты мне поверь: Дафнис и Хлоя, Дафнис и Хлоя! А патогенную тематику оставь: советую как врач-хирург. Ведь в этой жизни, кроме язв, куда персты вставлять, есть еще Природа, есть Любовь... Я не права, Кирюша?

— Абсолютно! — Я наливаю себе, единственному пьющему в данном Бермудском треугольнике. — За любовь!

— Д-дафнис? — говорит Эдик. — Ну, этот т-точно. Н-наш. А м-может быть, и Хлоя...

— Гомогенность, — говорю я, — в этом ключ. Понимаешь, у меня это очень развито. Гомогенизируюсь в любой среде. Сын Пустоты! Как Блок сказал: нам внятно все... *И острый галльский смысл. И сумрачный германский гений.* Не говоря про антиподов. Весьма антипатичных — но! Вряд ли этих мы переиграем. В отличие от тех.

— Не ссы, девчонка... — выкрикивает Юниор. — Солдат вернется! Ты только жди...

Эдик кивает:

— Г-гомогены... Гены гома. Вакантные м-мы люди. Люди-дыры...

— Были, — говорю, — вакантные.

— А теперь вы, — говорит Никита, — у меня в кармане, братцы-кролики. Подписались! Он где, твой кандидат?

— Он спит в отеле.

— Сколько лет?

— В расцвете.

— Национальность?

— Эскимос.

— А кроме шуток?

— Христианин.

— Русский?

— Ну, а кто же.

— А с виду?

На том краю стола вдруг Юниор: смеется.

— Русее, — говорю я, — не бывает.

— Угу... Визу в Израиль, — говорит Юниор, — сразу выдавай...

— А рост? А стать? Особые приметы?

— Усы. Шея столбом. В плечах, — я говорю, — сажень косяя.

— Как интересно, — говорит танцор. Он слизывает с супной ложки, с мельхиоровой, зерна икры. — А можно ли узнать, в каком отеле спит ваш друг?

Язык у него, как морской лев в цирке — только что красный.

— Не в том, где спите вы.

— Ах, мы ревнуем?

— Лично я в подобных случаях, — открывает глаза Юниор, — реагирую строго по ебалу. Не знаю, о чем ты думаешь, Кирилл.

— Прощу прощения, — говорит танцор, — я не хотел.

— Забудем, — говорю я.

— Жаль, Кирюша, — сникает Юниор. — Ты с виду строгий парень.

— Он парень компанейский, — обнимает меня Никита. — А твой... напарник твой, он согласится?

— Зело тверд орешек.

— Расколешь? Для меня?

— Нам расколоть его поможет, — бормочет Юниор с закрытыми глазами, — киножурнал «Хочу все знать»... Кирюша, верно?

— Там видно будет, — отвечаю Никите хмуро, дабы не погубить вперед спонтанность предстоящих пароксизмов, а мало-сольные тем временем хрустят, облипшие кусочками укропа, пристаёт к пальцам кожа картошки; икры же на столе кило шестьсот, все в этой крупной дробе, прозрачной, серой, с черными зрачками; а водка полыхает во мне, как куст горячей крови; тогда как Тая, Председательница наша, свернувшись в кресле, зябко кутается в мех мерцающий, отчужденно наблюдая, как телочки пунцовые, две тумбочки, две босоножки упираются под каменной тяжестью Юниора, бормочущего что-то о «генерации дегенератов», — выводя его за пределы нашей товарищеской встречи.

Ибо в соитии с шампанским водка производит психический феномен, который назван «Северным сиянием».

Мы поднимаемся из-за стола. О, первый хмель! Полифония, разброд, эффекты *всасывания*.

Следя за пеплом сигареты, кружу по салону.

— Роман бы дописать, и мы в расчете. На минус плюс — и занулился. И здравствуй, Смерть!

— Резекция не лейкомия, милый мой. С третьей желудка жить и жить...

— Я как подумаю, что мне придется кому-то «вышку» требовать, — мороз по коже. Нет, но я все же где-то женщина, а не Вышинский! И он мне снится по ночам, мой первый «черный человек»...

— Старик, мы дети оттепели, эпохи либеральных иллюзий...

— Ублюдки оттепели.

— Предпочитаю быть ублюдком, чем нынешним «акселератором», который даже и не слышал — ни про XX съезд, ни про ГУЛАГ.

— Они мне говорят: «Жестоко!» Ничего, пусть привыкают к собственной реальности. А вырежут, так вырежут — их дело — гуманистов. Мое — снимать. Вон в Голливуде, в 50-х: разврат полнейший, а на экране даже брюки нельзя снять...

— Так и говорил. Умнее н-ничего, ни от кого... Д-дрочите *весело*. Откровение! И м-между прочим, п-песню эту — «Т-товарищ Сталин, вы б-большой ученый» — т-тоже он. В Коктебеле п-повстречал. Советский наш Рабле!

— Где он сейчас?

— Где все: в Соединенных Штатах. П-по израильской.

— А ты научился — *весело*?

— Н-никогда.

— А ведь Федор Михайлович нас предупреждал. И насчет их технологии тоже. Им ведь что необходимо? *Тайна!* Гласность их первый враг. Своими глушилками они не «информационное пространство» защищают, а завязывают нас в мешок...

— ...крепкой руки! И народ туда же. Вот сегодня — сажусь в мотор. Девка за рулем — буфера во-о-от такие. Сталина карточку перед собой повесила. «Сколько тебе лет? — Девятнадцать. — Разве ты не знаешь, что это был тиран? Убийца?» Аж задохнулась: «Да за него, — говорит, — эти вот груди я отрезать дам!» И на тормоз: «А ну-ка слазь, интеллигент!» И денег взять не захотела. Ну, что тут скажешь?..

— Когда мы П-прагу взяли, б-батьа плакал. Слезами! П-поразил.

— Мой милый, все мы будем плакать, когда Парижу очередь придет. Вы, русские, ведь, как? Ебу и плачу, плачу, но ебу. Поскольку историческая неизбежность...

— Кирюша! глаза разъезжаются! Обещай больше не пить, мне очень надо с тобой поговорить...

— Ни капли в рот! Ни сантиметра в жо...

— ...деревенька одна. Глухомань. Конец света!

— Сено будет?

— Возами! Амбарами!..

— А запах, — беру за грудки, — гарантируешь? *Дух?*

Танцор меня подхватывает на вираже. Его ладони. Он полугол, он, завернув ковер, изображал нам андалузку. Снова пахнет мускусом.

— Скользко, — говорю, высвобождаясь из объятий.

— Да, скользковато-с...

*Врешь, брат, не возьмешь.*

Изолируюсь в сортире. А пошли вы! Молитвенных домов баптистов вам громить не приходилось, а именно с этого я начинал свой путь в рядах Вооруженных Сил.

Я шагнул к зеркалу над умывальником, но увидел только что-то смазанное: повело, ударило об кафель. Так, так ему! Я грохнулся на колени. Поднял пластмассовый стульчак. О Господи, спаси! Рвотные массы. Судебная медицина. Момент истины — лицом к блевотине. Глазами к консистенции зла. Так и меня извергнешь — как Ангела Лаодикийской церкви... О, если бы ты был холоден или горяч! Горяч ты не сумел быть, будь же холоден, Караев! Как лед. Как ледяной клинок. Мисимой будь — освобождая душу, открой себе кишки. Как я всю эту жижу, так и меня Ты выблюешь, Господь?

Я смыл следы со стенок унитаза.

Снова спустил.



\*

— Америку смотреть, Кирилл!

Вспыхнули остекленные глаза — кабанья морда. С клыками. Глянула со стены — и луч сдвинулся. Охотничий трофей.

Кинопроектор ярко освещает руки Эдьки, зрители устроились на ковре. Вповалку. Жмурясь, я переступаю тела, сажусь к ногам Таи — этаким. Невыносимо трезво мне. Озноб тоски. Трусь затылком об ее коленки, они раздаются, принимают меня вовнутрь, зажимают уши, щеки — зачем все это... вообще?

На стене под стрекот аппарата возникает город, где я последний раз смотрел на свою дочку. Общеизвестный вид со смотровой площадки Эмпайер Стейтс Билдинга — хоровод небоскребов. Родись я там — и мне, быть может, неведомы были бы ледяные сквозняки тоски. Идеальное, однако, место для писателя. Но родиться при этом здесь, Sophie. Самому. Ребенка там. Если вдуматься, у нас с тобой единственно приемлемый вариант супружества, моя любовь. Вот возникает Влиятельное Лицо. Одутловатое. Каракулевый пирожок, изпод него взгляд непреклонности. Оно долго спускается, это Лицо, по бесконечной лестнице — издалека. С портфелем. Вот спустилось и — перед тем, как захлопнуть дверцу машины — вдруг улыбнулось во всю стену. И так радушно. Ладонь, салют. Так, мол, держать, товарищи!

— *P-papa*, — сказал Эдик.

После чего поехали монотонные виды из окошка. Бетонная тощища.

Смена кадра. *Washington, D.C.* Влиятельное Лицо взыскательно взирает на зрителя — не впал ли в восторг низкопоклонства перед тоталитарной помпезностью архитектуры? С любознательным омерзением заглядывает в какой-то бассейн, гигантский аквариум, там шныряют ихтиологические раритеты.

— *Papá* и акулы капитализма, — комментирует сынок.

Опасливо пятится от табуна сектантов, они в рванье, на выбритых черепах буддистские косицы. Сложив руки на груди, покачивает пирожком каракулевым перед витриной, по ту сторону которой наглая блудница, негритянка, голая, а *Папá* все раскачивает пирожком, совесть ее. С вызовом (под хохот зала) расплющиваются титьки об стекло.

Ребята, парни, *boys*? Кто будет сдерживать наш коммунизм? Длинноволосые призывники во Вьетнам сжигают свои повестки. Киносъемка производилась издали, исподтишка, и лиц не разглядеть (не в этой ли толпе твой муженек, *Sophie*?)

Еще много мусора, мрамора и длинных их машин.

*Предпочитаю глухомань.*

— Господи! — кричит Тая, — неужели все это на самом деле существует: Новый Свет, Старый? Мир?

— Мудрец, — говорит Никита, — познает мир, не выходя со двора. Где родилась, мать, там и сгодилась.

— И родилась, и сгодилась! Подохнуть хоть бы выпустили. Глоточек — вот такусенький. На посошок.

И снова этот чисто отвлеченный и безысходный советский спор о том, что лучше: нищета свободы? Свобода нищеты? И снова Эдик, как много лет тому назад, сказал, что должности министра здесь предпочел бы п-пост мусорщика хоть на 42-й, хоть в Сохо, хоть на пляс Пигаль. А я, *Sophie*, не только глазами вылизавший все эти сладкозвучные трупцы, терзался завистью к измученному телу в норковой шубе с плеча мадам Небыковой. Ей, Тае, ничего не надо было уже решать: судьба распорядилась; мне же Бог знает сколько еще времени тащиться в черепашьем темпе, убывая с лица земли. Невыносимо!

Налил себе водки и вышел.

На кухне будущие студентки института иностранных языков вытирали посуду. Льняными полотенцами, расшитыми петухами.

Я выломал из морозильника ледышку и опустил в бокал. После чего сказал, не выдержал:

— Да бросьте вы краснеть, ей-богу! Вы на какое отделение поступаете?

— Мы на ан... — покорным хором начали они, но осеклись. Переглянулись и до слез зарделись. После чего поврозь зашептали, что на английское, английское...

Этакие первозданные девахи.

— Ах, вот как, — сказал я, присаживаясь на край мойки, которая здесь, естественно, была из нержавеющей стали, — под крылышко к Юниору... А вы ему уже экзамен сдали, по языку?

— Язык не он у нас принимал, — робко возразила одна.

— Я не английский имею в виду.

Тарелка выскользнула из рук второй и с грохотом разлетелась на куски.

— Ничего! — сказал я. — Это горе не беда! — Поставил водку на край мойки, собрал куски, захлопнул в мусоропровод. — Одна моя знакомая, тоже, кстати, из вашего института, едва не захлебнулась в лингафонной кабинке. Так что советую вам совершенствовать благоприобретенный навык, залог успеха современницы как в личной, так и в общественной жизни. Ах, вы не знали? Но к звездам, девушки, только так: чрез тернии. Теперь вы понимаете, отчего так безутешно плачут на вокзале мамы, провожая нас в эту жизнь. Бедные наши мамы. Безнадежно отсталые провинциальные мамы, слепо верящие в романтическую любовь. Только и могут, что оладьями со сметаной кормить да рассказывать о девчоночьем своем детстве. О том, как в три годика уходили они в степь за садящимся солнцем. На Запад!.. — Я сглотнул, уронив слезу в водку. — За них,— сказал я сдавленно. — За наших мам.

Ледышка обожгла мне рот, но я вогнал в себя глоток и замер, зажмурившись и стиснув зубы.

— Главное, — возобновил я, — не отчаивайтесь. Говорю вам, как сирота сироте. Ставя нас на колени и расстегивая ширинку, они отнюдь не возвышаются над нами. Они, — сказал я, —

на съедение нам отдаются. (Как по команде, обе повернулись ко мне, раскрыв рты от ужаса). Да, девушки, — скорбно подтвердил я. — С образом тургеневской барышни это не очень согласуется, но — и на этот счет существует вполне обоснованная научная гипотеза — в данном случае они возрождают темные пережитки каннибальского прошлого в сознании женщины. Грозные силы каннибализма вызывают они, наивно тешась сознанием своего социального превосходства. И не нужно считать, что каннибальша в барышне воскресает только символически. Нет! Она воскресает *на самом деле*. Им, по-едаемым, на беду. А как вы думали? В этой жизни у нас только две возможности: есть своего ближнего поедом или быть едимым им. Дана и третья... Но вы продолжайте, девушки, а тарелок больше не роняйте: чего там!.. Так вот, — сказал я. — *Возлюбите ближнего, как самого себя.*

Я отхлебнул, утерся. Держу холодный хрусталь, смотрю на их багровые лица, на то, как топорщится ситчик под туго затянутыми талиями, на то, как бесшумно сбывают они с рук вытертые тарелки, и мне их не жалко, нет. Не знаю, сумеют ли стать они хорошими людоедками, но червоточина в них уже завелась. Сожравшая яблоневого сада и нашей краснощекой юности: *уступчивость*... И выест Божий мир, как яблоко.

— Как *яблоко*, — произношу я с силой. Я сжимаю зубы, свожу пальцы на хрустале. Ударить! Развернуться и вмазать кулаком по блеску белого кафеля. Все здесь разнести вдребезги. Потому что, *как яблоко, яблоко!*..

— Простите, девочки, — говорю я (и входящий при этих словах на кухню друг детства поднимает на меня мертвые глаза). — Простите дядю, он вас обидеть не хотел. (Друг детства в пиджаке на голое тело. Обхватываю его свободной рукой, притягиваю к себе — одряблого от водки, податливого, пассивного.) Девочки, — говорю, — вот перед вами мы: посмотрите на нас. (Стою во весь рост, прижимая его плечом к своей груди.) Мы, — говорю, — никогда не красеем. Оба с высшим образованием. Оба, — говорю я, — английским владеем, но никогда, нет, девочки, никогда... (Девочки глядят затравлен-

но, докручивая тарелки меж ладоней.) Well, — говорю я, — so, you speak English, both of you? Listen here, teenagers: being raped, relax and enjoy, и не рдейте при этом, как маковый цвет. Понимаете? Вот мы, посмотрите на нас. Никогда! You got the picture? Do you understand?

— Yes! — вскрикивают они, после чего повинно опускают головы. — Но английский у нас только в объеме средней школы.

— Не понимаете, значит? Да не краснейте же вы ради бога! — кричу я, а они мне шепотом, что они не виноваты:

— Оно само как—то краснеется.

— Само, — киваю я. — Оно само. Вы в Бога веруете?

— В бога? — уточняют, переглянувшись.

— Веруете?

Две пары широко раскрытых глаз, недоверчивость:

— Так мы ведь комсомолки... Вы это серьезно, или как?

— Да или нет?

Переглядываясь, пожимают плечами:

— Да нет...

— Вы думаете, дядя шутит, да? В третьем часу ночи в японском кимоно... А? Разве можно быть серьезным в кимоно? Драконами ужасными расшитом? Эд, скажи? Они, как пара пионов! Обожаю их, Эд, а ты?

Я притискиваю его к себе, потом отставляю недопитую водку, осторожно отставляю на гофру нержавеющей стали, и крепко обнимаю его, горячего, мясного, мягкого. Щеки наши шероховаты.

— Эд, дружище, — бормочу ему на ухо, — ты ведь помнишь ее, скажи? Как маковый цвет... как яблоневый была. Она тебя долго еще любила — после. Ты мне веришь?

Я отталкиваю его. Эти глаза потухли. Которые однажды прожгли ее насквозь. Набрякшесть пьяная под ними. Пепельная. Смотрит, не мигая, проклятый вурдалак.

— Говори!

Я потрянул его, и зенки ожили.

— Ум... ум-м..? — заикался в нем вопрос.

— Я же сказал: жива. Вот только шизанулась окончательно. Кроткая такая старушечка. Улыбается и песенки поет. Без конца, и все не по-нашему. Полностью съехала... в лучший, надеюсь, мир.

— Не п-по-нашему?

— По-фрицевски, — сказал я. — В основном, на слова Гёте, но иногда как заладит «*Ach, Du lieber Augustin*», и так пронзительно, ты знаешь? Фатер в дурдом ее упрятал. В самый лучший, естественно. В правительственный. Гуляет там себе по парку, веночки плетет. Из одуванчиков. Там, знаешь ли, очень хороший парк. Двухсотлетний; той еще Россией посаженный... *Ach, du lieber Augustin*:

Jeder Tag war ein Fest,  
Jetzt haben wir die Pest!<sup>14</sup>

— *Die Pest*, — он повторил. — Ди П-пест как Фест...

— Скажи мне, — сгрёб я его за лацканы, — *зеркало высадил, в Риге... почему?*

Тогда, в пятнадцать, сразу же с поезда мы вошли из любопытства в один пустой средневековый дом, уже готовый к сносу. Вошли и вдруг внезапно отразились оба в темном зеркале внизу — огромном, в золоченой раме с венцом и купидоном. *Так давно это было*. Он только глянул, только взвел глаза и — я даже не успел перехватить! — ударом правой разнес неясный образ наш на тысячу кусков, осыпавшихся со стены на мрамор. Мгновенная реакция. Ударом голого кулака. Кровь было не остановить жгутом кашне. В медпункте привокзальном ему наложили швы и сделали укол, а потом, до отхода очередного скорого домой, *nach Osten*, нас допрашивали в вокзальном же отделении милиции, где мы пытались доказать,

<sup>14</sup> Ах, мой милый Аугустин...  
Каждый день был праздник,  
А сейчас у нас Чума (нем.).

что никого мы не убивали, и нас никто не убивал, а *n-n-просто так*... Беспричинность той крови, как ни странно, убедила дежурного по отделению, латыша. Итак, мы совершили то паломничество в нам доступную Европу не столько для выяснения отношений, сколько для того, чтобы пролить кровь. Помню, меня тоже задело осколками. Пролить ее спонтанно. Свою.

— П-просто так, — повторил он, 33-летний, усмехнувшись на мою памятьливость. — Н-невзлюбил я то зеркало.

— Но с мамой ты порвать решил именно в тот момент?

— Нет, — мотнул он головой и добавил:

— Д-до.

Я возвратил ему эту улыбку:

— Ибо все дозволено?

— И-именно так.

Я поддал ему слегка плечом, этак утешительно, и вышел, напевая:

Augustin, Augustin,  
Alles ist hin!<sup>15</sup>

Но тут же возвратился и прихватил из холодильника банку венгерского томатного сока (для Таи, второй его бессмертной любви, ради которой была брошена мама), отыскал с железным звоном открывалку, после чего — в соответствии с принципом спонтанности — перецеловал посудомоек, вспыхнувших до мочек ушей, сочно этак запечатлел в растленные уста, — ну, а затем и Эда, уж заодно, хотя я предпочел бы через столько лет увидеть его, по крайней мере, активным.

— Ничего, — утешил я девочек, — это пройдет. В свое время и нам вот так краснелось... верно ведь, Небыков?

<sup>15</sup> Августин, Августин,  
Всё пошло прахом!

Нам тоже, да. Но потом уже нет. Никогда. Как маков цвет. Как яблоко Твое, Господи. Краснощекое. Крепкое — но только с первого взгляда.

А с тех пор уже никогда. Never more. Jamais plus.  
*Niemals.*

— Юниор! Послушай, Юниор, — шепчу я, положив ладонь на загипсованную голень спящего. — Где у вас карабин?

— Педрил стрелять? Давно пора...

На нем трогательные советские трусы, не препятствующие зарождению могучей утренней эрекции. Луч луны серебрит мерно дышащий брюшной пресс; мощный рельеф грудных мышц неподвижен, а голова отхвачена тенью. Журнал «Америка» на тумбочке припечатан серьезными с виду книгами. Снимаю верхние. Биография генералиссимуса Суворова, только что вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Под этой книжкой сам Суворов—трактат «Наука побеждать», академическое издание сталинских времен. Что ж, поживем — увидим.

Посреди комнаты вдвоем на тесной раскладушке, задами друг к другу, посапывают его целочки; руки под щеки. Пока что наш воинствующий гетеросексуал одерживает победы не над самым сложным противником, но солдат он хороший, так что в ранце у него, несомненно, жезл члена Политбюро, скажем, 2017 года. Выхожу, осторожно прикрыв за собой дверь.

Танцор (против него я ничего не имею) устроен на ночь в комнате для прислуги, отпущенной в свою деревню на побывку. Веселый парень. Перед тем, как вырубиться, стриптиз нам исполнил не хуже, чем в Калифорнии, и теперь из приоткрытой двери доносится вполне удовлетворенный храп.

Сердечный друг мой сидит на кухне. На полу. Привалюсь к стене под мусоропроводом и поникши головой. В том, как вывернулись ладонями кверху его руки, — печальная наглядность отключки. Рядом на полу бутылка; если бы из-под вина — ни дать, ни взять — клошар из парижского метро.



— Карабин ищу, Эд, — говорю я. — Где он?

Он мотает головой:

— Н-нет...

— Что *нет*? Что *нет*, блядь?

— Б-бритвой чище. огнестрельное японец п-презирает.

Он схватывает меня, резкого, за полу кимоно.

— Кирилл!

— Ну?

— А нам не н-нужно. — И возводит перст свой на крышку мусоропровода. — А-анус дома сего! Вполне д-достаточно...

Всегда он относился к себе всерьез, бедняга. Самоиронии не доставало...

Может быть, в гардеробе? Выхожу на второй этаж. В родительской спальне наощупь включаю ночник. Как положили Юстицию, так и лежит — поперек супружеской кровати. Груди на ней разъехались; свисают ноги с наманикюренными ноготками. Я поднимаю эти ноги, взваливаю их на шелковое покрывало. Пребывая в коматозном состоянии, на смену позы девушка не реагирует, и я вынимаю из-под спины у нее ее же придавленную руку — укладываю рядом.

Открывая чужой гардероб, я невольно вспоминаю Караева в детстве — маленького профессионала сыска. *А как сердечко трепетало!* Проткнув рукой одежду, шарю по стенке гардероба. Сорвавшись с плечиков, промеж мануфактуры, оседает, рукавом вываливается, грудью — пиджак. Официальное обличье, вицмундир, тяжелый и позвякивающий массой пестрых орденов и медалей (даже Крест серебряный вон — *Virtuti Militari* — от почитающих латынь соседей). Воровски влезаю во внутренний карман — слева, где сердце, — партбилет. Внутри, под профилем Ленина, надпись: *Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Pars, partis. Часть!* И если бы, если бы «той силы, что без числа творит добро, всему желая зла», — как говорил наш с мамой Мефистофель, — я был бы счастлив к ней принадлежать, ибо располагаю аналогичной книжечкой. Да! *и примкнувший к ним Караев*. Что ж, товарищ Небыков, все у вас в порядке, взносы уплачены, следуйте дальше

завещанным курсом. Возвращаю вицмундиру документ, возвращаюсь к Юстиции. Подбородок ее оттянут запрокинутой головой. Рот приоткрыт, а горло вздуто. Под изобильной женской плотью, подобно мудрецу индийскому, я вижу скелет — ширококостный, крепкий, но полторы бутылки кого угодно отключат. Очнется, ничего. Жить ей и жить. Все здесь впереди, даже смертного приговора еще не выносила... *Пусть это будет первый!* Я падаю на колени, обнимаю эти бедра, обминаю свое лицо об эту податливость, эту уступчивость; прерывисто вдыхаю сухой, горячечный жар. Прощай, Женщина! Вкушая, вкусих мало меда.

Прощай.

Карабин я нахожу в библиотеке. Тот, что нужен, — с оптическим прицепом. Снимаю с горки, ощущая прочное сочленение дерева с металлом. Как прост механизм, освобождающий от бытия. Стоя с оружием в руках, смотрю из мрака на бывшего одноклассника, который, удобно устроившись в кресле и скрестив босые ноги на столе, читает в свете торшера с *увлечением*... Что? Что можно читать в нашей стране с такой самоотдачей? Тамиздат, конечно. *Евангелие*. Из библиотеки правящего атеиста, которому в отличие от простых смертных доступно все, включая Талмуд и Коран. Лови момент, Сержик! Каждому свое. Вдруг рот мой наполняется слюной. Сглатываю. Кровь бухает в виски. Ей, крови, во мне тесно. Ей *темно*. Сейчас, сейчас, ты, милая, ударишь...

Лысеющий бедняга с третью желудка отлизывает прозрачную страничку. Черный переплет с золотым крестом на обложке. То самое, мое *первое*; именно в этой библиотеке вытасченное с полки и отворенное из любопытства. *В пятнадцать*. Все в этом доме было — и не только «Плейбой». Богатые, они другие, сказал Скотт Фицджеральд, имея в виду арал, где бедные от богатых физически не отличаются. Тогда как Сержик беден визуально. Несмотря на то что в таких же трусах, как Юниор. Беден цвет кожи. Бедна плоть на скелете, пострадавшем в детстве от рахита. Так инороден этот дистрофик в обвисшей маечке среди провинциально-хамской рос-

коши библиотеки! Надеюсь, ты помнишь его, Sophie? И он ведь тоже надеялся стать писателем, *стать свободным*, как та троица, сокрушившая сей миропорядок, когда ее перевели, в конце 50-х, на этот, разом тогда вдруг освободившийся язык: Эрих-Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй и Джером Дэвид Сэлинджер. (И мы прозрели, отроки, передавая в классе из рук в руки учебники свободы.) Потом, в шестнадцать, он открыл Джойса; в городской библиотеке, еще недавно носившей имя Сталина, просиживал свои заботливо залатанные штаны (перешитые из армейских брюк отчима) над выцветшими номерами журнала «Интернациональная литература» с бессмертным «Улиссом», ровно половина которого — девять первых глав — успела появиться до начала Большой Бойни одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года от Рождества Христова. После того, я думаю, он, Сержик, был первым, кто востребовал тут Джойса из забвения. И каким-то чудом ему выдали — несмотря на то что в отличие от группы своих переводчиков «Улисс» Советами пока что не реабилитирован. (Но ничего: долготерпеливая Россия ждет, как Пенелопа, пряжу распуская; еще дождется, может быть.)

Сержик перевернул еще страничку. Сын социально беспомощных родителей: отчим, полковник инженерных войск в отставке; мама... всего лишь просто *мама*. Тридцать три ему. Инвалид третьей группы. Где жил, там и живет — на окраине. Все так же ездит в нашу школу на трамвае. Теперь он сам учителствует в ней. Преподает словесность, сменив на этом посту нашу бывшую «литераторшу», старую деву и пылкую садистку: помнишь, как она пытала нас, юных телочек и лбов прыщавых, каленым железом соцреализма? От рака мозга умерла старушка, а Сержик занял ее место — как-никак прогресс. На добровольных началах там он еще кружок ведет: литературный, где пестует очередное поколение подающих надежды еврейских девочек и мальчиков (дай Бог, чтобы успели эмигрировать!). Ну и, конечно же, пишет роман. *Роман!* Мы все тут его пишем — что еще остается, Sophie, скажи на ми-

лость? И особенно усиленно, когда от желудка остается не более чем треть. Допишем ли?

Вот в чем вопрос.

Я выщелкиваю обойму. Пуста! Обвожу глазами битком забитые стеллажи, простенки, увешанные трофеями: кабаньи головы, лосиные рога, болгарское расписное блюдо, шаферская лампочка из Силезии, огромный медный ключ (от символических ворот Восточного Берлина, покоренного обаянием товарища Небыкова) — пестрый китч визитов дружбы и братства... Патроны, должно быть, в столе. «Прости, дружок!» — разворачиваю Сержика вместе с креслом и выдвигаю ящик.

Тут сувениры более интересные — из стран капитала. Привезенные с сессии ООН журналы с кроличьими ушками на обложке. Устарелые — тех времен, когда шерсть американских пизд еще не прорвалась через цензуру. Есть также — *made in Hong Kong* — колода карт игральные; для игр в одиночестве одной рукой. Есть сработанная датскими умельцами шариковая авторучка, с помощью которой Эдик доводил наших учительниц до истерики (перевернешь, и с тел двух аппетитных дам неудержимо сползает чернота глухих купальников). Сочинения этой ручкой любил писать проказник. На так называемые «свободные» темы, типа: «Мое представление о счастье». Исписал ее давно...

Боеприпасы были еще глубже. Я вынул две коробки патронов, задвинул ящик и вернул читателя обратно в круг света. Не без удивления Сержик взглянул на патроны.

— Куда ты, Человек-с-Ружьем?

— Да так...

— А все-таки?

— Колесо истории, — ответил я, — обратно заворачивать.

Неуверенно посмеявшись, он воскликнул:

— Пстой! Насчет колеса... Ты только посмотри, что я надыбал! — Он стал отлистывать свою книжку вспять, близоруко пригибаясь к тексту... — Вот. Зачти!

С карабином в руке я заглянул над его плечом в убористый текст: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем»... Ноготь. Опрятная полиграфия Евангелия, глаголящего по-нашему (однако *printed in USA*), была крепко придавлена обкусанным ногтем большого пальца Сержика, который сияюще смотрел снизу:

— Будем! Уже есть! Просто еще не открылось... Нам! А? А?

Все существо его взывало ко мне — разделить эту бедную радость. Воспитанный человек, я, разумеется, выразил эмоцию по поводу откровения, снизошедшего на бывшего поклонника западного авангарда. И оставил это русское сердчишко биться дальше, до самой, видимо, зари — над недозволенной ему литературой.

С карабином поперек коленей сажусь на биде, виски мои медленно взмокают. Господи? Нет, не верую. *Не могу*. Ибо Ты есть Бог последней трети желудка. Бог *остатка*. Последней пяди жизни. Я ставлю карабин на пол, упираю углом приклада в центр квадрата из четырех плиток и, крепко взявшись за ствол, беру конец в рот. Подмышки мои истекают от пота, но, подвернув босую ногу, как йог, взвожу ее по карабину до самого до крючка. Давай, большой палец! Отлепляйся...

Но не только спусковой мой палец, всю ногу сводит судорога, от которой тонут пловцы. Я снимаю со ствола свою буйну голову. Встаю, приближаюсь к себе в зеркале. В оскале извиняющейся улыбки и впрямь нечто кеннедиевское. Красив я, Господи! *Поэтому и не могу*. Запах рвоты — не моей, а Юстиции — поднимается к ноздрям. Отставляю карабин, пускаю воду и смываю с фаянса сохшиеся стружья блевотины, смываю запах с рук, вытираю их, разряжаю карабин, вталкиваю маслянистый патрон обратно в коробку и спускаюсь вниз.

Шофер задремал в ожидании меня на сундуке в прихожей. Я трогаю его за плечо; он поднимает красноватые глаза. Встает.

Я вручаю ему карабин.

— О! — говорит он. — Теперь порядок. — И поворачивается, подставляя мне карманы, куда я вталкиваю коробки с патронами. — Вы уж это, извиняйте за беспокойство, только они, — оправдывает неурочный визит, — с зарею любят выезжать.

В порыве правящей спонтанности *они* раздумали бить уток влет. Это и понятно: *они* всегда предпочитали крупнокалиберную стрельбу.

— Это на кого же?

— А на лося.

— А что, уже его можно убивать?

— Так ведь как... — Он затянул ремень на сползающих штанах потуже. — Кому нельзя, а кому и лзя.

— Тебе, к примеру?

Личный шофер и оруженосец Небыкова оглядел меня с недоверием в powyцветших глазах, испещренных прожилками бессонницы. Он знал меня когда-то, но не узнал. Тем не менее, право за мной признал — несмотря на японский мой наряд.

— Нет, мне — нельзя.

— Не заслужил?

— Выходит так, что нет.

— Но ты, отец, ведь тоже не в накладе. Глядишь, и тебе перепадет за труды, — сказал я, выпуская старика на лестничную площадку. — Можешь передать своим собратьям от моего имени: взыщется с них за этого лося. И с тебя за твой кило — тоже.

Перед тем, как войти в лифт, он оглянулся:

— Что ж, я отвечу. За наш со старухой кило.

— Готов ли?

— Так точно. Но дозвольте и мне сказать: навряд ли спросят с нас по счету. Очень я боюсь, что никого там нет, чтобы спросить. Бывайте, товарищ начальник.

— Бывай, Петрович. Удачной вам охоты...

*Очень он боится.* Были времена, когда он учил меня водить хозяйскую машину, тогда еще «Победу», и относился я к нему с глубоким пиететом: еще мальчишкой этот герой Рельсовой

войны пускал немецкие составы под откос. Фотоснимок его, тринадцатилетнего партизана с трофейным «шмайссером» на груди, и по сей день, должно быть, выставлен в городском музее, в разделе «1939—1945». Что ж. Может быть, ему и не придется отвечать. Никому, быть может, не придется. Кроме меня. Но тогда уж за все. За всех.

Я пересек квартиру, нырнул под штору и вышел на восточную лоджию. На воздух. Здесь, в шезлонге, среди увядших «анютиных глазок», лежала в норковой шубе Тая, а на бельевой веревке сушились мои вещи.

— А ты действительно похож на самурая, — сказала Тая, зябко кутаясь в мех.

— Национальная особенность, старуха. — Я отцепил трусы и натянул их под кимоно. — Быть похожим на всех, не являясь, по сути, никем. Это Гоголь про меня сказал: *прореха на человечестве*.

— Софья твоя однажды книжку дала мне почитать. Еще в школе. Японскую повесть какую-то. Там у главной героини, гейши, на груди родимое пятно было. Из которого волосы росли. И в ожидании своего самурая она это пятно обстригает. Маникюрными ножничками.

Взгляд Таи был устремлен на горшки с засохшей землей. У нее были очень красивые волосы — пепельного оттенка, длинные и прямые. Неуверенно я спросил:

— Это ты к чему?

— Просто так. Пришло вдруг в голову. (Внезапно сознавая, и с иронией.) Что, испугался? Не бойся, на твою честь не посягну. Свой последний в этой жизни оргазм я уже имела... с *огурцом*. Ирония судьбы, не правда ли? Жизнь посвятить воскресению пенисов, писать диссертации по методике наживления, письма получать от благодарных пациентов, а напоследок — огурец! С Комаровского рынка. Но что ты хочешь: умирая, даже сексологи впадают в комплексы, не говоря уже о том, что Небыков феминизировался окончательно... Но как

потрясла меня в свое время эта волосатая родинка! Нет, говорила я себе... (пародируя себя в возрасте прочтения): никогда бы с таким уродством не смирилась — лучше смерть! Лучше вообще не быть, чем выносить подобное! А чтобы стриженую и колючую ту родинку еще и с самураем разделить... нет! никогда! При этом, помнится, гордилась очень своим максимализмом целки... (смеется.) Преступная все же пара...

Я был готов уже ухмылкой поддержать, думая, что имеются в виду они с Эдуардом, но Тая взглядом предостерегла:

— *Семья и школа* — в смысле. До семнадцати лет нас держат в полном неведении, прививая идеалы, в результате чего за школьным порогом сразу же расшибаемся в кровь. Не знаю, как ты, но лично я так и не отделалась. От той кумулятивной травмы. От травматического невроза реальности. И это при том, что в этой жизни я очень многое люблю. А ты?

Тактично промолчал.

— Возобновись во мне красные тельца, я бы, конечно, полностью сменила образ жизни, — вслух мечтала Тая. — Вот мой предок: он ведь и брюзжал, и хулил, и напивался. Сам своей язвой мучился и нас терзал, в доме ад устроил, диссидент чертов! И все во имя правды, во имя справедливости! А после первого инфаркта очнулся и прозрел. Сейчас в городе вообще не бывает. Переселился на дачу. Отшельничает. Клубнику выращивает, помидоры. С солнцем встает и день-деньской не разгибаясь. Ходит в рванье. Естественно, почти не пишет — так, время от времени тиснет что-то натурфилософское в местной газетенке. Пишущая машинка заржавела давно: карандашом сочиняет в школьных тетрадках. Не то что толстых журналов наших не читает, даже Би-би-си больше не слушает! Всю! не только советскую, всю вообще цивилизацию послал к чертям собачьим и хипшует на здоровье. Была бы у меня жизнь, я бы ее только в растительном варианте прожила. Вот как трава растет. Последнее время, знаешь, я на рынок пристрастилась. Слоняюсь себе между колхозными рядами: овощи, фрукты, петрушка... Столько ведь жизни во всем этом — красной, зеленой, тугой... *столько Бога.*



— Плюс ДДТ, — сказал я.

— А видел, как лопается перезрелая хурма? У меня от этого зрелища трусы, ей-богу, мокнут. Обожаю!

— А как косули взрываются, ты видела? — сказал я, несколько перебирая в полемическом запале. — На лету?

— Где это они взрываются?

— А у китайской границы. Есть такие ракеты, знаешь ли. Тактические. С боеголовками теплового наведения. Которые сами наводятся на горячую кровь. Сбежать от такой невозможно — пока ты живой. Нет, в силу Бога я не верю. А не поверить в силу Дьявола мне просто невозможно. В эту охоту на все, в чем кровь живая. На всё, что пытается сбежать от этой мертвечины.

— И лучше всего в смерть. Знаешь? Где лучше всего спрятать опавший лист? В осеннем парке.

— Есть (после паузы, раздумчиво), есть еще одно заветное местечко... В Гималаях. Окошки там затянуты упаковочным целлофаном, среди серебряных будд стоят жестянки из-под пива в виде украшений, а Учитель мой будущий восседает себе на ящике из-под консервов за номером 101 и сработанном в Англии. Вот там, пожалуй, я и успокоюсь.

— Неблизко. Лично я бы удовлетворилась садиком за городской чертой.

— Садик! Берешь свой шланг — рассаду поливать, а где-то там уже предусмотрели. Вот тебе небольшая, но поучительная быль на природозащитную тему: мы с тобой еще детьми были, ты и я, а заводичко один секретный, имя им легион, уже производил втихую полихлорированный би-финил — знаешь, с чем это едят? Мы росли, а заводик надсаживался, гнал план, развивал материальную заинтересованность, боролся со штурмовщиной, прогулами, пьянством, текучестью рабсилы, одновременно вывешивая на почетную доску фотографии ударников коммунистического труда и победителей соцсоревнований — и что же в результате? Этак исподтишка, в условиях строжайшей секретности, отравил огромную часть наших водных ресурсов. Ручьи, озера, реки. Под предлогом

удовлетворения насущных стратегических запросов Министерства обороны, которому хоть зарежься, а дай особо прочные изоляции для шасси каких-нибудь «мигов», которые в небе охраняют наш труд на земле. Ну, а ты — в неведении, в рванье, в отказе, с томиком Горация под мышкой поливаешь себе свои грядки этим би-финилом. И что из них вылезает? Чертов овощ! Надкусишь — и Господь Бог в тебе поперхнетя. Нет, моя милая! На наших частных сотках и десятинах не взрастить уже райских плодов. Наша НТР необратимо изменила образ Адама. *Вышел Ваня на крыльцо, почесал свое яйцо. Химия, химия — вся залупа синяя!* Dixit vox populi. Да и западные Эдемы в этом смысле не лучше. Вон даже в Париже у Гения Свободы — который тюрьму Бастилию заменил на одноименной площади — подгнили крылышки.

— Но держатся еще?

— Пока, — признал я неохотно. — До первой серьезной встряски.

— Ладно, — смеялась Тая, — можешь считать, что пантеист в ней умер, не родившись. Но вот насчет Парижа девушка останется безутешной. Нет, серьезно: вместе с Маяковским хотелось бы, по крайней мере, умереть в Париже. Ты ведь его знаешь, наверное, не хуже Подпольска. *N'est-ce pas, mon cher?*

— По долгу службы.

— А любишь?

— Люблю, но, — усмехнулся я, неприятно ощущая волчий свой оскал, — *странною любовью*. Под этим вот «дворянским гнездом» ведь есть противоатомное убежище?

— О-ля-ля! Еще какое!

— А под Парижем их нет. Самый безнадежный город — в случае Третьей мировой. Которая уже началась. Будь я этим монстром Квазимодо, вовсю наяривал бы в колокола. Ибо чего-чего, а поминальной мессы Париж, во всяком случае, стоит.

— Разве Собор Парижской Богородицы еще работает? Мне почему-то казалось, что это уже только...

— Что? Открытый плавательный, как на месте храма Христа Спасителя в Москве? Не будем опережать событий. Собор в Париже пока еще функционирует нормально. По своему прямому назначению.

— Значит, и мессу там можно заказать?

— Запросто.

— Вот ты и закажи! — Тая опустила глаза и добавила иронически: — По одной рабе Божьей, безвременно угасшей в забытой Богом дыре. Но только — смотри! — чтоб в Нотр-Дам. На меньшее мы не согласны.

Было уже совсем светло. Я посмотрел на часы. *Суббота, 27 августа. 05. 30.* До восхода солнца оставалось меньше часа. Снизу доносились шаги неусыпного сотрудника внешней охраны.

— Будет исполнено. Ну, а теперь, душенька моя, изволь...

— Спать?

— Да ведь пора. Вон у тебя глаза уже слипаются.

Благовоспитанно она зевнула — трепетом ноздрей. — С детства не любила засыпать.

— Это ты зря. — Я взял ее под коленки. — Ведь жизнь не более, чем сон.

Мне казалось, что в руках моих одна шуба — братская могила зверски умерщвленных зверьков, — настолько невесома стала моя школьная подруга. По ту сторону штор, в гостиной, где был сумрак, уложил Таю на диван и опустился на колени в ожидании. Не знаю, сколько так я простоял. Но стоило подняться, глаза ее открылись:

— А колокола будут?

— Всенепременно.

— Спасибо, выездной мой Квазимодо. Смешно, но я ни разу в жизни не слышала колоколов.

— Ты их услышишь, — обещал я. — Спи.

Лифт не стал себе вызывать; иногда мне кажется, что там-то меня и прищучат — в одном из этих вертикальных гробов. Толика клаустрофобии. Самая малость.

Лестница погрузила в детство; особенно на площадках (здесь оранжерейных) вспоминалась особая, летняя неприкаянность: друзья разъехались, а мы с мамой опять не сэкономили на путевку в пионерлагерь. Да, друзья, не по годам смышленому мальчику непросто приходилось в бесклассовом обществе. Ягодицы сына маникюруши пульсировали. От жгучего позора заплатак.

Выхожу на воздух. Возле дома безлюдно. Иду асфальтовой тропой через скошенный луг с погашенными фонарями. Навстречу шагает охранник. Ботинки сияют. На боку уки-токи, антенна выдвинута, хвостик покачивается. («Макаров» на заднице, на правой верхней четверти, под полой мундира). Юн. Из деревни. Сводит белесые бровки, запечатляя мой обаятельный образ: кожаная куртка, заброшена за спину, штаны загармоничные... Да нет же! улыбаюсь я. Я — свой. *Наш*. Слесарь. Мастер спорта. Ебать-тяжеловес с заводской окраины. Отодрал тут, понимаешь, одну — по случаю. Томящуюся дочу. Застрявшую в городе по случаю экзаменов в университет (разумеется, беспроегрышных). Пипку распотешил. По случаю, в охотку, до зари. И ты б не отказался, да?

Я подмигиваю, однако страж Белого Дома, как с досадой именуют горожане это место, не разделяет бесхитростную радость рабочего парня. При этом мрачность физиономии не вяжется с наследственным румянцем щек.

Отворяя железную калитку в шлакоблочной изгороди, спиной чувствую взгляд сожаления о непроверенном документе. Что вы хотите. Генетическое недоверие крестьянства к пролетариату. Заслужили-с...

За калиткой — вдох. Всецой полнотой легких. Задержать на четыре шага — выдохнуть. А воздух свеж, как поцелуй ребенка! Иду улочкой детства. Вот Дом Политпросвещения. Вот Высшая партшкола. Здесь, на углу, меня пытались запороть штыком немецким; избежал. Мимо тянется зеленый забор пришкольного участка. В просвете между деревьями беседка, там впервые приложился к горлышку, там сделал первую за-

тяжку. Вино называлось... Как же называлось, то вино? Рублевое, но забористое, 18°, «Белое мцное» — вот как. Дар щирой Украины. После бутылки непросто было рассказать по-английски тему, и только мне это удавалось: *The Leader of the Communist Party of the Soviet Union, our beloved Nikita Sergeevitch Khrushchev...* У ребят языки вязли, но я шпарил бойко. Сын маникюруши, что мне оставалось? А сигарета первая звалась «Джебел». Всего лишь город на юге братской Болгарии, но тогда читалось, словно имя Дьявола. Без фильтра, разумеется. Страх первой затяжки.

*Исповедь Великого Грешника.*

Стою напротив нашей школы. Имени Ф.Э. Дзержинского. Средняя. №1. Все тот же гипсовый Пионер безмолвно трубит с крыльца. Все та же Пионерка — углом рука над головой: «Всегда готова!» До последней капли крови... Толстые икры — вызывали, помнится, первые пионерские эрекции, непокорные, упорные. К новому учебному году обе статуи свежевыкрасили в тот же цвет авиационного алюминия, и ничего в этой жизни не изменилось. Все по-прежнему. Недовысохшее сияние лужи в тени тополя. По тротуару вкрадчиво скребется в душу конченого человека станиолевая обертка от эскимо. Стоило одиннадцать копеек. Агитпроп, на всю вселенную трубящий: «Наше мороженое — лучшее в мире!», — нет, не врет. Как ни противно это мне признать.

Квартал был чист, предсолнечен, безлюден. Жилых домов здесь нет — за исключением «Дворянского гнезда», где рано не встают. Центр города. Офисы одни. Сталинская архитектура. Августовская тяжесть тополей, которые, я помню, так эффектно отражались в зеркальном лаке черного ЗИМа моего отца-самозванца.

Он ждал меня у школы, подъезжая к последнему звонку. Я сбежал с крыльца — дверца ЗИМа распахивалась мне навстречу. Но я сворачивал направо по тротуару. Помедлив, ЗИМ снимался с места. Я шагал, автономно размахивая портфелем, алый шелк моего галстука ласкал мне лицо, ветерок был майский, теплый, шелк облеплял мне губы, я отдувал его, при-

стально изучая узор асфальта, его припухлости, надтреснутые бугорки, вулканчики с прорвавшейся наружу бледной травкой, а черный «паккард», только что сошедший с конвейера имени Молотова, все время полз слева, не обгоняя и не отставая — такая вот игра. Неторопливо оползло стекло задней дверцы.

— На пару слов, Кирилл! — окликал голос отца. — Как мужчина с женщиной... Да ты постой, чудак! Ведь я ничего не знал: я был в Пекине!..

А я, сдувая галстук, напрягался шеей, чтобы он не въехал мне в поле зрения. Бастард, отличник, «фрицево отродье», сверхмальчик, я боялся разрыдаться от зычной твоей нежности, отец. Запоздалой — увы. Я — маменькин сынок, не твой. Сын маникюрши с темным прошлым, освобожденной из арбайтслагеря — вот в чем ее вина — американскими солдатами, и тем не менее — вот в чем беда — вернувшейся домой...

*С какой же целью? Шпионить в пользу американского империализма? С каким заданием?*

Пока ты обнимался с Мао Цзе-дуном, ее, подпольщицу, пропущенную через ад гестапо, доламывали на допросах в местном филиале МГБ, выясняя среди прочего то, что так и осталось неизвестным — ее истинная роль в заговоре с целью убийства гауляйтера фон К\*\*\*, на время оккупации — по приказу фюрера — сменившего тебя, отец, в Подпольске, на конгениальном посту руководителя парторганизации и хозяина региона. То есть, все мы — гестапо, МГБ и я, из чистой любознательности еще мальчиком открывший свое частное досье, — располагали неопровержимыми свидетельствами того, что в роковую ночь, как и обычно, «оппель-адмирал» доставил фрейляйн в особняк партайгеноссе, после чего отвез обратно домой, где на рассвете она и была арестована агентами гестапо по подозрению в убийстве. Однако даже там, в гестапо, исходили из презумпции невиновности. И им не удалось доказать, что в данном случае *после того, как означало вследствие того*. Не верю и я — несмотря на то что после многолетней психодрамы расследования этого темного дела местной

госбезопасностью мама все же получила свою Звезду Героя Советского Союза (как раз в канун безумия). Время от времени я вынимаю из своего московского экземпляра *The Rise and Fall of the Third Reich* фотоснимок улыбающегося фон К\*\*\*, разорванного на куски «адской машиной», подsunутой ему под матрас (набитый, может статься, волосами узниц лагерей смерти). Что сказать? Достойный был представитель нордической расы. Не более того — когда бы не надпись на обороте, посвященная моей матери и полная самоиронии:

Nun gut, wer bist du denn?  
 Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das  
 Gute schafft... Ich bin der Geist, der stets verneint!  
 Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,  
 Ist wert, daß es zugrunde geht;  
 Drum besser wär's, daß nichts entstünde.  
 So ist denn alles, was ihr Sünde,  
 Zerstörung, kurz, das Böse nennt,  
 Mein eigentliches Element.<sup>16</sup>

(Podpolsk. 1944)

Кстати сказать, любитель классики погиб не только спустя несколько часов после randеву с ней, но и за девять месяцев до моего появления на свет далеко к западу от этих гиблых мест. Не знай я, что в то же самое время ты, отец, активно

<sup>16</sup> «Так кто же ты?» - «Часть вечной силы я,  
 Всегда желавший зла, творившей лишь благое... Я отрицаю всё - и в  
 этом суть моя.

Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться,  
 Годна вся эта дрянь, что на земле живёт.  
 Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться!  
 Короче, всё, что злом ваш брат зовёт, —  
 Стремленье разрушать, дела и мысли злые,  
 Вот это всё — моя стихия».

Гете, *Фауст* (в переводе Холодковского).

действовал здесь в подполье, я бы, пожалуй, так никогда и не признал бы за тобой прав первородства. Хотя бы потому, что литературные вкусы покойного фон К\*\*\* мне в детстве были как-то ближе санкционированной вами лирики:

С календарного листка  
Молча смотрит Ленин.  
Посадил отец сына  
Тихо на колени.  
Снег метет, в окно стуча  
Белой мягкой лапой.  
И глядят на Ильича  
Оба — сын и папа.  
Говорит отец тогда  
Ласково и строго:  
— В жизнь, сынок, шагай всегда  
Ленинской дорогой!<sup>17</sup>

Ах, оставьте, папенька! барчук уж наигрались. *Laissez-moi, mais laissez-moi!* Наша с вами маменька, инструмент подпольных замыслов, Герой и божий одуванчик, распеваящий песенки на языке пыток и Гёте, уже вышла из игры. Так не пора ли и сынишку отпустить с колен? Как-никак, а тридцать три годика ему. Пора, пора ему на волю и покой. Да ты ведь не отступишься, отец, и не отпустишь. А уж самовольной отлучки и вовсе не простишь. Куда б ни скрылся я, останусь, знаю, притягательной мишенью для родительской твоей Боеголовки, самонаводящейся на кровь, на горячую, которую — ошибочно ли, нет ли — чувствуешь ты *родной*.

Что ж, поживем — увидим.

<sup>17</sup>Эти, а также последующие стихи, которые в нежном возрасте я воспроизводил по первому требованию наставников, являются отрывками из антологии «НАША КНИГА»: сборник для чтения в детском саду. Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения. Москва, 1967. - К.К.К.



\*

Я вхожу в сумрачный парк моего детства.

После убийства гаулейтера фон К\*\*\* парк превратился в лес повешенных. На каждом из этих деревьев висело по двое, по трое — сколько выдерживали ветви и суки. Стволы деревьев, пострадавших при освобождении от осколочных ран, но ко времени моих первых сюда визитов уже залеченных синим гипсом, увы, не самую здоровую пищу давали воображению пугливо-пытливого ребенка. Те же аллеи, тот же фонтан, все тот же Купидон, разнимающий пасть дельфину. Как мы смеялись, помню, с мамой, когда наш рыжий дворник, стоя на лестнице в пустом фонтане, во исполнение решения горсовета, закрашивал голубой краской пухлые ягодицы и прочие срамные части позеленевшего от старости бронзового мальчика. Перед каждым праздником дворник, так сказать, «надевал трусы» на Бога любви. До сих пор еще остались следы краски на миниатюрном *распетушье*, хотя «трусы» уже, конечно, смыла вода, которой утекло с тех пор немало. И горсоветом местным нынче правят отнюдь не пуритане.

Я миновал публичный туалет; поклонник готики, провинциальный архитектор прошлого века решил это здание на задворках тогдашней империи Российской в виде рыцарского микро-замка. Во времена борьбы с «низкопоклонством перед Западом» это сооружение как будто бы уже решили снести с лица земли советской, но прособирались, момент был упущен, а монумент остался цел. Сейчас его даже вон закрыли для публики, навесив табличку: «Памятник архитектуры. Охраняется государством». Но в мои времена — Господи, злая же мне память досталась! — рыцарский этот замок еще выполнял свою изначальную утиларную функцию: *увы, Sophie...*

Пошел Олененок  
По саду гулять:  
Зверей посмотреть  
И себя показать.

В дурно пахнущей кабинке, куда Олененок забежал по малой нужде, с ним очень нехорошо обошелся один красавец-уголовник. Взял, можно сказать, враспloch. С ножом к горлу пристал. Рукоять была набрана из плексигласа и разноцветной пластмассы. Несмотря на элегантную шляпу зеленого фетра, красавца портили железные зубы. Как обычно, нечем было подтереться.

И бедный малыш  
Убежал со слезами  
И долго обиду  
Высказывал маме.  
Она языком  
Причесала пострела  
И ласково так  
На него посмотрела...

А в это время, папенька, вы исполняли миссию за Великой Китайской стеной. Что ж! Олененок ваш, насильственно посвященный в рыцарство, и про Китай выступал на школьных праздниках:

...Тут среди них Ли Чана мама  
— Товарищ Сяо Тин.  
А рядом с мамой гордо, прямо  
Стоит счастливый сын.  
Шумит, поет страна большая...  
Мы все — за мир!  
За мирный труд!  
И дети нового Китая  
В колоннах праздничных идут.

Я пересек парк и оказался у входа на правительственные трибуны, вознесенные над главной площадью Подпольска. Параллельная трибунам аллея в перерывах между праздниками исчезала под опавшими листьями или зарастала неположенной травой сейчас, как и тогда, разворотившей весь асфальт. Здесь, на этой аллее, уютно — от стены гигантских портретов, лицом обращенных к площади, а изнанкой к парку. Вкопанные в землю алюминиевые мачты высоко подняли

и прочно держат эти шедевры неизвестных живописцев Агитпропа. На каком же ты, отец? Кое-где сквозь холсты просачивается краска, и на меня, бредущего за кулисами, с каждого щита пялится огромная безликость. Твое лицо — любое. Нет у тебя лица. И в этом смысле я, конечно, достойный сын. До ноябрьского праздника еще далеко, и аллея весьма запущена. Слева портретная галерея анонимов, справа зияет меж стволов безлюдье. Ни души. Вот садовая скамья — чутунными лапами кверху. Этой ночью кто-то ее перевернул. Мощный кто-то — в порыве сублимации. За каменным бордюром газон вытоптан до почвы. Миллион задавленных окурков. Бутылки, пустая тара, еще не подобранная спящими старушками-нищенками. Вот — из-под импортного вина с мужественным названием «Бычьи рога». Должно быть, девушки наедине распивали. С бессознательным упорством взгляд мой ищет на поле битвы этой ночи резиновую слякоть презервативов. Ах, да! С презервативами сейчас туго. Дефицит, конечно же, умышленный — ввиду нехватки рук, готовых к труду и обороне. Плодитесь, дескать, размножайтесь! Не хотят. Устраиваются как-то, чтобы не воспроизводиться. А как бороться с этой бесхозяйственной — на злодеяния — растратой семенного фонда государства? Проблема еще не решена. Юниор, тот — да, тот наведет порядок. Под Юниором наука с пистолетом, приставленным к затылку, штурмом возьмет Тайну Зачатия. И будут новобранцев в колбах выращивать — вплоть до призывного возраста. С первертами все ясно. Адептов ануса — в лагерь трудового перевоспитания. Смешанного типа лагерь. Ну, а за малый оральный саботаж — пятнадцать суток каторжных работ. Как за мелкое хулиганство. А может быть, завинтит гайки и покруче — в связи с повальным разложением нравов «французскими поцелуями». Новую статью введет в УК (за номером 69). Ну, а тлетворной Франции — ультиматум. А как вы думали? Любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Это, товарищи, дело большой, общегосударственной значимости... Ладно. «Прекрасный новый мир» ос-

тавим 2017 году, а нам бы, грешным, 1984-й пережить, так что — довлеет дневи злоба его.

Справа багровый гранит балюстрады сменился чугуновой решеткой ограды Главной трибуны. В ограде имелась калитка, тяжкие створки которой заперты на амбарный замок, тронутый рыжей коррозией. Я свернул к этой калитке и остановился, взявшись за холодные копыя мрачного орнамента створок. За оградой давно не подметали, и гранитные плиты трибуны были замусорены окурками, горелыми спичками и преждевременно слетевшими листьями. Отсюда идеальный вид на площадь моей памяти, по которой — там, внизу — между шеренгами неподвижных гебешников в штатском — течет слева направо со скоростью ходьбы безликая масса, громкоговорители вот с этих вот деревьев режут, толпы подхватывают их нечеловеческие голоса, и нескончаемый поток вечно уносит и никак не унесет меня, отец, неразличимую фигурку, в ботинке которой, как живая, чавкает кровь.

В колонне яркой паренек  
В день праздника идет,  
И красный маленький флажок  
Он бережно несет.

А рядом с ним, чеканя шаг,  
Идет отец-герой.  
Он тоже держит красный флаг,  
Но только флаг большой!

У этих флагов цвет один:  
В одном строю отец и сын!

Когда бы так!

Но опечатка вкралась в Букварь моей судьбы. Вместо того, чтобы чеканить шаг, отец-герой высился там, где я стою сейчас. По ту сторону ограды. Десницей приветствуя нескончаемый поток. Быть может, настоявшись, он и отходил, сюда вот, в тылы — согреться армянским коньячком. Хочу думать. Надеюсь. Смотрю перед собой — сиротливый разлив торцов.

Пустынно. Когда-то площадь была обитаема, когда-то над ней, над вами и над нами, высился наш общий Отец Народов — воплощенный в бронзе. В те времена трибуны, ныне собираемые из дюралюминия, были дощатыми. По ночам, в канун праздников, я просыпался от стука молотков, это солдаты стройбатальонов сколачивали сложные, как бы авангардистские конструкции трибун —

## **ГЛАВНЫХ СРЕДНИХ СРЕДНИХ СРЕДНИХ**

**НИЖНИХ НИЖНИХ НИЖНИХ НИЖНИХ НИЖНИХ НИЖНИХ**

— обшивали досками ступеней, восходящих к балюстраде парка, обивали фанерными листами, обтягивали кумачом, а после праздника сводили все на нет обратно: сворачивали кумач, выбивали гвозди, разнимали, укладывали доски штабелями на шестиосные армейские «студебекеры» — увозили.

К исходу апреля вечера становятся долгими, светлый воздух над Подпольском сгущается незаметно, и мы сидим на теплых ступеньках офицерской гостиницы, придавленные непонятным томлением, от которого хочется раздуться и ква-кваквкать всласть.

Четыре лягушки: Тая, Эдик, ты, Sophie, и я.

За нами то и дело хлопает дверь и, разделяя нас, вниз по ступенькам сбегает хромоты сапоги постояльцев. Куда же это они так надраились? Нас обдает бодрящими запахами гуталина и молодецкого одеколлона «Тройной» — эссенцией самой мужественности. Цветущий парк прямо перед нами. В прозрачном воздухе заката плывут и видоизменяются смутные пятна — рои каких-то народившихся мошек. В сумраке между стволов молниями мелькают девичьи платья, и лейтенанты, оправляя на себе фуражки, один за другим уходят туда, под листву, а мы, готовые лопнуть, предаемся экстазу на свой, на детский манер — по очереди рассказываем ужасы. Какие только знаем мы — об изощренных пытках, безнаказанных убийствах, таинственных преступлениях людей и раз-

ной нечистой силы вроде оборотней, ведьм, вампиров, людоедов... При этом рассказчик внимательно следит за реакциями зачарованных слушателей — которым порой неудержимо хочется подняться и сбегать в туалет по острой маленькой нужде.

Мы были равно наделены даром сопротивления мурашкам ужаса. Но был один сюжетец, причем элементарный, — я вынести его не мог. Единственный из всей компании. Фибры моей души опережающе слабели, стоило тебе, Sophie, приступить к нему — этак вкрадчиво, изматывающе медленно:

В красном, кра-а-сном лесу  
Стоит кра-а-сный, кра-а-асный дом...

*Your Master's Voice* загонял мое мужество в мышиную щелку этим вот слегка картавым томительно-неотвратимым крещендо про то, как в красном этом доме (а иногда и черном) стоит себе красный стол, а *на красном том столе стоит красный-красный гроб* — и, предчувствуя, что и на этот раз, опять и снова не смогу сдержаться, я скатываюсь вниз по гулким ступенькам, а они — они за мной, садисты, — ах! оставьте, оставьте меня *одного*.

Слезы плющатся на глазах — с такой скоростью несусь я по асфальту, — и вот от чего, мама, съезженные у меня локти и колени (а после на них сладострастные корочки); а потом, рукой скользя по полированному граниту балюстрады, вниз по шершавому граниту веера ступеней, а там — в заветную нору.

Ибо охоты нет выслушивать концовку.

Под трибунами была уже ночь, и эта ночь, наполненная благостным духом сосновых досок, как в русской сказке, взгромоздит за мной препятствия, ощерится не загнутыми второпях гвоздями разного калибра, но всегда способными прорваться до крови, занозит ладони, оборвет, изранит — нет, мои догоняйки, обитатели литерных домов, этот переплет не для вас! Тогда как я здесь свой, подныриваю, перебрасываюсь от сваи к свае, по-обезьяньи перелетаю над балками — и вне-

запно из моих штанов выдирается рваный клочок... увы! «чертова кожа» просижена истекающим учебным годом.

Я проникаю под крышу Главной трибуны. В самое сердце тьмы. Стою, сердце унимается. Утираю лицо с забытыми в азарте слезами. Накалываюсь. Совершаю бережные пассы — ну и гвоздей понабивали! Друзей-садистов тьма наказывает: то охнет тьма, то вскрикнет, то одеждой треснет. Врешь, говорю я про себя. Врешь — не возьмешь, не доберешься, не достанешь. Извне, с проспекта, доносится шарканье гуляющих подошв. Цоканье каблуков. Глуша обрывки фраз, с шипеньем останавливается троллейбус. А под трибунами поахивают Тая с Эдькой, на доски натываясь. Вот гвоздь его зацепил: я слышу, как раздирается штанина. Достанется сегодня Эдичке от мамочки, — мстительно думаю я. — Ну, гроб! Ну, *красный!* Подумаешь! А вот я вам про Ганса расскажу. Который страху хотел научиться. Завтра! И тогда увидим, кто — кого. А то мне: *гроб*. Подумаешь, испугали! А если б черный, то вовсе наплевать!

Вдруг шепот твой, *Sophie*, мне обжигает ухо:

— ...кто крышку того гроба поднимет, тот ею и накроется!

И потом:

— Но ты не бойся: ляжем вместе. Ну, Кирюша? Не понимаешь, что ли? *Ich liebe dich*, дурак!

Так незаметно ты подкралась — *кошка!* Опомниться я не успел, а это уже любовь. И зубы сшиблись. А боль внезапно безразлична. Как кошка ночью. Щуплая, дрожит!

— Ты осторожно! — говорю я. — Гвозди...

И мы целуемся во тьме. Впервые. Все там, под тяжестью вот этих неметённых гранитных плит трибуны. Давно.

«Склеп поцелуя!» — говорю я, сжимая кулаки на копьях орнамента калитки, на жирновато-черных древках оперенных. А как мы закричали, разжавшись после! Нам стоило разжаться, и гвозди ожили, вонзившись со всех сторон. Как будто стрелами нас обстреляли вездесущие эроты. И рты разинув безголосо (чтобы не выдать, где мы в этой тьме) мы снова обнялись

— в крови. Друг друга пачкая. Сочащейся. Горячей. И это было там, под плитами трибуны. Оделись камнем наши игры. Мошки, лягушки, кошки, купидоны накрылись камнем. Замуровали тех детей навеки. Как, как теперь прикажете разрушить сей детинец?

Толкаю створки — замок подпрыгивает на цепи, связавшей их. Трясу изо всех сил. Воротца трибуны лязгают, скрипят, грохочут, как хохочут. Я выдыхаюсь. Крашенный чугун стихает тут же — всей своей тяжестью литой. Без отзвука.

Я выпустил железо, ладони липли. Сорвал пучок травы, обтер. Все начиналось русской рифмой, избитой самой: КРОВЬ/ЛЮБОВЬ. Слюна и кровь. А позже: слюна и сперма. Скользили мои пальцы, забираясь тебе в трусы, а после пальцы странно пахли скошенной травой на солнце. Слабый мускус пота. Секреты страстей. Оргазмы. Пароксизмы. И неотвязный лепет, сквознячок, озноб, как будто роем возле нас, обнявшихся, порхали живые ангелы. Откуда же еще могло возникнуть во мне, искавшем опору только в пустоте, столь наглая уверенность в бессмертии? Просто, любовь моя, мы *были* в Боге, Бог *был* в нас!

Однажды.

А потом — накрылось камнем.

Я удалялся. От ярости меня мутило. Вот мой дом. Я жил здесь некогда. Вот в этом общежитии мужском — сначала для монахов-бенедиктинцев, потом для постоянного офицера. Толстые стены. Свежая побелка. Вот отсюда я родом. Из этого полуподвала. Вокруг, как из кошмара, вздувались здания — громоздкие, помпезные. Дом офицеров, бывшее гестапо. Дворец профсоюзов, которых нет... Музей — ботиночек там голубой. Колонны, гипс, гранит — багровый, полированный или шероховато-серый. Широкие ступени спиралью меня низводят на площадь, я спускаюсь. Мимо пустых трибун, над которыми слегка поскрипывают огромные щиты с портретами отцеубийц. Сиротскими глазами они, все вместе, «коллективный разум», взирают на пустыню камня, с которой — стальными тросами за горло — три армейских тягача стащили их



Отца. Однажды ночью — ненастной и октябрьской. Я возникаю в этом каменном кошмаре, я выхожу на площадь. Агарофобией я не страдаю, нет. Суббота. Город спит. Все нереально. Нет. Все это сгинет. Как Египет древний. Как Ассирио-Вавилон. Вся эта деспотия камня — и несмотря, что на века подогнаны торцы. Среди разлива серого навстречу возникает сизое сияние — святое место посреди. Поди заждались? Ничего: ведь свято место пусто не бывает...

Гранитный монумент распался на куски, и голова с усами и в фуражке откатилась — , гремя, а постамент, он пригодился — на наш с тобой склеп, моя любовь! О, Господи! Ведь это все сначала было только — замысел. Но, как напомнил Юниор, овладевая массовым сознанием, проект для воплощения приобретает силу вполне материальную. Это будет окончательная вечность, когда весь этот рабский камень, поднатужась в последнем тектоническом усилии, нам возродит Отца небытия. Так помоги же мне очнуться, если Ты есть! Во гневе оглядываюсь на ходу через плечо. И жмурюсь: краешком слепящим вошло над парком солнце и сияет поверх портретов, разом почерневших. Была такая игра: «Замри!» Я подчиняюсь. Застываю на месте. Сейчас воскреснут дети... верую... *quia absurdum...* Жду.

Потом вдруг разом — тяжесть на плечи. Повернулся спиной к трибунам и не пошел, а будто потащил себя, обмякшего, над сияющим разливом площади.

Отгул мой кончился.

\*

Перед тем как подняться в номер, я, предъявив свои полномочия ночной дежурной, был сопровожден в недра отеля «Vostok», на минус-третий этаж, к спецтелефону, по которому, набрав междугородний код, потом еще один, доложил куда следует о развитии взаимного сюжета, сочиненного, увы, не мной.

«А чего ты зеваешь? — спросила трубка голосом моего сослуживца Блинова. — Блядовал опять всю ночь? Между прочим, Шеф очень недоволен тобою. Очень».

«Что так?» — Держа плечом трубку, я набрасывал на сегодняшнем листке перекидного календаря просьбу к начальнику подвала о техосмотре нашей колымаги и чтобы доукомплектовали, *primo*, стеклоочистителями; *secundo*, зеркалом заднего обзора. (Так и написал: *primo, secundo*. Люблю иногда ошарашить своих латынью. Капитан Люциферов.)

«А сводку прочитал и как затопает, как заорет: «Этот Каравев, что он у нас — из кроткой Европы вернулся или из штата Техас? Этот, — кричит, — так называемый «свободный мир» лучших моих парней портит. Вот я его в Китай заряджу, — говорит, — на перевоспитание... И в джинсах чтоб на работе не появлялся!»

«Придется, — сказал я, — подавать в отставку».

«Но ты, действительно, того... Перебираешь. Пьянка всю дорогу. По женской линии опять же: аморальность допускаете. Мордобой вон устроили, сообщают нам... Где это вы?.. Ага! По дороге в Каунас. А перед самым Подпольском, так вообще с концами пропали. Где это вы были? Нехорошо. Или это вас, товарищ капитан, дружок-писатель с пути сбивает?»

«Не грехи, Блинов, — сказал я в трубку. — Не грехи на чистую душу».

Вырвал из календаря исписанный листок и придавил его украшавшим стол малым чугунным литьем — водруженной на постамент черной головой с фанатичными скулами и мексиканской бородкой (по-своему кокетлив был Отец нашего «государства в государстве»)

«Да уж, чистую! — пренебрежительно отозвалась трубка о моем друге. — Пока он там по окраинам разъезжает, тут его досье от доносов распухло».

«И что же они сообщают, твои стукачи?» — спросил я, рассеянно листая лежавший на столе августовский номер иллюстрированного журнала «Play girl», конфискованный, должно

быть, у какого-нибудь заокеанского гомосексуалиста, залетевшего в это захолустье в поисках острых ощущений.

«Не стукачи, а общественность, — строго сказал Блинов. — Общественность считает, что в условиях обостряющейся идеологической борьбы выпускать твоего орла за пределы священных рубежей — крайне опрометчиво. Ибо морально неустойчив он и политически неграмотен. Вот так-то! И не только, заметь, товарищи по перу на него пишут. Тут и мамаша ихняя телегу нам прислала, а она у него как-никак на кафедре научного коммунизма преподает. Сигнализирует, что сынок ее еще с детства в мракобесие впадал, будучи тайно крещеным бабкой...»

«Сердце матери, — ответил я аналитично. — Предчувствует недоброе...»

«Так ты полагаешь, что с нимдохлый номер?»

«Боюсь, что да».

«Ладно! Кончай ты свой психоанализ да выталкивай его за бугор. И пусть высоко несет там знамя антикоммунизма, — заржала трубка. — Как можно выше!»

Такой вот у нас юмор: inferнальный. У мелких бесов.

Напоследок Блинов выпросил для своей тещи положенный мне пропуск на «Неделю французского кино», которая началась с понедельника в столице: «Тебя и без того Париж растлил, а теще, по причине климакса, это не грозит, — сказал он вместо благодарности. — Пусть вспомнит юность боевую», — и отключился, завистник.

Я положил трубку и под жужжание люминесцентных ламп долистал конфискованный журнал, наглядно свидетельствовавший о том, что на морально-политический потенциал будущих защитников свободы полагаться не приходится: God save you, America!

А орел мой, проданный и преданный всеми ближними и дальними, включая маму и жену, как спал, так и спит себе в одиночестве на роскошном супружеском ложе, ботинок запыленных не снявши даже и выдыхая глубоко и ровно в пшеничные свои усы. Немножко золота — так, на щепоть — на-

текло ему за эту бесконечную ночь — в ямочку под яблоко Адамово. Славный такой крестик. Такой женственный. Кротким сиянием отзывающийся на проникший уже в спальню солнечный луч, и с кириллицей поперек — эх! Ваня, Ваня... —

*Спаси и Сохрани.*



# Х

...Я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем. Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо.



До самого воскресенья наслаждались мы благами цивилизации в отеле «Vostok», «клопы» которого — те, что сосут кровь информации, — никогда еще, вероятно, не имели дела со столь разочаровывающими постояльцами. Что они могли высосать? Вздохи, поскрипывание кровати. Металлические щелчки моей зажигалки... Акустический фон немоты, которую отбывали мы (в одной постели), как монашеский обет. Молчание будуара было, понятно, содержательным: мы с ним общались. На бумаге, Sophie.

Переписывались. Записочками обменивались. Сидели плечом к плечу на мятых и запачканных сигаретным пеплом простынях, передавая из рук в руки — вместе с искусанной шариковой ручкой — свои трудноразборчивые мысли. Поскольку улики мы потом сожгли, а пепел отправили в канализацию, ни «клопы», ни их эксплуататоры так никогда и не узнали, о чем же так усиленно молчал в тот день товарищ капитан.

А я скажу.



О Сатане, к примеру.

Близком, как никогда, к реализации своей программы по низведению всего живого к небытию. О технологии процесса, основанного на принципе разъединения. О шизофрении мира, над прогрессом которой кропопливо трудятся профессионалы распада по обе стороны соблюдаемой ими границы. Об inferнальной метафизике Границы, в конечном счете нас разъединившей, причем, не только друг от друга, но каждого из нас от самого себя — и в этом, *товарищ Голядкин*, особая природа нашего двойничества. «А пошел бы ты в жопу», — лениво цедит сквозь мозги наш внутренний голос (на русский переводя извечное: «Изыди, сатана!») — и это в тот момент, когда мы вскакиваем, чтобы, прищелкнув копытами, отдаться шефу в установленной уставом позе навтыяжку: «Разрешите выполнять?» Но этот голос, он звучит внутри до тех лишь пор, пока живое внутри нас еще сопротивляется агрессии, прорывающейся в каждой клеточке сквозь протоплазму к ядру, а там уже все безнадежно: необратимый процесс перерождения, мутации, некроза: *the rest is silence*<sup>18</sup>. Возможно, мы уже мертвы. Воскреснуть? Один Христос воскрес. И то он мертв был только смертью *первой*. Тогда как на генеалогической ветви рода Караевых, мой друг, — от древа Жизни отпавшей русской ветви, — смерть вызревает уже в третий раз. Бабушка? Конечно, была. По имени Россия. Не преминула воспользоваться «правом на бесчестье», а во время родов была убита тем, что произвелось на свет. Ну, а уж внучек убиенной — тот еще фрукт!..

Еще молчали мы о Западе и о Востоке, о демократии и абсолютизме, о мираже России, невоскресимой и уже мифической, как Атлантида, о том, что концу света предшествует конец души, а также о необходимости *быть* в условиях, когда *быть русским* невозможно и невыносимо *бьшь советским*.

<sup>18</sup> Остальное — молчание

В этой связи я отдал дань молчания литературе, не более возможной, естественно, чем жизнь — в отличие от антилитературы всех сортов. «Но невозможно и не писать, — тут вставил мой соловник и, так сказать, rep-friend<sup>19</sup>... — Ибо врожденное. *Инстинкт*».

В контексте нашем, ответил я, путь всякой плоти — извращение инстинктов, однако если воля к жизни в данной сфере окажется в тебе достаточно сильна, то я бы посоветовал тебе, мой друг, взять на себя неблагодарную, но, так мне кажется, единственно возможную еще в литературе миссию — по завершению генеалогии Антигероя. Неологизм нам этот Достоевский подарил, открыв в «Записках из подполья» родословную, которая еще, я верю, не *стушев*алась, хотя после Семнадцатого года, увы, денационализировалась, став невозможной в «Стране героев», да и, пожалуй, во всем мировом рассеянии родимой речи. Попробуй, возврати его, блудного, в Дом языка. Не скажу, что попытка не обернется пыткой, но да ведь в эмиграцию не в наручниках тебя отправляют, так что — ergo — ни пьедесталы, ни котурны, пожалуй, не грозят. Если, конечно, не вцепится тебе в лицо с порога маска «героя», с помощью которой читающий по-русски мир испокон веку ре-воплощает своих ничтожнейших детей, лишая себя тем самым надежды на интересную литературу: «*Поэтом можешь ты не быть, но Гражданином быть обязан!*»

Ну и конечно же — до графоспазма — ни слова не проронили мы об эмиграции.

Тебя я понимаю, конечно: ты вывозишь в себе художника. Творца. Производителя миров. Тогда как я — я одномерный человек. Простой. Душа моя, Иван, не принимает, отказывается принять систему мира всю целиком. Да, Ваня, всю — не только нашу с тобой стадию антропоцентризма, высшую и загнившую до антропофагии, которая под псевдонимом «коммунизма» всенепременно, мне сдается, восторжествует повсе-

<sup>19</sup> Друг по переписке

местно. Я покусывал тыльце ручки, я сводил брови и кожу на лбу, пожалуй, я на самом деле искренне печаловался и тосковал, возвещая — вопреки затаенной надежде — неизбежность всеобщего конца, над коим усиленно трудится Восток на пару с Западом. А воедино сойтись партнерам и врагам суждено, по-моему, лишь в гробовом молчании «братской» могилы.

А он в ответ мотает отрицательно выгоревшим золотом волос, а он упрямо гнет свое, впадая в непереносимый пафос, что, дескать, Запад и Восток тоскуют друг по другу — и в этом, видишь ли, *Sophie, предвестие любви*. Но любви иной — не той, что закрывает от нас полмира, как обратную сторону луны, нет: любви-самоотдачи, любви-всеприятия. Любви, открытой врагу. Он как считал? Что немота намолчанного нами на Востоке смысла обязана артикулировать себя во звуке (якобы выговоренном Западом до пустоты). Так возродится СЛОВО. Что будет началом начал. Они исцелят нас от немоты, мы их — от абсурда. Они помогут нам обрести голос, мы им поможем возродить смысл. Короче, по Ивану, Восток и Запад имеют шанс спастись друг другом, но для этого необходимо усилие любви. Новой любви. Навстречу друг другу — вот маршрут спасения. И он, Иван, следует за Буддой, как бы завещавшим человеку путь из Родины в *Безродинность*. Следует Христу, отворачиваясь от своих мертвецов. Он выбрал себя — эмигрантом. Пришельцем. Странником. Чужаком. Сдирает с кровью чертову кожу любой принадлежности к ненависти — идеологической, этнической, национальной, цеховой, семейной и даже личностной. Все оболочки прежней любви, приращивающей нас к *родному*, к своему *кровному* — ибо обратная сторона той любви есть ненависть к чужому и алкание пролить чуждую тебе кровь. Может быть, отдельные патриотизмы, а их здесь, кроме русского, больше ста, набирая страсти, и взорвут изнутри «патриотизм социалистический», осуществляя конституционное право наций на самоопределение. Но лично он персоналист, и для себя он уже выбрал — Христа и Град Небесный и т. д.

Хотел я было смутить его вопросом: а за кем, как он думает, следует ему навстречу в этом взаимном маршруте «спасения» его французская супруга?

Но не успел.

Звонок телефона заставил нас вздрогнуть. Мы очнулись, обнаружив себя под ворохом смятых свободных мыслей. Я снял трубку. Это был Никита, который забасил: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он... Чего там ухмыляешься?» — «Да уж не Пушкин виноват». — «Переврал, что ль? Не суть важно... Время подниматься из ничтожества. Зевс-Громовержец требует. Тебя, а также патриота нашего, которого вчера ты с потрохами заложил. Или забыл, гипербореец?» — «Помню...» — «Он согласен?»

Я жжал ладонью мембрану и повернулся к Ивану.

— Ты как насчет кино?

— Сходить?

— Нет. Сняться?

— Что, массу собой изобразить?

— Нет. Патриота русского...

— Я? *Патриота?*..

Он с хохотом отбросил простыню, а я поспешил сказать Никите, что согласен! С энтузиазмом!

«Завтра тогда и двинем на натуру. Это он там надрывается? Хороший смех. Жаль, не комедию снимаю...»

Я положил трубку и, глядя на Ивана, засмеялся сам. Над нами реяли бумажки, а «клопы» недоуменно дребезжали: с чего это мы вдруг?..

При всей его наивной серьезности, Sophie, в нем было спасительное чувство юмора.

Но за обедом развернул местную газету. «Что там у них в синема?» Я тоже был непрочь взглянуть, как это делают проffi. Только на что? «Буденовку» мы оба отметили. «А у нас была тишина...» Ну, это сразу на пол-шестого — как и «Белый Бим, Черное ухо». «Ветер надежды» тоже не в наши паруса... Неплохое название «Быть лишним» про попытку подломить

ювелирный, заранее обреченную, увы... к тому же прибалтийский... «SOS над тайгой»? Имел подобный место, и не раз — лётное время над сверхдержавой надо как-то скрашивать. Но это он еще увидит в «Эмманюель» на Елисейских. Сошлись на мосфильмовском «Вооружен и очень опасен»: Банионис, Броневой, Дуров... Из кинозала вышел он убитый:

«Нам лучше не сыграть».

Немного покатались по Подпольску. Москвичу мой город не понравился. Сталинский, мол, амфир.

А я бы этот амфир уже сейчас бы взял под охрану государства. Ведь будут, близорукие, ностальгировать еще по титанизму Зла... ездить, собирать материалы для романов, сеттинг искать... Если наша глобальная экспансия не нарвется в конечном счете на их доктрину «ядерной декапитации» нашей верхушки, если не кончится все это в результате поголовным overkilling, то вполне предвижу, что здесь еще развернутся съемки великих фильмов будущего. «Убийство Михоэлса», к примеру. Или там «Освальд и Марина»...

В этом смысле город ведь музей.

Ужин мы заказали в номер.

Фары высветили спилы бревен на углу избы, скользнули по стене, по темным стеклам; кустик хрустнул под колесом, и по капоту нашей «Волги» сыро хлестнуло веткой.

Я выключил мотор.

Обещанный край света: тусклое сияние ольховых зарослей за лобовым стеклом. Тупичок листвяной. Глушь. Отстегиваю пряжку, отпускаю ремень безопасности.

— Уж пала роса... — я говорю.

Спутники молчат. Непримиимо. Ведомые киностудийным микроавтобусом, мы выехали из Подпольска где-то в полдень — и всю дорогу они собачились, Иван с Никитой: творческая интеллигенция. Ярились яко псы. И знаешь, на какой предмет, Sophie? А все на тот же, извечный, уже, казалось бы, решенный необратимо, а все же постоянно стоящий на повестке

дня — о судьбах родины в пределах царства-государства, к которому, *volens-nolens*, а мы причастны все — все человечество, и далеко не только «прогрессивное». Слушая перебранку, я вспомнил один анекдот, незадолго до моего рождения, как утверждала мама, весьма популярный в Тысячелетнем рейхе: «Что лучше: конец с ужасом или ужас без конца?»

Ощущение ирреальности мира усиливалось по дороге. Накатанная магистраль превратилась в шоссе, которое неуклонно сужалось, а в городках асфальт сменялся булыжником, потом пошли тракты, проселки, большаки, изрытые гусеницами танков и тягачей. Дважды нас останавливали патрули: раз, потому что мы въезжали в оперативное пространство военных учений под кодовым названием «Запад», другой — по причине облавы на какого-то дезертира. Нас трясло, кидало, пыль скрипела на зубах, мы потели и лоснились, притормаживали, пропуская выводок утят, отменные леса сменялись убогими деревеньками, реактивные искорки бороздили по небу, белоголовый мальчик у обочины продал нам землянику, последнюю, мятую, сладчайшую, рубль три кулька и, прежде чем скомкать свою запятнанную ягодами бумагу, опознал я в ней страницу из учебника «Родная речь».

Душа рвалась от счастья и страдания, всем существом я рвался глубже, все глубже в эту нереальность, куда уводил меня микроавтобус, груженный церковными свечами, настоящими, плотяными, *смуглыми* (как выразился Никита, который ради этих свечей и возвращался в город, поскольку лишенный чувства ассистент подсунул ему *мертвых* стеариновых). Эти леса, и эти небеса — сверхзвуковые, истребительные, громяющие гибелью, но такие высокие, но такие, Господи, сияющие! И мятая земляника, до краев наполнившая страничку изначальной книги, и мальчик, и радость рублю, и черные пятки, и счастье страдания... нет, *Sophie*, космополит по профессии, я не могу тебе этого толком изъяснить. Помалкивал. Крутил баранку. Краем уха слушал интеллектуалов и вмешался только раз, когда друзья уж чрезмерно на мой слух взъярились — безудержное мое отечество! — по поводу двух

грядущих юбилеев, сшибаясь грудьми, как только здесь, в этой стране, возможно: Столетие Сталина супротив Тысячелетия Русского Креста. Ах, Sophie, правы ли были, нет ли — то были чистые, беспримесные, раскалённейшие души, мои последние друзья, и я просто обожал их, и Никиту, мечтавшего о новом монархе, который бы поставил крест на дохлой идеологии, взыскующего новой Тысячелетней Империи Великорусской! и друга моего, который возмущенно отрицал возможность имперской силой вернуть стране утраченную благодать, ибо *не в силе русский Бог, но в правде — князь Невский говорил.*

О милые мои! Уже смеркалось.

О братья! Зубы лязгают на рытвинах, оставленных нам танковой колонной, внезапный марш-бросок которой, оказывается, *«еще раз подтвердил всю мудрость испытанного временем завета прославленного русского полководца: Тяжело в ученье, легко в бою!»*

На этих словах я выключаю призрачный свет нашего приемника, на столичной волне которого звучал репортаж как раз с тех самых мест, куда мы с вами — в конечном итоге — и прибыли. Ольховый тупик. Капли росы на изъеденных листьях. Выключаю фары, плечом выталкиваю дверцу, вываливаюсь и лежу — в сырой траве утопши. И лишь одно твержу, облокотясь на порожек «Волги»:

— *O rus!..*

— Что точно, — говорит Никита. — Прошу любить и жаловать... Деревня Роднички. Окрестности сердца, если вам угодно.

Они выходят из машины, мои товарищи. Оглядывают темные избы вокруг поляны. Ни души. Слышу голос Ивана:

— Где же народ?

— В кино, — говорит Никита. — Отлить на пару не хочешь, а, Кирюша?

Силуэты сливаются в одно пятно, которое исчезает за чернотой избы; они там договаривают свои разногласия, до меня доносится возмущенный бас: «Да, но тогда отпадет Украи-

на?!» Русские голоса над туманцем совместной малой нужды. Родина, росная трава, тону, тону — вот пусть и будет так отныне и до конца моей души. Аминь. Внезапно я начинаю декламировать общеизвестное из Гёте:

— *Zum Augenblicke durfich sagen... verweile doch, du bist so schon! so schon!..*

— Слышишь, Вань, как разбирает? — говорит Никита. — Работает над собой актер, вживается в роль. По системе Станиславского, да, Кирюша? — Приближаются, смеясь. — Вставай, Фриц, да пошли определяться на постой.

Не могу. Нет сил, Sophie. Слизываю росу с ладони. Как бы мы жили, любовь моя! Как жили бы мы *здесь!*

Мы, *все!*..

*В некотором царстве, в некотором государстве жил-был —покуда весь не вышел — Иванушка-дурачок по фамилии Иносельцев.*

Вместе сотоварищи, оставив вещи в гулкой и пахнущей медом избе, выходил он в вечный мир — на росистую поляну на большую, куда выходили в ту ночь черные избы государственного назначения, как-то: правление, клуб, сельмаг (уже с заложеными крест-накрест железными такими досочками, запертыми на замки) да еще сарайчик в роли керосиновой лавки по обслуживанию примусов всей той «округи сердца». А еще на поляну-площадь выходила церковка, белеясь на фоне кургана, возносящего к небу той ночи свечи берез. Все это называлось Роднички и было усадьбой отнюдь не передового колхоза, который назывался... «Красная заря»? «Зарево коммунизма»?

Глубоко вдыхая, истомно наслаждаясь тишиной, они брели под шелестом берез по колено в сырой траве, направляясь, естественно, к клубу. Ан и до плешки у крыльца не дошли; дверь распахнулась, ночь осветилась, и, погромыхивая сапогами о ступени, навстречу повалили кинозрители. От руки написанная афиша со стены извещала: «*Сегодня! Остро-*



приключенческий фильм! «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

Не про меня ли сняли?

— О! Никак Никита Юрьевич приехали? — раздался пожилой голос.

— Ур-р-ра! — завопили девичьи голоса. — Даешь кино!

Нас взяли в кольцо.

— А кто ж это такие будут, молодые-красивые? Актеры, что ль?

— Они самые, — приобнял нас Никита. — Годятся?

Мы смутились, а какая-то бабка в толпе азартно взвизгнула:

— Ну, девки, держись!..

— Когда массовку предполагаете снимать, Никита Юрьевич? — вопрошал кто-то степенный. — А то что ж выходит? Винища нам завезли — сельмаг ломится, а покушной способности без вас-то нет!

Народ смеялся, обступал; Никита пожимал руки, кого-то похлопывал, кого-то прижимал к своему брюху, хохотал со всеми вместе, всем сразу отвечая, что завтра, завтра же, как только доберется досюда съемочная группа, из-за поломки заночевавшая в Титьково, так и возобновит он свои массовые сцены, отснимет всех, и каждому выпишет по заветной трещине. Взрыв энтузиазма. Даже завидно было от этой, как в газетах пишут, но только неподдельной, *всенародной любви*. Оставив товарища с его статистами, мы поднялись на крыльцо. Лица наши горели от лукавых взглядов.

В клубе девчонки-малолетки превращали кинозал в зал для танцев, с понятным рвением сдвигая к стенам сколоченные воедино ряды жестких стульев. Мы с Иваном взяли за края тяжелой скамьи, оторвали от пола и понесли, наливаясь кровью усилия.

— Моща, моща! — ухмылялись девчонки.

— Физкультурники...

— Симпатные, скажи? Особенно брюнет.

— Так им положено: актеры!..

— Эй, блондин! Для танго силы береги, а то ведь затанцуем!

Под общий хохот мы развернулись и грохнули скамьей, сошлись, глядя в глаза друг другу, и ты вдруг обнял меня, порывисто и крепко, и мягко уколол усами, жарко прошептал: «Спасибо, что привез! Век не забуду, друг!»

После чего мы тут же разбрелись, взаимно устыдившиеся, слонялись праздно среди посмеивающихся девчонок, которые, оглядываясь через плечо, березовыми вениками мели к порожку сор киносеанса, обертки ирисок, мокрую шелуху семечек — кинозритель везде одинаков, что в Родничках, что на *Champs Elysees*. Белые — тыквенные, черные — от подсолнухов... Воздух был выдышан за полтора часа забытья, и стоял в избе тот еще дух — перегар зеленого лучка, ржаного хлеба, сивушных масел, дух мужской — чугунный, дух женский — ноздри от него трепещут.

Меня развернул толчок бедра.

— Пардон! — сказал я.

Девушка цепко глянула на меня, ох, и душевный был толчок, такой полновесный... перевела глаза на Ивана, имея в руках мокрый ворох веника. Обрати глаза на меня, как бы выбирая — такие простодушные. Я улыбнулся. Горлышко у нее белое-белое.

— *Оба парня милье*, — дал я ей совет, — *оба хороши...*

Она вдруг вспыхнула от этого припева, взмахнула веником и с силой окропила пыльные доски. Тут же обернулась:

— Ой! Ударила? — и отнимала мою ладонь от моего же лица, чтобы удостовериться, что глаз не пострадал *нисколечко*.

— Как тебя зовут?

— Любой, — отвечала рассеянно. — Ты моргай, моргай! Это ресничка, ничего. Присядь-ка. Посмотри на меня... Ой, и платочка чистого нет! — и с этими словами нежно обезобразила мое око и, обдавая чистейшим дыханием, коснулась слизистой языком...

Ну мог ли я, *Sophie*, тут устоять?

\*

В то самое мгновение, когда судьба меня лизнула, тяжелая ладонь прилегла на плечо Ивану. Он обернулся от проигрывателя. Перед ним стоял мужичок. Очень серьезный. Низенький, но крепкий. Толстое лицо испещрено шрамами и царапинами, еще не зажившими. Глубоко въевшиеся глазки озабоченно буравят. Губы, наконец, надорвались:

— Колик.

— Иван, — назвался мой товарищ и вложил пластинку на 78 оборотов во вспоротый ею же конверт.

— Значит, Иван?

Иван кивнул.

— Тогда пошли, — распорядился мужичок. Дранные брюки заправлены в резиновые сапоги, голенища которых низко вывернуты — грязно-розовой байкой наружу. — Ну?

— Куда? — замялся Иван.

Мужичок по имени Колик поманил пальцем, и когда Иван пригнулся, в ухо прошептал:

— Тайну русскую открою! —дохнув при этом спиртовой субстанцией своего естества.

С мгновенье они молча смотрели друг на друга.

— Идем, — вздохнул Иван, — коли уж так...

Мужичок все глядел, потом, как бы добуравя до дна, сокрушился:

— Не веришь.

— Почему? — обиделся Иван, — охотно верю.

— Зря. — Колик укоризненно покрутил головой. — Не веришь — зря.

Они вышли за порог, окунулись в туманность теней, обманчиво бесплотных, прошли насквозь созвездие папиросных огоньков, и вновь поразился Иван странной, как бы нарочитой симметрии этой деревенской площади-поляны: три горба. Грузный горб избы правления, курган, по которому взбиралась к звездам шепчущаяся листва берез, а между ними беле-

лось тело. Ей-богу, странно. Никита недаром хвалился выбором натуры.

— Откуда у вас Голгофа эта?

— А время наработало! — Через несколько шагов осознав, Колик довольно крикнул. — Голгофа, говоришь? *Знаешь... Знаешь, хоть и не веришь. А зря. Зря!*

Иван шел следом за бормочущей тенью.

Тропка обогнула курган, нырнула под обрыв, бурьян выросстал навстречу — до плеча, вровень, накрыл и с головой. Колик остановился.

— Слушай, — прошептал, — Фома неверующий...

Иван замер. Слабый-слабый звук — исчезающий.

— Слышишь?

— Слышу...

Тьма нежно артикулировала где-то рядом, у ног, наплывала влажными созвучиями... изначальными фонемами... *быль боль был люб бя блю буль...*

— Смысл просекаешь?

— Еще как!..

Иван был охвачен приступом счастья.

— Вот. А ты не верил...

Мужичок поднял правую руку, засучил рукав и, как в преисподню, провалился под ноги Ивану. Лепет прервался, родничок плеснул. Вновь возникла тень. Угадывая смысл, Иван протянул к ней руку. Бутылка была влажная, холодная. Иван обтер о грудь, раскрутил язычок станиоли, снял колпачок, вернул в сплошную черноту:

— Давай, хозяин...

Тьма сдержанно приняла водку, а он остался дожидаться, слыша только свое сердце, вот эти наплывающие *люб—был—быль—боль* да почмокивания отсасывающих губ, когда тьма напротив передыхала для следующего глотка. *Как мы пили, Господи! Как любили мы! Какая боль, не знаешь.* Выказывая уважение, тьма обтерла горлышко о рукав.

— Взял? — волнуясь, спросил голос Колика, и собутыльник, обняв ладонью стеклянное тело с начисто смытым ярлыком,

ответил, тоже взволнованно, что взял, хорошо взял, так, что никогда не выпустит — и Колик отнял руку.

Иван расставил ноги, чтобы быть прочней. Приложился, глотнул. Ах, понимаете ли, был это обряд — взаимной посвященности в нечто, куда вводили глотки, поначалу трудные, как шишка в горло, ну а после все более легкие, а уж там бессловесные души, наши тени немые понимающе *соприкоснулись*. О, сколь тонка была наша скорбь! Друг мой, друг мгновенный!.. И как, вот тайна, как вдруг весь этот мрак переменяется в невыносимое такое счастье? Жар-птицей, Боже, вспыхнуло в Иване с последним из отмеренных себе глотков. Он отсосался — озноб передернул его лопатками, отчасти окрыленными уже.

— Жизнь моя! — сказал он тьме. — Иль ты приснилась мне?  
И вернул ей бутылку.

Они совершили по последнему глотку, удостоверившись окончательно в перемене душ к лучшему. После чего Иван угостился «Севером», и по пути обратно, в горку, забористый дымок найдешевейшей в отчизне папироски отзывал благодатью. Они постояли по колено в траве, созерцая белую кузню промеж горбами черными, и сверху струилось на них лепетанье березняка.

— Ощущаешь теперь?

Иван обдумал...

— Ощущаю.

И точно: ощущал...

— Вот видишь. А не верил. Счас, значит, так: пластинку до танцуем, обратно к родничку. И открою тебе, Ваня, так и быть. Все открою. До конца. Почему? спросишь.

— Почему? — покорно вопрошал Иван.

— Потому что тебе верю. Ты мне не поверил, а я тебе — с первого взгляда. Ранее, чем ты мне. А почему?

— П-почему? — *и светилась кузня и лепетала, лилась, струилась...*

— Потому как, — приступил изъясняться Колик да ослаб, развел руками... Но собрался с силами, преодолел. — Глянулся ты мне — потому. Красивый, значит. А почему?

— Почему?

— Колик тайну знает, да рожа просит кирпича, — и тень его отчалила, стая о том, что не по хорошу мил, но по милу хорош, и нет с такою рожей ни веры, ни любви, ни Ванька не поверит, ни Любка не полюбит, а Ивану сделалось недоуменно: красивый? Я?..

Он поднял глаза — звезды сочились сквозь листву. Он обождал — и краса ненаглядная вошла в него и потащила, неотразимая, через траву по колено, в клуб, на зов:

Последний луч  
блеснул и вмиг погас,  
Когда вошли мы  
в этот сад  
в прощальный час...

Переступил порог, притворил дверь.

Блеснул —  
и сразу мгла  
На сердце мне  
Легла...

Все взглянули на него — он ослеп, он вспыхнул, по сути, несмелый был он парень, а когда решился прозреть, то и открылась ему *любовь*, и я, ее круживший, перехватил тот первый взгляд Ивана.

Толпа топталась, шаркая по некрашеным доскам.

Как будто луч  
унес  
дыханье свежих роз...

Он подпирал стену рядом с одной рыженькой, лет тринадцати, с заведенными глазами, обняв себя, она терлась о стену под красочным плакатом *ПАРТИЯ ВЕЛЕЛА — КОМСОМОЛ*

*ОТВЕТИЛ:* «ЕСТЬ!», и губы ее обкусанные цвели. Забылась, абсолютно!

Листья падают с клена,  
Вот и кончилось лето...

Иван толкнулся к девчонке.

Голые руки скользнули по его ладоням, локотки шершавые, и парочка утонула в толпе.

Он прижимал трепещущее тельце, дивясь алчности легких этих косточек, льнущих к коленям, ляжкам, паху, и над рыжей головкой, усопшей на груди, искал в толпе Любовь, взгляд которой с порога налил его внезапной кровью, тяжелой, как свинец, как мед, — девчонка обманывалась, льнула, прижималась к нему все тесней, а Любовь повела головой от меня — и глаза их сошлись. И тут же разорвались поворотом, следуя пластинке, которую, как назло, вернули иголкой к началу, и цепкие пальцы девчонки мяти плечи Ивана, и тельце вопрошало, и требовало ласк ответных — он не мог. Как и сбить ее с рук. Я стал сближаться с их парой, и когда девочку притерло к спине, повернулся и со словами:

— Меняем дам, — уступил ему искомую Любовь, заодно отцепив шершавые лапки.

Слезы навернулись на глаза Ивану. *Друг!..*

Любовь вздохнула, но приняла замену, и, близко глядя теплыми глазами, положила руки на плечи Ивана. Как затворились они в объятьи: снаружи отвердели, противостоя толчкам толпы, а там, внутри, обмякли, притираясь, расплющиваясь так, что зашумело в ушах от взмывшей крови — как бы общей сразу.

Счастье мое  
Я нашел в нашей дружбе с тобой,  
Ты для меня  
и любовь и мечты...

Он вздохнуть стеснялся: эти груди... Бедра Любви утягивали на повороте, и он спешил снова прильнуть к обильной мягкости ее лобка. Юбка натягивалась, он напрягал мускул, догоняя, и так пребывали они в темноте-немоте, но кровь их звучала по-родному внутри того объятия без конца, притершего их так на дне России, что оставалось только взять да умереть, исчезнуть в том танце, как в могиле.

Когда нечаянно очутились перед дверью, Любовь шепнула одним дыханьем:

— Уйдем отсюда.

Они разжались.

Обнявшись неуклюже, шли куда-то — четвероного. То и дело руку Ивана шершавило о тянущийся мимо забор.

— Не толкайся.

— Оно само толкает, — говорит, и он смеется. И бормочет:

— Как близнецы сиамские.

— Какие?

— Которые срослись. Ну, аномалия такая... Ты чего?

— Да так! — она смеется. — Аналогичный случай был в Одессе.

— В Одессе?

— Так говорится: разве ты не знаешь?

— Ах да... в Одессе. Там было, как я понимаю, что-то неприличное?

— Х-хо! Такое, что дальше прямо некуда. Это в Титьково у нас было, в депо. Обходчик один с уборщицей — ну? Надумалось им в перерыве на обед. И то ли голубь мира залетел, то ли там что, короче: заклинила она. Да так, что ни туда и ни сюда. А тут обед кончается, народ начинает подходить. И ладно бы по-христиански они, лицом к лицу... Так нет же! Короче, кроет он ее в затылок почему зря. Ну, посмеялся с них народ! Потом все ж таки кто-то вызвал скорую. Брезентом их накрыли и унесли. Так он ей под брезентом — представляешь? — ребро сломал. Сам вышел, а она там и осталась — в больни-



це. — Любовь вздыхает. — Верно говорят... От любви до ненависти... А у его, причем, супруга. Да и у ней муж: в лагере сидит. В Казахстане.

Он говорит:

— Кошмар.

— С одной стороны. А с другой, — Любовь диалектично рассуждает, — такова спортивная жизнь, как говорится. Он ведь как себе, обходчик, думал? Чего ж не взять, он думал, что под тебя само стремится? А взял не он, его взяла судьба. Мертвой хваткой, хотя и не за горло. Он думал, уборщица, а на тебе! Роковая женщина. Ты не гони картину, обожди...

Останавливается. Рослая, крупная. Раскрывает сумочку, извлекает сигарету — длинную и с золотым обрезом.

— Хочешь?

Не сигарету. Сигарету он не хочет. В облачке дыма возобновляют путь. Ладонь у нее на бедре.

Крутом.

— А вдруг (*с усмешливым вызовом*) я тоже роковая?

— Не вдруг, — он говорит, — а ты и есть.

— С чего ты взял? Заранее про это знать нельзя. Только потом, мой друг, когда уже все поздно.

— А я не знаю, я, — он говорит, — предвосхищаю так тебя.

— И не боишься?

— Еще как!

— Да ладно! — усмехается польщенно. — Подобных роковых-то у тебя, наверно... Хочешь курнуть?

Затягивается из пальцев. Крепких *рабочих*.

— Нравится?

У него и так голова кругом. — Ничего.

— «Фемина» называются. Булгар-табак. Подруга, между прочим, привезла мне из Москвы. (*Не реагирует.*) Правда, что ты москвич?

— Кто тебе сказал?

— Кореш твой... Какая там прописка, временная?

— Постоянная.

— Везет же людям! Я, представь, еще ни разу в жизни не была. А хочется! Она какая, Москва?

— Сама увидишь.

— А все-таки?

— Котел, — он говорит. — На восемь миллионов душ.

— Нет, кроме шуток?

Ему перехватило горло, слезы душат. Такой внезапный отзыв души. Справа от дороги пятна ольхи, за ними провально чует он обрыв в долину, а там еще холмы, ручьи, ночные заводы, леса... Россия. Такой простор, о Боже! А некуда корней пустить. Иллюзия пространства. Все корни выдрала и сматывает злая центростремительная сила.

Любимая женщина говорит:

— Галка, подруга моя, что в Москву ездила, так она даже в Мавзолее не была. Представляешь? За французскими сапожками поехала, а вернулась: ни денег, ни сапожек. Все за неделю пробардачила, да еще какую-то напасть привезла. Новую. Неизлечимая, сказали в диспансере. Так она теперь даже на танцы бросила ходить. А называется так, что выговорить неприлично. Херпес. Не слышал?

— Как же, — недобро говорит. — Болезнь детанта. Из Америки к нам привезли. Слабые на передок шпионы и поэты.

— На это место все мы не сильны, чего уж... *(С улыбкой недоверия.)* А правда, что в Москве все мужики в белых трусах?

— Частично носят.

— Интеллигенция, небось?

— Она.

— Вот я и говорю: *культура...*

Они выходят за околицу.

Заросшая травой дорога-улица впадает тут в лежащий поперек большак, попорченный танками. Слева, у обочины, могучий дыбится пень; они присаживаются. Тут стоянка автобуса. Рано утром приходит слева, к вечеру возвращается справа.

Спил под ними зашлифован задами деревенских путешественников. С выдохом сожаления Любовь разгибается.

— Вот и отгуляла выходные! Завтра на работу...

Рука забирается ей под свитерок.

— Горячая какая, — говорит он. — Печка!

Солнцем нажгло, поясняет. С утра с девчонками сено на просушку раскладывали, после обеда обратно в стога сгребали. Мужиков не было, так все с себя поскидали...

— Быстро, быстро! Загадай желание!

Он повернулся — поздно.

Слетела та звезда.

Горло пересохло, пальцы восходят по ложбинке выгнутой ее спины.

— Ты загадал?

Не отвечает. Носком туфли она придавливает окурок в песке между корней, со вздохом вздергивает юбку и укладывает свою ногу (левую) поперек сдвинутых его колен. Тяжесть этой ляжки. Он переносит левую руку (до этого упиравшуюся в пень) на белеющую ляжку: нежность кожи. Гладит, — тогда как правая его пластается под свитерком у ней. Туго застегнут лифчик. Но он не сдается, и первая пуговка, плоская, отскакивает в ладонь — он в ужасе.

— Давай сюда...

Защелкивает в сумку. — Дома пришью.

И сводит лопатки, помогая его правой руке, после чего вздыхает, наконец, с глубоким облегчением. Тогда и левая его ей забирается под свитер, чтобы принять снизу тяжесть груди (тогда как правая ласкаючи шерстит влажно-горячую подмышку).

Она:

— (Глядя в черное небо.) И куда же нам с тобой пойти? Бедные мы, бедные...

Безрукий, он (как столб уже гудящий) наводит ее на мысль:

— Какой-нибудь, быть может, сеновал?

Груди полные, нежные, большие (а соски малюсенькие: алые наощупь).

— Сеновал... — Поворачивается и целует его долго, мягко, сладко. — Там колко тебе будет.

— А тебе (имеет он в виду свои усы) не колко?

— Мне?

Целует так, что губы у него вспухают. Ими он говорит смущенно:

— Как-то мне уж не сидится, знаешь...

— Да знаю! — говорит с досадой. — Томлю тебя, как прямо целка! Ну, а куда? К матери в дом? Кровать я свою на чердак перетащила, так что можно бы... но только праздника не будет. Воли себе не дашь. Скрипит там так, что старая наутро знает, сколько раз я с боку на бок перевернулась... Ч-черт!

Закуривает нервно свою «Фемину».

Ни души крутом, и под покровом теплой ночи для любви, казалось бы, в избытке места. Но видимо, в деревне принято под крышей: чужой устав. И он молчит, левой поглаживая ногу, и с каждым разом забираясь все выше ей под юбку, где царит сырой жарок (а колено прохладно). Вот и долгожданные трусы: посредине неплотно прилегают, скользя по волосам мягкопружинистым, а край врезается. Пальцы следуют этим краем вниз, но попадают в тиски бедер — и правую ногу она перекидывает ему через колени. И переносит внимание на звездопад:

— Ты глянь, как они шмыгают! Одна за одной!..

— Август, — говорит он, шевеля стиснутыми пальцами, которые она выше не пускает, несмотря на полную, казалось, поглощенность звездным небом.

— Готово! — Снимает ноги с его колен. — Все свои желания я загадала. Пошли.

Поднимается, одергивает юбку. Колени белеют. И лицо.

— И что же ты загадала?

С трудом он разгибает поясницу.

— Во-первых, — загибает она палец, — права чтобы с первого раза получить.

— Права?

— Водительские, ну? Вдруг выиграю машину в «Спортлото». Ну, и потом, чтоб все иметь.

— Что все?

— Ну, все! Как у людей. Квартиру, обстановку, телевизор цветной... и все такое прочее.

— Зачем тебе все это?

— Какой ты глупый! Чтобы жить... — Она смеется. — На уровне стандартов. Что, нельзя?

— Я думаю, — он говорит, — что все твои желания исполняются.

— Откуда ты знаешь?

— Я предвосхищаю.

— Ах ты, предвосхититель мой...

Сливаются в поцелуе посреди дороги, вскопанной танковыми гусеницами.

Кругом светло, когда они разнимаются. За это время в небе месяц проявился. Серпик ясный — новорожденный. Любовь берет его за руку, уводит по дороге. Слева заросшее кустарником поле сменяется елями — огромными и черными, и обнесенными забором. Любовь (а он за ней) сходит к обочине, спускается на мостик. Доски поло звучат над заросшей канавой. Тень елей накрывает их. Любовь просовывает руку меж досочек калитки, губы прикусывает... Ржавый звук задвижки. Со скрипом открывается.

Земля за оградой без травы. В глубине за елями чернеют окна здания. Любовь переходит на шепот:

— Семилеточка моя...

Несмело вступают они на школьный двор. Запор обратно задвигая, она напряженно всматривается вдаль по большаку.

— Кто там?

— Померещилось...

*(А это я был в паре с местным дурачком.)*

Крадутся, ступая меж проросшими корнями. Под подошвами пружинит смесь песка и хвои. Строгие ветви елей отражаются в окнах школы — двухэтажной, но высокой. Несмело вступают на дорожку, по обе стороны нарядно выложенную

бордюрчиком из красных, косо вкопанных кирпичей. Похрустывает гравий. Огибают клумбу с перезрелыми георгинами вперемешку с сорной травой. Пригибаясь, идут под окнами, а на углу, под водостоком, бочка.

Кругло сияло зеркало с неподвижным узором еловых игл. Он развел и, ломая собственное отражение, плеснул себе в лицо. Вода была теплой и нежной — дождевой.

Они свернули за угол. Под окнами здесь на крюках висела пожарная лестница. В четыре руки сняли, отнесли от стены, уперли в землю, возвели к небу. Стояли лицом к лицу, удерживая вертикаль. Почти одного роста были. Отдышавшись, она глянула вверх и подмигнула:

— Лезем?

— Куда?

— А к черту на рога! Ты держишь?

И, как в цирке, пошла взбираться. Он успел чмокнуть на прощание в колено. С каждой перекладиной мышцы все сильней взбухали под тягой. Вростая в землю, удерживал лестницу, по которой высоко над ним Любовь уходила все выше и выше. Одна за другой свалились туфли.

— Ты как там? — сверху донеслось.

Ответить он не смог.

— Обожди, сейчас гнездышко тебе достану!..

Из последних сил он удержал. Юбка на ней была завернута за пояс, когда она спрыгнула на землю, пружинисто присев на корточки. От удара гнездышко рассыпалось, и поднялась она с трухой в ладонях:

— Черт!..

Трусы были в горошек.

— Даже птицы разучились гнезда вить... Тяжелая, да? Думаешь, небось: «Ну, и деваху мне досталась. Как корова!»

*Не думаю*, мотнул он головой.

— Видишь, то окно? Давай-ка. Только осторожненько...

Это было непросто, но стекло осталось целым. Рожки лестницы уперлись в стену.

— А как откроешь?

— Не заперто, там шпингалет не достает, — и подняла туфли. — До свидания, друг мой!

Глядя вслед ей, уходящей в этих трусиках, сглотнул неизбежную слюну. Добравшись, она раскрыла окно толчком плеча, перелезла на подоконник и — стукнули об пол пятки — пропала там внутри. Оглянувшись по сторонам, он полез следом, взглядывая меж перекладин, как удаляются желтые высокие цветы, растущие перед стеной. От возбуждения, подстегнутого страхом, кровь колотила в уши. «Как воры», — думал он. Сверху он оглянулся. Никого. Полная тишина. Под елями мерцал песок. Он поднял глаза на месяц и, усмотрев в выражении благосклонность, спрыгнул в чужой класс.

Он сразу влип. Школа была уже готова к новому учебному году. Одурающе пахло олифой. Поблескивали парты. Антрацитом сияла классная доска. Он оторвал подошвы и двинулся вперед, приклеиваясь на каждом шаге. На ходу тронул мелок, забытый в желобке. Вышел в коридор. Никого. Вполголоса окликнул:

— Лю-ба!..

Ответа не было. Обеззвучилась Люба совершенно. Сквозь поблескивающие стекла со стен коридора из рам взирали спутники детства, отрочества и юности: извечные лики, к реальной жизни, увы, отношения не имеющие. Прошел под Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским — замер. Во всем здании царил полная, но чуткая тишина. Приоткрыл высокую призрачно-белую дверь с табличкой «1-А» — класс внутри сверкал серебром. Никого. По пути к следующей двери ладонь вспомнила пупырчатую шероховатость простенка. «Зачем не стал учителем? Сеял бы вечное, и никаких проблем...» Снова открылась серебряная пустота. Еще одна дверь, за ней черный провал. Сердце билось оглушительно. Еще одна тьма. Потом снова серебро. Подошвы клеились. «Жениться на ней. Жить в Родничках, учить детей...»

Вот она! Открыв, вошел уверенно — на запах сигаретного дымка. Тут же замер: аспидно-черно внутри. Оторвал подошву — шагнул. Другую оторвал, шагнул — и чуть не сшиб нечто хрупкое и выше ростом, но подхватил за ребра: *скелет...*

— Люба! — вскричал он, стоя в обнимку со скелетом, который гнусно тряс конечностями.

Спичка чиркнула, как взорвалась. Резко пахнуло серой, и он увидел ее, озаренную — сквозь ребра грудной клетки. Она была голой.

— Испугался? Это ж учебное пособие... Иди ко мне скорей!

Спичка потухла. Он сильно ударился об край стола, но даже звука не проронил. Лицом ей между бедер: «Люба, Люба!..» Целовал, вдыхал и терся, повинно ощущая свою небритость.

А она ладонь — под воротник. И гладит, гладит ему лопатки.

— Ты подожди, — она ему. — Сними...

Ах, да, конечно... надо! Как это долго, как одиноко это — снимать. Он снял, но не трусы. Трусы смутился.

Диван был старый и колючий, и пружины из глубины его издали звук протеста. А Люба тоже не осмелилась свои. Должно быть, от стыда. *А что такое стыд? И где его границы?* 'Над белым он склонился — над впалым животом. Живот дрогнул от прикосновения упавшей пряди. Припал щекой, погладил, потом другой. Поцелуями покрыл всю кожу, теплую, зябкую, живую. И треугольник беленький в горошек исцеловал, после чего бесстыдный рот метнулся вверх, к лицу, к губам. Запрокинув голову, ладони впечатав ему в спину, она к нему прильнула. Там, внизу, бедра ее приоткрылись, вмещающая бухающий его бугор, после чего поцелуй стал — будто задохнулись. Как забылись. «О смерти было б легче написать», — последнее, что он успел подумать.

*Последняя последняя моя.*

Вдруг рот Любви обмяк, ослаб и как бы обесчувствовался. Встревожено он оторвался, пытаясь разгадать ее лицо, но было невозможно: глаза смотрели, его не видя. Но пристально. «Ах, да! Зацеловался...» Снял вес с ее груди и, оцарапавши плечо о спинку дивана, на собственные пятки сел. У ее бедер.



«Какая странная идея — снимать трусы. Я понимаю Гамлета!» Он осторожно взялся за резинку — по краям, где натяжение слабей, — живот ее втянулся заранее стыдливо. Стащил, освобождая темный омуток волос. Вокруг резинки накручивался бедный-бедный ситчик. «Тоже и ты не князь Нехлюдов», — ответил голос в голове, но реалистично он оспорил: «Москвич, я рядом с ней не князь, а Крез!» С высоким звоном в голове стащил он — помогая, она приподняла их — с полных ягодиц и, пятясь на коленях, прокатывал все ниже по ногам горизонтальную восьмерку, знак бесконечности, а в голове все бормотало, всплакивало, пело, взвивалось, истончалось, исчезало, и вновь срывалось шумной стаей голосов — прощаясь, поминая, опевая: все разом. Все *они*. И голос материн был явствен в разбитом хоре всех, кого любил, — девчонок-одноклассниц, начитанных и умных девушек, подруг по факультету, вдруг превратившихся в замученных и недалеких баб. И вся эта толпа осталась в прошлом, осталась там, на русском берегу, с ослепшей пристальностью провожая его, отрубленного черной рекой. Вот этой ночью. Этой деревенькой. Школой-семилеткой. Тобой, моей последней. Уносимый — куда? — еще он слышал их. Он снял восьмерку ситца с негородских ее ступней — и голоса исчезли. Россия, родина, мой скорбный островок. Река уносит к океану смерти, где быть мне одному.

Косо свесив волосы, стоял он на коленях над призрачным свечением Любиной наготы, не зная, что же делать с этими трусами, куда их возложить? Или, быть может, вознести? На голову себе надеть или на горло? Чтоб не обидеть их — единственная мысль.

Их выхватили у него из рук, отбросили.

— Ну, не томи, — ему сказали. И пригрозили:

— Ведь перегорю!..

Задумчиво он обнажился, оставшись, впрочем, под покровом тьмы, и слава Богу (бедняга дуалистом был, Sophie), ибо уж слишком грубо, толсто, хищно вынесло наружу корень крови. Как будто вынутое сердце (но как бы не его) пульсиро-

вало извне и в пустоте. Он было понес его (сердце) к Любе, но внезапно (и для себя) он как загнулся, но не упал, а пал.

Лицом ей в лоно. Зарылся, врылся. Лицом — щеками, скулами и гибким носовым хрящом — разъединял, раздваивал, расталкивал и прорывался, а она, а Люба — его за волосы (но боли в корнях не чувствовал), и что-то вскрикивала там, снаружи, с гневом стыда, а он плевать хотел, он вталкивал знай голову, он проникал, вникал, оглохши промеж бедер стиснутых, и вот уже язык его, сраму не имущий, ворошил, разнимал, лизал, лакал (щенок из блюдечка), а рот вокруг языка осваивал ее, большую, вбирая поудобней, тогда как руки-плечи крепко и уверенно запрокинули ей бедра.

Любовь сдалась. Уступила. Сжимая себе груди, мотала только головою, перехлестывая гривой волос. Еще ей было стыдно, но уже внутри стыда родилась большая гордость, что (впервые в жизни) целовали ей пизду, потом и это торжество рассеялось, и чтобы сдержать наружу рвущиеся стоны, кусала губы, пряди волос, запястья, а после и этот стыд последний — дать голос крику — исчез. Она себя забыла.

Крикнула.

Потом, когда он отдышался, лежа рядом, сказала не без укора:

— Так разве можно, а? С первой-то встречной!.. Такое ведь только, если очень любишь, а ты...

— О чем ты?

— Я говорю, что это можно только, если очень...

— Я очень, — перебил Иван.

— Случайную? Меня?

— Тебя, тебя, — ответил он, целуя. — Единственную. — Зацеловывая горло, плечи и над раздвоением. — Мою последнюю...

— Последнюю! Болтает, сам не знает что...

Польщенная, смеялась тем не менее, потом свела на шее руки и, притянув, впиалась надолго.

*В некотором царстве, некотором государстве жил-был...*

И пребудет, исчезнув даже. Будет здесь жить.

Глубоко под ними ворочалось, сцеплялось и поскрипывало ржаво-старое железо пружин; *давно и далеко*.

\*

Ну и подсунул мне Иван! Не девочка — пламечко.

Свернулась на груди, как гнездышко медное свилось. И льнет, и льнет, и прожигает. Sophie, я не безумец, не герой «Лолиты», и не в Соединенных Штатах. Я в СССР, на некрашенных досках. И я пытаюсь сохранить самообладание. Непринужденно озираюсь (с пожаром рыжим на груди).

Роднички — не вся, но большая, наипрекраснейшая половина — весь день топила баньки, как к празднику отмываясь — к возвращению Никиты. По ходу танцев банная тема все возвращалась, как эта пластинка со сталинским танго. Возбуждение дам собственной отмытостью грозило перерасти в скандал, поскольку кавалеров явно не доставало. На после танцев. Ах, тщетная эта чистота, напрасная... Отсмотрев картину, мужики разошлись, и кроме нас, киношников, разбирали дам, а их было множество, со всех деревень округи, только лишь несколько местных недолюток — увы! Иссеякла на деревне мужеская сила. Мучаясь тщетой предстоящей ночи, девочки, девушки, женщины-разводки обнимали друг друга, с зоркой ненавистью следя за парами гетеросексуальными, язвительно их, нас с рыженькой особенно, высмеивая:

— Эй, кино! — и попой меня, и попой!.. — Не любись с Хиндриком: смеяться с нее будешь!..

На что моя партнерша показывала язык, на удивленье длинный.

— Мы ее в баньке видели — не ходи с ней! Знаешь, у нее какая?

Оводы, оводы! Девочка их локтем, локотком — и все теснее ко мне.

— Хиндрик, — говорю, — ты Родничковская?

— Угу.

— Имя у тебя однако...

— Меня Люсей звать, — оправдывалась девочка, — а это так, по фамилии кличут.

— У тебя нерусская фамилия?

Смутилась. — Шведская... Хиндриксон.

— Бог мой! Откуда?

— Да от папы.

— У тебя папа швед?

— Нет. Русский. Это сначала был он швед. Давно когда-то.

Перед тем, как сел. Сидел он. Понимаете?

Как не понять...

— И в русского там обратился. Долго сидел он, понимаете?

Я все кивал.

— Теперь он русский.

— Ясно. И папе нравится?

— Что?

— Что русский он.

— То есть как, нравится? Стал бы шведом, обратно б посадили. Конечно, нравится.

— И что же он тут делает?

— Что все. Работает. И пьет.

— И крепко?

— Да как все.

— И он доволен?

— Чем?

— Ну, вообще?

— Доволен. Мать не очень, а он так да.

— Сюжет, однако!

— Как?

— Ну и дела, — поправился я. Ну Роднички! Ну, омут-омуток!.. — Чего же он фамилию не сменит для полноты картины? Иванов? Петров там, Сидоров?

Обиделся Хиндрик.

— Во-первых, это десять рублей, а во-вторых... — И помолчав, сразила меня Пушкиным: — *Что в имени тебе моем?* Русские фамилии тоже, знаете, бывают... Малафеева, к примеру. Что ли, лучше?

— Да, согласился, — выразительно... Это кто же, Малафеева?

— А Люба наша. Которую у вас оттанцевали. Вон, ее уже уводят... Любить.

Ну, язычок! Я посмотрел поверх толпы. Убытие оттанцевавшей пары привлекло всеобщее внимание. Они были первыми. Открылась ночь и затворилась за Любовью с Иваном — все вздохнули, а сморчок этот, с кем Иван отходил для совместного распития, так прямо почернел. Не понравилось мне это. Очень.

— Не у меня, — ответил. — Это я оттанцевал. Невероятную девочку, начитанную не по возрасту.

— Ха, не по возрасту...

Волновался сморчок. Ерзал на стуле у проигрывателя, что-то бормотал себе под нос, что-то с виду ненавистное.

— Что за парнишка?

— Который?

— Вон, у музыки.

— А, Колик... Так. Больной один.

— В смысле?

— Со сдвигом, ну.

— Дурачок?

— Не то, чтоб дурачок, а так. Тайну, говорит, знаю русскую. Так все Роднички ее знают. Как бы в кургане, что за порогом, золото закопано. Ну, золото и золото — что с того? Никого не колеблет. А Колик с этого поехал. Ходит ночами, сам с собой беседует. Где водка свалит, там и спит. Прямо на голой земле. Да не о чем там говорить... *(А ведь, пожалуй, и убьет Ивана.)* Ночевать где вы собираетесь? В избе?

— В машине нашей. *(Такой он с виду этот, Колик... Глаз не спускать.)*

— Ой, а на сене, знаете, как вольно! Мы, молодежь, все лето ночуем только там. Я к тому, что тесно будет вам в машине.

— А свободные места на сене еще есть?

— На сене, — отвечала Хиндрик, — хватит всем.

Сморчок переставил иглу на начало пластинки и поднялся со стула. *Нож!* Так натянул свою кепчонку. Всадит под лопат-

ку, и все на этом: *Свобода, Франция, Роман*. Бульжником по темени. По шейным позвонкам колом — и поминай, как звали моего Ивана...

— Время ночевать придет, увидим, а пока прошу прощенья...  
— Я снял с себя лапки Хиндрик.

Веселья час и боль разлуки  
готов делить с тобой всегда...

— Только не обознайся, если придешь, — шептала девочка, цепляясь, — там ведь темно, там просто обознаться... Куда же ты? Пластинка только началась.

Давай пожмем  
Друг другу руки...

Сморчок рванул на себя дверь и вышел в ночь. Тут же дверь захлопнулась. Глухая. Обитая дерматином, из порезов которого торчали ключья серой ваты.

— Пустите, девочки, — проталкиваюсь я. Они хохочут, не пускают, толкают, в круг берут, я разнимаю сцепленные руки, пытаюсь разорвать, пусти, Россия, там друга моего сейчас решат! Что характерно, Sophie, при этом я улыбался хороводу, приобнимал и мял, и раздавал авансы, умоляя на время отпустить, а после взмахнул и, как мечом двуручным, разрубил кольцо:

...и в дальний путь,  
на долгие года!

\*

— Как негр прям! — выстанывала истово Любовь. — Передохнул бы, а? Ванюша? Сердечко надорвешь...

А он — наярывал!..

\*

Апполоном, Покровителем искусств, слетел я с крыльца.  
*Какая ночь была, о боги!..*

Вдали бухали резиновые сапоги убийцы.

Как на крыльях, нагнал я смертную ту тень — ударил грудь, и мы покатались в траву, в сырую, яростную, хлещущую...

Потом опомнился.

Я сжимал его запястье, вывернутое, пульс жертвы под моими пальцами рвался, как гнилая нить. Я отложил обезоруженную руку. Поднялся на дорогу. Поднял нож. Пластмассовая накладка черенка представляла собой бегущего оленя, а с другой стороны была обломана. Нож был дешевый, старенький, но лезвия хватало — достать до сердца. До Иванова. Столь убогим оружием врагу не пожелал бы быть убитым.

— С одного горла ведь... — задышливо хрипел сморчок, — с одного горла, а он...

Я закрыл нож.

— Как же это... а? — Он горевал и жаловался, и добивался правды, и мне стало стыдно, что я так яростно его, несоразмерного. — Отныне, думал, кореша, а он Любовь увел. Промежду прочим этак... сходу... А?

— Рука-то как? — спросил я. — Не болит?

— Да что рука-рука, — отказывался он переходить на низменные столь материи, — когда мы с одного горла...

— Не ушибся, нет?

— Ну, ушибся, и чего? Мало, что ли, били? — И снова за свое: — Тайну, понимаешь, хотел ему открыть...

Я бросил нож в карман его пиджачка.

— Откроешь мне. Идем!

Русская литература, а ей я во многом обязан своим профессиональным успехом, научила меня ценить «отбросы общества». Недаром, Sophie, на Западе я становлюсь завсегдатаем свалок, притонов, корешусь с клошарами, проститутками, «третьим миром» и т. д. Изгой, он куда чаще бывает носите-

лем смысла, чем среднестатистический представитель данного общества. К тому же они открыты, изгой, только с виду кажутся непроницаемы, а если обольстишь... Помню одного клошара, который угрюмо дробил на станции «Odeon» в начале первого ночи, а мимо шли к выходу хипповые девочки Латинского квартала, по платформе напротив прогуливались хлыщеватые ажаны, а у бедняги не вставал, а он не сдавался, бунтарь, задрочивал, и эти миры были так розны, так не соприкасаемы, тот, где девочки и ажаны, и этот, с безысходной дробкой перед закрытием метро. Единственным, кто им не погнушался, стал я. Подсел, «голуаз» свой вынул, дал закурить — и получил в подарок от клошара координаты того поля, с рожью, с васильками, с Млечным над ним Путем, — и где? Посреди Парижа!

Да что там говорить, таких подарков, как мне обламывались, и Генрих IV, который — помнишь — имел склонность таскаться по ночам, переодетым, и он, Анри, столь королевских подарков от судьбы не получал. Нет, я, Sophie, демократичен. В душе я люмпен. В конце концов, кто я? России, ее литературы выблядок. И не мне, ублюдку, рожу кривить, не мне...

Мимо правления, мимо кузни, мимо кургана, заросшего березами, сморчок тот, Колик, увел меня в ту ночь к секретному родничку, из студеной глубины которого достал он водку, и такую мерзопакостную, какую только массы глушат многомиллионные: типа «коленвал».

Впрочем, любопытства ради я бы и политуры трахнул.

— Курган наш... обратил внимание? — спросил собутыльник, закусывая мануфактурой (занюхивая, то есть, рукавом).

— Ну, обратил. И что?

— Тс-с, — палец к губам. — Археология тайны. Тет на тет? И чтобы никому? Чтоб, как при Сталине: «Болтун — находка для шпиона», ибо враг подслушивает... Будешь? (Я отказался, и он выпил.) Абсолютно секретно?

— Ладно.



— Москва, Ставка Верховного Главнокомандующего, Иосифу Виссарионычу нижайше в руки, — куражился сморчок, — а по прочтеньи сжечь! Чтоб умерло в тебе, актер. Могила?

— Лады.

— Золото в нем. Ты понял? — Забулькал, отсосался. — Еще скифское!

— Ну?

— Как «ну»? Прародичей-то наших?

— Хочешь, что ли, откопать?

— В одиночку не под силу.

— В Кремль телеграмму дай, пригонят экскаватор. Золото там уважают.

Колик втиснул бутылку в карман, после чего ударом ладони сломил правую в локте:

— А вот им, хошь? — Он долго матерился, грозя кулаком во тьму, потом сказал с укором: — Несознательный ты. Они ж все на войну потратят, понял? На Третью мировую! А это ж, бля, не просто золотой запас. Достояние нации!..

Огромной была ночь и беспредельно щедрой, сыпала звездами прямо по-царски, расточалась, разорялась, а все не убывало у нее — неистошмой. Уходя с собутыльником все дальше по дороге, исковерканной танками, все глубже я вн-икал в сей Божий мир, узнавая, к примеру, что ручьи округи полны форели, а в Бела-ручье, на котором раньше была деревня Французов Погост, а сейчас обитает только одна бабка, хотя, можно сказать, святая, он, Колик, нашел даже монетку, оброненную некогда самим Наполеоном-императором при бегстве из России. Узнал я также, где озеро лесное, где заповедник, где брать малину, где чернику, а белые грибы брать нужно было в запретной зоне, у ракетодрома. Открыл он мне и душу, озаренную Любовью, — он, Колик, до нее не смел даже коснуться, а тот увидел и увел, мы с ним, пойми, вот как с тобой, из одного горла, а он... Зовут, причем, Иван!»

Был уже не мстителен, однако. Так, грустен и меланхоличен. Русский человек, — они отходчивы.

\*

Колик изначально местный, родничковский. Но вырасти в родной деревне была ему не судьба. Потому что в год рождения, как назло, возле райцентра Титьково, испокон веку сонного, дал черную струю источник нефти, потенциал которой оказался, конечно, не таким, как на Ближнем Востоке или в Тюмени, но все же повыкачал из окрестных деревень всю рабочую силу — в том числе и мать его (отец сгорел от водки). В рабочем бараке вырос Колик. С развитием НТР бараки сталинские обернулись блочными «хрущобами», а Колик из седьмого класса приступил к трудовой жизни на мясокомбинате. Экспериментальном. «Имени XX Партсъезда». Со смены на волю выходили обложенные по голому телу сырым мясом — сын и мать. С вахтерами в проходной, естественно, делились. От пуза в тот период ели, и бабу родничковскую кормили. «Знаешь, как жили? *Красномордо!*» Оброк, однако, становился не под силу — который вахта отбирала. Колик проявил самоволие. Взял окорок, да и толкнул через забор. Свиной. И следом сам перевалился. Когда упал в сутроб под стену, на окорок тот уже поставлен был черный валенок, обутый в галошу. Сам начальник вохры поджидал. Ох, и мутузил! Валенком по голове! Только галошу скинул, чтобы следов не оставлять. Недаром, ой, недаром разжаловали вохра с поста начлага... Короче, от мяса их с мамой оторвали. Ее, правда, не судили, как мать-одиночку, зато Колика в колонию для малолеток, откуда досрочно освободили, впрочем. По причине сердца. Но как нет добра без худа, так нет и худа без добра: в армию не забрали.

Эпически бухали подошвы. Туман клубился нам навстречу, затопив кругом канавы, кусты, покосы. Россия лежала, как всегда, во мгле. Речной тянуло сыростью.

— Что с сердцем-то? — спросил я, охваченный состраданием к этой одышке, к перетопу сапог.

— Спортил, — ответил он, — по малолетству... Жила там у нас одна. Выслали потом за тунеядство. Разводка, понял. Ре-

бята всю дорогу у нее паслись. Все уже до одного через нее прошли, а я все не иду и не иду. Упирался. Куда, думаю: тринадцати мне нет. Рановато. Раз взяли они меня и затащили. Идем, говорят, поржем. Для смеху, мол. Ну, я пошел. Мы, значит, как положено; водяры взяли, хлеба, а я колбасы из дому припер. Кило. Она мне сходу наливает. «Давай, пионер!» Ах, пионер? Взял и начал пить. Полкружки выпил, задохнулся. Больше не смог. Она мне: «Учись, малец, пока живу!» Наливают ей с краями — оприходовала. Наливают другую — она другую. Дескать, во как надо, пионер. Захмелела, конечно. Ну и это, значит... В тряпки. «Налетай, подешевело!» Ребята совещаться. Как будем? Ну, по старшинству: как водится. Кандыба самый с нас старший был. Брюки расстегнул, взбирается, как был, в сапогах, а у меня зубы стучат. Озноб такой, как будто заболел. Кандыба слезает, всходит Таракан. Ну, а после все уж: Котел, Вагон там, Дятел, Шестерик. До меня очередь дошла: «Давай, Колюнчик!» А мне страшно на нее смотреть.

Мы взошли на гребень.

— Это ж, понял? самое последнее, что можно.

— То есть?

— По-спущенному хлопнуть. После всех. А я что, знал? Тринадцати мне не было. Как пошла она меня кидать — ой-ёй! Пенится, рычит, кусается. Я испугался, в рев, а те — Кандыба с прочими — с меня смеются. Короче, спортила меня маруха. Силой. Спустил, конечно, но одновременно с носу кровь пошла. Тогда меня с койки сбросила и обратно к гоп-компании: а ну? По-новой, мол, давайте. Бешенство охватило бабское. Вынь да положь! А никто не хочет. Все, спеклись ребята. Кандыба как ей задвинет сапогом. Жуткое дело! Стали мутузить, а я мешать им, за ноги хватать. С детства ненормальный был. Как слабое что-то мучить начинают, так просто сердце разрывается. Даже крысу у ребят отбил, живьем хотели сжечь. За пазухой унес и отпустил в помойку. А тут хоть и позорная, но баба. Короче, переключились на меня и так отделали по пьяни, что ночью — хоп! — остановилось сердце. Мать, значит, скорою. Реанимировали... Только зачем? — Вытащил пачку

«Севера», мятую и драную. — Ну ты, все курево переломал мне... Нет, эту можно. Эту тоже... Угостись, актер!

Раздувая огоньки, мы спустились в туман — по колено, по чресла. Шли, как два инвалида безногих. Господи (думал я), почему не наделил Ты меня жаждой власти! Я бы все им переустроил под этими небесами.

— А сейчас думаю: встреться та маруха, зарезал бы на хер, — непримиримо сказал Колик. — Спросишь, за что?

— За что?

— А за то, что только к таким теперь влекет. К подзаборным. Тогда как люблю я Любушку-любовь. Но посягнуть даже в мыслях, понял, не могу. Но без нее мне жизни нет. Нет, Актер Актёрыч, без пол-литра тут себя я не пойму...

Достал бутылку и, стоя в тумане по горло, добулькал до дна. Тару в карман обратно.

— Скорей бы, что ли, кончилось все это...

— Что именно?

— А все! — ожесточенно крикнул. — К ебеней матери! Войны хочу, актер! Душа горит и просит первого удара!

— Имеешь шанс приблизить. Дай Министерству обороны узнать про золото твое.

— Обороны? Не-е... — Обдумал. — Нет, не дам. Все ж таки бабы, они еще рожают.

— Ну?

— Что «ну»? Рожают, говорю, детей.

— Нас тоже не в капусте нашли. А толку?

— Так-то мы... сравнил! С какого года сам?

— Дитя Победы: с сорок пятого.

— Видишь? И я послевоенный. Надорвался в ту войну народ и породил таких-то — гнилых снутри. Все мы, актер, дурное семя. Не знаю, как ты, но лично нутром я ощущаю, понял... — Колик постучал себя меж лацканами, извлекая полые звуки из груди. — Не жилец! Сейчас получше делают. Так что: пускай! Пускай все своим ходом... Ты глянь, куда мы забрели? — отвлекся на внешний мир. — Это будут уже Чудики.

Месяц озарял пяток изб на вершине холма — островок в тумане.

— Чудики?

— Нехорошее место.

— Что так?

— Видишь, там за ними лес? Сколько? лет пять тому: приехали солдаты, обмотали лес колючей проволокой, колов повбивали: «Запретная зона». Чудики как сглазило. В глаз дурной веришь?

— Верю.

— А в силу нечистую?

— Еще бы.

— Одна ихняя баба по малину пошла, да и под проволоку пролезла. Возвращается довольная: малины в запретке, мол, видимо-невидимо. А наутро из дому не выходит. Что такое? А у нее все волосы повыпадали. Лысой баба стала, как Хрущев! Теперь другой там факт. Тоже баба — была нормальная, звали Василиса. Вдруг косу обрезала, под мужика стала рядиться. В сапогах ходит, в галифе солдатском и пинжаке. Еще и фуражку носит. «Теперь, — говорит, — зовите Василий меня Иваныч». У нас решили, что она для смеху: чудики, мол, и есть. Так нет, в район поехала, чтоб поменять свой паспорт на мужской. Не меняли, но баба и без паспорта чудит. Водку глушит да подолы девкам задирает. Наши мужики все собираются проверить. Может, чего выросло у ней там. Как ты думаешь?

— Не исключено.

— Потому что прошлой весной у них там теленок уродился. Понял? С двумя головами. Может, давай-ка лучше назад оглобли? Неровен час...

— Лично я рожать не собираюсь, — отрезал я, продолжая спуск в туман, который накрыл его с головой, и он там временно умолк.

Благополучно миновав низину, снова пошли наизволок.

Он вынырнул:

— Актер...

— Чего?

— Скажи мне, где наш царь?

— Какой?

— Помазанник наш Божий.

Я посмотрел на него сверху вниз.

— Романова Николая Александровича, — ответил, — большевики убили. Вместе с супругой Анной Федоровной и детьми. А было это, друг мой, Семнадцатого июля Восемнадцатого года от Рождества Христова. В городе, который они назвали потом по имени убийцы. Свердловск.

— Знаешь... — одобрил Колик. — Грибницу царскую всю, значит, вырвали?

— Всю, мой друг.

— И шансов, значит, нет на возрождение?

— Боюсь, что нет.

— Не знаю, верно ли, — сказал он, помолчав, — но люди говорят, что будто бы в Испании...

Внезапно ослепило резким светом. Инстинктивно я сделал финт, чтобы нырнуть обратно в ночь и туман, но замер от окрика, подтвержденного звуком тугого затвора:

— Стой! Стрелять буду!

Сузив глаза, я смотрел сквозь свет. Тени приблизились. Патруль. Армейский.

— О! этого знаю, он из Родничков, — обрадовался голос за светом. — Чё, Колик, опять не спится?

— Уберите фонарь, — сказал я.

— Успеется, — отозвался голос постарше. — Документики при себе имеются?

— В деревне? Не валяй дурака, сержант! — Я шагнул вперед и напоролся — ствол автомата ткнул под ложечку. Оттолкнув оружие вместе с вцепившимся в него мудаком первого года службы, повысил голос. — Спятели, что ли, парни? Убери, говорю, фонарь!

Нерешительно луч сполз мне на плечо.

— Отдыхаете здесь?

— К земле здесь припадаю. К почве русской.

— Это с какой же целью.

Я усмехнулся. — С целью определения радиоактивности.

Свет хлестнул по глазам.

— Чего-о?

— Актер он, понял? — крикнул Колик, сорвав кепчонку. — В картине сниматься привезли!

— В «Оккупации», что ли?

— Ну!

— Ясно... (*Фонарь погас.*) Извините, товарищ актер, у нас приказ.

— А что случилось?

— ЧП, — ответил сержант. — Ефрейтор один слинял. Свидетелем Иеговы оказался.

— Баптистом, — городским баском добавил третий солдат.

— Третий день ищут. Сам Министр Обороны дело на контроль взял, так что начальство сыт, извиняюсь, кипятком. Тем более, что при Иегове этом «АКМ» плюс сто двадцать патронов.

— Холостых?

— Если б! Учения наши, сами видите, — сапог раздавил гофрированный след танка... — Максимально приближены к боевым условиям. Так что вы пока не очень по ночам.

Я повернулся в Роднички.

— Товарищ актер!

— Ну?

— Случайно, не вы играли в эстонской картине?

— В какой?

— «Цену смерти спроси у мертвых»?

— Я... А что?

— А в какой роли?

— В роли мертвого.

Сержант торжествующе взвыл, поскольку выиграл на пари бутылку, и пожелал мне вслед «как говорится, новых творческих свершений».

Из тумана вырвался к звездам, сбавил шаг. Колик догнал и пошел рядом, хватая воздух ртом.

— Слышь?

— Ну?

— А я ведь видел беглого!

— Когда и где?

— Да на заре вчера. В ручье форелей ботал... Вдруг как затрещит! Ну, думаю, Косматый. А это он. Рыбки ему испек. Бутылка у меня с собой была, но он, что характерно, не стал. Одного только не пойму...

Я перебил:

— Зачем ты мне... Твою же мать! — Несмотря на все предосторожности вляпался-таки в коровий «пирог», и если бы черствый! — *Мне* зачем об этом говоришь? А? — Оттирая подошву у обочины, я оглянулся: он стоял посреди дороги, недомежок в кепке. *Недочеловек*. — Вдруг на след их наведу?

— Ты?

— Я. Советский человек.

— Н-нет... Не наведешь. Ты в силу нечистую веришь.

— Так не в чистую же! Чудак ты человек!..

Метров триста молчал, потом разрешился:

— В чистую и он, может, не верит.

— Он верит, Колик.

— Автомат тогда зачем?

— Христа защищать.

— А Христос сказал ведь: «Не убий»?

Я сбавил шаг от любопытства.

— Ты знаешь Евангелие?

— Читывал.

— Где?

— А бабка давала.

— Она что, верует?

— Да не моя! Моя-то грешница. — Он ухмыльнулся. — Самогон варит на продажу. Бутылку продаст, две сама оприходует. А главное, курит, и что характерно: махру. Ночью проснется, самокрутку в свой беззубый рот и смолит. Никогда не поймешь: то ли махра смердит, то ли сама уж тлеет. Недавно опять ее тушил: волдыри вон с рук не сходят. Из-за нее я и в



избе-то избегаю ночевать: огнеопасно. «Совесть есть у тебя, старая? — говорю. — Ладно, сама обуглишься, как головешка. Так ведь и Роднички наши спалишь, к ебеней матери!» Она только гнилушки свои скалит: «А пуцай сгорят!» Не понимаю, ей-богу. При царе ведь родилась! Газеты из клуба пиздит на раскур, допустим, не одна она. Но давеча самого Пушкина уворовала. Добром отдавать не хотела, еле отбил. Верует, моя? Да ей махры только дохнуть, а там весь мир гори хоть синим пламенем. Было бы в доме Священное Писание, так и его б пустила на «козьи ножки»... Нет, у другой я читывал. Конкретно: у бабки Пеклы, что на Французовом Погосте живет.

— Французов Погост?

— Ну.

— Веселое имя у деревни.

— Какая там деревня? Погост и есть, но только не французов. При царе там жили ладно, несмотря, что на отшибе. Медом клеверным округу радовали. Ну, а после — известное дело! Сталин начал, Гитлер кончил. И осталось только пепелище. Луга там по-прежнему цветут, только людей уж боле нет. Бабка Пекла, считай, одна. Мужиков ее большевики сгноили за трудолюбие. И тестя, и мужа с сыновьями. Раскулачили, ты ж понимаешь... С дочкой-малолеткой каким-то чудом из Сибири домой вернулась. Тут война. Немцы пришли. Карательный отряд СС всех, кто еще был, живьем сжег. Пацанку ее тоже не пощадили... Перекурим?

— Спасибо, я своих. Не хочешь?

— Сигареты? Этого не курю... Но если выйдет беглец на бабу Пёклу, спасет она его. — Спичка озарила убежденное лицо.

— Почему ты так думаешь?

Откашлявшись, он схаркнул себе под ноги.

— Святая, — ответил строго.

— Кругом, что ли обведет?

— Может, и обведет. Святость — большая сила, актер. Что ты! Помощней, чем танк. — Мы выбрались на пригорок, он показал мне вправо от дороги. — Там, за лесами, Черные болота начинаются. А где кончаются, один леший знает да бабка

Пекла. Во время войны, когда каратели пришли, она через те болота партизан спасла. И его спасет, тебе я говорю!..

Вдохновясь, стал воображать он какие-то дремучие — увы, несбыточные! — варианты спасения дезертира из СА в старых партизанских землянках, звериных логовах и норах. Я не мешал. Шел рядом, глубоко затягиваясь французской сигаретой, и размышлял о собственном спасении. Куда мне отступать? Да и есть ли в тылах моей души эти — выражаясь языком отступления — «заранее подготовленные позиции»? Впрочем, война кончилась. Та, о которой писал юный Федя Достоевский, воображавший душу человеческую театром фронтовых действий в поединке Бога с Дьяволом. Завершилась для меня, во всяком случае. Оккупированная душа. Целиком и полностью в плену. Разве что где-то в потемках блуждает еще во мне загнанная, смутная и мятежная тень. Мужская. И можно сказать — подрывная.

Увы, не со ста двадцатью патронами: с одним-единственным.

Вернувшись в Роднички, Колик отправился к тайному источнику (видимо, безнадежно отравленному водкой), а я остался у нашей черной «Волги».

Курил, облокотясь на крышу, запотевшую от росы. Созерцал звездный ливень. Все спокойно было кругом — ни автоматных очередей, ни даже лая собак. Неподвижно было в этом мире, и спящее сознание России томило меня своим омутом, к поверхности которого вновь всплывает мертвый лик с тинной усов. Генералиссимус! Его жена, собственноручно им замученная, никогда не всплывет. Канула! Как миллионы лучших русских лиц, коваными сапогами втоптаные в самое дно нашего с вами, товарищи дорогие, коллективного подсознания. Мы горбим и спиваемся, а наши женщины, отцветшие мгновенно, все так же тянут ляжку. Куда? Хотел бы знать...

Небо России. Но что оно может? Ведь не предъявит счет, только звезды способны ронять, томя напрасно душу. Когда

же вконец доведет меня оно, это тщетное небо отчизны, только и останется, что (вот как соотечественники по грибы) пойти *по пистолет*. В соответствии со своим названием «Parabellum» мой всегда готов к войне, а хозяин его полноправный, он вольный стрелок. Своевольный!.. Бог с вами, соотечественники. *Политбюро* с вами! четверть миллиарда. Хоккей по телевизору смотрите. С шайбой. «Клуб кинопутешествий» или — вот увлекательная программа — «В мире животных». Выезжайте коллективно на природу, творите на дому разносолы и компоты яблочные — только соблюдайте, прошу вас, герметичность при закатывании стеклотары. Тишину соблюдайте — как основной закон. Не топчите газоны, переходите в положенном месте, берегите хлеб — ваше достояние (пущенное ими по ветру), считайте деньги, не отходя от кассы, орите как можно громче на специально созданных для этого вам стадионах, до конца выкладывайте запасы изначального крика, а после хоть вполголоса, но, умоляю, требуйте!.. требуйте, граждане, *ДОЛИВА ПИВА ПОСЛЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ*. В каждом пивном ведь заведении висят таблички эти, взывая к мужеству. А граждане молчат. Берут недолитые кружки. Что ж, наслаждайтесь без долива. Живите. У вас ведь есть *ОТВЕТНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ УДАР*. Тогда как у меня всего лишь одна пуля калибра девять миллиметров. Дома лежит в Москве, в Теплом Стане моем. В золоченой кофейной чашечке, подаренной одной роженице с Востока монахиней безымянной. Немкой... В Сорок Пятом. *Jeden das sein*. Каждому — свое.

Я влез в машину, откинул спинки, захлопнулся, лег и ощутил себя в гробу. Стоило б отогнать машину. Стояла несколько наклонно, въехав в кусты ольшанника, за которыми обрыв в долину. Еще хуйнусь во сне... пытался запугать себя, но было лень. И я остался неподвижен. Докурил до фильтра последнюю, разогнулся, упражняя пресс, и, задавливая в пепельнице, заметил вдруг клочок бумаги — извне, на лобовом стекле. Подсунутый, как штрафы полицейские на Западе, под стеклоочиститель. Босиком выпрыгнул наружу, а вернувшись, сунул

в рот предпоследнюю, щелкнул зажигалкой и, томясь, разнял листок. *Le billet-doux*... Любовная записка!

Фиолетовые чернила расплывались на влажной бумаге, выдранной поспешно из школьной тетрадки в клеточку, но, следуя пунктиром извилистой стрелы, через четверть часа я вошел под навес указанного мне амбара.

Сердце, пробитое этой стрелой на излете, было вписано куда-то под крышу. Приоткрыл дверь, перешагнул порог. Сонно вскрикнула курица с насеста. Справа, от стойла, по-животному тепло и отрадно пахло коровой и жеребцом, которые настоженно смотрели на меня сквозь тьму. Сено было слева — под самую крышу.

Я нашарил лесенку, поднялся, ступил на бревно и, балансируя, пошел вперед, ничего перед собой не видя. Кто-то схватил меня снизу за щиколотку — я оскользнулся. Равновесия не удержал и сверзился, свалился в омут — в мягко-колкий, душливый, душистый. Все возилось кругом, шуршало, шептало, посмеивалось, и, барахтаясь, погружался я в это блаженство все глубже, но не дали мне, коль обознался, прости, утонуть одному: навалились. Поцелуями залепили — горячими, мокрыми, неумелыми, большеротыми, исступленно страстными. Моя рыжая, я не ошибся! Сердечко мое! Я закрыл глаза и отдался этому лисьему, лихорадочному пламени, жадно терзавшему меня, и проваливался, проваливался все глубже к вожделенному дну, из-под скорби несказанной, от сквозняков, витавших под худой крышей, еще глубже в сено, где было тепло и спресованно благоухало уходящим летом и полевыми цветами, «не спеши», повторял я и, запрокидывая голову, слышал объемисто-госкливые вздохи давным-давно прирученных животных, чуткие их паузы, когда, подьемля головы, они прислушиваются сторожко к своему бревенчатому небу, приостановив — чтоб нас с тобой услышать — разжевывание трав своих сладчайших.

Она вдруг охнула, и, приподнявшись, окропила мои чресла. Но не остановилась — и я не сразу осознал, что это кровь, что это кровь невинности, как говорили в старину.

\*

В то время как Иван...

Ее трудовые пальцы затушили позолоченный окурок «Фемины» в спичечном коробке. Задвинули. С легким стуком коробок пал на пол.

Любви конец.

С протяжным стоном она садится. Поясница. Рельеф. Белизна под ним ягодиц. Щекой по колючей коже дивана проволочка он, вмялся лицом в эту полную плоть. Босыми шлепочками она отыскивала свои «лодочки», ступни просунула, и ягодицы отклеились, оторвались, взмыли, унося свое двойное диво. *Fini, c'est fini*. Она выгибается, статная, со стоном сводит лопатки, вдруг: «Ой!» — и отставляет ногу. Смеется: ей щекотно от мутной, извилисто медленной капли. Озирается. Берет со стола труссы. Белые, в синий горошек. Комочком утирает снизу вверх.

— На этот раз точно я подзалетела... Этакый потоп.

Он взвился:

— То есть как *подзалетела*?

Оборачивается. Грудь. Слепая нежность маленьких сосков. Обильный темный треугольник, и живот бел над ним, как снег.

— Чего ты! Ты не бойся! — говорит. К нему, и шею обвивает.  
— Ведь хорошо нам было? Ну, скажи?

Скулой обросшей прижимаясь меж грудей.

— Хорошо, — ответил.

И подумал: *было*.

— Ну, и ладошки тогда! А бояться тебе нечего, я, ты знаешь, человек самостоятельный. На хлебозаводе работаю, так что (*усмехаясь*) сытый будет — в случае чего. Ну? — Теплые тиски ее ладоней отрывали от груди, он не давался, все тесней вжимаясь лицом, глазами, как бы пытаясь стереть с лица нечаянное выражение испуга.

— Сама же тебя удержала, — добавила она. — Думаешь, всем подряд так позволяю? Хуюшки. Обходятся снаружи и спасибо говорят. А вот тебя мне захотелось удержать.

Он отлепился:

— Почему?

Вздохнула ему голову. — На комплимент напрашиваешься? Эх, мужики вы, мужики! Все одним миром мазаны... — Через голову надела юбку, натащила себе на бедра. — Будто сама я знаю? Захотелось мне, и все. Почему, почему? *А потому.*

Изгиб ее спины, а пальцы застегивают крючочки вдоль бедра. Он созерцает, ему страшно: он там теперь. Внутри Любви. Попался, голубок. Пленен и заперт. С улыбкой она взглядывает сверху вниз.

— Глянулся ты мне, залетный!

Он притягивает, целует выше пояса в живот, берет под юбкой на ладонь пизду, она уже закрылась, большая, теплая под ссохшимися волосами. Держит, сведя пальцы, в пригоршне.

— И ты мне тоже, — говорит.

— Пора, мой друг, пора... — Грудь исчезают под свитерком, оттуда выпирая. С озабоченным видом сворачивает свои белые в горошек. И в сумочку дешевую. Туда же лифчик. Щелчок двух шариков облезло-никелированной застежки. — Сегодня мне с полудня заступать, а дел по дому еще невпроворот. Вы как, до пятницы пробудете?

— Не знаю, — отвечает он со вздохом, веля руке запомнить ее, Любину, обильную в ладони.

— Если пробудете, бубликов вам привезу. Ты с маком любишь? Такие вкусные у нас, что просто объеденье! — Нетерпеливо переминается. — Пора мне, мой хороший. Автобус пропущу.

Он стиснул плоть и начал отпускать, и бедра ее сходились, уловляя, удерживая пальцы у себя под юбкой — но это было чисто машинально. *Прощай.*

Он поднялся на ноги, голый. Ступни липли, оставляя переходящие следы. В обнимку с ней, одетой, и на каблуках даже чуть выше его, они вышли из кабинета, прошли розовым от зари коридором, классом светлым. Пусто было все и гулко. У

прощального окна он повернул ее к себе. Поцеловал. Сильно и нежно.

— Ох, — слабо выдохнула и осела на подоконник. — Коленки не держат. Как в первый раз, ей-Богу... Это что, крестик у тебя?

— Крестильный...

— А где же он?

— К спине прилип.

Она потянула за цепочку, поймала крестик в щепоть. Выходной лак на ногтях уже частично облупился.

— Золотой?

— Угу.

— Красивый... Точно: и проба есть.

— Хочешь?

Стал было снимать, но на лице возник испуг.

— С ума сошел? Нельзя так! И потом у меня свой, я тоже ведь крещеная. Точно такой: «*Спаси и сохрани*». Правда, не золотой, но очень симпатичный. Только я его не надеваю. На работе из-за пазухи кто вытащит, игривый кто, иль просто любопытный, и попрут меня тут же из бригады комтруда. Но в церковь иногда хожу. А ты?

— А я в ней постоянно пребываю, только, — смущенно улыбнулся он, — в невидимой.

— Что за такая?

— Истинная. Единственно, — сказал, — возможная...

— Ой, Ваня, так интересно мне с тобой, и если б не автобус... Могу тебя спросить, ты не обидишься? Кольца не вижу... Ты не носишь просто или не женат?

— Женат.

— Поэтому так испугался? Ты, может, думаешь, что я — ну, как иные... донимать стану в случае чего, там шантажировать? Так я, поверь мне, не такая... — Она смутилась, он за ней, и оба спрятали лица свои в объятье. — Может, и не залетела, и ничегошеньки не будет. Так что не томи себя... А кто она?

— Жена? — Он растерялся. — Парижанка...

Любовь расхохоталась.

— Ну, комик-юморист! С тобой, я вижу, не соскучишься. Слушай, если съемки ваши раньше пятницы закончатся, на обратном пути сойди в Титьково. Обязательно, да, Ваня? Адрес простой. Тупик Невольный — не забудешь? Дом номер один. И я одна в том доме, хозяйева укатали на юга. Сад там от яблочек ломится. Крыжовник, черная смородина. Я на работе возьму отгул, всего накуплю, и загуляем так, что всем чертям на свете тошно станет. Надо же, придумал! *Парижанка!* А я и вправду поверила... Ну все! Не смотри на меня!

Распахнув окно, задрала коленки, влезла на подоконник и, сердито сказав: «Бесстыдник!» — задом вылезла на лестницу. Перегнулась, чмокнула и, тяжелая, но ловкая, стала спускаться, то взглядывая кверху на него, то обочь, на следующую перекладину. Благополучно добравшись, спрыгнула.

Он лег на подоконник.

— Сыграй свою роль хорошо!

Он кивнул.

— Смотри! Выйдет на экраны, я проверю! И это... На супружескую верность не рассчитываю, но, если что, сюда не приводи. Лады?

Кивнул.

— Приезжай! Я жду!

Чмокнула щепоть, взбросила растопыренные пальцы, и, размахивая сумочкой, вбежала под лапы елей, заиндевелоседые от росы. Легкий туман клубился над песком с отпечатками «лодочек». Он разогнулся, отлепил босые ноги и бросился в соседний класс, фронтальный, чтобы еще раз ее увидеть — уже запиравшую калитку и выходящую на алый от зари большак.

Кабинет директора, где только что они были с Любой, встретил оскалом учебного пособия. Глядя на диван, теперь еще более бугристый и с облетевшей до испода черной чешуей, по-быстрому оделся. Распутал и завязал по-новому шнуры. Исторически наше с тобой ложе принадлежало мрачной



эпохе, откуда все мы родом... Неужели ребенок? Боже, какой абсурд. Загнал под диван вздувшийся от окурков коробок. Огляделся... Гребенка! Гребенку она забыла. С недостающими зубчиками, с тонким свивом светлых волос. Он смотрел на эту пластмассу, с разводами для красоты, с продавленной ценой в копейках, щербато улыбающуюся со стекла, из-под которого белелись школьные бумаги, графики, расписания уроков...

Господи, ужели вправду? Схватил гребенку, обнялся со скелетом, удерживая на ногах, — и прочь, за ней, по липнувшим полам!.. Какая на хер парижанка?

Вот моя жена, которая была!..

Как вихрь, пролетел Иван мимо встречной коровы и старухи, которые остановились и стали вслед ему смотреть с задумчивостью. Как вихрь, неся он за автобусом, который удалялся неторопливо, валко и — необратимо. Растягивая, растягивая расстояние. Это был старый, мятый, медленный автобус, и было его — не догнать. И он увозил Любовь. И смотрел вспять, на него, задыхающегося, некрашенной фанерой. Вместо утраченных задних стекол два бельма. Слепых. Автобус взошел на гребень. Пропал.

А он все летел, летел — в пустоту.

По инерции сердца.

*Добегал...*

Он смотрел с обочины вниз, на ручей. Стоял, остолбенев. Яростно пенилась вода. Раскаленная добела. Из-под ольхи, из-под зарослей выносило гладкое тело воды, распластывало и дыбило со страшным шумом. Дорога дрожала под ногами.

Он спустился к воде. Раздевался, мертвая. Грохот вышибал даже звуки сердца, и руки, на которых встали зябко золотистые волоски, казались чужими. Не слышал себя, не чувствовал — сизая оболочка, постороннее присутствие. Пальцы ног на сыром песке. Приподняв на ладони член, скосил глаза — и чернотой вдруг ударило в сердце. Он задохнулся. Еще опухшей, облитой блеском, не отцветшей лежала эта плоть, а душу

вытягивало, как сквозняком. Остаток на ладони. Деформация страсти. Кровь еще не вся отхлынула. Все, что осталось с ним после любви. Его трясло. Он исходил дрожью, созерцая на ладони член, чей-то, мужской половой, член чего-то, выдутого насквозь, что-то красное, тупое и мясное, а Любовь между тем толкало на сиденьи, и в проходе меж креслиц драных плясала пыль, и груди прыгали под свитером, и ладони упирались в сиденье, по обе стороны от бедер, и как ей сиделось без трусов — и переваливался тот автобус по большаку, разъезженному танками, увозя с колхозницами, с пылью, с мешками картошки, с огурцами, с лукошками черники и малины ее — большую, вспухшую, живую. В тесноте под юбкой, под сплывшимися ляжками — *любимую*.

Он сел на песок, обхватил колени — голова шла кругом.

Оторвавшись, смотрел на ключья воды. Перевел глаза на листья ольхи, еще бессолнечные, в капельках росы. Разлепил губы и сказал пораженно: что как же, дескать, теперь?.. Господи?

И голоса своего не услышал.

Вопроса выдохнутого.

Но всматривался в безответность листьев, как бы настаивая на совете (*ведь образованный человек, писатель, а вот ведь, Sophie... Или к Богу ближе был он, мой Иван?*).

Поднялся с песка, на котором сидел голым, бесчувственным задом, — вошел в ручей. Загнал себя по колено в то ледяное пламя. По яйца. По пояс — и вода оторвала его, понесла, насилуя, к трубе, волоча под ним, по дну, тяжелые, гладкие булыжники. Не размозжила. Успел ухватиться за край трубы. Бетонный, шероховатый. Вцепился ногтями, удержался вытянутыми пальцами ног — вода, нажимая, выгибала его, распятого, кричал, кричал, бессмысленным воплем, надсаживался ужасом и счастьем, но себя не слышал — труба забивала, и было хорошо ему, под напором суженной воды, бессмысленно, но славно (*представляю*). Перебирая пальцами бетонный край, запрокинуто глядя в небо, он выбрался из орущей дыры и попал в белую пену заводи, окунулся с головой, под ним ше-

велились камни. Выбрался на песок. Взошел к траве и, мокрый, лег на сырое. Часы, выползши из кармашка джинсов, показали время: полшестого.

Полный надир.

Дорога шла вместе с ним наизволок, и лес дышал с обеих ее сторон. Дух, тяга теплая, мшистая, травяная, цветочная. Свежесть рассвета была пронизана теплыми воздушными струями, и было отраднo шагать мимо высохших и свежих коровьих лепёх, давя, осыпая, плюща следы танковых гусениц. Он взошел на гребень, за которым бесследно растворился автобус с Любовью. Вот в этом воздухе, в беспредельности сияния над полями до лесистых горизонтов, в этом просторе, который отныне станет образом потери.

Голову кружило, он шел, как на поникших крыльях опускался, и теплые волны простых благоуханий омывали, струились сквозь душу, то лугом росистым.

То отсыревшим сенокосом.

Льном увядшим.

Рожью.

Наивным зеленым горошком.

Убитый грунт проселка ушел из-под ног, писатель погрузился в мокрую траву канавы, выбрался к заград-шеренге ельника, колко-мягкие лапы плотно обмели его, и он ушел в луга. Он удалялся все дальше, штанины тяжелели книзу, хлюпали, хоть выжимай, трава слепила, вспыхивала, он щурился, и шел, и вяз, и плыл, то опускаясь в тень овражков, то восходя — и дальше, глубже в ежеутреннюю, покуда восходит солнце, благодать России.

Вымок он по пояс. Выбрался на твердую травку. Мимо развалившегося сарая, из которого сквозь щели смотрела крапива, спустился в сумрачно-дымный овраг и долго-долго потом выбирался к солнечному сиянию, трогая листья малины мимоходом. Огляделся — простор сверкал алмазно, и, сколько глаз хватало, все было безлюдным. Он стяхнул с джинсов

налипшие семена цветов и двинулся дальше, отдаваясь созерцанию радужного утра. Долго ли, коротко ли, Sophie...

Посевы ушли, и луга, и покосы, и навстречу ложилась под подошвы куцая трава, там и сям пучились валуны. Дом, к которому он продвигался, постепенно нарастал, и он остановился, осознав внезапно, что тот необитаем. Чернели дыры окон. Он огляделся: купами сходились рябины, черемухи отцветшие... Неогороженно стояли яблони, заброшенные, уже бесплодные. Местность отзывалась чем-то пугающим. Была как бы попытка очеловечить, но бросили вдруг, ушли, исчезли люди... Чернели окна. Пустота земли сменилась запустением, пустошью — и в душу засквозило... Он вошел в теплые лопухи, хрустнул щебень, и он вступил в прямоугольник праха. Человечески правильный. Осмысленный. Здесь дом сгорел, подумал он, томимый жутью. Фундамент перегорел до черноты — ни сорнячка, ни лопушка. Он похрустел щебнем, спрыгнул в крапиву. Куда те люди делись? *Никуда*, отозвалась нежить. Почему пошло все прахом? *Потому*.

Обходя бурьян, поднялся к дому.

Обошел, ища крыльцо.

Вход зиял. Ступени поднимались к провалу, из которой росла сырая крапива. Он стоял над этой зеленой дырой и, обхватив сваю навеса, гладкую, мозолистую, смотрел в проем двери — ни пола, ничего... Внутри обитала крапива, еще выше, жилистей и злей. Печь обвалилась, но труба кирпичная еще держалась, уходя сквозь потолок. Кто-то сложил один на другой закопченные кирпичи, чтобы подняться в горницу, забитую сеном.

— Эй, — позвал Иван, — есть тут кто живой?

Из дому сквозила нежить.

— Все не так уж безнадежно, — заговорил он вслух, оглядывая дом. — Крапиву выкосим, половицы настелим, печь сложим заново. Стекла? Вставим, Люба. Наличники выпилим фигурные, и синькой их покрасим. Нарисуем — будем жить. Дом еще крепкий, годится, — тряс сваю крылечную. — А вид отсюда будет, доложу тебе...

С этими словами взял и напрыгнул — спонтанный элан виталь, Sophie, — на сваю, цепко обнялся с ней, взлез под навес, выложил ладони на сырую дранку навеса — вроде держит... Забрался. Перелез на край крыши. Утвердился на коленях. Переждал — и выше стал всходить — ладонями вверх, колени за собой подтягивая — по скату. Выше, выше по крутизне. Дранки срывались из-под него, ускальзывали, и чем шире, солнечней, зеленой раздвигалось утро, тем зыбче под ним, тем гвоздочки, чем дранки сцеплены, мягче, червивей. Ржавой гнилью этой скрепленная, еле держалась вместе вся эта труха, весь прах и тлен. Он распластался, крестом раскинулся, шарил ладонями, ища уцепиться, но щепка обращалась в пыль и в жижу, он вытирал ладони, и пробовал рядом, но срывалась щепка, и где-то сзади, глубоко, недобро потрескивала крапива. Как во сне он барахтался, пытаясь взойти к высоте — как называется?.. *Конёк* — вспомнил он и сделался счастливым, и толкнулся, рванулся к нему, к коньку — и вся крыша стала оплывать, съезжать, унося с прахом и его, Ивана. Вот и все, пошевелил губами. Вот и сказке всей конец. Убывал к концу своей жизни и прощался, прощался с Любовью: значит, ошибся, дом этот, стало быть, не возродишь... прости.

И даже разочарован был, когда, как в сказке, случилось диво, и жизнь остановилась. С крышей вместе. Замедляться стала.

Вот, стоит.

— Ага, — сказал азартно, — ты, значит, так? А я, — и оторвал ладони, — с другой стороны на тебя взойду, потому что вид тут, Любонька моя, такой, что...

И начал сначала восхождение.

К коньку.

И далось, открылось ему — во весь окоём.

— Вот, Любонька, — шептал, — гляди, как будем жить красиво. Вон ручей — оттуда воду брать...

Сжимая конек, осматривался с самого высокого места округи и умолкал — кругом внизу то жизнь, то смерть... Череспособицей. То пепелище, то трава, и он молчал. Дыры черных

фундаментов взирали на него из бурьяна. И по эту сторону, и за ручьем, где выше. Развалившийся сарай чернел на бережке, подмытый. Вдалеке еще был дом, окна заколочены. И на самом краешке, у леса, сверкало стеклышко — из самой травы, так показалось, потому что избенка та осела, выросла по самое окно... кто в ней живет? И вот этот, под ним, который едва могилой ему не стал. И вся эта жизнь. И он молчал, хотя кругом, за пределами пропавшей деревни, было так красиво! И поля, и луга холмистые, мягкие, заливные, радужно слепящие, и все обнято дымкой леса, и солнце всходит, нарастает, о, земля моя окрест!

Как жить с тобой охота.

С Любовью жить, и яблоньки те выходить пустые, — и рвалось сердце, на части, *чересполосицей*, наделом черным, уделом светлым, черемуховым светом, и сочилась из-под ладоней кровь, удостоверяя, что не кошмар все это, а и вправду, на самом деле, как кретин последний, взобрался он, Иван, под небо на восходе, и, так-то вдуматься, чего всё ради?

Ладони ободрал, весь изгваздался...

Как теперь слезать?

И ожгло глаза, поплыло, и зарыдалось ему — слезами горючими, последними, и лбом, лбом о конек, потому не выходить тех яблонь, и печи заново не сложить, и пепел все, бурьян, и нет ему любви, и Любви ему не будет, а почему?

*А потому.*

И он разжал ладони, и с гнилью-тленом-прахом стал тонуть, щекой щетинистой вжимаясь. И стягивало медленно, но верно — в крапиву ту, на камни чадные, и пусть, раз все уж так. И уносила, оседающая, труха, сползала крыша, за ненадобностью, и вдруг — на полпути к обрыву в небытие — провалилась, и как лежал Иван, так и окутался облаком пыли в своем падении. И невредим остался, пав на сено.

На чердак.

Перевалился, гудящий, на спину. Под ним оказался брезент.

Над ним провал в небо.

Дыра осыпала прах — как бы размываясь по краям. Голубизны высокой. Солнценосной.

Вдохнул, проверяясь. Безболезненно... Сел. Все было рассечено, располосовано, истыкано, как спицами, лучами светлой пыли. Ладони по-прежнему саднило, и локоть поднывал, но дышалось легко в этом стоячем воздухе, насыщенном запахами сена, кем-то втащенного сюда, золы, печных кирпичей, сохлого помета птиц. Он повел глазами по стрехам — вон ласточкино гнездо. Вон легонькое осиное. Повел рукой по сему, пощупал — вот оно, твердое, обо что ударился. Рука не поверила. Пораженно перевернулся, разбросал сено... Автомат! «Калашников»... Он вытащил за лямку. Новенький. Пахучий. Порывшись, нашел подсумок. Брезентовый, тяжелый. Раскрыл. Набитые рожки... Пополз к изголовью, к доскам щекой прижавшись, прильнул к щели. Снаружи никого. Вернулся на брезент, который оказался плащ-палаткой. Лег на бок. Лицом к оружию. Теперь можно держать оборону. Закрыл глаза и вспомнил, из далекого армейского прошлого, увидел голубые струи огня в ночи, стрельбу трассирующими. Он ненавидел армию, но красота и там была, во всяком случае, трассирующими он стрелять любил. Откуда здесь, на чердаке, «Калаш»? Его же — не женщина любимая — нельзя бросать, ни на минуту разлучаться с ним... «Вы, парни, осторожней все же, — сказал, заглянувши к ним в машину, патрульный лейтенант. — Мерзавец с оружием сбежал». Он сел, положил автомат на колени. Огладил металлические части. Ствол. Гладкий светлый приклад. С мышечным напряжением оттянул затвор — до упора. Теперь ствол в рот и пальцем большим вниз. Не винтовка, просто дотянуться. Как из Житомира один там, в карауле. Иван поднялся, расставил ноги. Взялся за шероховатую насечку рукояти, упер приклад в ложбинку у правого плеча — повел стволом. Не забыл. Совместил прорезь с торчащей мушкой. Указательный подтягивал, прижимал спусковой крючок. Та-тах! Автомат рвануло кверху, но Иван принагнул. Уши заложило. Вбирал в себя отдачу и потрясенно созерцал, как, брызжа свежими красными осколками, распадается до

черноты закопченная труба. Каши все равно нам не варить. Стоял, оглохнув. Гвоздил, пробивал. Крушил. Трубу. И доски — новые лучи впускаая. И крышу. К ебням все...

Яростно. В угаре едком. Слыша, как отзванивают гильзы, находя друг друга.

Отпустил спуск и зубы сжатые. Эхо отзвучало. Тишина. С удовлетворением обозревал преобразившийся чердак. Груда кирпичей дымилась красноватой пылью. Стало намного больше солнца, и в лучах плыл, таял пороховой дымок. Отбросил автомат и растянулся на армейской плащ-палатке. Азарт оставил — над ним пошевеливалось коническое гнездышко, серое, заброшенное осами. Он нашел край, завернулся в плащ и в темноте уснул. Снилось ему, что мальчиком он заблудился в лесу, и наступило счастье, что все теперь, пропал и не найдут, но он боялся поверить, радости не принимал, и оказался прав: дальние послышались зовы, со всех сторон, его окликали все ближе, все безнадежней, и он очнулся.

Тихо. Солнечно. Небо голубое. Раскинул клеенчатые полы, и тишину вспорола ласточка. Вылетела наружу.

И тут окликнули еще раз.

«Ауу-у!..»

Шибануло изнутри в виски, когда в пробойну увидел он ту, медно-рыжую, с которой танцевал вчера, до полученной взамен Любви. Лезвие косы над ней посверкивало. Держась одной рукой за рукоять, другой прижимая белый узелок к груди, девчонка отступала, пятилась, невидяще глядя прямо на него. Вот и вся на солнце. Повернулась и пошла, не оглядываясь, между черных фундаментов, лужайкой, босиком. Повспыхивая косой.

Иван сел, подтащил автомат. Патроны в магазине еще остались, не говоря про набитый подсумок. Он переставил на одиночную стрельбу и вставил обратно плоский рожок.

Завернул «Калаш» в непромокаемое — и прочь отсюда, переступая балки, за третьей увидел железное кольцо, отвалил квадратный люк. Внизу, в горнице было сено, он провалился...



Всю дорогу вдаль поблескивала коса, суеверно сжимая сердце.

Врешь, не возьмешь... сердито повторял.

У самых Родничков его обогнал бронетранспортер, полный солдат. Безоружных.

\*

Лейтенант, комвзвода, вспрыгнул на эстраду.

— Ну вот что, парни... — Каблуком сапога по доскам стукнул, дождался тишины. — За отсутствием замполита промыть вам мозги поручено мне. Никто из вас, надеюсь, Евангелие за голенищем не прячет — тихо, ребята, ну?.. Последствия веры в Бога, приводящие к ЧП, надеюсь, всем ясны, однако, в порядке промывки, все же зачитаю ряд уставных положений, принадлежащих основоположникам. Прошу заслушать, — и раскрыл блокнот.

— Толковый малый, — шепнул я Никите, который в ответ показал мне большой палец.

— Начну с Маркса. Кстати, тут некоторые эрудиты из личного состава распространялись, что Маркс всюду дул пиво, тихо! Навел справки: не пиво. Эля! Пару кружек основоположник действительно любил пропустить, но не трехлитровый бидон. И водки, Петроченко, заметь, не доливал. Итак, товарищи эрудиты, по Марксу, религия, она есть превратный мир. Что его порождает? Общество. Почему? Потому что общество само превратно. Думаю, всем ясно, что Маркс имеет в виду не то общество, на страже которого мы с вами, Петроченко! неколебимо стоим. Маркс, однако, не упрощает тему. Религиозное убожество, говорит он, есть выражение убожества реальности, а также *протест*, подчеркивает он, против такой вот реальности. Ни действенным, ни эффективным, как вы понимаете, быть такой протест не может, и поэтому Маркс, по-моему, очень здорово определяет веру в Бога как *вздых*. Вздых угнетенной твари. Ваш командир все-таки готовился, а? Торчал в библиотеке? Так что потрудитесь дослушать, парни. — Он об-

вел глазами солдат, которым явно не сиделось на месте, и капитулировал... — Ладно. Я тут выписал пару умных мыслей, но так и быть... Что есть Бог? По Ленину, Бог есть комплекс идей, порожденных тупой угнетенностью человека. Как метко заметил Ильич, религия есть род сивухи — но не той, о которой вам мечтается. Духовной! В которой рабы топят свой человеческий образ, свои требования, Петроченко, на сколько-нибудь сносную жизнь. Так. Теперь о взаимоотношениях нашей с вами идеологии с Богом. Марксизм есть материализм. Это положение Ленина. И он беспощадно, говорит Ленин, *беспощадно* враждебен Богу. Выводы каждый пусть делает сам. Вопросы будут?

— Атеизм, — поднялся недотепа, — это что такое, товарищ лейтенант?

— По-русски, рядовой Тишков, безбожие. Еще вопросы?

— Насчет, значит, баб, товарищ лейтенант...

— Женщин! — поправил офицер.

— Вы говорили, чтобы рукам воли не давать...

— Ну?

— А если с обоюдного согласия?

Солдаты заржали что коней табун.

Вслед за взводом мы, командиры, вышли на крыльцо. Угощая лейтенанта Gitan'ом, я спросил:

— Он что, действительно, Евангелие за голенищем?

Офицер затянулся, выдохнул сквозь трепещущие ноздри.

— Эх, Париж, Париж... Собственноручно, — сказал, — на стрельбище изъял. Жалко дурня. Ни за понюшку табаку пропал. Годок бы дотянул, а там хоть в дзен-буддисты. Какие-то они, скажу вам, Кирилл Кондратьевич, неприспособленные. Ни схитрить, ни слукавить. Действительно, не от мира сего... Черный табак?

— Он самый.

— Забористый. Но чистый... — Усмехнулся застенчиво. — Значит, Париж на самом деле существует?

— На самом.

— Скорее в Бога поверишь, чем...

— Лейтенант, не впадай! — перебил Никита. — Крепи моральный дух. Какой там, к бесу, Париж? Миф это. Иллюзия. Угнетенной твари вздох. Вот она, — раскидывал руки, — благодать...

Поляна полна была техники — киношной и армейской. Пацаны влезали на броню. Мелькали стайки девочек, смеялись бабы. Солдаты уселись на крыльцо сельмага и подпирали его стены. Из кузни выплывали литые звонкие удары. Славно было и ознобливо — не могу тебе изъяснить.

И облака, и бабы, и благовест из кузни...

Ноги сами повели меня к Божьему храму, где некогда крестили детей, поминали усопших, обручали любящих, а теперь вот кузнечные меха раздувают, создавая материально-техническую базу небытия. Почему не знаю, но куда бы ни попадал, в какой бы городок не заносила проклятая судьба, я непременно наведываюсь в церковь. Это сильней самоиронии. И чем гнуснее на душе, тем больше тянет меня под своды. Мерзостью своей я просто упиваюсь под ними, гулками. Но надо, чтобы одиноко было, и стыло, и каменно — где-нибудь в средневековом захолустье Западной Европы, предпочтительно зимой...

Тенью своих берез курган накрывал церквушку.

С одного бока ее уже начали восстанавливать для съемок, штукатурили, пачкая траву, с другой — ободрана была до кирпичей. Невеликая такая церковка, самая обычная. Копию ее Никита сколотил из фанеры на выгоне, где я сегодня совершу кинозлодеяние, после чего он будет снимать предысторию — здесь вот, при свечах. Идею свою — русскую — протаскивает на большой всесоюзный экран.

Кузню венчал крест. Православный, проржавленный, узорчато-женственный крест принагнулся: видимо, пытались некогда сломить, да воли не хватило большевистской, а может быть, и веры. Утомившись, так и бросили, ограничившись тем, что над арочкой входа намалевали звезду косматой кистью. О пяти концах. С тем, чтобы ясно было, какова данный Божий день политическая ситуация в Родничках. Я не ахти

какой любитель православной архитектуры, тут, на мой взгляд, Sophie, избыточен материально-телесный низ. Нет, я, конечно, тоже не безразличен к попам, и главное, чтобы там жизнь и форма, объем не устрасит, но, что касается духовных потребностей, то им больше отвечает готика, Кельнский собор там, Страсбургский, и чем готичней, тем духоподъемней — как эмигранты говорят. Все же церквушка равнодушным не оставила. У входа ржавела сеялка, из тяжелого колеса трава росла, какие-то бочки мятые наставлены, мазутно, пачкотно, и, угнетенная мерзостью запустения, космополитическая тварь, я невольно подавляю вздох.

Как там, лейтенант, по Марксу?..

Внутри обнаружил я Ивана. Обхватив себя крепко, сидел он на верстаке, в тесном соседстве с тисками. После ночи с Любовью Малофеевой вид имел тот еще. Исцарапанный, сумрачный, щетиной золотой оброс. Отсутствующе глянул и увел глаза на прокопченные своды.

Мужик, знай, лупит; наковаленка прыгает на здоровенной плахе. Сам кует, сам держит щипцами свое железо, будучи одет при этом — уж Бог один знает, почему — в драный кителек морской. С темно-синими следами от содранных погон. Прикусив угасшую папироску. Кует — и ноль внимания на нас.

— Преклоним колени, Ваня...

Взглянул.

— Помолимся, говорю.

Лицо его дрогнуло:

— *Этому?*

Чадающий горн озарял плакаты Агитпропа, налепленные на почернелые стены, иногда один на другой: **ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ПРОВЕРЬ ИСПРАВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА. НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ ОТВЕТИМ САМООТВЕРЖЕННЫМ... ДЕНЬГИ В КАССЕ НАКОПИЛ — ВЕЩЬ ХОРОШУЮ КУПИЛ! БОРИТЕСЬ С ГРЫЗУНАМИ, ВРЕДИТЕЛЯМИ**

*СЕЛЬСКОГО... ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА — СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ  
КАЖДОГО... УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ К ПОБЕДЕ... КОМ-  
МУНИЗМ — СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  
УХОДЯ, ГАСИ СВЕТ!*

В рамочке «Моральный кодекс строителя коммунизма», а рядом, гвоздем по копоту, процарапано было **хуй-пизда — с одного гнезда**.

Что именно коаном этим хочет сказать народ я, Sophie, так и не понял, дожив до тридцати трех лет, — и в этом сумеречном лоне неистово искрился мужичок без погон, наполняя существо мое звоном, от которого ломило зубы. Я зевнул — что было чисто нервное. Как в самолете, чтобы слух восстановить.

— Не все ли едино, Ваня?

Он отвернулся к горну, который был заместо алтаря, а я взял и опустился коленями на пол, по-заводскому жирноватый. У себя в Теплом Стане молюсь иногда у входной двери — серебряной подкове, привезенной из Далласа. Бывает, и на кухне, предварительно вбивая в стену длинный гвоздь XV века, который подобрал в Севилье еще при Франко — в соборе Девы Марии. Да чему только не молюсь я, когда накатит. И пуле ординарной своей, и вагине... Где — неважно, лишь бы отринуть все на свете, и я ушел в себя, читая «Отче наш».

Обрушилась тишина.

Поднялся.

Отложив молот, мужик ухватился за длинные щипцы и окунул в бочку лемешок — зашипело яростно, широко.

Последний раз это было со мной в доме Ивана, в его будущем, где он еще не был, но который ожидает его на берегу Атлантики, а перед этим, в январе, в кафедральном соборе городка — не смейся — *Ние*. Где, спросишь? А в Бельгии, куда пришел пешком, бросив прямо на обочине машину, казалось бы, только что починенную в Кельне, а была жестокая зима, Sophie, крещенские морозы, и вздумалось мне об ту пору, в канун тридцатитрехлетия, сыскать германский монастырь, где я родился. Увы, авантюра оказалась безуспешной, и по причине какого-то распавшегося контакта, едва не околел в

ночь своего рождения — и где? В Хуе, самодостаточном центре западной цивилизации. Там, видишь ли, атомная электростанция неподалеку, к которой, хочешь не хочешь, а заодно пришлось проявить интерес. (Загрансвободу, должен отрабатывать, уж ничего тут не попишешь...)

Иван подал голос:

— Что, отец, нелегко, без напарника?

Кузнец обтер руки, вынул из металлических зубов папироску. Расправил, закурил. Прожженный искрами кителек был декорирован медалью *За победу над Германией. 1941—1945. Наше дело правое, мы победили. Сталин*. Прикручена к замасленной тесьме. Медной провололочкой, пропущенной в ушко. Ветеран выдохнул дым, подмигнул нам и — заговорил, заклокотал, замычал. Что-то абсолютно нечленораздельное.

— Осподи, — попятился Иван.

— Конгузило, наверное. На флоте, отец?

— Идем. Чего тебе еще?

— Друг, что с тобой? Ведь ты писатель?

— И что? Во-первых, еще нет...

— Нельзя так, Ваня. Не сближайся с реальностью, держи дистанцию иронии...

Как бы напутствуя нас взволнованной речью, в которой понять нельзя было ни слова, ветеран кузни проводил нас до битых ступеней. Прислонился — щурясь на солнце, продолжая монолог на непонятном языке...

Иван сунул ему руку:

— Бывай, отец!

Умолк на полуфразе. С сожалением обвел нас живыми, ясными глазами — каких, мол, собеседников теряю...

Добавочно, перед прощальным рукопожатием, обтер свою большую корявую руку о кителек с медалью.

\*

Sophie, ты знаешь, иногда мне кажется, вовсе мы не накануне всеобщего конца, а тысячу лет назад, в достойном 989-

м, нас только-только известили о том, что Бог есть любовь, и мы отныне не язычники, и почки веры такие трогательные, как прямо вербные пушки, — такое чувство...

Мой Бог, куда нас занесло?! Не то, чтобы отстали мы, не то, чтоб архаичны, мы просто-напросто — в ином измерении. Инобытие — ты понимаешь? Не прошлое человечество, не будущее — безвременье его. Рак времени, подтягивающий щупальцами метастаз все новые к себе пространства, высасывающий из нас, отдельных клеточек этой пораженной ткани, энергию свободы, воли жить. Будучи в самом эпицентре злокачественного ядра, странно вспомнить вдруг о том, что существует еще Запад с его свободой (куда просачиваемся мы, подготавливая скачок из количества в качество зла), с помыслами о всемирном правительстве, с размыканием границ навстречу друг другу, с Европейским его парламентом, с живым и, значит, сопротивляющимся обществом, с его сознанием, давным-давно освоившим психоанализ, с навсегда потрясшей меня человечностью бытия и быта, в самое сердце поразившей меня своей неискренности во лжи, в насилии, во зле. С его свободными людьми. О Запад, Запад! когда я вспоминаю твои наивно чистые глаза, и голоса, и речи, твою непринужденную походку, позы, и контрразведчиков твоих, и наркоманов, и детей, как радуешься ты, и как бывает тебе плохо, и все это, Sophie... я не умею изъяснить, но там и ты, и дочь моя, не говорящая по-русски, и все, что там, там, за чертой, где жизнь живая еще не распознала смертельную свою болезнь, — сжимает горло спазмой.

Обвожу глазами сирый мир сей: выцветшее небо. Сизые под солнцем избы, замшелость крыш. Заборы серые. Окоченевшая дорога — две колеи глубоких, а трава над ними в засохших брызгах. Рыжий петух идет, покачивая важно плотью гребня эрекционной. Две курочки предусмотрительно отбежали, две запыленных снизу самочки, на грязно-белых крыльях которых химическим карандашом слюняво выписаны номера: увы, однозначные. Бедная моя, страна моя безмысленная. Такая голубая, кудряво-травянистая — единст-

венно любимая. Привычная ко злу. Сросшаяся, сжившаяся с ним. О чем ты думала, о чем митинговала *летом* Семнадцатого года? Кроме права на бесчестье чем еще тебя прельстил Лукавый? Хлебом? Сейчас, долготерпимая, сейчас тебе откроют магазин, моя страна, впадающая неизменно в паралич от ужаса едва забрезжит ей свет возможности вынырнуть из стоячего болота подсознания, безразличная ко лжи и правде, податливая, покорная, всеядная и ко всему на этом свете безразличная, с себя самой начиная. Здесь праздник умер, разложившись. Здесь даже юное, вполне бездумное веселье жизни невесело, по сути. Их только мне и жалко — юных.

На бревнах, обтянув подолами колени, сидят девчонки. Пересмеиваясь, постреливают глазами на солдат, которые обнажают незагорелые плечи, меняя свои гимнастерки на киношные мундиры; ухмыляясь, солдаты скабрезничают, смело поглядывая на девчонок — издаалека... Мы, мол, — и они. Дистанция. Граница. И всюду, повсюду здесь это бесконечное множество границ, одна из которых и разлучила нас с тобой. Живые люди, едина плоть и кровь, — как замкнуты мы здесь! как отчуждены! и как враждебны! Негласная цель дьявола материализма — мобилизовать всех на войну со всеми — исподтишка, но верно разлагает органическое единство. Вне изоляционной защитной оболочки погибнешь, но и пребывать в ней — смертная тоска. Продавщица, на хлебном месте раскормившаяся баба, лениво идет к своему сельмагу, дожывая, на ходу влезая в чернильно-синий халат уборщицы. Сейчас извлечет связку ключей, лязгнет замками, громыхнет темно-коричневой от коррозии железной доской (которую услужливо подхватит кто-нибудь всенепременно) — и начнется коммерция. Жизнь. Энергия воплотится. Бабки уже выстроились в очередь на крыльчке и подле, мужики, сохраняя достоинство, покуривают, возлежа лениво на траве. Потом бабки разбредутся по округе с плохо пропеченным черным хлебом, а мужики разошьют бутылку «бормотухи» на троих, им вступит в голову на солнце, и, сомлевшие, тут же, у сельмага, и уснут.



Где я, Sophie?

Кто выбросил меня с моей охотой жить в эту страну, которая еле тянет на севших аккумуляторах? Тигра, тигра мне в мотор!

А над крыльцом правления, где на боку под солнцем греется пестрая беременная кошка и вот уже битый час с кепкой в руках сидит какой-то принарядившийся ходатай, выцветает транспарант, все еще различимо посылая *БРАТСКИЙ ПРИВЕТ ПОСЛАНЦАМ ПОБЕДИВШЕГО ВЬЕТНАМА!*

\*

В молчании идем мимо заборов, сворачиваем в тупичок, заросший лопухами. Снимаю оплетку алюминиевую, какой калитка заперта об изгородь, обратно надеваю на кольшкы — изнутри двора. Здесь расположилась на постой киногруппа. При виде нас гримерша поднимается со ступенек и уходит в избу. У колодца два оператора, голые по пояс (в американских джинсах, разумеется), поливают друг друга из ведра, мотая над сверкающей травой нательными крестами. Хозяйка избы сидит на завалинке под окном. Греется на солнце. Закуталась в шерстяной платок — по стылой своей крови. Платок темно-коричневый, с бахромой. Еще на ней ватник серый, драный, штопаный и теплый. Сидит-созерцает мир травы под собой. Опираясь на палочку, белую-белую. Никша ей ободрал бутылочным осколком. Красоты ради.

Иван, угрюмо:

— Утро доброе, бабуль.

— Доброе, доброе, сынок... Чай, тоже артист ваш?

Во мне безошибочно опознает начальника. Я присаживаюсь рядом, смотрю вслед товарищу.

— А что, бабуля, — говорю, — хорош?

— Красавчик. На батюшку нашего похож, Царствие ему небесное... Тот, правда, бородку имел покудлатей.

— И что с ним случилось?

— Арестовало титьковское ЧК. Супротив испанки молебствие устроил он и крестный ход. В тот год, сынок, испанка людей косила, что твоя война. Вместе с ним икону нашей Божьей Матери-Заступницы забрали. Икону, люди говорят, в саму Москву направили. В музей.

— А батюшку?

— В Могилевскую губернию, сынок. — Перекрестила свой беззубый рот и обратно возложила уродливую руку на палочку. — Давно все это было. Еще девчонкой бегала нетроганой...

Палочка упирается в траву промеж нагих, бугристых, мертво-цветных бабкиных ступней, обутых в новенькие галоши, привезенные из города Никитой. Черный лак резины сияет празднично на солнце.

Сын одного из крупных функционеров этого рая (папаша годами не вылезает из небоскреба ООН в Нью-Йорке, злоупотребляя правом вето), Никита, видите ли, возлюбил народ свой. *А ты?*

Я, я!.. Мне и мое сострадание кажется подлым, а уж любовь... Логически рассуждая, первым и, увы, последним актом любви явилось бы самоубийство. А потом есть Запад, а *Запад есть Запад, Восток есть Восток* — возжелав во что бы то ни было полюбить сей Божий мир как целое, неизбежно шизанешься. Я человек разорванный. Надвое. В силу национальной принадлежности. Как русский...

Не говоря уж о профессии.

В горнице Никита трещал половицами, рассуждая о русском Боге. Иван, которому гримерша меняла следы от страстных поцелуев на фальшивые кровоподтеки, изредка в ответ смеялся принужденным смехом; потому что, как хорошо сказала гримерша, *смех обнажает лицо*. И мой товарищ нехорошим смехом противоречил идее преобразования коммунистической империи в теократическую, которой вдохновлялся режиссер перед творческим деянием.

Тем временем, на черной кухоньке по соседству, устроившись на шатком табурете у окна, гляделся я в зеркало — если можно так назвать имевшийся тут осколок, старый и дрянной. Причудливый географический узор эмульсии, изъязвленной пустотами, дырявил свое отражение. Сквозило «зеркало души», уносящейся в свое Зазеркалье, о существовании которого никто в этой избе (исключая, может быть, Ивана) не подозревал. На Запад моей памяти.

Мыльница была надтреснутой и бледно-розовой. Я выжал в нее остатки французского пенистого крема, взбил вместе с растаявшим от кипятка дегтярным обмылком и покрыл заросшие щеки этой противоестественной смесью, наблюдая за исчезновением этой американизированной наружности — по сути, ничем не примечательной, если не принимать во внимание приятный загар, вывезенный мной из Франции, а именно из Бретани, которая, конечно, не являясь известным всему миру Cote d'Azur, Лазурным берегом, незаслуженно слывет пасмурной окраиной Западной Европы, малоподходящей для летних отпусков...

Я отрегулировал угол среза на британском моем станочке, древнем, как парламентская демократия, — *и меньшего зла в этом мире нет, Никита!* Прав был наш ненавистник Черчилль, прав! Наблюдая сейчас за мной, пронизательный человек безошибочно определил бы во мне Нарцисса — не первой, правда, молодости. Соглядатаев, однако, не было, и я приступил к бритью, вспоминая при этом последнюю ночь на Западе перед возвращением в Союз.

Ночь сладостную, гниlostную, растленно-нежную, гибельную, раздувшуюся от дыхания Атлантического океана, который в тот час как раз вздохнул, отхлынув от побережья и обнажив илистый испод маленького порта, днища накренившихся мачты барок, яхт, катеров и лодок, обросших водорослями и ракушками. Глядя сквозь стекло бретонского ресторана, отужинал я без затей. Блинами из гречневой муки. Кувшин яблочного сидра выдул.

Машину оставлял я в нижней части города.

Будущий дом Ивана был на самом верху, на улочке, носящей имя регионального романиста и срывающейся в конце прямо в пропасть, во мглу, в бездну ночи, царящей над океаном Североатлантического блока НАТО, над океаном, к которому вышел я одной из тайных троп своей судьбы. Я, говорящий по-русски в ночи той про себя, с собой. Закрытыми ставнями дом смотрел на океан. Я отомкнул решетку, поднялся по лестнице в задний дворик. Безмолвие жилья. Каждый раз было страшно входить. Ключи были от самой хозяйки, но все равно я чувствовал себя, как вор. Сидел на темной кухне. Наощупь сделал себе кофе (ну, не могу произносить: «Сварил»!). Оказался чистая арабика. Пил, медитировал, курил. В потемках. Погасил сигарету, включил наружный свет и вышел навстречу судьбе. Потому что вошло в голову, что сейчас меня элиминируют, неважно, кто, не в этом суть...

Я вышел навстречу пуле — готовый, легкий и согласный. Дверь была алой, яркой, так здесь они любят, труженики моря. Я стоял под светом над входом в дом Ивана, на половине мира, где он еще не был отродясь, под сильной лампочкой над дверью заднего выхода во дворик, обнесенный кустиками, а дальше все круто поднималось в ночь. Стоял покорный, ослабший, созерцая проблеск лески, натянутой над лужайкой, чтобы сушить на ней, развешивая после океана, купальники, плавки, полотенца, прозрачную зелень, из которой выплывали сферы благоуханных кустов лаванды, силуэт водоколонки... Полная тишина. Под светом меня, стоявшего столбом, хорошо было видно отовсюду — на расстоянии выстрела, он будет беззвучен, не услышу ничего... Я ждал. Стоял и ждал, когда же ударит она, вожденная, чтобы все это кончилось, наконец, вместе со мной. Бетонная дорожка, посреди которой я стоял на заранее положенном пружинистом коврикe с надписью «*La bienvenue!*», была чисто выметена, только под стеной дома пошевеливались мягкие свивы собачьей шерсти. Я знал эту собаку, овчарку из Бри. Аннаиг сейчас выгуливает ее в столице по-над Сеной, так что у беглого писателя будет не

только свобода, мир, возможность написать увраж-другой, а то и целое собрание: у него будет еще и собака...

Давай, шептал я, нажимай. Образ убийцы материализовался легко, доброжелательно. Разъездной, загруженный дьявольски работой снайпер-профессионал — может быть, и соотечественник, кто знает, кому угодно было прийти в эту ночь за мной: мой черный, мой желанный человек. Давай, дружище, звал я его на разных языках, — *mon pote, my pal*, — чего ты медлишь? Давай — и сроднимся навеки. Кто бы ты, «чистильщик», ни был, собратья мы, конфреры — по небытию. Ночь томила меня. Ночь щадила меня, томя. Линию черного, уходящего вверх холма, эту правильную линию, разделявшую небо ночи от ночи земли, нарушал только соседний дом, дальний, очертаний бретонской глухо-непрístupной архитектуры, и жизнь в той крепости, населенной, как я знал, молодой англичанкой с двумя мальчиками, безмятежно спала.

Я побыл еще мишенью, потом повернулся и вошел в дом, чувствуя себя как бы обиженным, как бы незаслуженно обойденным пристальностью мира, выпустившего меня живым, и зря, из сердечка крестообразного оптического прицела, лучше бы здесь и сейчас, а не потом, где-нибудь в лифте, в каком-нибудь городе, или берясь за отравленный руль машины поутру, — не знаю, как и где меня будут завершать, а я хочу сейчас вот, здесь, на пороге Иванова дома... Кофе был еще горячим. После первого глотка я закурил *Gitanes*. Вкус у затяжки, помню, был проникновеннейший: чистый, сильный, нежный. Я усмехнулся. Вот почему ты выбрал себе эту судьбу. Из-за пристрастия к *tabac noir*, которого в Союзе нет. В кухне маячил только огонек сигареты. Ставни на окнах, выходящих в задний дворик, были заперты. Тем не менее, я поймал себя на том, что между затяжками прячу огонек ладонью, это самонаблюдение заставило меня рассмеяться вслух — негромким таким смешком. Инстинкт самосохранения был сильнее меня, который со всей ясностью сознавал, что каждый соглядатай — одновременно и поднадзорный, что я для них, пощадивших меня только, чтобы продолжать играть в кошки-мышки, —

как на ладони. Садясь на стульчак унитаза, я зрачком ануса вижу ихнего майора Пронина (и нашего тоже). Они знают обо мне все. Состояние организма (живуч). Сексуальные склонности (*free for all* <sup>20</sup>, в зависимости от задания). Материальные запросы (бессребреник). Доминантная страсть (самопознание). Никуда не клюнуть, как видите. *Irretournable* <sup>21</sup>. Бог мой, мой Бес — Они суть широчайших допущений, в чем, быть может, и есть разгадка той самой «загадочной русской души», которую я унаследовал от великих канувших прародищей (кстати, по паспорту в ту ночь я был швейцарцем). Кроме того, всей этой душой я предан — не идеологии, нет — той уникальной еще на Западе (мире, если вдуматься, архаичном) ситуации человека, оставшегося в полном, в абсолютном одиночестве с собой. Не только ведь веры, любой, в любого бога, беса, идола, идею, но и самой способности уж нет к тому зыбко-межеумочному состоянию души, откуда только и рождается мятеж Надежды, Веры и Любви. Нет, нет, Sophie. Нет ничего! Вычистили, как девчонку на аборте. Пустота. Равнодушная, нечеловечески безразличная. Инобытийная — сказал бы я. Пустота грядущего нашего общества.

Посыльный будущего, я неспешно курил во тьме, зажигал от окурка следующую, и одна побочная мысль волновала меня, конкретная, не мысль даже — образ англичанки, как она — в полусне, в зевоте сладкой — отрывает теплую свою попу от сиденья и внезапно прозревает от вида соседнего дома, бдящего в ночи, от света над дверью — артериально-алой. Как безотчетно ей становится тревожно, одинокой, теплой. Я вернулся к двери и выключил наружный. Любил я англичанку. Не хотел, чтобы тревожилась. Мать детей, двух славных парней дошкольного возраста. Отдыхают, пока славный парень, супруг и отец, въебывает в Альбионе, обеспечивая этот рай.

<sup>20</sup> Здесь: готов ко всему

<sup>21</sup> Неподающийся перевербовке

Британцы, хотя и бедные теперь, но еще западные люди, а западные вообще вызывают во мне, восточном, те же чувства, что у Сергея Есенина братья наши меньшие, которых бить по голове нельзя. Вызывают потребность бережного к ним отношения, западные. Как представитель будущего, не могу, Sophie, не сострадать столь естественным хлопотам западных людей о детях, семье, доме. Зная, что все это вскоре кончится, я разглядываю их из дальнего своего далека, как в перевернутый бинокль, и суета их, ребячьи их забавы и грехи вызывают у меня, чувствительная я душа, невольную слезу. Особенно когда думаю о детях...

Последний раз, когда я видел дочь, она кружилась на каруселях в Сентрал-Парке, под надзором очередного отчима, парня моих лет, только что амнистированного за бегство в Канаду с целью уклонения от схватки между двумя основными силами современности (на живом полигоне Вьетнама). Но да бог с ним, с твоим мужем, на дочку нашу я смотрел — на пару с черной ровесницей моя дылда крутилась в двухместной капсуле, подобии орбитальной космической станции, вращались в направлении обратном своим спутникам по вращению, компактному интернационалу ребятишек разных рас, мастей, возрастов, плотно населивших на время своего головокружения, отчего-то им отрадного, все вместилища, которые предложило наше взрослое воображение: мотоциклы, пожарки, вертолеты, космические капсулы, — а мы, родители, стояли вокруг, покуривая, переглядываясь, помахивая восторженным детям, я тоже кому-то махал, пытаюсь отвязаться от какого-то типа, лыка не вязавшего, все приставал ко мне, именно у меня пытаюсь дознаться, как проехать в Бронкс, бедняга, а возможно, соглядатай из конгениальной службы, Бронкс ему, понимаешь, нужен, а я, переадресовывая его, махал рукой этому крутящемуся под Донну Саммерс интернациональчику — со слезами на глазах, как тот папаша из «Гекльберри Финна», сентиментальный родитель-убийца, от которого взяли да сбежали все дети земли, от любви его небезопасной, несмотря на отцовскую потребность если уж не в воспитании-

образовании (статистически не исключено, что девочку мою изнасилуют в Соединенных Штатах, но образуют все же в лучшем университете), то — хотя бы — в праве разок обнять это поразительно живое, крепкое, белокожее, с медным отливом летящих волос существо, которое у нас с тобой получилось, Sophie, в одно прекрасное мгновение — помнишь — на островке еловом посреди России, где с моей помощью мы аннигилировали крамольные твои литературные опыты школьных лет, а потом еблись с отчаяньем и без оглядки, а на рассвете, развлекая тебя, я ходил на руках по отмели песчаной, *it was so long ago*, а двумя месяцами позже приемная комиссия райвоенкомата оторвала от тебя — и вот влачусь с тех пор, блуждаю, рею по миру бездомным призраком будущего, выполняя служебное задание воплотиться... Куда деться, Sophie? *Vixit bene*, справедливо заметил Декарт, *qui bene latuit*<sup>22</sup>. Я не писатель. Увы! Будь я, надежно бы укрылся. Но я человек нетворческий. И потом дурная наследственность. Эх вы, золотоперые отцы-учители, восприемники несчастных дебилов! Некуда нам бежать....

Выкурил еще две сигареты, сказал себе: «*Bonne nuit*» и пошел на второй этаж, светя себе лучиком фонаря.

В спальне, над дверью, висело распятие. Крест слегка закопсился на гвоздике, я машинально поправил, а потом приблизился к странной семейной мебели, сугубо локальной, представляющей собой нечто вроде шкафа или, лучше сказать, буфета, однако предназначенного для интимной жизни — там, взаперти. Для ебли, для зачатий, для сновидений и для смерти, чем в той мебели и занимались финистерцы, предки фамилии, куда вступает Иван, начиная года с 1799-го: дату, вырезанную над парадным входом в мебель, прочел я ощупью — кончиками пальцев. Меня волновали цифры — как всякого бы русского. Это был год рождения Пушкина — давно, далеко, на другой окраине Европы, на восточной.

<sup>22</sup> Хорошо прожил тот, кто хорошо укрылся



Я отодвинул дверцу, влез в *lit-clos*, в «закрытую кровать», как называется здесь эта мебель. Изнутри затворился. Склеп черный. *Clos*. По-русски, увы, слову находились лишь описательные соответствия: огороженный надел, обнесенное оградой святое место церкви, дома, души. Вся беда моей страны в том, что не знает язык мой столь необходимого человеку слова. Оттого и стали мы коллективисты...

В ту ночь, *Sophie*, я лежал *à la porte close, les yeux clos, la bouche close* — всецело закупоренный. Переживая наконец финальное блаженство неуязвимости в той *nuit-close* над окраиной Запада, над административно-территориальной единицей Франции с окончательным именем *Finistere*. В ту ночь я принял решение не возвращаться из *lit-close*. Как птенца, вынул свой пистолет. Металл был теплым. Подмышечным пахнул потом своего носителя.

Я рассмеялся вслух. Могу себе представить, как взволновался бы провинциально-тихий Финистер, обнаружив в недрах своих швейцарца, невесть с чего надевшего на себя деревянный бушлат, — и обратите внимание, господа, в непосредственной близости от военно-морской базы «агрессивного блока» НАТО, над которой ежедневно он прогуливался, лакомясь ежевикой... А *Centrale nucleaire*? А движение бретонского подполья, борющегося за национальную независимость? «Кто же вы, доктор Зорге?» — трясли бы меня за плечи, а я, давши дуба мореного, смотрел бы на встревоженных финистерцев с бессмысленным счастьем небытия в закатившихся зрачках. «О Господи, — молился я в *lit-clos*, — прости мой черный юмор! Все существо мое полно скорби по искре Твоей задутой, по вожделению жить, сторевшему вхолостую. Бесплодно, бесплодно. Пламенем, никого не опалившим. Прости меня!»

Сорвать задание решил в эту ночь.

Сорвать погоны...

Восход я встретил высоко над Атлантикой, в компании мегалитов, именуемых *temoir'*ами, их было много на лужайке, моих каменных братков, и солнце они встречали неизменной своей, покуда мир стоит, окаменевшей навсегда эрекцией, и я,

эфемерный, помню, в порыве счастья перецеловал их — было несколько десятков над обрывом — всех до одного, а потом спустился по спящим еще улочкам города Камаре в порт, уже наполнившийся океаном до краев, сел в «*Jaguar*» и отбыл на родной край света, где не повезло родиться Пушкину.

Знакомиться с современным автором.

Был окрылен. Гнал, как летел. Резко закручивал у католических соборов на площадях пустынных городков. Бретань покидая, помнится, едва не сбил зайчишку... серого...

\*

Я вытираю выбритое до голубизны лицо чистым полотенцем, созерцая себя в полупустом осколке. Бритье для меня акт экзистенциальный. Отвинчиваю колпачок *Kölnisch Wasser № 4711 — Echt*, одеколону крепкого и настоящего. Немного на ладонь. Обтираю скулы. Створки оконные вытолкнуты. Родина: заросший дворик, квохчут куры. Хозяйка греется на заваulinke. Кончается лето; я всем существом ощущаю рождение осени, вот и пчелы какие-то вялые, и все за окном, все живое, звучит иначе, садняще как-то...

На стене, обклеенной обоями в цветочек, распластана черная форма штурмбанфюрера СС. Снимаю с вешалки. Влезаю в галифе. Надеваю рубашку цвета хаки. Подтяжки на плечи, перезащелкиваю по росту никелированные их замки. Сапоги отливают зеркальным блеском. Все в этой жизни исполняется, вот и мне выпало если не осуществить, то сыграть свою детскую мечту. Сверхчеловек. Белокурая Бестия. За стеночкой бас режиссера пророчит России торжество с величием. Мои пальцы неторопливо застегивают китель на шелковой подкладке. Повожу плечами: сидит, как литой. Пропускаю под правый погон ремешок, пристегиваю к основному, на котором слева ножны со служебным готическим кинжалом — «*Meine Ehre heist Treue*», справа тяжесть лакированной кобуры. Одергиваюсь. Так. Красная повязка с *хакенкройц* на левой. Теперь черную фуражку. На задранной тулье Орел, под ним

на околыше «Мертвая голова». Все. Готов. Нести освобождение народам СССР...

Выхожу — ноль внимания. Ребята собачатся. Плечом приваливаюсь к переборке. Внушаю ужас, но красив, я вижу это по глазам пожилой гримерши. Что вы хотите, Эсфирь Абрамовна... *подлецу — все к лицу.*

— ...*Свободу* вам, лейтенант? — басит Никита. — Озаряющую мир, так сказать, из города Желтого дьявола? Свобода собрала и держит Соединенные Штаты — искусственную империю. Простор без идеи, без миссии, без сверхзадачи. Нас же с вами свобода немедленно развалит. На лоскуты распорет! Сколько в нашем Вавилоне? Сто тридцать восемь языков! И что тогда? Ось Евразии, естественно, пройдет через Пекин. А про Россию я не говорю: прощай, и навсегда! Вы этого хотите, сударь?

— Ось не пройдет, — считает лейтенант. — У них со средствами доставки слабо.

— *Слабо, слабо!* Это сейчас слабо, а через пять лет? Через десять? Вот вам пример того, на что способен принцип азиатской деперсонализации плюс западная технология: Япония! Китай добьется еще большего. Нам в пику, но и себе на гибель ваш близорукий Запад взрастит его в самые сжатые сроки. Как Гитлера! Тем более охотно, что от коммунистических идей Китай уже в открытую переходит к идеям расы, крови, жизненного пространства — к тому, что действует наверняка. Благодаря чему Гитлер возродил Великую Германию и преобразил лицо Европы всего лишь за одну пятилетку!

— Если считать до начала второй мировой, — позволил я себе, — то за шесть лет.

— Пусть шесть. Но это вам будет не эфемерный Тысячелетний рейх. Поднебесная империя намного страшней! Тоталитарная обезличенность! Не германская — национал-социалистическая. Не наша с вами социалистическая *полустертость* лиц, а полная, сводящая лицо к нулю. Вы пред-

ставляете? Миллиард человеко-винтиков, о которых нашему грузину оставалось в Кремле только мечтать. И весь наш ВПК нам не поможет. Желтая чума нас просто растворит, если не вернем себе свое лицо. Просто из инстинкта самосохранения обязаны стать снова русскими...

— *Христианами*, — сказал Иван, уже заgrimированный под измороженного партизана.

— *БОГАТЫРЯМИ!* — громыхнул Никита. — Кем и предназначено нам было стать! Сверхнародом! Творцом своей судьбы, а не навозом, в который обратили нас враги России и Белого Царя! Китаец трезв и жилист, а мы?! Мы, Богоносцы, мы, богатыри? Где, спрашиваю вас я, где наша мощь? Россия наша где?

Все молчали, потупив глаза, а он, бывший чемпион по толканию ядра, ревел: «Россия будет!» и кулачищем в грудь стучал, как в бочку: «Поскольку Русский Бог не умер!..»

— И снова, значит, будет, — сказал Иван, — «дружба народов»?

— Да уж не тюрьма!

— Как с правом на самоопределение?

— Исторически, — не лез в карман Никита, — Россия созидалась как империя многонациональная. И я не думаю, что монголам, не говоря уже о наших азиатах, захочется отпадать в сферу влияния Пекина.

— А прибалтам?

— Иван, ты рассуждаешь, как какой-нибудь... — Взглянув на примершу, Никита удержался. — С кровью твоей, с именем твоим это, по меньшей мере, парадоксально. По меньшей мере! Ты ведь вроде не Иван-не-помнящий-родства, который от своей крови отказывается...

— Не от своей, а от *чужой!* — вспылит Иван. — Которую с такой щедростью льют патриоты всех мастей, утоляя своих до или послехристианских идолов. Что не удивительно! Повторял же Лев Николаевич крылатые слова англичанина: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев»!..

Никита наливался кровью, мой товарищ бледнел, и я одернул свой мундир с эсэсовскими рунами на петлицах:

— Не убий! — вскричал. — Своего сына не убий, Никита Грозный!

Киношники, оробело сидевшие по лавкам, засмеялись, атмосфера разрядилась.

— Ну, какой я Грозный... — польщенно сказал Никита. — Скромный труженик «фабрики снов». А ты хорош, Кирюша: ужасен и прекрасен. Рыцарь СС без страха и упрека! Шеврон «Старый боец» на месте? — проверил правый мой рукав с нашитым «V», и косо глянул на Ивана:

— Ты тоже хорош, непротивленец. Удовлетворяешь меня вполне. Во всяком случае, наружно...

Он взял свою холщевую кепчонку с нескобленного стола, на котором чайник закопченный и мятый, алюминиевые кружки с недопитым чаем, крошки хлебные, окурки в консервной банке из-под морской капусты и офицерский планшет, накрытый фуражкой лейтенанта.

— Ладно, ребята, — подвел итог. — Айда кино крутить! А там история рассудит.

\*

Усевшись в своей люльке, вознесенной над толпою фигурантов, Никита поднес ко рту мегафон:

— Соотечественники и современники! Минуту внимания! Вымысла в сцене, которую сейчас мы снимем, не будет. Правдивое воссоздание русской реальности образца 1942 года, которую один германский офицер из сельхозкомендатуры в донесении начальству живописал так: «Во второй половине июля сего года немецкие отряды СС проводили очистку от партизан территории Воложинского района. При этом отрядами были сожжены вместе с постройками заживо жители деревень Першайской волости: Доры, Мишаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее Село, Романовцы, Нелюбы, Полубовцы и Мокрычѣвщина. Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли жителей, преимущественно стариков,

женщин и детей, в отдельные постройки, которые затем поджигались. В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью сожжены». Белорусский писатель Алесь Адамович, из повести «Каратели» которого почерпнуто сие, отмечает, что оккупанты высоко оценили обнаруженные на нашей территории Божьи храмы — в качестве крематориев одноразового употребления. Таковы факты, соотечественники. Вопросов быть не может. Пиротехники, готовы?

\*

— К чертовой матери! — Сплюнув, Иван утерся. — Напрощался. Завтра же в Париж!

— Ты знаешь, кто я?

— Не знаю! — с вызовом ответил он. — И знать не хочу.

— А не боишься, что завербую?

— Что ж, попробуй, — и, усмехнувшись, швырнул под сапоги мне незажженный факел — жизнь свою, считай.

Волей режиссера стояли мы на под дубом древним, волею режиссера — на расстоянии *выстрела в упор*, на фоне развернувшегося карательного мероприятия, которым руководил я на вновь оккупированной — волею режиссера — многострадальной территории, которая являла собой солнечную поляну, где воздвигнут был из фанеры бутафорской, крашеной, вполне убедительный храм Божий, во врата которого в данную минуту наши солдаты, сменившие хаки на фельдграу, серо-полевую, но с черными воротниками и погонами, вполне достоверно загоняют стволами и прикладами жителей деревеньки, населенной сейчас, как и тогда, бабками да стариками, мамашами, девчонками и пацанами, недолюдьми славянской, рабской расы, загоняют к Богу их сомнительно огромноглазому вверенные мне парни, интернациональная зондеркоманда, перевербованные сталинские соколы с чистокровными арийцами заодно, заталкивают невинных жертв двух сцепившихся дьяволов, — прикладами, прикладами винтовок вбивают в церковь народ, повинуюсь Никите, то и дело ору-

щему в мегафон, а мы с тобой — Богоискатель с Богоборцем — в упор глядим друг в друга, стоя в тени одиночного дуба, и руки твои, Русич непокорный, затекли, твои запястья, наполненные разумной подкожной жизнью сосудов, вен, артерий, нервов и суставов гибких, необходимые тебе для письма двухручного на электрической машинке IBM-82С, которая влетит тебе в семь с половиной тысяч французских франков, с твоими стиснутыми, скрученными крестообразно запястьями стоишь, писатель; нет, жизнь твоя, клянусь, не кончится в тридцать один год, нет, весь ты не умрешь, покуда я, вервольф, живу, душа в заветной лире твой прах переживет, мой друг любимый, живая, мыслящая собственность системы, покончившей и с Богом, и с душой. О толща срубленной России! О плаха века! А ты глядишь — с губами, вспухшими от поцелуев твоей Любви. У плахи — нет корней. Тот дуб толстовский, русский — помнишь? — они спилили, и пень сгодился им под плаху, но! в дозревающем яичке желудевом-жестком, но в реющем по миру семечке крылатом да пребудет во веки веков и до скончания времен последняя наша любовь, которая есть Бог, Бох-х... «г» *фрикативное*. Фонема древнерусская.

Последний дубль:

— Иван, охота жить?

Он головой качнул кудлатой, губы разлепил.

— Кому же неохота?

Я смерил его глазами, задержался, как договорено было с режиссером, на кресте нательном, сияющем из ключев исподней рубахи. Кликнул солдата. Мужика освободили руки.

— Огня ему! — велел.

Фельдграу сунул ему в руки палку, тряпьем обмотанную, вонючим, напитанным бензином.

— Давай! — сказал я, кивая на церквушку, уже немую, с припертыми воротами, уже обложенную соломой. — А потом, Иван... ну так и быть. Живи.

Высек огонь из зажигалки, прикурил, а на прощанье запалил ему факел, и отвернулся, а полицаи, холуи с белыми повязками, бросились переводить мужика, что милостью гер-

манского командования ему дарована и жизнь, и воля — опосля. А он послушал, усмехнулся вспухшим ртом да на хуй холуев, а факел чадный — мне под сияющие сапоги:

— *Опосля*, — сказал, — жизнь будет без меня.

И — пошел, пошел-потатился от нас по убывающей с-под ног стерне, и ступни ему кололо и терзало, он пальцы ног поджимал и тащился, и что-то приборматывал, и головой крутил кудлатой, и онемелые запястья перед смертью зачем-то растирал — туда, к немой церквушке, и со спины имел вид недоуменно-укоризненный: дескать, чего ж вы это, беси? Так-то играть бы не надо... И шел, а солдатня старалась, выплескивая из канистр на стены, оплывающие пятнами, на солому. Сутулясь, стал перед воротами. Я сделал знак — ему открыли. Руки взяв назад, как зек гулаговский матерый, излишне голову пригнул, взошел по трем ступеням и — нет, ебнут не был прикладом меж лопаток — сам провалился всей тяжестью вовнутрь, к Богу. Лицом вперед. Ладонями в траву.

Ну вот и все.

Карutt.

Так кончил Иносельцев Иван Сергеевич — *l'homme en trop*<sup>23</sup>.

Еще один русский, отправленный в небытие.

\*

Он всхлипывал, припадая грудью к земле, такой прочной под травой, пластался об нее и безотчетно шевелил пальцами в стружках, а запах был пиленой, рубанком струганной сосны, такой острый дух, а народ родничковский, кого загоняли на смерть, мелькая пятнышками девчоночьих платиц, разрозненно расходился по выгону, возвращался к своим пропущенным заботам, чтобы перед вечером, как обещано было, получить за участие в массовке по ведомости свои честно заработанные на искусстве зеленые трешницы, в том распису-

<sup>23</sup> Лишний человек



ясь, кто помоложе — полными фамилиями, ну а бабки старые, так и не обученные новой грамоте, извечными крестами, а потом и в сельмаг, куда как раз под это дело завезли и водку, и вино дешевое, по рупь ноль две пол-литра, ну а покамест, до гульбы всеобщей надо собрать в стожки раскиданное для просушки сено, принять своих «роголь», когда вернется стадо, отдоить, да мало ли еще у них забот — так смотрел он лежа вслед народу, машинально пропуская в пальцах стебли травы, усыпанной завитками пахучих стружек.

— Русские погибают, но не сдаются! — раздался над ним торжествующий бас. — Вставай, раб Божий! Иди, прижму тебя к своему бебиху... вот так! Благодарствуй, дружище! А теперь ходу отсюда: сейчас тут будет самое пекло.

Иван обрел дар речи:

— Одного не понимаю, — спросил он, созерцая бутафорию, даже не крашеную с изнанки... — Целый воз свечей навез церковных, а церкви-то и нет.

— Как это нет?

— Настоящей.

— Появится и настоящая! — отвечал режиссер, уводя с арены своего героя. — В следующем эпизоде. Сначала спалим все к чертям, а после в кузне свечи те возжем.

— В кузне?..

— Ну, а где же?! Крест на ней разогнем православный, побелим своды изнутри за счет Госкино СССР. А после соберем народ и Бога русского восславим! Отныне и во веки веков! А ты что думал, во поле буду я моление снимать? Нет, брат, на Руси, слава Богу, не перевелись такие кузни. И мы в них выкуем такую веру, которая подальше статуи Бертольди озарит сей грешный мир!..

— Блажен, кто верует, — пробормотал Иван, оглядываясь на внезапно взревевшее за спиной пламя...

Так и остался стоять, зачарованный.

\*

Из Родничков мы отбыли с первыми петухами.

Могли бы и выспаться перед убытием, но ему не спалось, он рвался прочь из райских этих мест... Что ж, воля ваша! Руководи, душа моя: я все исполню в лучшем виде.

Границу взаимного сюжета, за которой начиналось безвременье последних желаний, мы с ним уже пересекли, и с этого момента, нравится вам, нет ли, шефы мои золотоперые, я подчиняюсь только волеизъявлениям жертвы. Все, что ни будет сказано, останется сугубо между нами, участниками таинства. Так что покорнейше прошу простить (адресовался мысленно я к шефам), коли концовка в вами задуманной истории окажется непредвиденной. *Homo sum, humani nihil a me alienum puto*, сказал Publius Terentius в одной из своих комедий, название которой как нельзя лучше соответствует мной выбранному жанру: «Самоистязатель».

— Это ведь Марксово, не так ли, любимое изречение? — спросил я, выруливая на изрытый танками большак. Ближе к Титьково начнется асфальт, тогда с ветерком прокачу, а пока потерпи, любитель быстрой езды...

— Какое именно? — Иван недобро усмехнулся. — Что жизни смысл в борьбе, а красного цвета в крови?

Я повторил вслух стих Теренция, щегольнув латинским прононсом, которого мой собеседник оценить, увы, не мог.

Ухмылка сделалась еще мрачней;

— Лучше бы Маркс процитировал Дьявола, который, заводя моего тезку Карамазова, помнишь, говорил? *Satana sum, humani niliil...*

Среди пары могильщиков Бога, которые суть Маркс и Ницше, я предпочитаю второго — чисто эстетически. Однако, принимая во внимание последствия и перспективы, вынужден признать превосходство любителя *pale ale*, бледного эля, которому случалось-таки и стилистически блистать. «Вздых угнетенной твари» — это совсем неплохо, на мой взгляд.

Что касается язвительной иронии Ивана, то я уже давно, и не без сожаления, отмечаю его тягу к обскурантизму, или, говоря точнее, к насильственному самоограничению. Это уже чувствовалось в его первой (и последней) книжке, выпущенной советским издательством. С учетом цензуры пишут все рвущиеся быть опубликованными под этим небом, но Иван, мне кажется, мог бы устроиться вольней и дерзновенней даже в границах своей самоцензуры, а взломать их ему будет сложнее, пожалуй, чем государственные. Хотелось бы пожелать ему идти до конца в замыслах и, по возможности, быть, безоглядным.

(Тебе же, Sophie, напротив, желаю осмотрительности: не зарывайся. К чему лезть черту на рога? «Жизнь в спальном мешке» — роман, вызвавший такой шокинг, имел хотя бы камерный сюжет, тогда как твой второй, *«Игры под трибунами»* — одно название чего стоит! — слишком уж, на мой взгляд, «ангажирован», как деликатно сказали бы французы: в смысле запальчивого антикоммунизма. Третий я еще не читал, но уже само название меня пугает: «Калашников»: новая модель». Схватка обостряется, я понимаю, но будь же ты, писатель, немножко все же выше. «Поверх барьеров», а? А то ведь, насколько мы тут в курсе, у западноевропейских твоих издательств, особенно связанных с нашим (ты понимаешь? *Нашим* — и даже в аббревиатуре отражен хамско-хищный нахрап и заглот) ВААПом, Всесоюзным агентством по авторским правам, поджилки слабеют от одних твоих названий. Да и небезопасно, Sophie, ей-богу, в канун грядущей эры тайного террора, которую уже провозгласили отравленные наши зонтики, а мне, представь себе, бесценно дороги и жизнь твоя, все же не на огражденных холмах Вермонта, США, происходящая, и незащитное твое перо, моя любовь!..)

Дорога вытрясла наружу из меня все эти мысли, и завели мы с моим седоком извечный русский спор о непростых взаимоотношениях эстетики и этики. Градус дискуссии поднимался: во всем мне хочется дойти до самой сути, и тут уж самолю-

бий — начиная с собственного — я не щажу. (Будучи бескомпромиссным мизантропом, для своей особы привилегий не ищу, как некоторые!)

Иван катил на меня бочку; я откатывал ее обратно. Пугал его Гоголем периода предсмертных писем и пиявочным мистицизмом, поздним Львом Николаичем Толстым, приподнимавшим с ужасом и омерзением крышку своей личности, которую именовал он в дневниках последних лет не иначе как «зловонным нужником»: за что? Всего лишь навсегда за нормальную свою сексуальность, а он ведь под старость лет даже инфантильную свою ставил себе в упрек! Поминал и более свежие жертвы, оскотившие свой несомненный дар и даже гений во имя низменных страстей, но контроверзой он — осел упрямый! — выдвигал свою серию русских имен, вплоть до всемирно известного ловца бабочек, акробатические этюды коего на канате, исполненные с изощренной грацией, были по мнению Ивана, просто непристойны — если учесть, что мир внизу начинен был ГУЛАГАМИ. Что и говорить! «Золотое сечение» неведомо русскому гению — и тот, кто избежал трагедии эстетизма, неизбежно попадает в этический капкан. Максималисты! мать их так родила! Стали было примиряться на Пушкине — единственном исключении и доказательстве, что и мы способны в принципе к гармонии, — но, перебив себя, мой пассажир схватил меня за локоть:

— Останови!

Мы выскочили из машины и пошли к человеческому телу, наполовину выползшему из канавы на дорогу. Тело было в знакомой кепке. Я присел, перевернул.

— Я же его знаю! Колик зовут! Он жив?

— Жив, — сказал я, выпуская запястье сердечника, — жив вдребезги. Перебрал, видать, вчера. Давай-ка!

Бережно, как командира, контуженного в бою, мы снесли парнишку к валуну на перепутье. Огромный камень засел тут, должно быть, с эпохи Ледникового периода. Грамотно, головой в сторону отступления тех ледников, расположили краеведа и знатока всех тайн округи, начиная с того родничка, где

не переводятся студёные пол-литры, натолкали под шею, чтоб мягче было, травы, сцепленной белыми вьюнками, а на глаза надвинули вялый козырек кепчонки, чтобы солнце не будило прежде времени.

— Спи спокойно, дорогой товарищ, — сказал я, поднимаясь. Валун был тепло-гладкий под ладонью.

— Был у нас с ним, понимаешь ли, момент, — как бы оправдался под моим взглядом Иван за свою участливость.

— Ладно, — сказал я, решивши умолчать про нож, от которого вчера он был спасен. — Поехали!

Он оглянулся:

— Не простынет? на земле-то...

Стекла машины были в розовой испарине. За ширью мокрых полей, необозримых с этого переулочья, проступала заря. Красиво было. У нас с пьянчужкой этим тоже был момент. Я знал даже обстоятельства потери им невинности, навсегда отвративших его от прелести Содома, бедный мальчик. Я открыл дверцу. Сел. Тронул подошвой педаль газа, но не надавил, впав в глубокую задумчивость насчет дальнейшего пути. Так, так, думал я, переводя глаза с дороги на дорогу. Куда ж нам плыть...

— Слышь? Все хочу спросить... А тебе как эта — ну, с которой я?

Я глянул на него. — Любовь-то? Ничего.

— Думаешь?

— Вполне. А что?

— Так, — вспыхнул он, как отрок, и повернулся к окну. — Она, ты знаешь, из Титьково...

— И там вполне уместна. Пазуха у девушки полна. Размер, наверно, третий?

— Хочет на права сдавать.

— Это ты в смысле, что и в Титьково приходит НТР?

— Так просто... Вспомнилось. Между прочим, видишь тропку?

— Ну?

— Ходил вчера тут на заре. После Любви...

— И?

— Далеко-далеко зашел. В луга...

Развития не было, и я предположил:

— Сыровато, должно быть?

— Еще как! До пояса промок... Что ж, тронули?

— Куда изволишь, Добрыня Никитич?

— А куда глаза глядят. Только, — он хмыкнул, — не направо.

— Что? Направо пойдешь, смерть найдешь? — отозвался я формулой русской сказки.

— Вот именно... Слушай, ты уверен, что Колик не простынет?

— Раз так, давай налево, — и дал задний ход, а от камня, у которого лежал кладоискатель, вывернул на восток, на сырой от росы и тронутый розовым грунт. — Ничего ему не сделается, — ответил, — кроме хорошего. Алкаши российские, они, как потомки Антея — помнишь? Который припадал.

Говорить на этом расхотелось. Так, в немоте, мы прыгали среди полей; в виду какой-то уже мычащей деревеньки я свернул к лесу, следуя расширению дороги, баюкавшей нас, пристегнутых ремнями, что мать родная, своими окоченевшими гусеничными следами, а кроме них вековыми рытвинами да колдо(ё)бинами, и мы полны были аритмичной тряской и заботой о зубной эмали.

Завораживающе красиво было снаружи. Росно, красно... Клевер до горизонта отражал зарю. И как-то пронизывающе рассветно. Не сентябрьский утренник, но предвестие его, садняще прозрачное, входило в ноздри, вызывая озноб души.

Мы въехали в лес, и теплый дух наполнил машину, постепенно отогревая, упрочняя зыбкое мое естество сознанием того, что еще не осень, вот и листья еще зелены, разве что особой, тучной зеленью, и только осинки зажелтелись преждевременно — трепещущие, отзывчивые, ранимые... Дорога понемногу опускалась, мы погрузились в светлые сумерки, и странно было видеть перед собой недовысохшие лужи — алые зеркала расколотого неба. По обе стороны неспешно тянулись канавы, заросшие малинником, листья от росы были, как из

цинка. Потрясенные, проехали мимо медвежьего семейства, спустившегося полакомиться на рассвете.

— Красиво, — вздохнул я.

Он молчал.

Река зари лилась навстречу, наполняя машину розовым светом, то расходилась, то сужалась листвой.

— Федор Михайлович... Уповал, что красотой спасется мир.

— Богом спасется.

— Вот, — сказал я твердо, — наружность Бога. Вокруг.

Включил стеклоочистители и смыл испарину. В мгновение то, Sophie, мне так и проступило: что у Бога облик зоревой, рождающейся России. Нежно-алой.

Как ты...

— Вокруг, — повторил Иван. — А также среди пальм, секвой и баобабов, — демонстрируя чистоту христианства и похвальное знакомство с дендрологией. — Повсюду.

— Баобабы — да, — не возражал я. — Посерьезней будут... Так ты чем в Париж — поездом, самолетом?

— Экспрессом. С Белорусского.

— Икоркой запаса?

— Чем? — Он принужденно хохотнул. — Нет... Не достал. Только водяру с матрешками.

— Могу дать адресок, по которому отоварят. Черной и красной. Астраханской зернистой, сахалинской кетовой. Мечет икру раз в жизни...

— Кто, кета?

— А после нереста погибает. Берем? А что решим насчет камчатских крабов?

— Дорого?

— Ха... Поверишь ли, бесплатно. Но, разумеется, небескорыстно.

Он засмеялся. — Лучше не надо.

Настаивать не стал:

— Тут ты, пожалуй, прав... Рукописи, дневники? Закопал? Лучше в трехлитровых стеклянных банках, знаешь? Из-под соленых огурцов.

— Предал огню, — беспечно сказал он.

— Напрасно. Сохранилась бы навечно. Если, конечно, обеспечить герметичность. *Душа в заветной лире*, — процитировал я Пушкина, — *мой прах переживет...* Из-под томатов тоже годятся. Венгерских. Фирмы «Глобус».

— Есть пара-тройка тетрадок, так я тебе оставляю. Не возражаешь?

— А в этом прав. С собой ничего, кроме матрешек, не вези, а то на границе в Бресте, знаешь... Спасибо за доверие. Ценю.

— *C'est moi qui te remercie.*

Изящная иноязычная формула столь неожиданно слетела с его уст, что я расхохотался.

С полкилометра протряслись, смеясь над абсурдом нашей жизни — пока путь не преградил шлагбаум.

Покрышки всхрустнули, я привстал. Даже не шлагбаум — березка длиннющая такая, небрежно обрубленная топором, на козлах и с провисом. С неудовольствием мы вышли на дорогу. Он вопросительно взглянул на меня; я пожал плечами:

— Запретная зона.

— Сбросим, к черту, да поедем! А?

— Обожди, — остановил я... — Слышишь?

Он напрягся слухом, и тогда, как бы нам в помощь, лиственный лес кругом взревел моторами. Мощными, армейскими. Все наполнилось гулом, и грунт стал сотрясаться под подошвами, а лес натужно взрывался, как перед родами.

Недоверчиво он усмехнулся:

— Война, что ль?

Дожидаюсь исхода схваток, мы взялись за трепещущее заградительное деревце, в четыре руки его взяли, и береста наощупь была замшево-нежной, меловой.

Для начала лес породил солдата. С красной повязкой на рукаве. Приветственно взирали мы на нерусского, к нам идущего человека в хаки и с АКМом на плече. Был, скорее, узбек, нежели казах, а всего вероятней — таджик, хотя, как знал я, этих «арийцев Азии», генетических носителей басмачества, обычно используют на безоружных работах — земляных, же-



лезобетонных, строительных, трудоемких. Таджики приближался, бухая кирзой и созерцая нашу «Волгу». Правящий колер машины вызвал на лице смешанные чувства: с одной стороны, удостоверил в правомочности местонахождения, с другой, погасил дружелюбную усмешку. Он перехватил брезентовую лямку автомата, двинул плечом, перегоняя тяжесть оружия. Не знаю, как Иван, но я почувствовал некоторую неестественность в своих руках, обжавших тело березки. Я убрал их. Достал пачку Gitanes. От предложенной сигареты таджик отказался, обосновав, что с фильтром не привык, но лицо смягчилось — простое, жесткое, тектоническое, синее уже, несмотря на недавнее бритье. Отстегнув украшенную звездочкой латунную пуговицу на кармане нагрудном гимнастерки, извлек «Приму», надорванную экономно: больше одной за раз не выбить.

— Ждать немного надо, — пояснил, разминая сигарету.

— Землетрясение, а?

— Немного громко, — согласился он.

— Ничего, — сказал я, — Россия — страна сейсмоустойчивая.

Под нарастающий гул, от которого земля под ногами, казалось, возьмет сейчас да разойдется, разъединяя нас с Иваном, из листвы перед нами проклюнулось острие, за которым выползла головка баллистической ракеты, столь знакомой по телетрансляциям с парадов на Красной площади.

Кряхтя, упираясь, тужась, выполз тягач.

Раскидывая гусеницами землю, вонюче чадя, стал разворачиваться под ракетой.

Огромное тело, зачехленное отсырелым брезентом с завязками, наконец потащилось через дорогу, а из чащобы, осыпая листья, ломая ветки, выпирал уже следующий хуило глобального радиуса действия.

Вопрос о смысле моей маленькой жизни, Sophie, как-то отпал в ту минуту, в ту длящуюся тектоническую паузу, и тестикулы мои, наполненные все же, наверное, не только стронцием и прочими продуктами распада, погрузились — я ощутил физически — в глубокое, чахло-провисшее уныние.

Да... Одно дело по ТВ, а повстречаться так вот, *тет-на-тет*... Мы молчали, созерцая ракетно-ядерную мощь своей страны. О чем тут говорить? Сила есть — ума не надо. Столько НИИ, столько мозгов в «закрытых ящиках» трудились, чтобы доказать дебилность... Тягачи напрягались, листья сыпались, одна за другой нарождалось из лесу оружие массового уничтожения и, распахав дорогу, уходило обратно в лес только для того, казалось, чтобы продемонстрировать нам завидную потенцию недоразвитой нашей сверхдержавы, и я не мог вернуть свой голос, свою человеческую изощренность, изъятую за ненадобностью. Во благо ли живу? Во зло ли? А не все ль едино? Но исчезал не только смысл, глядя на это. Достоинство туда же. Какие мы на самом деле карлики, сколь исчезающе мизерны! Остается удивляться, что не до конца еще человеческий наш фактор сброшен с их счетов.

Глядя вслед последней, таджик сказал:

— Ведь у них тоже есть такие, у Америки... Как думаете?

— Да уж, наверно, — оживился я, — а что?

— Так... — Курнул еще разок, уронил и затоптал. — Дети имеются, товарищи начальники?

Мы переглянулись.

— Чего нет, того нет, — солгал я, надежно укрывший дылду свою в Швейцарии.

— Имеются! — с подъемом ответил вдруг Иван, и я, досконально знавший биографию героя, с удивлением взглянул. Не было там никого. Да и француженка к вопросу о репродукции относится, по последним разведанным, принципиально негативно... Глаз же не спускал. Когда успел?

— Сколько?

— Пока не знаю.

— У нас трое уже, — вздохнул солдат. — Только зачем?..

И снял березку с рогулин.

— Кирюша, — озабоченно заговорил Иван, влезая в ремни.

— Есть у меня, Кирюша, огромная к тебе просьба... Исполнишь?

Наконец-то.

Две.

Три...

Сбрасывай балласт, писатель!

— Приказывай, душа моя, — кротко ответил я, включая зажигание.

# XI

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима  
и пламенный меч обращающийся,  
чтобы охранять путь  
к дереву жизни.

*Бытие*



**Т**ак что вот так, Sophie... Разбилось зеркало.  
Теперь ты понимаешь?  
Разбилось, разлетелось, не собрать. Зеркало, в ко-  
торое смотрелись...

Это нехорошая примета.

Не к добру.

А тут и погода — меняется непоправимо. Ветер с порывами до сильного, стекла оплывают, как слезами. В СССР, твержу я, осень. С утра свожу плотно шторы, начинаю день свой доброй дозой виски — так, с три пальца... Имеет место известный сбой в рутине. Запой, короче. Классика родная не спасла, напротив — «проклятыми вопросами» втащила в омут. Ладно. Не я один, и я — не исключение. Включая экстрасенсорные способности, высылаю за кордон (поперед батьки, так ска-

зять) свое ментальное и налетаю на антипода, такого же беднягу из HUMINT<sup>а24</sup>,\_ который глушит на берегу Атлантики то же, что и я... разве что начиная с отставанием на шесть часов и по причинам намного менее серьезным, что и понятно: не метафизическая нация. Подумаешь: грозит отставка. Не на тот же свет...

*Post coitum*, как знаешь, всякий зверь впадает.

Проводив героя-завещателя, сделался я сам не свой, и поскольку прогрессирует мой down, прихожу к выводу, что во всей этой истории я именно был зверем, не ловцом. Нет, не загонщиком.

Что несколько утешает.

А тоске предался я сразу же вслед за убытием московского скорого, и настолько безоглядно, что тут же, на вокзале, попал в линейную милицию. Вот так. Как кур в ошип. Вверил Ваньку смазливой проводнице, авансировал заботы ее червонцем (пассажир на грани был отключки), проводил сквозь слезы те рубиновые огонёчки, лег на лавку — и достался мусорам. Это я-то!.. И смех и грех. Рассказать?

И с того момента начался какой-то разброд, и не только внутри — всеобщий, будто пружинка выпала, стержень, не знаю... Какое-то объединяющее начало, на чем держалось все. И самодеятельность пошла писать. Причем самого дурного пошиба. С достоевщинкой *архискверной*, вот как Ульянов-Ленин говаривал, Владимир Ильич, тоже, как и я, провинциал лобастый, которого допек-таки идиотизм захолустного сего бытия.

Положа руку на сердце... если бы чистую на горячее, да уж ладно, какую имею на *хладное*: иногда, Sophie, не как правило, а подчас, и особенно после вводной дозы, я жалею, что не избрал путь профессионального революционера, не какого-нибудь там страстотерпца, призывами заклинающего всю эту

<sup>24</sup> Human Intelligence, досл. «Человеческая разведка» (в противоположность технической)

мразь соблюдать Хельсинские, а вот, как Джугашвили-прекрасный грузин... Сосо, Камо — понимаешь? Жалею, что не проткнул свою судьбу, как парки нить кроваво-красную, в грязную мешковину реальности, будучи к тому же подготовлен намного лучше, чем те же кавказцы, чем Савинков-Конь Блед... Че, прочие... не говоря о фээргэшных сосунках из группы Баадер-Ульрика Майнхоф, гротескной «Красной Армии»... Но после второго стакана выдыхаю, качаю буйной головой: увы. Увы, моя любовь! Как ни прискорбно, время эксов и терактов, время революционного насилия снизу, оно кончилось. Навсегда, Sophie. Чем лечить душу? При непомерном перевесе сил ей, бедной возмущенной, остается только сокровенное сопротивление. Потаенное. Совершенно совсекретное. А вы как думали? Не хер собачий вам, а **тоталитаризм**...

И я плачу, слезами, моя любовь, плачу и рыдаю, сидя на воющем своем матрасе, и пою революционные песни, одну за другой, товарищи мои родные, товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, мы с вами, мы с вами, хоть нет нас в колоннах. Не страшен нам бело-фашистский террор! Охватит все страны восстанья костер! Охвааааатит все страны... Охватит ли? Хватит... Где те колонны? Нету. Да и нас, может быть, нету тоже — способных противостоять. И я завожу то тоскливое, из Пушкина, помнишь? Хрестоматийное? Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном...

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,  
Как будто со мною задумал одно.  
Зовет меня взглядом и криком своим  
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора...

Эх, Sophie, ну и попал же я в машину! Похлеще Айседоры затянуло. Ну и попал же... В самый механизм. Песчинкой, скребущей в тайном месте равномерные шестерни. Но ведь не



остановит песчинка эта, пусть алмазная, ничто не остановит «поступательного хода», как они там говорят...

Помнишь, как восхищались шведом, покончившим с собой точно в заранее — задолго до! — назначенный день, а также этим, как... последним самураем?

Не знаю я, ума не приложу...

Живу по паскалевой максиме: центр Вселенной — куда судьба забросит, ну, а окружность, как ты уже усвоила, везде и неизменно образована калибром девять миллиметров. Пока живу — надеюсь без надежды, а там — там видно будет. Есть еще несколько суток на раздумье. Так, в принципе, готов. Чемодан уложен. Жилплощадь многократно обыскана, причем с разных точек зрения. То, что может навести на след, изъято и аннигилировано. Взамен натыкал им «красных селедок» — деталей, которые запустят гончих псов служебного воображения по заведомо ложному следу. Кстати, хоть и «красные», но термин англосаксонский будет.

В общем, голова свободна.

И я попытаюсь составить конспект эпилога.

Виньетку пририсую.

## ЗАПИСКИ ДУШЕПРИКАЗЧИКА

### 1

В Титькове запарковались у аркады старинного гостиного двора и незамедлительно отправились на поиски советской власти. Сыскали. Дождались начала приема.

Всепонимающая и, как показалось мне, сострадательная служащая нотариального отдела горсовета выдала доверителю необходимый бланк. Пожилая, с крашеными волосами, у корней седенькими, была она еврейкой, или, как принято ны-

не выражаться в сверхщепетильной державе нашей, *лицом еврейской национальности*. Захлахла здесь, но еще излучала, по глазам видел, потаенные страсти. Начальница, разумеется, была русской. Такая дебелая особа. С узким, жирно намазанным ротиком в форме сердечка. В очках. Особых: дефицитных, с тонкой блискучей оправой. Администрация страны полюбила последнее время рядиться в такие вот золоченые респектабельные очки, изготовленные в ГДР. Бифокальные линзы давали даме, весьма аппетитной, кстати, вид лицемерный.

Доверитель обмакнул школьную ручку в чернильницу-непроливашку. Снял волосинку с пера. Подумал и взвел с отчаянием глаза. *Baby blue*. Младенчески-голубые...

— Слушай? Фамилию не знаю...

— Какую?

— Ну, этой... Любы.

— Гражданка Малафеева.

Даже не усмехнувшись, он вписал...

— Тачку не хочешь?

— Благодарствуй, — сказал я, созерцая напомаженный рот-сердечко и теща себя воображаемым бюрократическим свинством, которое, уверен, они тут с сослуживцами претворяют в реальность в этих кабинетах... — Гражданка же права вот-вот получит. Кроме того, предпочитаю пусть и волжский, да «*Fiat*».

— Ну, западник... До Теплового Стана хоть доставишь? Брезентом накроешь на стоянке?

— О чем речь. Гаража что, нет?

— В следующем году будет, но...

Вздохнув, он печально фыркнул и расписался под доверенностью на все свое советское добро.

Выщипанные бровки сексапильной начальницы нотариального отдела возмущенно полезли кверху, рябя гладкий лобик (шлепки о который живо представлял...). — На *все*?! — воскликнула как бы оскорбленно, как бы морально уязвлено этим. — Особе, с которой не состоите даже в отдаленном родстве, вы доверяете и кооперативную квартиру в столице на-

шей Родины, и машину марки «Волга»?.. Бога побойтесь, молодой человек! Нет, нет, такого я не подпишу. Да ни за что!

Почти во гневе праведном была, но та, еврейка, ей на ухо шепнула, что доверитель убывает за рубеж...

Дама осеклась.

Бдительно взгляделась сквозь бифокальные линзы в Ивана. Нет, наружности был самой русской, тут и невооруженным глазом можно было понять, что ни государством Израиль, никаким вообще душком серным (*в смысле S, как по таблице Менделеева*) тут не тянуло. И она сдалась. Даже исполнилась особой, административной сострадательностью, давая понять, а я подыгрывал тут лицевой мускулатурой, что прекрасно понимает, так сказать, жанр выезда за пределы Родины, его рискованность для таких вот наших, иконописно своих парней. Вздохнула, по-женски глядя на Ивана, потом с отчаянием выдохнула на круглую гербовую печать.

Когда вышли на мощеную площадь, он сунул мне бумажку:

— Ей, Любви... Скажи там, пусть сперва ночами ездит, приывает. А то столичный трафик, знаешь...

Я аккуратно сложил доверенность и сунул, отстегнув предварительно застежку-молнию, во внутренний карман своего кожаного пиджака, где лежало служебное удостоверение личности.

— Будь спокоен, — заверил. — Сделаю все в лучшем виде.

Он же не только спокоен был, лишившись добра, в том смысле, в каком понимается оно всем прогрессивным человечеством, выказывал вдохновенное возбуждение.

— Слушай, — сказал он, — где бы тут можно культурно посидеть? А то, скажу тебе, извелся вконец я за того парня. Я-то сваливаю, а он там, понимаешь, как загнанный зверь...

— О ком ты? — недопонял я.

Короче, вплоть до убытия одного из нас крепко засели мы в теплом одном местечке над мучившей его этической проблемой. Имел в виду он того парня, который по религиозным убеждениям дезертировал из рядов нашей доблестной-непобедимой, и это, Sophie, в то самое время, когда, по словам

замминистра обороны, целиком поставленный на службу своему народу, защите мировой цивилизации, труд советского воина приобретает особую возвышенную нравственную и эстетическую значимость, черты романтической приподнятости и поэтичности, из той самой армии-мироносицы, о которой заместитель министра обороны еще сказал, что в истории человечества не найти примера, когда бы армия, предназначенная для вооруженной борьбы, выполняла столь возвышенную и гуманистическую миссию.

А парень взял да сбежал во имя Христа.

Так вот, имел ли он, Иван, того же Христа исповедующий, оставить собрата без помощи? Я снял с его души и эту тяжесть, заверив, что, как духобора в Канаду, как было при царе, переправить беглеца вряд ли сумею, но чем смогу — помогу. При этом мы усадили 0,7 тростникового рома «*Caney*», произведенного на острове так называемой «Свободы». Потом добавили еще, потому что, в свой черед, просил я Ивана заказать мессу в *Notre Dame de Paris*.

Потом добавляли уже просто для совместного плача по русскому роману, России, миру в целом, а там и вышло времячко взаимности...

— Выпишу! Всех нас! — орал Иван, поднимаемый мной, а сверху сердобольной проводницей на площадку скорого московского, который приостановился в Титьково на минутку, а затем медленно, но верно, и все быстрее, быстрее двинулся — так я ощутил — *from here to Eternity*.

— Ваня, выпиши! — надсаживался я, летя ровень с площадкой вагона, где, уперев подошвы в стенку и подняв колени, сидел, махая мне, писатель, пьяный в сиську, над ним выгибалась проводница, плескался красный флажок...

— Ваня, не убоись!

Потому что коли судьба человечеству стать всецело прогрессивным, то пусть мутируется оно в полном и трезвом сознании и при свободе слова, этом завоевании демократий западного толка (так называемых, конечно, демократий), но при этом не затыкая ртов иконописным нашим реакционерам,

каким, что знал я абсолютно точно, немедленно окрещен будет Ванька, как только подаст свой голос в том сердцу милом моему многоголосье...

Все должно быть высказано тем не менее. *Все...*

Прощай, мой реак!

В изнеможении упал я на скамью. Ох, Боже ж ты мой. Как тошно-то. Как невыносимо на проигранном Тобой свете.

И я заплакал.

Лежал и горько плакал, созерцая тучные цистерны с нефтью, открывшиеся мне на задних путях железнодорожной ветки, с жирной черной жижей, ради которой отняли мой голос, неповторимый вопль. Умру ведь — навсегда исчезну! И я закричал, заголосил о напрасной своей жизни, о том, как боюсь я черной дыры, куда ввалюсь без остатка в свой черед, как Федор Михайлович, как Лаврентий Палыч, как все святые и грешники моей земли... Кричал, упорствовал в своем крике, настаивал, чтобы — вот сейчас же и незамедлительно — дырка эта с с прописным торжественным названием Вселенной отозвалась, разгневанная неистоцимым воплем с титьковского перрона. Отвергаю, орал я, творение рук ваших! Отцы-благовесты, вожди-пророки! Ненавижу всеми фибрами души! Потом, сорвав голос, стал я клясть по-матерну эту нефть, уж не знаю, какую, титьковскую, тюменскую, ближневосточную, нефть вообще, мир вообще, тот тоже — с чувством сильным, спонтанным, непосредственным. Как ты знаешь, Sophie, находит на меня. Редко, но буйно. Русский человек...

И кажется, вопил я не просто в душе своей, а вслух, голосовыми связками, потому как в конце концов — даже почти немедленно — я докричался, и она, Вселенная, отозвалась:

— Пройдемте, гражданин.

Надо мной стоял милиционер.

Я подпер щеку ладонью. Вгляделся.

— Нелепый человек, — с грустью сказал. — Зачем блюдешь миропорядок заданный? Возвысья духом, формулируй идеал! Доколе же в говне сидеть-то, а?

— Оскорбляешь, — констатировал он, помню, с каким-то прямо-таки мазохистским упоением... — Заметь: *при исполнении*.

Почувствовал скорбь я, и скулой к скамье ребристой.

— Так что, отказываешься пройти...

— Удались, — молвил я, — удались ты, недочеловек...

Кроткая печаль моей просьбы возымела: служивый титьковец исчез. Однако в желанном уединении побыл я недолго: где-то там, за пределами моего виденья, мусор поспешил раздвоиться.

— Гражданин, пройдем! — потребовали *они*, столь способные к размножению, но и только, увы!..

— В мусорку вашу? — Я принял сидячее положение. — Идем! — Поднялся. — Питаю слабость, знаете, к помойкам. — Взял и обнял титьковцев в серых с голубизной рубашках, убеждаясь заодно, что не в глазах двоится. — Братки мои! Ведь такой же и я отброс...

Братки не замедлили воспользоваться ослабевшей моей растроганностью, чтоб заломить мне руки, и сделали они это профессионально.

В пути я по-доброму кивал столпотворению народа, бабок, мешков, узлов, корзин. Воздух в зале ожидания хоть топор вешай.

И я его повесил, этот топор:

— Кормильцы! — воззвал к народу, как Стенька Разин. — Колхознички! Односельчане! Где русский хлеб? Шесть процентов американских фермеров кормят все США!.. Мир кормят весь, а заодно и нас... А мы ведь были житницей Европы! Крестьяне! Боритесь с вредителями! Укрепляйте огороды! Расширяйте частные сады! Христиане, помните! Херня прейдет! Только душа бессмертна!.. — при этом я с удовлетворением отметил, что иные восприимчивые бабки украдкой стали осенять себя крестным знаменем.

Тугую дверь открыл я пинком лба. Внутри вокзального отделения милиции пришлось прилагать усилия, чтобы сообразиться с выбитой мыслью...

— Не в силе, — бормотал заломлено, — не в силе Бог, братки...

Из-под приемного прилавка возникла юная блядушка. Задрала крышку на шарнирах, опрометью выбежала и, отвернувшись попой в коззаменителе, утвердила локотки. Зачухалась, прихорашивая соломенно-грязную головку.

Дежурный офицер, немногим ее старше, перевел глаза — еще не в фокусе, но с недвумысленной угрозой за вторжение в казенный интерес.

— Чего там говоришь?

— Не в силе Бог.

Офицер оживился. — Не в силе, значит?

— В правде! — отрубил я.

И крикнул от нажима на суставы.

— Та-а-ак...

Офицер извлек из-под прилавка валенок. Обычный, катанный из войлока — из грязновато-серого. С пяткой, обшитой черной кожей. Я воззрился на российскую обувку. В столице давно не носят, но и в глубинке вроде бы не по сезону. Ревматизм у него, что ли, краснощекого?..

— Не в силе, говоришь, — откинул крышку. Покачивая валенком, приблизился. — Начитался Солженицера?

Не ебнуть ли по яйцам — по *blue balls*?

Отчетливо возник вопрос. Обдумал. Кратенько так. И реагировать не стал. По уровню залама чувствовал, еще немного — и вывернут головки плечевых костей, бесценные *articulatio humeri*. Там гипс, утрата трудоспособности, больничный бесконечный лист, здравница имени Дзержинского, Черное море не в сезон, рассказы ветеранов Большого и Малого террора, сексотки в белых халатах, курортный с ними секс без рук, а главное — кто знает, когда придется снова вырваться в *так называемый «свободный»*...

— Солженицын, — поправил тем не менее. — Он русский.

— Кто, *Солженицер*? Жид он. Сионист.

— Вы что, братки?.. — Я усмехнулся. — Шизанулись вконец на сионизме? Ваш он. Рязанский, ростовский, титьковский...

Плоть от плоти. Но дело не в этом, младший лейтенант. Историю СССР ты плохо знаешь, — братки налегли мне на суставы за подрыв авторитета своего непосредственного, и, прервавшись, я замычал сквозь зубы. Начальник знаком осадил. Кажался он заинтригованным, и я прочистил горло. — Слышал о Ледовом побоище когда-нибудь? О князе Невском Александре, который крестоносцев под лед загнал? Псов-рыцарей? Кресты, конечно, псы несли нам, но мы свои предпочитали. Православные. Так это князя слова. Не в силе Бог, а в правде.

— Ну, ты и диссидяра... — восхищенно восшептал офицер. — Ну, инак... Истории СССР не знаем? — адресовался за плечи.

Польщенный вниманием, заплечный браток, что поумней из двух, донес, усугубляя вину задержанного:

— Зал ожидания смушшал, к тому же. Супротив подстрекал. «Откуда, — говорит, — наш русский хлеб?»

— То есть?

— Мол, из Америки...

— Так, значит? — Офицер оглядел мою нездешнюю оболочку, кожан мой с бульвара Сен-Жермен... — Ты не простой инак, выходит. Похоже, ты *иначище*... По-вашему, инаковски, не в силе Бог?

Я выгнул становой хребет. — А в правде.

Офицер расставил ноги.

Сдавил раструб валенка, качнул промеж надраенных своих сапог — что, помню, насмешило...

Безобидной, войлочной карикатурой на колун, тот валенок взлетел за пределы поля зрения, а в следующий момент я выпал из реальности. К своему большому изумлению. Так, должно быть, *изумляясь*, и рухнул им под сапоги — под затухающий в сознании крик Марии Магдалины.



## 2

С первым же проблеском полез во внутренний.

— Товарищ капитан, — стоя подо мной на корточках, лепетал палач мой на грани плача, — товарищ капитан...

Документы были при мне.

Доверенность и удостоверение.

Даже на молнию обратно застегнули...

Сжалившись, взял у него из рук стакан и выпил залпом. К несчастью, оказалось не из-под крана, а из вокзального буфета — парадоксального титьковского разлива «Лимонад клюквенный». Осознав позыв, изобразившийся на лице жертвы от этой в нос ей шибанувшей смеси французского с нижегородским, дежурный офицер подставил мне корзинку для бумаг, она была искусно сплетена из ивовых прутьев, верно, каким-нибудь местным народным умельцем... Ох ты, Господи, каким говном же закусывали мы с Иваном колониальный ром...

— Пардон, — сказал я сразу вслед блевотине.

— Товарищ капитан!.. — чуть не взрыдал дежурный от напора чувств.

Из деликатной руки его я взял аккуратно выглаженный носовой платок, встряхнул, утерся. Крестиком красным под старательно обметанной закраиной вышито имя. *Петр Петухов*.

— Жена? — осведомился слабо.

— Мамаша, — подаваясь ко мне всем корпусом, ответил в унисон. — Рано, говорит. Гуляй.

— Слушайся маму. Но не на работе...

Утомившись нравоучением, закрыл глаза. Крыша черепа была цела, но эхо в нем не проходило. Грудная клетка на каждом вдохе отзывалась болью. Не открывая глаз, ощупал ребра.

— Еще и сапогами... Как же вы, Петя, а? Лежачего?

Никогда на протяжении карьеры так крепко мне не доставалось. Было, конечно, но не так. Опять же только на родине. На Западе ни разу меня не били.

Офицер потупился, смущенно пунцовея.

— Ну, будет, будет. Встань с колен-то.

Руки мои онемело лежали на подлокотниках. Был я усажен на начальственное место. Под задом подушечка, предохранявшая от геморроя Петю Петухова. Неохотно офицер поднялся, но не в полный рост — из деликатности сутулясь.

— Валенок.

— Товарищ капитан, — взмолился он.

— Кому говорю...

Несгораемый шкаф был крашен охрой с рыжими разводами. Вставил ключ, выбранный из связки, вынул им толстую дверцу и вытянул с полки. «С какой же ноги? — внезапно подумал я. — С левой, с правой?» — Помню, остро интересовался... Валенок лег на стол подле меня. Я повелел глазами, покорно он всунул руку по плечо, по самый погон свой со скромной звездочкой середь полоски. Не без натуги разрядил он тайное оружие отечества — еще невиданное мной.

С напрягом младший лейтенант держал на весу утюг.

Причем, не электрический.

Могутный был такой утюжище. Чугунный и с зубцами. Эпохи крепостного права, верно. Горящими угольями засыпала его крестьянка, дабы мужнину рубаху прокалить. Изо всех разновидностей советского оружия, начиная от хитромудрых штук из техотдела нашего и вплоть до трансконтинентальных ракет, с которыми я повстречался на заре, поразил меня сильней всего коварный этот валенок, такой с виду мирный, подшитый, стоптанный...

— В музей, — мутнея, приказал, — в музей родного края...

— Слушаюсь, товарищ капитан! — принял он к исполнению, и на этом разум мой померк.

## 3

Очнулся я в камере предварительного.

К утру следующего дня — и только благодаря жертвенности офицера Петухова, который, сдав дежурство, всю ночь просидел под моими нарами, вновь и вновь смачивая свой именной платок, высыхающий на моем высоком воспаленном лбу.

Вместе с Петром дошли мы до аркады гостиного двора, где стояла «Волга» — ныне собственность пекарши местного хлебозавода, подпитываемого зерном заокеанским: «Радио, что ли, не слушаешь?». От глянцево-черного, правящего колера машины однозвездочный лейтенант лишился дара речи. Еще бы, Sophie: вывести из строя столичного суперагента *pri исполнении*, завалив операцию с глобальным, может стать, радиусом действия... И чем? Валенком сношенным, утюгом...

Петя был настолько уничтожен, что с трудом удалось приободрить парнишку. Катая его и с его помощью познавая городок, я внушал ему, что в правозащитном движении принимают участие люди хрупкие, интеллигентные, что нельзя дискутировать с ними, прибегая к чугуну. Что Солженицын сионист, это им на районной партконференции московский лектор разъяснил. Опроверг и этот вымысел, сфабрикованный в презренном нашем отделе по борьбе с инакомыслием. Главное, зерно сомнения заронить, Sophie, а там — кто знает? — глядишь, и прорастет, и вот уже юный офицер МВД настраивается на радиоволну русскоязычной службы Би-би-си (которую до этого он вообще-то -путал с ВВС)...

Я высадил Петю у стандартного панельного дома и, отклонив радушное приглашение откушать чай с маминым малиновым, отбыл по неотложным делам своего завещателя, который в данный момент, должно быть, похмелялся пивом у ларька в нашем общем Теплом Стане столицы, в голос требуя после отстоя пены себе долива — напоследок.

Перед тем, как сегодня в 20.50 подняться на подножку экспресса «Ost—West».

Любовь будущего политэмигранта работала на опытном заводе хлебулочных и бараночных изделий «Житница».

В отделе кадров я рекомендовался юридическим лицом, разыскивающим гражданку Малафееву Л. И. по делу о наследстве. После чугунного валенка вид у меня был сутубый, и кадровик, явно начинавший еще в НКВД, поверил моей официозности, так что удостоверения выкладывать мне не пришлось, и репутация Любви, которая, как было мне сказано, загуляла со вчера, осталась безупречной...

— Не от дядюшки Сэма, случаем, наследство? — как бы в шутку поинтересовался кадровик, в свое время, видимо, внесший вклад в борьбу с низкопоклонством перед Америкой.

— От дядюшки, — кивнул я. — Который самых честных правил. Из столицы нашей с вами родины...

Ветеран, впрочем, имел основания на свой вопрос. Из этого региона эмиграция за океан была особенно интенсивной — и при погромах благословенных времен царизма, и при подходе красных, и после бегства их, а после в обозе гитлеровского отступления, да и сегодня тоже — по израильскому каналу утечки.

В Америке немало великих людей из этих мест.

— А я остаюсь с тобою, родная моя сторона, — под нос напевал я себе песню незабвенных лет, сидя за рулем неподвижной «Волги», — не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна...

Загулявшую наследницу разыскивать поутру смысла не имело, и размышлял я, напевая, о судьбе беглого баптиста, которому ой как сгодился бы сейчас какой-нибудь иной берег: турецкий, кстати, совсем неплох...

В том случае, если его еще не загребли. Что мог я для него сделать?.. Разве что всей душой пожелать не оказывать сопротивления при задержании. Но при нем был АКМ со ста двадцатью боевыми минус те, что пропулял Иван, и я очень и очень сомневался, что заповедь о непротивлении злу насильем остановит обученного на стрельбищах христианина, паренька как-никак деревенского, самостийного... Большая

кровь со всей отчетливостью проступила в недужном моем сознании. Не спеша включать зажигание, я безмысленно созерцал колосистый государственный герб над наглухо закрытыми воротами «Житницы» и внимал крикам воронья, доносящихся с территории хлебозавода и как бы предостерегающих меня: «Кар! Кар-р! Кар-раев...» Но рвущему душу карканью вторило нежное гульканье голубей.

— Сизари-сизарики, — сказал я вслух, вдруг вспоминая бухого орнитолога с Косы, бывшего десантника, все эти белопесчаные отмели на краю бедного нашего света, и солнце, и канувшее лето, и наивность нашу, все разом, Sophie, и горло перехватил мне трудный спазм. О Родина, когда же ты накормишь своих птиц?

Кривясь от слез и приступа мигрени, я снялся с места.

## 4

К полудню — глухими, болезнетворными дорогами — добрался до распутия, где нашли мы отключившегося Колика.

Никого не было под валуном.

Пятачок вокруг был страшно разворочен.словно спятивший танк кружился тут на месте.

Я дал газу.

Со стороны Родничков по дороге приближались двое пацанов, шли с ловли форелей, нанизанных на веточки ивовые, у одного на плече был драный бредень, который расправляется под силой течения, тогда как второй заходит выше по ручью и, спускаясь, лупит по заводям — пугает рыбу, ориентируя в расставленные сети. Что, согласно Колику, и называется тут «ботать». Высунув наружу фирменный маковый бублик, которым угостил меня кадровик, стал тормозить, но мальчишки, разгадав мое намерение вступить в контакт, разом бросились в лес. Я положил бублик на сиденье Ивана, развернулся, выехал на гребень и посреди простора остановился. Тропа, которую давеча он мне показывал, нырля, взбиралась на

всхолмье, потом, еле видная, на следующее. Вышел, запер машину и сбежал с насыпи.

Ничего хорошего тропка не сулила.

Даже сквозь подошвы ощущал. Но что поделать?

День был пасмурный, но теплый. Солнце стояло за облачной пеленой пятном — то наливалось оно светом, то вновь серело, недопроявившись. Вязко как-то было. Себя я ощущал реальным не вполне. Каждый шаг отдавался в мозгу. Если виденье мое посчитать за мишень, то «десятка» передо мной зыбилась, и вокруг все рябило, оплывая к «молоку» — к периферии. Тем не менее, принуждал себя быть наведенным на цель, и минут через сорок быстрой ходьбы по сильно пересеченной местности вышел к останкам деревни с заслуженно мрачным названием Французов Погост. Среди черных от золы фундаментов, трава на которых не росла, поднялся к высокому дому, на чердаке которого прятался беглец.

С лужайки зычно окликнул чердак — и голова моя взорвалась. Стиснув зубы, сдавил ее ладонями, понимая, что перепуганный свидетель Иеговы вполне способен влепить однократный удар свинца из АКМ и даже призывая удар: настолько непереносим был этот разрывающийся мозг. Как бы выбрасывая флаг парламентаря, поднял над головой маковый бублик. Потом сел в траву по-турецки, взялся за голову и крепко зажмурился. Петя ты, Петя...

Сублимировался, сукин сын, на мне.

Поднялся.

Солнце все не проявлялось.

Не выпуская колокола из рук, побрел, спотыкаясь, к ручью.

Бережок изрыт был стадом, обложен лепешками и караваями навоза. Черствыми, узорчато изъеденными навозными жуками, а также свежими сплошными — утренней выпечки. Усмехаясь и лавируя, спустился к броду. Течение изгладило следы копыт с песчаного дна. Положил бублик на траву, распростерся ладонями к земле и погрузил лицо, всю голову в блаженный родниковый холод. Волосы снесло. Я смежил веки, поплыл. Плыл, ощущая струение волос, уносился, подобно

безумной Офелии, и было мне безумно хорошо. Жизнь наконец-то пущена была на самотек. Внезапно вынул голову и, моча одежду, открыл глаза на сверхзвуковой гул, но эскадрильи над собою не увидел. Небо по-прежнему было неподвижным. Белым, низким, глухим. Глубоко вдохнув, я поплыл дальше. Песок под моим лбом истаивал, образуя удобную ямку.

Возможно, продолжал бы так прохладиться долго, только внезапно, независимо от меня, тело мое вскочило, крепко схватило маковый бублик и забежало в заросли крапивы — под амбар, подмытый ручьем.

Выглянул.

На фоне пелены шел вертолет. Низко, неторопливо, приглядчиво. Брюхатая стрекоза защитного цвета. С красной звездой на боку. С открытым проемом, оцетинившимся стволами, что не самое страшное: бинокль над головами солдат был направлен прямо на меня.

Тихо я ушел в крапиву. С волос натекало под ворот, рубашка липла к лопаткам. Голова унялась, но теперь меня знобило, а с другой стороны, горело лицо и руки, обожженные злой крапивой. Со сверхчеловеческим шумом, которому так и подмывало сдаться, вертолет кружил над Французовым Погостом, взбираясь с каждым кругом выше и выше, обозрел оттуда всю открытую местность и — все это тянулось до бесконечности — удалился за пределы моей акустической бдительности. Могла быть поисковая группа. Дорого бы я дал, чтобы узнать, о чем подумалось им при виде официального вида «Волги», брошенной на дороге посреди всей этой зелени. Но, может, просто возвращались домой с плацдарма... СА, она всерьез играет. Сбежать во время учений, это у них, как с поля боя. Ох, и вкатит парню военный трибунал! О другом исходе не хотелось думать. Но как я мог, Sophie, предотвратить? И чем? Тут сам министр обороны оказался бы бессилён, как дитя. Ибо страшно, возникло вдруг, страшно нарваться на Бога *живого*.

С бубликом я вышел из укрытия. Задрал штаны, с ботинками-носками в руках перешел ручей на месте брода. Поднялся

на всхолмье. Твердь травы подо мной была когда-то деревенской улицей. Понятно, почему Французов Погост подвергся раскулачиванию по принципу «выжженной земли». Находясь на столь индивидуалистическом отшибе, деревня просто не могла выстоять в наш век «укрупнения» — насильственной концентрации масс. Она была вызывающе, *реакционно* уединенной — за что и поплатилась. В соответствии с неумолимой логикой прогресса.

Имба уцелевшей реакционерки находилась на краю буквально: далее земля разжижалась, переходя сначала в черную хлябь, потом в изумительной красоты болота, бирюзовые, изумрудные — чисто парижские цвета! Поросшее чахлым кустарником и уводящее в непроходимые леса — в партизанские. Я вспомнил мысль Колика о том, что единственно-возможный маршрут спасения пролегал через эти отнюдь не Черные болота, куда увести мог только один человек в округе — супруга сгинувшего в Сибири кулака, мать вымерших там же подкулачников и партизанок, казненных гитлеровцами. Колик говорил, что живет бабка на одиннадцать рублей государственной пенсии, прирабатывая к этому содержанию тем, что обшивает округу. Сошьет там сарафан — и отправляется в дальнее пешее странствие по деревням, где сбывает свой товар неприхотливым бабкам помоложе. Цены назначает в два три рубля за штуку. Колик поминал о пристрастии этой «святой» к дешевым таким мягким конфеткам с повидловой начинкой. «Подушечкам». Я сдул песчинки с бублика. Я волновался. Никогда еще судьба не сталкивала меня с такими вот... не знаю, как сказать... *экстремумами* человеческого бытия, хотя, к примеру, Папу я видел. Нового, славянского — хотя и западного. В Ватикане, когда он вышел к нам на свой балкон. Я смотрел на избушку, ушедшую в землю почти по самое окно. Каково ей тут зимой? В осаде волчьей? Должны быть, раз медведи есть. Места заповедные, даром, что ли, ракетодром обосновался и прочие запретные зоны, в виде побочного эффекта своей активности меняющие сексуальную ориентацию...



Вдруг мороз по коже! Хозяйка! Вышла внезапно из избы в траву. Глянула на небо — и обратно. То ли меня увидела, то ли померещилось недоброе. Вокруг ни кола ни двора. Ни огородика, ни даже пса. Паслась у входа, правда, привязанная за заднюю ножку козочка, доверчиво и одноглазо воззрившаяся на меня.

Упреждая возможную глухоту, возвысил голос:

— Бабуля, гость к вам!

Подожвы с отвращением сочили приболотность.

## 5

Деликатно выждал, потом, переглянувшись напоследок с козочкой, открыл дверь, пригнулся и переступил порог. В сенцах пол был земляной — чуть тверже, чем снаружи. Наклонившись снова, шагнул в горницу на чистый половик.

— Не пугайтесь, бабушка!..

Краем подошвы под половиком чувствовал железное кольцо, дощатый люк и даже пустоту подполья.

Невольно бросил взгляд на потолок, где зиял ход на чердак, но сразу переместил глаза на иконостас в правом углу. Не помогло. Унявшуюся было голову стало разнимать на части.

Старуха сидела у окна, выходящего прямо на траву: больше не видно ничего. Возле древней швейной машины с ножным управлением. Кованые узоры над педалью окружали слово «SINGER». Сегодня не работала: машина накрыта деревянным чехлом, золотистый лак которого проблескивал в кружева праздничной шали. Белой. С бахромой.

Тогда как на бабке платок был черный. Узловатые, как корневища, руки лежали на коленях, Глаза смотрели с родниковой прозрачностью — студено, безучастно. Иконостас, довольно скромный, Христос, два-три святых, зелено и тепло озарен был лампадкой. Несмотря на то что жила со своей козочкой, в горнице было чисто и благоуханно от обилия сохнувших трав и цветов.

Оторвал подошву и сделал очень нелегкий шаг.

— День добрый, бабушка Пёкла! Мне говорил о вас Колик, что из Родничков, товарищ мой...

Глаза утепились.

Легко поднялась, низкорослая, щуплая, похожая, скорее, на отроковицу. Пошла под иконостас и с той же девчоночьей легкостью стала на колени, выставив из-под темно-синей в белый горошек юбки крупные черные ступни. Не оглядываясь, переместилась перед иконами, как бы уступая место. Я положил бублик на закраину машины, на нитяной узор кружев. Опустился с ней рядом на колени — боль в голове только усилилась, хотя питал надежду, что снимет как рукой. Она поклонилась, опуская лицо к щелястому полу. Разогнулась, крестясь и шевеля безгубым ртом. Я поднял глаза к иконам. Кто, помимо Христа, на темных досках с тусклой позолотой, этого я не знал.

— Николаю Угоднику, Николаю Угоднику, — быстрый шепоток переадресовал мой взгляд, остановившийся не на том святом.

Я прозрел.

Душу ужаснуло виденье безумно развороченной земли на перепутье, и забыл я про чердак и мигрень. Глядя на образ святого, троеперстно коснулся лба, пупка, левого плеча, правого, повторяя за старухой:

— Господи, прими и упокой душу новопреставленного раба Твоего...

Кто тебе будет носить керосин и лампадное масло за девять километров?..

Я сидел спиной к выпуклостям бревен, переложенных мхом. Созерцал щели в полу.

Послемолитвенную паузу нарушила старуха, выдвинув из швейной машины ящичек, длинный, узкий. Порылась в катушках, пуговках. Вынула и положила рядом с бубликом монету.

— От Колюнчика будет на вечную память.

— Мне?

Наклонила голову в траурном платке.

Я протянул руку. Монета была золотая. «*Napoleon d'or*». Император левым профилем был обращен на запад, античный венок, подбородок с волевой нижней губой. Французская империя. 20 франков. Рядом с годом «1811» отчеканена почему-то рыбка, а надпись на ребре... с ошибкой! Глазам не поверил и снова прокрутил. Таки да! Не «*Dieu protégé La France*», что значит «Господь храни Францию», а «*Eu protégé La France*»...

Так или иначе, а канувший в Лету француз-оккупант некогда щедро расплатился — за ночлег? За сугрев? За влагилище, лучшее в мире? Непросто вложить, ибо узки врата, ну а выйти подчас невозможно живым... Не он ли и заложил свои кости в основу деревни?

Наполеондор был в приличном коллекционном. Я застегнул его в портмоне, заодно вывалив оттуда на кружева нитяные все, что под занавес осталось. Сотни три с мелочью. Удержал только на бензин до Теплого Стана да выбрал из мелочи обратно телефонный жетончик, парижский, который приобрел у бармена в кафе Латинского квартала. В тот раз до абонента я не дозвонился. Как-нибудь, быть может, услышу, набрав тот номер снова, голос Ивана, который в данное время объезжает на такси Москву, прощаясь со своими дружками, мыслящими инако, то есть свободно.

Вид советских денег оставил ее невозмутимой, однако на маковый бублик невиданно-толстой выпечки, украдкой посмотрела.

— Угощайтесь, бабушка... — Я подавил гримасу. — Кушайте.

— Или болит что?

Ладонями я стиснул голову.

Сходила за печь, вернулась с зеленой бутылкой и почернелой стопкой. Вынула тугую тряпичную затычку.

— Травничка моего. Все и пройдет.

Я поднял на нее глаза.

— Зашибся, поди?

Кивнул. *Валенком бытия.*

— Откушай. Не пройдет, так легче станет.

Что ж? За отсутствием более квалифицированного милосердия вверился ведьме. Мы помянули Колика, и мозг возобновил самоосознание. Вроде бы настой способствовал. Погодя принял еще стопарь, который она налила недогнущей рукой.

— Бабуля? За исполнение желаний!

Слегка усмехнулась. Я выждал, не скажет ли чего, но ведьма владела азами конспирации. Я опрокинул, стараясь не взглянуть при этом на чердачную дыру, откуда черным зрачком своим держал незваного гостя на прицеле ствол автомата «Калашников модернизированный».

Переждал немного, утверждаясь в действенности зелья, а когда поднялся, старуха налила еще:

— На посошок... Путь добрый.

— Того же и вам, — пожелал от души, потому что там, в избушке у болота, прочувствовал неведомый предел загнанности, за которым, Sophie, спасения уже не ищут, обретая последний смысл в осознанно-твердом и обреченном вызове. Поклонился и вышел, оставляя их с Богом — и старуху, и беглеца, и козочку.

Заднее стекло «Волги» было высажено. К счастью, приборный щиток невредим. Вещи в сумке не тронуты — «Минокс» мой, принадлежности бритвенные, сигареты, Ивановы тетрадки, изученные еще во время нашего с ним большого балтийского секса... Содеянного пацаны, верно, и сами испугались. Жаль все же. Не казенная.

Бульжник тяжело покоился на заднем.

Толкнул в канаву, повыбрасывал осколки и попылил в Роднички.

## 6

Обстоятельства перехода Колика от предварительного небытия к окончательному были просты, как мычание.

Конь железный раздавил.

Не там, где мы его оставили. В ожесточенном, пощады не ведающем ничему живому хмелю трактор пер домой в Добромыслово прямо через картофельное поле, давя ни в чем не повинные грядки с давно отцветшими цветами и ботвой, в которой находился наш кладоискатель, маленький Мук российский, прозревавший золото сквозь толщу этой тупой земли. Зачем покинул он валун, который защищал, как противотанковый надолб? Куда полз в прерывистом упорстве через картофельное поле, то включаясь, то отключаясь снова? Сдается мне — к святой своей, укрывательнице первохристиан, вооруженных АКМами... Не иначе как.

Слепая, инстинктивная и роковая тяга.

Мне доводилось бывать свидетелем, соучастником, а также, увы, организатором самых различных случайностей, в том числе и с летальным исходом, но с подобным абсурдом, *онтологически*, я бы сказал, тупым, сталкиваюсь впервые. Полупьяная жертва, полутрезвый палач. Хмельная российская Смерть пропахала отцветшее поле. Воистину, Sophie, сколько ни думай, а нелепее, чем в жизни, окказионального хода не изобретешь. Случай и закономерность стянулись тут в такой тугой узел, что чем больше размышляю над хитросплетением судьбы, тем отчаянней охота схватиться за топор...

Впрочем, в Родничках эта гибель никого особенно не тронула. Ну, бабки посудачили насчет превратностей. Вот и все. Но было чувство, что без Колика деревня лишилась чего-то главного. Дурачки, в конце концов, столь же важны, как общепризнанные святые. А бабки Колика, родной, еще не добудились: лежит бухая на печи. И только группу киношников, урбанистически чувствительных, охватило уныние: каждый с ним, оказалось, пил, каждому, оказалось, доверил он тайну про залежи скифского золота в кургане, заросшем березами до не-

ба... Никита ходил, как туча. Кстати, предложил играть мне дальше эпизодическую роль — вплоть до гибели от партизанской пули, по логике сюжета, вполне заслуженной. Я уклонился; Никита не настаивал.

— В конце концов, — утешил я, — штурмбанфюреры взаимозаменяемы.

— Если бы только фюреры, оно бы ничего. Но в наше время и при данных обстоятельствах, Кирюха, все мы взаимозаменяемы.

После протуберанца вдохновения он был в депрессии, клял все на свете, включая пропавшее солнце. Я оставил его над алюминиевой кружкой с чаем, заваренным дочерна, как в ГУЛаге. Ничего ему не сказал, хотя прекрасно знал, что цензура сократит его картину как раз на тот эпизод, в котором мы столь успешно дебютировали с Иваном. И знаешь почему, Sophie? Под предлогом избыточного нагнетания жестокости. Под предлогом неуместной религиозной символики. На самом же деле потому, что к моменту выхода фильма на всеобщий экран один получит мировое паблисити в качестве государственного преступника (не говоря уж о другом, кому засвечиваться не положено). Одноклассник мой Никита, во-первых, мастер, во-вторых, мироощущение его трагично, и фильм этот — кто знает? — возможно, привлечет киномельцов Запада, где равно спекулируют как на радужных иллюзиях, выдуваемых Агитпропом, так и на безрадостной нашей реальности. Короче, одна мысль о переходе границы легально, пусть и в качестве кинообраза, вызывает во мне профессиональное отвращение. Надеюсь, фильм Никиты не обескровит неизбежная купюра.

Выворачивая с околицы на проселок, я прощально взмахнул стайке босоногих девчонок, среди которых опознал и свою полукровочку. Вот почему она до рассвета выскользнула из моих объятий на том свальном сеновале: беглеца навестить. Сдается, не мы с Иваном, а именно он был подлинным и главным — хотя и потаенным — героем округи...

Девчонки возвращались с косьбы, опушечки лесные подчищали, и на щуплом плече моей Хиндрик лежало древко косы, а медь скандинавских волос оплетена была венком из синих русских васильков. Сбросил газ, вытащил наполеондор. Показал из окошка, и, приблизившись, как запустил над дорогой! Свечой золотой!

Поймала! В ладошку!

Смеясь, что-то крикнула вслед, и с минутку краса ненаглядная переливчато зыблилась в зеркале заднего.

## 7

Дальше на этой обратной развивалось так: во-первых, у меня заглох мотор, а во-вторых, нашел ежа. Одновременно. Темный клубочек свет озарил и поверг в кататонию. Я резко затормозил мимо живого. Вышел. Лес, теплынь. Иглы под моими ладонями фыркнули и стянулись в окончательный шар.

Обожаю форму жизни.

Шар сам по себе совершенен, а тут еще весь в колючках.

Я вкатил ежа себе на сдвинутые локти, отнес в кабину, скастил на томительно пустое «место мертвеца». На часах было начало девятого. Иван, верно, уже томится под перронными сводами Белорусского вокзала, курит одну за другой... Ах, Sophie, что есть любовь? Чувство неполное, опасливое и оглядчивое. Особенно, когда речь об этой форме любви к себе — дружбе нашей мужеской.

Поднял капот и по локти нырнул в мотор.

## 8

И вот он — тупичок Невольный.

А дальше, это вслух я, Sophie: *дальше уж не пускают.*

Предел естества.

Все же вогнал промеж заборов «Волгу» до отказа — поближе к дому Любви. Выключил мотор — и осознал внезапно, как же сроднился с этим я сюжетом. Я — последний связник разорванных любовей, последний поминальник усопших...

Затемнился. Вышел на щебень. Дело к полуночи — пока во-зился с контактами, пока прыгал по колдобинам, а потом пре-вышал на шоссе, а потом здесь, в Титьково, отыскивал в лаби-ринте пристанционной слободы тупичок, дом 1... Нажал ще-колду, прошел в полутьме к застекленной террасе. Никого. Постучался сильнее. На случай, если наследница «Волги», постоянной московской прописки и однокомнатного коопера-тива в Теплом Стане наяривает там внутри, на пружинной. С каким-нибудь местным бандитом. До потери слуха. Любовь не отзывалась. Тишину нежным шепотом оркестрировала при-усадбная листва, да еще время от времени слетающий с гор-ки мегафонный голос бессонной диспетчерши, которому, с шипением дальним, с лязганьем, повиновались, стыкуясь, не-видимые составы. Где же вы, доверенное, загулявшее? Кто вам целует?..

Вернулся к товарищу ежу. Без тыльного стекла затылку бы-ло не по себе, но мне удалось убедить его, что мы не в Далла-се, и ничего нам сзади с тобой не грозит. Вкатил ежа на свой смятенно-взволнованный отсутствием пах, защищенный чер-товой кожей джинсов Newman. Вынул. Закурил. Неторопли-во. Приготовляясь к продолжительному, а из этих выжида-тельных пауз, невыносимых цезур, в основном и состоит моя так называемая активность — правда, больше на Западе. Вкус у сарога'я был, как новорожденный. Глубокий, забористый, вместе с тем — нежный. Медленно отпуская нездешний дым, усмехнулся своему нетерпению и посмотрел на фосфоресци-рующий цифеблат. Иван все садит одну за другой, но теперь



уже глядя плывущими от слез глазами на огонечки — ночные, родные, прощальные. В вагоне, следующем по России, а дальше via\_ Warsaw—Berlin—Köln—Aachen, где в рабочем лагере моя безумная мама дождалась прихода союзных войск, освобождения, конца войны, чтобы родить на свободе монстра...

Но все это, заграница эта, Ивану предстоит лишь с утра, а пока же рыдает он с нами, по эту сторону надежно защищенных — от нас с Любовью — пределов отчизны. С нами пока он. Под небом одним. Этим вот.

## 9

Пытаясь осознать все сказанное мной, что в данную минуту ей сложновато по причине полутрезвости, Любовь все растирает белое горлышко, и я не выдерживаю, беру за руку:

— Что это с шеей?

— Да пристал, — в сердцах она мне говорит. — Сопляк. На веранде...

— Где?

— Ну где танцуют.

— Что, сразу так и за горло? — сам слышу недоверчивые, юридические нотки. Стряпчий, Sophie. Крючок судейский. Душеприказчик.

Усмехается.

— Или забыл, как на танцах бывает?

— Оттанцевал, Любовь. Свое — оттанцевал.

— Ну уж...

С минуту мы с ней созерцаем накрап на лобовом стекле ее «Волги», озаренном бессонным излучением товарной станции, которую перед рассветом пролетит экспресс Ost—West.

— Вот и осень пришла... Пойдем, что ли, в дом? Чего ж тут стоять... А? Чаю поставлю с вареньем. Все ж таки в клубе первый ты меня заприметил тогда... так что... — И дверь открывает. — Идешь?

— А с каким?

— Да с каким пожелаешь! Есть крыжовник, черника, брусника, смородка, и такая тебе, и другая, вишня, райские яблочки, земляника, клубника, конечно... малина...

— *Разлюля́?*

## 10

Вот и все.

Что сказать мне о ней, о Любви? Женщина... Как любая. Трусы свои под матрас неприметно запрятала, вышептывала страстно брань по матушке («Охуительно! — помню, вскрикивала мне в набрякшее кровью лицо, — аххх-хуительно!..»), и, конечно, тут буду я без ложной, заслуживал того, а как же? Раз назвался груздем? А койка не пружинной оказалась, а сетчатой: лязгала, названивала, обваливалась, когда на колени ставил, вставая и сам, но зато был отвал там, чтобы над мотающей, перехлестывающей волосами ее забубенной головой, прочно взяться за никелированную перекладину, но она, зараза, проворачивалась, так что, подкручивая с двух сторон эти шарики, я очнулся, почему-то уже на матрасе, стащенным ею на пол, на морозящем по стеклам рассвете, в канун как раз той незабываемой минутки, когда «Восточно-Западный» пролетел мимо нас на всех парах, сотрясая слободу, и сад, где глухо падали потом плоды, и стены, и стекла в расшатанной замазке, весь тот фанерный домишко, где угол снимала, Любовь, ютилась, можно сказать, за десятку в семье пристанционной, а теперь вот по соседству со мной обитает, квартира хорошая, благоустроенная, все удобства, «стенка» финская к тому же появилась, книжек, правда, осталось от хозяина в переизбытке, но с этим разумней смириться, дорогуша, говорю ей, возвращая одолженные «Философические письма», ибо в условиях книжного голода вся эта, как ты говоришь, белибердытина тоже объективно суть *добро*, которое на черном рынке с руками оторвут, читать же совсем не обязательно, тем более что из Титькова привезла свой «Вечный зов»... С трафиком столичным вполне освоилась при этом, выполнил все, отчас-

ти, прости, и перевыполнил, не стану кривить, что совсем уж против воли... так что вот...

Да в том ли дело! Просто разбилось зеркало. Разбилось, понимаешь? Юности нашей честное зеркало. Куда мы все, все мы, и Люба тоже, гляделись некогда. Давно ли? Давно ль, Sophie? Кстати, знаешь, что я пью сейчас? «VAT 69».

*Soixante-neuf.*

Предпочитаю это *en langue français*, на языке французском, что растленной, поскольку губы, вздуваясь, сходятся в конце. Представляешь, до сих пор я помню вкус твоей — ну... (Эта Любовь меня, кстати, приучила запинаться перед самыми естественными словами, влияние провинции застенчиво-разгульной, стыдливо-беспредельной...) При этом не лизал. Нет, Sophie. Не дается. Она тут иногда вторгалась за отчетный. Нарушала мизантропию. Пыталась даже сдать мои бутылки; не приняли, как атипичные. *Нетиповые*, то есть. Виски ведь глушу — не тип. Добью сейчас предпоследнюю, а последняя уж в чемодане: с собою в самолет... Tomorrow. Завтра.

Сегодня в связи с этим пил весь день. Только глаза продрал, как сразу налил. Соседка моя, кстати, жена союзписательская, подо мной уж не живет. Бросила на хер своего приспособленца: из либералов *самоуверенных*... Знаешь? Русскую службу Би-би-си предпочитают — за то, главным образом, что мы ее не глушим. А вот «Свободу», на затыкание которой ежегодно миллиард в трубу, — ту даже и поругивают. Не вместе, конечно, с нашим «контрпропагандистским» хайлом, а как бы от себя: мол, ухо режет. И вашим он, и нашим, и здесь на счету хорошем, и у тамошних благонамеренных славистов. На двух стульях едет, полагая, что лучше всех устроился. Ничего, доедется... однажды копчиком херак! Чего я взелся-то? Ах, да... что успокоиться не может, будто лично уязвляет. Про Ваньку ведь трубят все «голоса». Секретные сотрудники осведомляют, что с грязью друга моего мешает в ЦДЛ, «маленьким беглецом» заочно окрестил: одну, мол, книжечку пробил, а раздувают будто Солженицына... Ну, так возьми да убеги — казалось бы? Борись или беги, ведь терциум нон датур. Ан нет,

слабо. Кишка тонка. Под нашим благожелательным роптать оно намного безопасней... А в результате? Форма подсоса. Ну, да хер с ним — с совлитературой... Тему Сталин еще закрыл: «Других писателей для вас у меня нет».

Другой сосед, что по площадке, умолил к себе, ракетчик, сидели до темна «за жизнь», а когда вырубился колонель, не выдержал перед уходом и заглянул в баул его тревожный, что перед дверью стоит, как у меня мой чемодан потасканный. Знаешь, что в бауле? Смена белья, сборник рассказов Казакова «Проклятый Север» да опасная бритва, старенькая, сточенная, словно жальце. Горло перерезать запросто — в случае чего. К счастью, у полковника твердая рука. Рука дуэлянта. Фаталиста. Лермонтовская, словом... К чему это я? Ах, да: что перепил ракетчика. А поднимали, представь себе, отнюдь не за «политику сдерживания», не за доктрину декапитации и не за баланс ужаса. Цитирую последний тост его дословно: «За нежность женских животов».

Ах, да не в этом дело, моя любовь. Просто слабеют и без того несильные электроволны серых полушарий, зануляя софийное послание Кирилла твоего, а расставаться, Соня, нету сил...

Так вот, душа моя: в СССР октябрь. Эта фраза охуенно, если вслушаться, грустна, а?

Печальна очень.

Так вот, октябрь, и этой ночью все щели пронизывает ветер, а теперь с дождем, давит порывами на стекла, послезавтра впаду по этой мерзости в тоску, а завтра убываю, больше нет забот, и я сижу наедине с собой, пускаю по зеленому сукну последний рубль, юбилейный, сверкающий, только с Монетного двора, двуедино мне противный, хоть с решки, хоть с орла, Шестьдесят, блядь, лет как жизни нет, подумать только: 60... по миллиону на год... раскручиваю тупо, пристально наблюдая возникающую сферу с полярной дыркой, куда всосало нас, и мертвых, и живых, стрекочущую с замедлением, эфемерную, по сути, как шар земной... изрядно, даже крепко весьма поддатый, но, увы, не отключившийся, проклятый мой вестибулярный, нет забвения, представь страдание астронав-

та, которого ничто там, пролетающего, не берет, зажигаю очередную поганую «Приму» от предыдущей дымящей погани, а «житаны» с «голузами» мои да-а-авно все вышли, обратились в дым, в канцероген, вот так и все рассеется, а разве нет? *La vida es sueño y los sueños sueños son*<sup>25</sup> ... разве Кальдерон не прав, любовь моя?

Когда ты в ебаной Канаде, столь похожей, как известно, на Россию, или в ебанных Соединенных Штатах, а дочь моя в ебаном закрытом колледже под ебаным Цюрихом, где лысый сифилитик все это затевал в начале века, уроки лесбоса ей там сейчас преподают, и пусть, так пусть и будет, раз мы, мужчины, говно все до единого, тогда как бабушка ее в дурдоме, тоже закрытом, но по другой причине, чтобы утечки не произошло, безумный божий одуванчик, носительница госсекретов, яйца не стоящих, а дед как вцепился за кормило этой ебаной страны, так и не выпустит, пока не вырвет из движителя с корнем, и хер его знает, куда несется, сверхдержава, и Штаты тоже хер, а про Европу, про надежду нашу, я молчу: чего уж сердце понапрасну рвать...

Дружки же, те поразлетелись кто куда: Славка в СиАйЭй, и, зная буйный нрав его, могу предположить, что в Ленгли этом их ему совсем не сладко; Таисию недавно схоронили, закопали в сыру землю, и Эдик, бедный мой перверт, осведомляют, почернел от горя, сообщают вести из провинции моей, а Любушка-голубушка тоже хороша: за хорошую цену сразу сбыла с рук смертельно опасную при данном раскладе, когда зреют гроздья гнева и безумия, черную свою «Волгу» и разъезжает по столице ныне в белых «Жигулях», и не каких-нибудь, а в экспортном исполнении, за разницу же вырученную еще и гарнитур себе купила финский, как у меня, устроил ей по благу, как сильный человек, как опекун со связями, но и этого ей, Любе, мало, работу хлебную нашла себе сама, фасовщицей в «Универсаме», и говорит мне давеча, Любовь: «Женись на

<sup>25</sup> Жизнь есть сон, а сны есть сны

мне», — она мне говорит. Но это хуюшки, Любаша: не дожесси. Тут нечего ловить. Обставила, значит, Ванину жилплощадь, пустого места не осталось, теперь мечтает выписать родню из Родничков. А этого дела, говорит, нет третий месяц как. Какого дела? недопонимаю. А такого, что ребенок будет у меня. Но от кого, Любаш? Вот в чем вопрос. От Вани? От меня? От третьего, с веранды?..

Тем временем его, Ивана, уж тиснули в самом главном эмигрантском журнале под названием «Русские связи» («Случайные и оч-чень небезопасные», — как говорит Блинов, читающий сейчас Ланкло в порядке побития меня культурой). Ну, и поскольку пути литературы нашей неисповедимы, тот номер с Ваней, говорят, неплохо продается в одном общественном сортире, в центре, у Первопечатника, где место встречи чернокнижников с хорошим видом на наше здание (бывшее, кстати, если кто не знает, страховое общество «Росси́я». Символика ясна?) А также каждый день, в любое время суток, но лучше по ночам (и с головой накрывшись одеялом, чтобы соседи, раздраженные, не стукнули), услышать можно «вражий голос» Вани по Радио Свобода — если, конечно, постараться, если очень захотеть, в столице глушат сутки напролет, но лично я вылавливал и сквозь... (А в Родничках не глушат, но слушателей нет, как, впрочем, и транзисторов). Что же до матримониальных дел красавца-эмигранта, то Аннаиг и он подали в Париже на развод. Мой Шеф в отчаянии, конечно. Ведь столько сил, трудочасов, народных средств потрачено, чтобы соединить... Но что поделать? Если несовместны? Сам понимает...

Сэ ля ви.

Блинов же, сослуживец, естественно, извлек что можно из моей служебной незадачи. Звездочка обломилась на погоны — теперь одна, зато майорская. За усиленную поощрили русскость. Вот и обошел меня на вираже, на данном историческом витке, мало благоприятствующем таким, как я — космополитам.

Баптист тот, дезертир, уж и не знаю где. Исчез в болоте, волшебном-изумрудном, ушел в астрал? Если не шлепнули, конечно, при задержании. Живым бы он не сдался, такой он был, так я его почувствовал тогда — сидя под мушкой у Бабы той Яги.

Никита фильм свой сдал. На полку пока не положили, хотя есть реальная угроза. Как и предполагал я, вырезали сцену, где мы с Иваном — отныне госпреступником: невозвращенцем и клеветником. Звонил недавно, плакался в жилетку, просил простить, что сдал обоих, и клял почему зря цензуру злобучую, которая к тому же, понимаешь, высказывает опасения насчет названия картины «Оккупация» в связи с возможностью возникновения среди широких зрительских масс неконтролируемых ассоциаций, которые якобы могут далеко их завести... Куда, Sophie? В перспективе, когда даже я и даже шепотом не решусь произнести сладчайшее «*Vive la Revolution!*»

Вот так, моя любовь. Разбилось зеркало.

И что это, спрошу тебя, за жизнь?

Стоит ли большего, чем пули в лоб — вон в чашечке кофейной затаилась: калибр тебе известен...

Девять.

Я отпадаю, закрываю глаза: кружится, кружится моя Москва, радиально-кольцевая моя, Вселенной моей центр, и парабеллум медленно, но верно складывается воедино, часть за частью, деталь за деталью, и совершаю я последний мысленный обход неторопливо и сердечно. Но под конец, а это у церквушечки одной, на северной окраине... Рука отказывает: *нет!* Что с ней поделать? Не хочет. А с чего бы? Наверное, любопытно мне — поэтому. Занятно... Нет?

Но ведь и вправду интересно, черт возьми!

Чем, к бесу, кончится *все это*?

А?

И как?..

Окурочек «Примы» обжигает пальцы. Наощупь, ладонью собирая пыль с паркета, задавливаю в консервной баночке из-

под ввезенных контрабандой анчоусов парижских, стоящей тут же на дистанции руки от лежбища вонючего, беру бутылку скоча — знаешь, что я нынче пью? Ах, известил уже? Развивчиваю — глоток, огонь, другой, еще, а завтра убываю, всё... Нет уж, еще, чтобы до дна добить, чтоб кончить на сегодня, еще, и будет! Все, уходим с поля... Долой! Дозволенные речи прекращаю, и недозволенные тоже. Притираемся скулой — и спать! Удастся, может быть, заснуть. Охота досмотреть мне до конца наш Апокалипсис. Ведь увлекательный спектакль, нет?

Любовь моя, *Sophie*...

Куда б ни унесло — во сне и наяву.





## P.S.

О монастыре Тхьянбоче (как свидетельствует Ральф Иззард в своем отчете *The Abominable Snowman Adventure*) упоминается во всех отчетах послевоенных экспедиций на Эверест. Много говорится о его идиллическом местоположении на гребне отрога, который делит пополам долину. Монастырь, несомненно, предназначен для созерцания Эвереста, чья курящаяся пирамидальная вершина возвышается к северу... Сам монастырь представляет собой совокупность похожих на ящики каменных келий, окружающих центральный храм... Теперешний верховный лама, сравнительно недавно перевоплотившийся, еще почти мальчик, проходил курс обучения в Шигацзе в Тибете... Приятно отметить, что лама сумел воспользоваться мелочами из мусора, какой неизбежно оставляют на своем пути альпинистские экспедиции: среди светильников и других разных изделий из серебра, имеющих полурелигиозное значение, теперь красуются пустой бидон из-под пива, металлическая банка из-под повидла и бутылка из-под бренди. Почетным сидением служит ламе продовольственный ящик (№101), принадлежавший прошлогодней английской экспедиции...

Восточные склоны ниже монастыря Тхьянбоче пестрели особенно красивыми в эту пору зеленовато-желтыми и бледно-розовыми рододендронами. Лама Сагхи опять увидел меня, бредущего, и на этот раз с большим трудом, по лужайке

перед монастырем. Он обнял меня своей худой рукой за талию и помог подняться в келью, где несколько чашек чаю с маслом возобновили мои силы.

Париж. 1978-80  
Прага, Вашингтон, ДС. 2004-5

Другие книги автора

Dissidence mon amour  
Помни Странжета  
Воскрешая председателей  
Музей шпионажа  
Линтенька, или Воспарившие  
Ива Джима  
Словацкий консул  
Входит Калибан  
Суоми  
Эмигрантка Эмма  
Каждому свой диссидент  
Мальчики Дягилева  
На крыльях Мулен Руж  
Холодная война  
Фашист пролетел  
¡Муэрте!  
Были и другие варианты  
Груди Цецилии  
Союз сердец. Разбитый наш роман  
(Книга 1 *Пара на Пушкинской*;  
Книга 2 *Передний край борьбы*)  
Дочь генерального секретаря  
Беглый раб  
Сделай мне больно  
Скорый в Петербург  
Сын Империи  
Нарушитель границы  
Под знаком Близнецов  
По пути к дому

\*

Текст ведущего. Содянное на свободе. Нонфикш I  
Воскреснуть в Америке. Нонфикш II  
Германия, рассказанная сыну  
(с Л. А. Арефьевой)  
Энциклопедия Юности  
(с М. Н. Эпштейном)  
Aurore (с А. Гальего)

\*

Принцип Дьявола/Селин  
Обращенная вперед: Оригиналы в переводе





**Franc-Tireur**  
USA

Книга, которая сделала имя  
ВОЛЬНОМУ СТРЕЛКУ

Прекрасный и сильный роман Настолько глубинно русский, что чувствуешь: каждый изгнанник оставляет там половину души  
МОНД Великая книга Сила воображения Сергея Юрьенена причисляет его к списку великих русских имен ФИГАРО Самый inferнальный из советских русских Без иллюзий Близкий к гениальности МАРИ КЛЭР Диссидентство как форма любви Твердой рукой ведет нас сквозь Достоевские состояния души  
ВОТР БОТЭ Давно романтическое творчество не являло картины столь полной и глубокой - как страны, так и народа  
ЭКСПРЕСС Нарушает все табу БЮЛЛЕТЕНЬ ФРАНЦУЗСКОЙ КНИГИ Сначала смех, а после ужас Неистовость и отрешенность тона сообщают роману, поднятому на дыбы - по-гусарски! - оригинальность, которая ошеломляет МАТЭН Присутствуем при событии экстраординарном: Великий русский писатель родился во Франции НУВО ЖУРНАЛЬ Суслов перевернулся бы в гробу ДИ ВЕЛЬТ Неистовая книга АРБАЙТЕР ЦАЙТУНГ Изобразительная мощь НОИЕ РЕВЮ Вольный стрелок на линии огня - и увертывается только благодаря литературному мастерству Каждая мишень поражена ПЛЕЙБОИ Невероятное языковое мастерство МЮНХНЕР МЕРКЮР Отрицает современный материализм ДЕВУАР, КАНАДА Захватывает Поражает ЙОРКШИР ПОСТ Бравирует декадансом и эксцессами НЬЮ СТЕЙТСМЕН Умный, сложный роман, полный изобретательства и боли любви к стране, идущей не туда Неистовая в ужасах и жутком юморе Книга диссидента, возможно, станет одним из подлинных и долгосрочных триумфов реального социализма ГАРДИАН Одно из наиболее значительных произведений нашей литературы последнего десятилетия НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО Силен силой русского писателя девятнадцатого века СТРЕЛЕЦ Ткань повествования создана из нервов Долгая, неослабевающая сила свойственна таланту Юрьенена КОНТИНЕНТ Миф "Вольного стрелка" - это "Фауст" "РУССКАЯ МЫСЛЬ" Сразу ставит Юрьенена в первую линию его литературного поколения Ошеломляюще новый герой Звезда свободы ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ, ОБОЗРЕНИЕ Сюжет простой и крепкий Исследует inferнальную метафизику Границы НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС РЕВЮ ОФ БУКС etc...

ISBN 978-1-4357-2781-6

ID: 1920056  
www.lulu.com

